

# РАБЫ

ГБ

XX век.  
Религия  
предательства

Книга

**Юрия  
Щекочихина**

**Юрий ЩЕКОЧИХИН**

**РАБЫ ГБ**

**XX ВЕК.  
РЕЛИГИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА**

**Москва  
2018**

УДК 882  
ББК 84(2)6  
Щ 40

**Щекочихин Юрий**

Щ40 Рабы ГБ. XX век. Религия предательства. Изд. 2-е доп. —  
М.: ИП Матушкина И.И., 2018. — 400 с.

ISBN 978-5-94101-334-0

XX век превратил миллионы и миллионы неплохих, в сущности, людей в предателей. Сначала объявив предательство доблестью, потом — государственной необходимостью, потом — возведя его в систему, потом — сделав эту систему настолько же естественной, насколько естественны человеческие потребности.

Научно-технический прогресс — любимое детище нашего столетия — поставил производство иуд на конвейер.

Так было не только в России...

«Рабы ГБ» — попытка художественного анализа исповедей людей, подвергшихся одному из самых страшных экспериментов века. Этот анализ мастерски проведен известным публицистом, писателем и политиком Ю. Щекочихиным.

В книгу также вошла художественная проза писателя — повесть «Жизнь после».

УДК 882  
ББК 84(2)6

ISBN 978-5-94101-334-0

© К.Ю.Щекочихин,  
Д.Ю.Щекочихин, 2018

## МЫ НЕ РАБЫ. РАБЫ НЕ МЫ

Перед читателем красочные картины взаимоотношений советской интеллигенции и Пятого управления КГБ, которое под мудрым руководством ЦК КПСС обеспечивало единomyслие в советском обществе. Эти картинки чрезвычайно поучительны как для тех, кто жаждет вернуться в светлые тоталитарные времена, так и для тех, кто уже узрел ужасы тридцать седьмого года во временах нынешних.

Один из столпов независимой отечественной журналистики Юрий Щекочихин воистину был русским Оводом, который жестко разил и правящую элиту, и органы безопасности, и особенно погрязших в коррупции махинаторов. Романтик по натуре, скромный и добродушный человек, Юрий Щекочихин обладал несокрушимым мужеством и бился с нашими коррупционными мафиями насмерть, собственно, клеветы мафии и подложили ему яд — он внезапно заболел, стал терять волосы, с лица сползала кожа, так он и скончался в мучениях. Описанные деяния ГБ порой зловещи, порой анекдотичны, однако, нельзя забывать, что чекисты работали под эгидой и контролем КПСС, диктующей единую идеологическую линию, точнее, извилину. Везде в мире основой в работе органов безопасности являются агенты или доверенные лица, без которых в государстве начинается вакханалия, грабители становятся правителями, а шпионы запросто продают секреты врагам государства. Агенты бывают не только дурными стукачами, но и порядочными людьми, которые часто спасают граждан от ложных доносов и помогают выявлять преступников. Вечная беда России — это армии добровольцев, которые заваливали органы доносами на соседей, слушавших Би-Би-Си или читавших Солженицына, или утянувших в клозет газету с портретом Брежнева или чихнувших непопозволенным образом в непопозволенном месте. А цели мерзкие: заполучить лишнюю комнатку в коммуналке, подсидеть по службе, сорвать загранпоездку или просто нагадить из зависти по доброте души. Думается, во многом благодаря добровольцам и «стукам» друг на друга под пафосные призывы сталинской команды, у нас в стране в тридцатые годы и разразился кровавый террор. Во времена холодной войны медвежью услугу диссидентам оказывали западные спец-

службы, использовавшие их в своих целях (часто без ведома фигурантов), отметим при этом благодатный вклад Запада в распространение Замятина, Оруэлла, Солженицына и других великих писателей. Помнится в день презентации «Рабов ГБ» в книжном магазине Юрий Щекочихин, тончайший исторический писатель Юрий Давыдов и я общались с окружившими нас молодыми сотрудниками ФСБ, которые настаивали, что времена изменились и никаких рабов ныне нет. Давыдов примирил: это — художественный образ. Действительно, медленно уходили отвязные, откровенно беспредельные времена, но еще вольготно чувствовали себя американские советники и особенно ЦРУ, красным пиджакам пришли на смену костюмы от Бриони, мафия консолидировалась и показывала зубы. Независимая журналистика, которую представлял бескомпромиссный Юрий Щекочихин, все больше увязала в заказухе, а потом и вовсе зачахла. Что изменилось и, главное, в какую сторону? Одни обедают омарами с финь-шампанем в «Докторе Живаго» близ Думы, ужинают в собственном замке под Парижем или на своей яхте с итальянским поваром, другие по-прежнему считают ресторан непозволительной роскошью. Одни греются на золотых унитазах в умопомрачительных клозетах, другие — нахохленными орлами сидят над загадочными дырами (говорят, 15% населения). Советскую пропаганду с успехом заменила реклама Макдональда, памперсов и сникерсов, героями страны стали не ученые, космонавты и мыслители, а пошловатые эстрадные дивы, телевидение заполонило игры для идиотов, жаждущих урвать, грязные семейные разборки на ТВ стали популярным, истинно народным жанром (куда до них пресловутым судам чести при домкомах!). Серьезные книги читают единицы, писатели из властителей дум превратились в незаметных пауперов (кроме тех, кто работает на Мешок). И главное: берут, и КАК берут! Куда там Ноздреву с его скромными борзыми щенками! Берут благородные врачи и учителя, берут важные министры, берут серые чиновники. И самое ужасное, попадают за взятки в тюрьму наши охранители, наши блюстители порядка! Крадут миллионами долларов, и все мало! Нет, не о такой жизни мечтал Юрий Щекочихин, власть Мешка он ненавидел всеми фибрами своей души, для него не существовало неприкосновенных лиц. Его пафос жив, это пафос истинно свободного журналиста и человека.

Да, мы были рабами ГБ КПСС. Стали рабами Бабла. Художественный образ?

*Михаил Любимов*

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ К ЧИТАТЕЛЯМ КНИГИ ЮРИЯ ЩЕКОЧИХИНА

Автор книги известен и интересен мне как журналист и писатель яркого гражданского темперамента. Его привлекают самые острые проблемы отношений между гражданином и государством, между человеком и государственной машиной. Надо ли доказывать, насколько актуальна эта тема: до сих пор не преодолено колоссальное отчуждение граждан от власти, и только-только — всего лет десять-двенадцать назад — наши люди начали ощущать, что такое свобода слова, свобода выбора, многие другие жизненно важные человеческие и гражданские права.

Все, о чем пишет Юрий Щекочихин, он пропускает через сердце, равнодушно к несправедливости, произволу бюрократа-чиновника, к тоталитарной системе в целом. Смело и с ходу затрагивая самые болезненные моральные проблемы общества, автор не всегда удерживается на грани объективности. Да, впрочем, все его творчество и не претендует на бесстрастность аптекарских весов. Он пристрастен: в противостоянии человек-власть, гражданин-государство. Журналист и писатель Щекочихин целиком и решительно на стороне человека и гражданина.

Понимает ли автор, что государство — даже самое демократическое — обязано защищать государственные интересы, в том числе и с помощью спецслужб? Надеюсь, понимает. Все дело в том, чтобы государственные органы уважали права каждого гражданина. Это их конституционная обязанность.

И еще: жизненно важно укреплять веру людей в то, что честь, достоинство, совесть человека и гражданина способны в конечном счете выстоять перед насилием, запугиванием, подкупом, предательством и ложью.

Я думаю, Юрий Щекочихин — из тех авторов, которые умеют привлекать к этим проблемам внимание многих читателей, для которых небезразлична возможность нормальных человеческих отношений в России, доверия между обществом и властью, между людьми, в конце концов.

Скорее всего, эта книга вызовет споры, возможно, и протесты, полемику. (Я, кстати, не во всем согласен с автором, когда он затрагивает те или иные конкретные персоналии.) Но уверен: такие споры, такая полемика пошли бы на пользу становлению гражданского сознания, прояснению совести нашего общества, оздоровлению наших государственных институтов, в чем все мы так остро нуждаемся.

*Михаил ГОРБАЧЕВ.  
6 апреля 1999 года*

## КУМОВЬЯ НА ХОЗЯЙСТВЕ

*При куме не жить, а без кума не бывать.*

Пословица

Прежде чем рассуждать о прочитанном, надо прочитать написанное. Все предисловия в сущности — послесловия. В нашем, однако, случае вам поначалу придется иметь дело именно с предисловием: сюжеты и темы Юрия Щекочихина предваряет, так сказать, история вопроса. Краткая.

Юрист и публицист прошлого века Б.Н. Чичерин сетовал: «Если есть начало, которое во всей русской истории было в загоне, так это право. Поэтому оно имеет мало корней в народном духе».

Есть и «начало», никогда не пребывавшее в загоне. Напротив, обгонявшее все прочие, как чудо-тройка. Оно молодецки сформулировано щедринским помпадуром: «Я поручаю вам докладывать мне обо всем! Вы должны проникать всюду! Вы должны быть везде — и нигде. И помните, что я не умею быть неблагодарным».

Офицеров тайного сыска прежде называли «тюльпанями». Сей изысканный звук давно сменился менее изысканным и более простодушным — «кум». Словарь «Русская феня» толкует: оперуполномоченный в местах лишения свободы. Уточняю. Поскольку лишённые свободы распространились от финских скал до пламенной Колхиды, то и кликуха оперов-чекистов расплзлась повсеместно.

Еще в официальных бумагах годин Николая Первого встречаешь термин «органы». Органы ли создали функции или функции создали органы — вопрос здесь, пожалуй, лишний. Вопрос о штатных сотрудниках органов не только не лишний, а вплотную прилегает к текстам Юрия Щекочихина, представленным в этой

книге. Выражаясь не деликатно, речь идет о стукачах, без которых кому не обойтись, но и им без кума не бывать.

Упомянутый Щедрин рассмотрел особенности доносчиков разных стран. И выявил самобытность нашенских. Никогда толком не знают, какую, собственно, информацию выдавать шефу. Все валят в кучу. Пугаются пустяков. Лгут искренне. Начинают с выпивки, и, постепенно перенимая образ мыслей наблюдаемого, случается, что сами же, к собственному удивлению, попадают на категорию. Очень любят, чтобы их разумели людьми благородными.

Партия нового типа влила в старые мехи новое вино. Новаторы осенялись не законностью, а целесообразностью. Нравственность и мораль была у них особенная — пролетарская. (Вот она, геометрия калужская или рязанская!). Практика взметнулась широко и высоко. Она и теперь восхищает тех, кому охота полизать крови, — скандируют: «Сталин! Берия! ГУЛАГ!»

К этому абрису прибавлю два-три штриха. Они имеют отношение к сюжетам Юрия Щекочихина.

Страна знает своего героя. Павлик Морозов донес на отца родного. Этот пионер — всем пример вызывает и жалостливое сожаление, и безжалостное осуждение. В нем видят жертву коммунистического воспитания, коммунистического идейного воздействия. Не совсем так. Или совсем не так. И похоже на умозаключение раскулаченного мужика-переселенца. Встретился ему корабль пустыни двугорбый верблюд, мужик ахнул матерно: «Ну, Совдепия, до чего ж лошадь-то довели!» Нет, павликов не довели, павликов вывели. Из Семнадцатого века после Семнадцатого года. Еще в допетровской Руси в сферу доносительства включался и ближайший родственный круг. Отец и мать, дядя и тетя. Недоносительство каралось смертью. Почва произвела Морозовых... Режим кремлевский вождей и вождят — клонировал.

Дух доносительства веет где хочет. Душа доносителя... Зубатова надо бы вспомнить добрым словом, Зубатова; в начале века Сергей Васильевич руководил политическим сыском. Не только знал толком дело, но и умел читать в сердцах. Внушал подчиненным: вы, господа, должны смотреть на сотрудника (то бишь стукача. — Ю.Д.) как на замужнюю даму, с которой вы находитесь в связи. Берегите его. Помните: как бы он честно ни работал, наступит момент психологического перелома. Ему тяжело. Отпустите его, устройте на легальное место — и схлопочите пенсию...

Каков начальник особого отдела?! Поищите-ка аналог. Ю.Щ. не нашел.

И вот еще что. Горький после Октября опубликовал рассказ «Кошмар». В ответ получил письма-слезницы стукачей, бывших в употреблении. Читая, сокрушался: скверно грешат на святой Руси; каются во грехах и того хуже.

О кошмарах писал и Ю.Щ. И тоже получал письма стукачей, вышедших в тираж. Писем набралось немало. Ведь заагентуривание длилось десятилетиями. Можно сказать, продолжением ленинского призыва — Ильичевым указанием каждый коммунист был обязан самозачислиться во стукачество, в пособия и подсобники чекистов.

От каждого по способностям, каждому — по труду? Ну, стало быть, и каждому советскому человеку — достойное досье. Такая сыскная энергия требовалась, что одной Волховской ГЭС не обойтись.

Читаешь страницу за страницей и ощущаешь, почти телесно ощущаешь духоту и гнет пребывания «под колпаком». Вот они, кошмары-то на этапах большого пути! И на этапах арестантских, в зонах под вышками — там тоже роился стукач.

Кому до чего, а куму до всего. И никакой возможности следовать совету Зубатова. Да и то сказать, прав Владимир Ильич, прав: ты по головке погладишь, а тебе руку откусят. Нет, не лаской правили кумовья на своих хозяйствах, а таской. Главной методой было на испуг взять, утратить, пригрозить: откажешься — пеняй на себя. Но и посулы, обещания в ход пускали. И к патриотизму зывали, к чувству долга. Один «сознательный комсомолец» действовал под псевдонимом «Корчагин». Другой объяснял Ю.Щ.: меня ж воспитывали в пионерской дружине им. Павлика Морозова. Третий ссылался на необходимость доказать, что он честный помощник партии. Четвертый, насупившись, брови сдвигал: владела мною высокие помыслы о безопасности страны, государства. И прибавлял: я-де занимался политическим сыском по линии 5-го, идеологического отдела КГБ.

«Идеология»! К понятиям «патриотизм» и «гуманизм» она присмолила знак качества — «советский». Она требовала поглощения «я» огромным «мы». Она растворила «совесть», «честь» в некоей кочующей туманности. Помню старого офицера-артиллериста из юнкеров, наказанного Особым совещанием при ГБ, —

развел руками, покрутил головой: «Нет ни совести, ни чести, все с говном смешалось вместе...»

Проза, известно, требует мыслей. И очерки Ю.Щ., и его повесть «Жизнь после» написаны подлинной прозой. Наблюдения глубоководные. И в мыслях, и в наблюдениях присутствует сострадание. Автору жаль раздавленных, «опущенных» в кумовских хозяйствах.

Да, это было при нас, это с нами вошло в поговорку. Да, уже все на последней ступеньке жизни. Но Ю.Щ. написал книгу насущную. Необходимую не условно, а безусловно. Почему? Да потому просто, что циники в камуфляже народных заботников зовут-засывают, манят-приманивают «ехать на обратных». Черт бы с ними, когда бы в ответ презрительно роняли: «Ша-алишь!» Ан нет, не слышать. То ли по слабости ума не сообразят, а куда, собственно, «на обратных»-то доедешь. То ли, страдая нравственным слабоумием, согласны именно туда и приехать. Многих ли из них уврачует Юрий Щекочихин? Не знаю. И не очень-то надеюсь. Одно хочу повторить: он не злобу дня описывал, рассматривал пристально, а написал злободневное.

*Юрий Давыдов*

*Я не думал о посвящении.  
Оно пришло само в хмурое зимнее утро  
в траурном зале Центральной клинической  
больницы, когда навсегда прощался с Владимиром  
Ивановичем Олейником, судьей Конституционного  
суда. Мы были знакомы. Мы дружили почти 20 лет.  
Я многому от него научился.  
Его памяти.*

## **Вместо вступления**

# **ЗОНА В ТЕНЯХ И ЛИЦАХ**

Когда я объясняю, как проехать ко мне в Переделкино, то обычно говорю так: «Вы едете по Кутузовскому, потом по Можайскому шоссе, видите указатель «Зона отдыха «Перedelкино» — и налево».

Я настолько привык к этой фразе — гости приезжают довольно часто, — что сам уже не вдумываюсь в ее смысл. Точно так же, как в словосочетание «Зона отдыха».

**Зона? Отдыха?**

Как-то раз я услышал классный рассказ одного старого эмвездешника: «Ты знаешь, почему здание МГУ на Ленинских горах разделено на «зону А», «зону Б», «зону В»? Университет же строили зеки, на том месте была зона... Университет построили, а названия, как водится, сменить позабыли».

**Господи, мы все еще в зоне.**

**Мы — в «режиме»: «режим работы», «режим приема»... Сколько еще таких словосочетаний? Ну, вспомните?**

Я чувствую себя сыном XX века.  
Хотел бы чувствовать себя сыном Девятнадцатого.  
Не получается. Или получается изредка. Последнее время  
все реже и реже.  
Это — первое вступление к этой книге.

Сейчас — второе.

А МОЖЕТ, ЭТО БОГ НАКАЗАЛ НАС ВСЕХ, ЖИВУЩИХ В ЭТОЙ  
СТРАНЕ И В ЭТОМ ВЕКЕ, ДОКАЗЫВАЯ ТЕМ САМЫМ СВОЕ СУЩЕ-  
СТВОВАНИЕ? ИЛИ НАОБОРОТ? ПОСЛАЛ ИСПЫТАНИЕ, ВЫЙДЯ  
ИЗ КОТОРОГО — ПУСТЬ НЕ МЫ, ПУСТЬ НАШИ ДЕТИ, — НИКОГДА  
НЕ ПОВТОРЯТ ЭТОТ СТРАШНЫЙ ПУТЬ?

Я не знаю, откуда взялись во мне эти слова.

Я не умею верить в Бога, и потому у меня не может быть к нему  
никаких претензий. Да и надежд, в принципе, я на него не воз-  
лагаю. По той же причине.

Но слова эти родились, вылупились, как птицы из гнезда,  
возникли где-то в глубине сознания, на дне души — там, куда и  
заглядывать страшно, как в пропасть, перед которой остановил-  
ся, замерев от восторга и страха.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ПРОИЗОШЛО В XX ВЕКЕ?

Коричневая чума. Красная чума. Просто чума. Чума, рак,  
СПИД. Война, еще война. Еще множество войн. Облако-гриб.  
Мир на краю пропасти.

Что произошло с человеком?

Жил-был человек.

Однажды другой человек, которого он считал своим учени-  
ком, его предал.

Уже тысячелетия человечество размышляет над сущностью  
поступка Иуды.

В XX веке предательство стало неосуждаемым. О нем пере-  
стали размышлять и считать его пороком, которого надо сты-  
диться.

XX век превратил миллионы и миллионы неплохих, в сущнос-  
ти, людей в предателей. Сначала объявив предательство добле-  
стью, потом — государственной необходимостью, потом — воз-

ведя его в систему, потом — сделав эту систему настолько же естественной, насколько естественны человеческие потребности.

Научно-технический прогресс — любимое детище нашего столетия — поставил производство иуд на конвейер.

Так было не только в России. В Германии — при Гитлере. В Португалии — при Салазаре. В Чили — при Пиночете. Во всех странах, которые назывались социалистическими. Можно еще перечислять и перечислять.

Но меня, естественно, интересуют моя страна и мои соотечественники.

Однажды я обратился через газету, в которой тогда работал, к секретным агентам КГБ, к «стукачам», как их у нас называют, с предложением снять с души камень. Если, конечно, этот камень давит на сердце.

Я и сам не ожидал, что уже спустя день в дверь моей комнаты раздастся осторожный стук и человек скажет мне: «Я тот, к которому вы обращались...» А еще через неделю на мой стол лягут первые письма, на конвертах которых стояло слово «Исповедь».

Так рождалась эта книга.

Далеко не все бывшие секретные агенты работали на спецслужбы — от ВЧК до ФСК — по идейным или каким-либо другим объяснимым причинам. Страну опутала липкая паутина предательства, но зачастую она создавалась ценой трагедий и разрушения личности. Даже самые самодовольные стукачи, не говоря уже о миллионах вынужденных иуд, были продуктами Системы, были РАБАМИ госбезопасности.

Я попытался дать им слово. Для того, чтобы кто-то покаялся, кто-то — объяснился, кто-то — а были и такие — в лицо мне бросил: я прав, для защиты Родины все методы годны.

Бог им судья. Но, может быть, поэтому, отступая от темы, вспомнил в этой книге и о других людях. Не ставших рабами.

О тех, кого Система не сломила, кто не поддался всеобщей религии предательства. Пусть их было в тысячи, в десятки тысяч раз меньше, но они были. И это они позже возглавили восстание против Системы.

Из истории не выбросить страниц. Мы выросли в Зоне со всеми ее законами.

«Зона в тенях и лицах»... Таким могло быть еще одно название этой книги.



## Часть первая

### ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Трудно сегодня, с высоты наших лет и нынешних взглядов, понять, как и почему поступок Павлика Морозова был возведен в подвиг. Я еще остановлюсь на этом — на воинствующей антиморали, подмявшей под себя всех и все, но сейчас хочу сказать вот о чем. Осуждать легко. Мы можем с гневом отвергать причины, толкнувшие на предательство тех, кто стал сексотами и стукачами из-за другого, сложившегося уже менталитета души, — и в этом, наверное, огромная заслуга последнего времени.

Но давайте не будем забывать, что творилось многие десятилетия за «железным занавесом». Понятия-перевертыши, поступки-перевертыши, люди-перевертыши... Страх перед Системой, жернова которой перемололи десятки миллионов, желание выжить...

Я не оправдываю своих корреспондентов. Просто напоминаю о том, что неизвестно, как бы мы сами в те годы сумели противостоять религии предательства.

## **ПЕРВОЕ ПРИЧАСТИЕ**

Кажется, было лето... Да, лето.

Помню открытое окно и мягкий шум Цветного бульвара, заполнявший крошечную комнату, которую мы делили с Нелей, Лидой и Юрой. У меня был собственный журнальный столик, у Нели и Лиды по столу, а у Юры — свой стул...

Раньше в этой комнате сидела одна Неля, и мы, поочередно перебравшись из «Комсомольской правды», превратили, как после революции, отдельную квартиру — в коммунальную. На четвертом этаже старого здания «Литературной газеты».

Шел 1980 год, когда уже все всё понимали и не стесняясь в очереди, в метро, чуть ли не на профсоюзных собраниях рассказывали все новые и новые анекдоты про престарелого лидера. Вспомнил один: «Товарищи, — обращается Брежнев к членам Политбюро. — Предлагаю обсудить поведение товарища Пельше. Вчера он опять украл у меня двенадцать оловянных солдатиков...»

Смех стоял над страной, и, наверное, этим смехом, новыми и новыми анекдотами про выживающего из ума лидера, казалось, обреченного на бессмертие, каждый из нас пытался отгородиться от ужасающей действительности, в которой не оловянными — живыми солдатиками играли вожди в Афганистане, а в Горьком (помните: «Знаете, как переименовали город Горький? В город Сладкий!») томился изгнанием академик Сахаров, и другие академики, полковники, композиторы, официально «выдающиеся» писатели и неведомые швей-мотористки клеймили его позором с газетных страниц...

Да... Так вот об одном летнем дне 1980 года. Точнее, об одном телефонном звонке, из-за которого этот день остался в памяти, а не растворился в других пролетевших днях.

— Юрий? — услышал я в телефонной трубке вкрадчивый (как мне тогда показалось) мужской голос. — С вами говорит Алексей Иванович...

— Какой Алексей Иванович?

— Алексей Иванович. Из Комитета государственной безопасности! — почему-то радостно сообщил мне телефонный незнакомец. И поспешно добавил: — Нам, Юрий, надо будет с вами встретиться.

— Ну приходите... Я — на работе, — без особой радости сказал я.

— Да что вы, Юрий! У вас же там люди! Нет, на работе никак невозможно!

— Так что, мне, что ли, к вам на Лубянку идти?! Тогда давайте присылайте повестку. И вообще, откуда я знаю, кто мне звонит на самом деле!

— Да я вправду из КГБ! Что вы, право... — в его голосе появилась обида. — Можете записать мой телефон и сами мне позвоните! — И мне был продиктован телефон, номер которого начинался с их характерных 224.

Я ответил, что никуда звонить не буду и приходить тоже никуда не собираюсь, и что если я нужен КГБ, то пускай он сам ко мне и приходит.

— Да это очень важно, важно... Ну как вы не понимаете!.. Это действительно важно! — заверещал Алексей Иванович.

— Нет, — отрезал я, придав голосу необходимую твердость. — Я никуда не пойду!

— Ох, Юрий, Юрий... — вздохнул расстроено Алексей Иванович (а может, Иван Алексеевич, а может, вообще какой-нибудь Фаддей Булгаринович? А может, и не из КГБ?) — Пойду докладывать руководству...

— Докладывайте! — Я резко положил трубку.

Что им нужно? Их интересую я? Или хотят что-то узнать о моих друзьях? Что за спешка? Может, подумал, это связано с последней командировкой в Узбекистан и опубликованной мною статьей о мафии? Или — просто так, поближе познакомиться?

Об этом, помню, я думал, прервав разговор с неожиданным и таинственным Алексеем Ивановичем.

И, конечно, тут же вспомнил свою первую встречу с представителем организации, собственный интерес к которой, наверно, равнялся интересу ее ко мне и моим друзьям.

Да, это было еще лет за десять до этого звонка. Я работал тогда в «Московском комсомольце» и переживал то счастливое время журналистской юности, жгучего любопытства к миру и сча-

стью встреч с новыми и новыми людьми, которое, как я позже понял, повторить уже невозможно.

Однажды вечером мы пошли бродить по улицам. Помню, нас было четверо. Девушка, которую тогда любил, — или казалось, что любил. Наш фотокорреспондент Игорь Агафонов — потом, через много лет, умерший от рака горла, и тихий, нежный журналист Олег Калинин, всю жизнь создававший устный роман «В стране дураков». (В этой его стране было два правителя: Иван Грузный и Иван Грязный, — а в картинной галерее висела главная картина: «Иван Грузный зачинает своего сына»).

Мне было двадцать лет, девушке, наверное, столько же, а Игорю и Олегу — лет по сорок, как мне сейчас, но называл я их на «ты» — Игорь, Олег, так как еще только-только придя в газету семнадцатилетним и отправившись на одно из своих первых заданий вместе с фотокорреспондентом, по возрасту годящимся мне в отцы, услышал в ответ на мой вопрос, как его называть по отчеству, наставительное: «Запомни, старик, у журналистов нет отчеств».

Итак, мы вышли на Чистые пруды, дошли до Покровки, где в прежнее время был винный подвал, в который вели три ступеньки, истоптанные башмаками многих поколений журналистов расположенного рядом газетного комбината, свернули на улицу Богдана Хмельницкого и оказались в шашлычной на углу.

— Вот еще объявление в стране дураков: «Меняю одну военную тайну на две государственные», — сказал Олег, и мы все громко рассмеялись.

Потом вспомнили, что на днях наш приятель-поэт пришел ночью в приемную КГБ (естественно, пьяный) и предложил вниманию дежурного гимн, который он сочинил.

Там были такие слова:

*Идут вперед колонны наши быстрые,  
И конница бежит издалека.  
На площади железного Дзержинского  
Работает полночное Чека...*

А припев в гимне был таким:

*Мы чекисты, руки наши чисты...*

Мы громко разговаривали, еще громче смеялись, и больше, чем вино, пьянило меня и присутствие рядом девушки (мне и вправду казалось, что я ее любил), и сидящие рядом два старших товарища по счастливой тогда газетной жизни. И я скорее почувствовал, чем заметил двоих, сидящих за соседним столиком. Слишком недобро и напряженно смотрели они на нас, и я, обернувшись на этот взгляд, увидел, как старший — седой, с бульдожьей челюстью — что-то сказал своему молодому спутнику и с пьяной ухмылкой уставился на Олега.

— И что ответил дежурный по КГБ? Он ему ответил: «Товарищ поэт! ЧК работает не только ночью, но и днем. Советую вам для начала проспаться»... — Олег заканчивал свой рассказ, когда над нашим столиком вырос седоволосый, с тяжелой челюстью.

Повторяю, Олег Калинин был человеком кротким и нежным, ненавидящим всякие скандалы и потому, наверное, часто нарывающимся на них.

— Па-азвольте ваши документы, — хулигански растягивая слова, сказал седоволосый, наклонившись над Олегом.

— Сядьте на место, — помнится, грубо оборвал я его.

— А тебя, щенок, не спрашивают! — огрызнулся незваный гость и повторил — Па-азвольте документы...

Тут поднялся Игорь, что-то еще сказал я, потом тот, второй, подскочил, стал оттягивать своего приятеля за руку, приговаривая: «Мы на улице с ними, на улице...».

В общем, вечер был безнадежно испорчен. Мы встали и пошли к выходу, и я, помню, думал только об одном: если сейчас начнется драка, то где? Прямо в шашлычной? Возле гардероба на глазах у швейцара? На улице? Если в кафе или в вестибюле, то тут же прискачет милиция и скорее всего возьмут нас, так как милиция — а это уже всем было известно — журналистов не любит. А если на улице, то можно будет быстро помахать и тут же удрать, пока милиция еще не подросла. Но если будет драка, то куда девать девушку? Еще я думал о том, почему они пристали именно к Олегу, и о том, что же это за люди, и еще о всякой всячине, которая приходит в голову в такие минуты.

Они нас ждали в вестибюле около гардероба.

Тот, с бульдожьей физиономией, встал на пути у Олега и, помахивая красной книжечкой, властно сказал:

— Ну ты... Давай-ка документы!

— Ладно-ладно... Дай пройти... — Я попытался оттеснить плечом седоволосого, и вдруг услышал за спиной тихий голос:

— Лучше уж мне предъявите документы...

Я обернулся. Парень — почти мой ровесник — вытаскивал красную книжечку. Сколько же их за один вечер! И мне:

— Комитет государственной безопасности. Документы, пожалуйста!..

— Ага, вот, вот... — завопил спутник седоволосого. — Так их, так... Поговорите мне еще! Ух ты, гнида! — Он помахал кулаком перед лицом Олега...

— Тихо, товарищи, тихо... Разберемся, — негромко сказал парень. И опять обратился ко мне, — Документы есть при себе?

Я посмотрел на парня и неожиданно понял, что сейчас все будет нормально, что есть одно соединяющее нас с ним: возраст. Тот юношеский возраст, который делал нас сильнее и седовласого, с бульдожьей челюстью, и моих старших коллег журналистов.

— Парень, — заговорил я быстро, — что эти к нам прицепились?! Из газеты мы... Вот, смотри... — Я протянул ему свое редакционное удостоверение. — Ты посмотри, они же еле на ногах стоят...

Парень взглянул мне в лицо, потом — в удостоверение, потом снова на меня, профессионально сличая лицо с фотографией. Затем, повернувшись к старому бульдому, спросил:

— А ваши документы?..

— Мы из МВД, парень, из МВД... Ты вовремя подошел... Они там такое болтали!..

Только тут я вспомнил, с чего же все началось... Да нет, не просто так они пристали к Олегу. Все было куда интереснее. Тот, седовласый, предложил своему приятелю выпить за Сталина. И когда они чокались, Калинин прыснул. Тихо прыснул, я сказал бы, кротко... Но они это заметили. Да, вспомнил, началось все с этой усмешки Олега...

— Ладно-ладно... Давайте расходитесь, товарищи. — И, как мне показалось, парень из КГБ весело подмигнул мне.

Что было потом... Потом мы двинулись по улице... Шел снег... Улицы были в мерзком состоянии, хотя не в таком, как сейчас, конечно... Был снег, но тепло... Я не заметил, как исчез Игорь... Потом, помню, шепнул Олегу: «Давай в подворотню...» Потом на остановке толкнул девушку в дверь подошедшего троллейбуса, шепнув: «Быстро! Ночью позвоню...»

И мы шли уже вдвоем с тем парнем, который все больше и больше становился мне симпатичным, а сзади, не отставая от нас ни на шаг, — бульдожелицей со своим спутником, ругаясь уже не только на меня, но и на моего спутника...

— Я узнаю, кто у тебя начальник... Я завтра позвоню!.. Работать не умеете!.. Мышей не ловите... — что-то вроде этого бормотал старший.

А парень, не оборачиваясь и, как казалось мне, не обращая на них внимания, тихо говорил мне:

— Во менты! Ну, дают! Нажрались и дают, скажи, а?..

Я помню счастье от самого движения, которое охватило меня тогда... Мы шли по Богдана Хмельницкого, потом — по Чернышевке, не видя дороги, и я думал, как ловко все устроилось, как чертовски незаметно исчез в подворотне Олег, как вовремя подошел троллейбус, как весело я буду рассказывать об этом происшествии завтра своим друзьям, и какой замечательный парень этот чекист, что сразу все понял, оценил, сообразил, кто они, а кто мы...

Потом, помню, молодой товарищ седоволосого обогнал нас, побежал куда-то в сторону, и вдруг перед нами возник сержант в шубе и с кобурой.

— Эти, эти... — показывал молодой пальцем на нас.

— Документы, — сержант загородил нам дорогу.

И вдруг сзади — тихий и спокойный голос:

— Мне, пожалуйста, документы. Комитет государственной безопасности...

Человек в пыжиковой шапке, уже в возрасте, цепко ощупывал нас глазами...

— О... Здравствуйте... — обрадовано воскликнул мой новый знакомец, отвел в сторону своего коллегу и что-то зашептал ему в ухо...

Я стоял, слушая переругивание двух эмвэдешников, рядом как памятник невозмутимо возвышался сержант, и от обилия красных книжечек, увиденных мною на протяжении короткого вечера, кружилась голова. Да сколько же их на одной улице, на маленьком пяточке Москвы? Что же за махина такая в стране, что шаг ступишь — непременно наткнешься на чей-нибудь подозрительный взгляд? Они что, нас охраняют или от нас охраняют? Сколько же денег ухлопывается на эту ерунду?

Может быть, и об этом я думал в те минуты, впервые в своей жизни столкнувшись с представителями таинственной конторы? Может быть, юношеское воображение толкало меня тогда к другому — к образу государства, которое, как в клетку, заключено в громадины домов на площади Дзержинского?

Не знаю, не помню...

Скорее всего, я начал задумываться об этом позднее и при других обстоятельствах. Тогда же, помню, я просто радовался такому замечательному приключению.

Мой новый знакомый отлетел от своего коллеги в пыжиковой шапке и несильно подтолкнул меня:

— Ноги!.. Быстро!..

И мы пошли... Какой-то подъезд... «Видишь, здесь черный ход...» Какая-то арка... «Проходной двор — запоминай...» Какой-то переулочек... «Прямо — Солянка, но нам туда не надо...»

Быстро мелькали узкие переулочки... Иногда мой знакомец останавливался, нагибался, будто завязывая шнурок: «Вот, запомни... Делай так, чтобы убедиться, что нет слежки...» Иногда останавливался возле телефонной будки: «И телефон в таких случаях тоже помогает...» Иногда делал вид, что мы ловим такси: «Запомни, никогда не садись в первую машину...»

Меня же в тот момент охватило веселье. О, черт, как здорово! Какой парень!.. И я уже представлял себе, как познакомлю его со своими друзьями и как в каких-нибудь переделках он прибежит на помощь...

А потом парень остановился:

— Ну, хватит, урок окончен...

И вдруг что-то новое появилось в его глазах. Я даже сначала не понял, что именно. А он деловито спросил:

— Как, ты говоришь, фамилия Олега, что с тобой сидел?.. А того, второго? А девушка, она что — работает или учится?..

Он вытащил из кармана маленький блокнотик и ручку.

— Да зачем это тебе? — удивленно спросил я.

— Ну давай, давай... Как его фамилия? Он же Олег? Да, Олег?

— Ты что? Зачем?

— Да служба у меня такая, понимаешь, старик, служба...

Я уже не помню, как мы расстались. Наверное, как пишут в романах, холодно. Но хорошо помню отчаяние, охватившее меня тогда. Будто как в детстве: подарили паровоз, а потом отняли,

сказав что эта игрушка — совсем для другого мальчика... Ведь самое ценное в юности — это радость узнавания новых людей, счастье от того, что ты не одинок и что рядом, только оглянись, сотни людей, которые точно такие же, как и ты сам, и что самой судьбой вам предназначено совершить — да, всем вместе! — прекрасные и удивительные поступки!

И вдруг... Это не он, а его служба ласково улыбается тебе. Это не он, а звездочки на его невидимых погонах, внимательно всматриваются в твои глаза и вслушиваются в твои мысли.

Где сейчас тот парень? Кто он сегодня, если прошел сквозь всю череду переименований своей организации? Майор? Полковник? А может быть, уже и генерал? Вспоминает ли он встречу с наивным юношей-журналистом?

Я-то его хорошо помню и, в принципе, благодарен ему за урок, который он мне тогда преподавал. Хотя в то мгновение мне было, помню, горько и стыдно, и я с ужасом вспоминал, не сказал ли я ему что-нибудь такое, что могло навредить моим друзьям...

И вот спустя десять лет я тупо смотрел на телефон, размышляя, что же от меня понадобилось этому странному Алексею Ивановичу и его странной организации.

И тут телефон зазвонил вновь.

Казалось, что Алексей Иванович только-только взбежал вверх по лестнице, — таким прерывающимся, с одышкой был его голос:

— Нет, Юрий... Никак невозможно... Я только что от руководства... Нет... Только сегодня... Вопрос очень срочный... Чрезвычайно срочный... Никак нельзя у вас в редакции... Поймите же, к вам люди заходят... А вопрос не терпит отлагательства...

— Да что за вопрос-то такой?! Касается меня лично, как Юрия, то есть как просто человека, или как журналиста, представляющего «Литературную газету»?

— И так и так, Юрий, и так и так... Очень, очень нужно увидеться... И руководство...

— Черт с вами! — решительно заявил я, сам порадовавшись тому, как это сказал. — Только моя страсть к приключениям заставляет меня идти на эту встречу!

— Вот и чудесненько, вот и чудесненько, — возликовал Алексей Иванович.

— Где? Когда?

— Любая гостиница на выбор: «Россия», «Берлин», «Будапешт»...

Я прикинул, что ближе от редакции.

— Ладно, «Будапешт»...

— Через полчаса я вас жду.

— Да как я вас узнаю-то? — спросил я.

— Не беспокойтесь... Мы вас узнаем, узнаем... — радостно проворковал таинственный незнакомец.

Я вышел в коридор и увидел Юру Роста, выходящего из фотолаборатории.

— Юра, — попросил я его, — подстрахуй, пожалуйста... Может быть, меня хотят растворить в ванне? — И рассказал о надоедливом Алексее Ивановиче, так страстно жаждущем свидания со мной.

До «Будапешта» мы домчались в считанные минуты. Рост остановил машину недалеко от гостиницы и сказал, что посмотрит на этого человека («Ты только попроси его сразу же предъявить документы.») и дальше будет действовать смотря по обстоятельствам: или подождет меня у входа, или вернется в редакцию.

— Но учти... Растворение в ванне — процесс болезненный, — кажется, пошутил на прощание Юрий. И я отправился на встречу, которую, учитывая необычность ее проведения, вполне можно было назвать конспиративной.

Теперь такой вопрос... Вспоминаю, испытывал ли я тогда страх?

Не очень-то просто на него ответить, особенно сейчас, задним числом.

Вообще-то у меня не так давно появилась теория, согласно которой жизнь — это преодоление детских страхов. Сейчас, допустим, у меня, кажется, не осталось никаких страхов (имею, естественно, в виду страхи, испытываемые человеком по отношению к самому себе, а не за детей или друзей). Кроме, может быть, одного — перед кабинетом зубного врача. Правда, по этой теории получается, что к смерти человек подходит с таким счастьем бесстрашия, что вместо похоронного марша должен звучать марш из «Веселых ребят». Но это я сейчас так думаю, когда самоу за сорок, а на улице уже девяностые.

А каким я был тогда, в восьмидесятом? Ведь не только я был иным, но и КГБ еще оставался могущественной и очень серьез-

ной организацией. И относились к секретным службам не так, как сегодня.

Нет, точно помню, что я не испытывал страха, делая несколько шагов по направлению к гостинице. Но объясняю это только лишь одним: я уже привык тогда себя чувствовать более-менее под защитой газеты. И второе. С годами мы выработали в себе ироническое отношение к КГБ, несмотря на то, что все больше и больше убеждались во всемогуществе этой тайной организации, спрутом опутавшей страну.

В юности мы с особым гусарским шиком распевали песню Вадима Черняка про Васю Чурина:

*Дни январские белы, негорячи,  
Вот опять не тает снег на мостовой,  
Очень мерзнут на бульварах стукачи,  
Мой приятель Вася Чурин чуть живой...*

Вадим всегда утверждал, что Чурин — реальный человек, что они познакомились в шашлычной на Богдана Хмельницкого (той самой, кстати), что по пьяному застолью Вася раскрыл свою страшную тайну и после этого ловил Вадима на улицах и настойчиво зазывал выпить. Поэтому Черняку пришлось написать еще три песни про Васю Чурина и в последней почему-то отправить его в ссылку в город Гусь-Хрустальный, где (как пелось в песне), «нет ни гуся, ни хрусталя»...

Итак, страха я, скорее всего, тогда не испытывал. Но был... Как бы точнее сказать... Ну, в состоянии нервного ожидания. Да сами посудите! Ни с того ни с сего... Звонок... Спешка...

Свидание в гостинице... Черт знает что!

А вот и Алексей Иванович! — тут же определил я, заметив человека, который радостно заулыбался при виде меня. Лет сорок, лицо, не различимое в толпе... Клерк клерком...

— Вот замечательно, Юрий, вот замечательно... И чтобы вы не волновались... — и он открыл удостоверение, разделенное, как я помню, внутри на три разноцветных полосы.

Ага, правильно... Алексей Иванович... КГБ... Майор... О, майор!..

Я, помню, долго рассматривал удостоверение — больше для Юрия Роста, который из «жигулей» наблюдал за нашей встречей. А потом спросил:

— Ну и где же будем разговаривать?

— Вот, пожалуйста. — Он гостеприимно распахнул двери гостиницы.

А дальше произошла замечательная сцена.

Дело в том, что из всех врагов, которые у меня есть, на первом месте стоят швейцары. Сколько я себя помню, они меня никогда никуда не пускают, а если и пускают, то долго подозрительно смотрят вслед. Я знаю, что не умею с ними разговаривать, и у меня, как ни стараюсь, никогда не получается пронести себя мимо них как важный государственный груз, не подлежащий таможенному досмотру.

Вот и тогда, как только майор, пропуская меня вперед, открыл дверь гостиницы, наперерез мне бросился швейцар:

— Вы куда! Куда!..

— Товарищ со мной, — тихо произнес Алексей Иванович.

— А вы сами кто такой! — вдруг заартачился швейцар, перегораживая путь уже майору в штатском.

Я, честно, с некоторым злорадством наблюдал эту сцену, но в то же время с интересом ждал, как же выйдет из создавшегося положения Алексей Иванович, и не пригодится ли этот опыт впоследствии мне самому.

Майор злобно бросил швейцару:

— Дайте пройти! Уберите руки!

— Что значит, уберите руки! — взорвался швейцар. — Визитку!

Тогда майор, бросив на меня извиняющийся взгляд, подошел вплотную к швейцару и шепнул несколько заветных слов. Которые, правда, бдительного стража не испугали, потому что, пропуская майора, он недовольно буркнул:

— Так бы сразу и сказали! — И уже мне: — А вы куда?

— Да со мной товарищ, со мной... — бросил ему майор и, уже когда мы миновали вход, выругался — Вот болван... Бывают же такие болваны!

И, когда мы уже поднимались по лестнице, вдруг добавил:

— Я этих швейцаров, если откровенно — то просто ненавижу, — чем тут же, естественно, вызвал во мне чуть ли не братскую симпатию.

Мы, помню, шли какими-то переходами, поднимались по лестнице, потом снова опускались.

— Я, Алексей Иванович, вот так вот еще ни разу ни с кем не встречался, — сказал я ему. — Чтобы так! Тайно. В гостинице.

— Неужели первый раз? Да не может быть! — как показалось мне, искренне удивился майор.

— И вообще, — добавил я, — с вашими никогда и не встречался. Я больше с милицией.

— Да не может быть! Неужели впервые?! — снова удивился он, видимо, не поверив.

Наконец, мы остановились у дверей какого-то номера, и майор без стука вошел. Навстречу поднялся полный пожилой человек, званием, судя по возрасту, уже давно не майор.

— Вот и Юрий... а это... — И Алексей Иванович скороговоркой назвал мне какое-то имя-отчество, которое я так и не смог разобрать.

— У нас здесь товарищ живет... — кивнул старший на девственно чистую комнату. — Но сейчас он по Москве гуляет, осматривает достопримечательности, вот мы и воспользовались его номером.

Солгав, он не покраснел.

Ну, а дальше... Дальше — самое трудное для меня: пересказать разговор, состоящий из междометий и ничего не значащих вопросов.

Помню, с порога я сказал:

— Когда я шел к вам, то все время думал, какая из иностранных разведок меня завербовала?..

На что тут же последовал ответ: да что вы! да как вы могли подумать!

Дальше меня спросили:

— Ну, как ваша жизнь? — И когда я ответил, что жизнь как жизнь, то последовал следующий вопрос: «Ну а вообще?..»

Я, естественно, ответил, что и «вообще» ничего.

Потом: «Как дома? Как на работе? Трудно поднимать острые темы?» И прочая ерунда.

Примерно в эти годы замечательный детский писатель Эдуард Успенский написал в КГБ письмо, в котором обвинил генерала Абрамова, тогдашнего руководителя пятого, идеологического, управления в покрывательстве всяких темных делишек одного из писательских генералов. Когда Эдика вызвали в КГБ, то первым

делом спросили, как у него со здоровьем. «А здесь у вас что, поликлиника?» — рассвирепел Успенский.

Так вот. Меня не спрашивали даже о здоровье. Меня вообще ни о чем не спрашивали. Не называли никаких фамилий и от меня никаких фамилий не требовали.

Мы сидели и лениво разговаривали, как случайно встретившиеся в вагоне поезда люди. И дело, как я чувствовал, уже шло к тому, чтобы обменяться мнением о погоде и о видах на урожай, я уже начал нетерпеливо поглядывать на часы, когда старший сделал эффектную паузу, бросил на меня долгий взгляд и спросил:

— Скажите, Юрий, как вы оцениваете влияние буддизма на секции каратэ?

— Чего? — удивился я.

Вопрос был повторен. И пока я объяснял, что никакого отношения не имею ни к буддизму, ни к каратэ, что ни разу в жизни — разве что по телевизору — не видел буддистского монаха и сам каратэ не занимаюсь, лица моих собеседников удивленно вытягивались.

— Как же так... — растерялся Алексей Иванович. — А нам сказали, что по этому вопросу вы большой специалист!

— Так из-за этой ерунды весь ваш маскарад? Эта спешка? Телефонные звонки? Гостиница? Конспиративная встреча? — точно так же, помню, растерялся и я сам...

В ответ раздалось что-то нечленораздельное о том, как тяжело сейчас с молодежью, что информация на нуле, а сотрудники — так мне откровенно и сказали — в силу возраста и специфических стрижек никак не могут проникнуть в различные молодежные тусовки.

— Ну, тогда я пошел... — решительно сказал я.

И уже возле выхода меня догнал Алексей Иванович, буквально прижав к дверям ванной комнаты. Понизив голос, он выдохнул:

— Но, Юрий, просьба. О нашей встрече — никому ни слова!

— А уж это нет! — помню, с гордостью ответил я. — Это уж я никак не могу. Я не Вася с улицы, а спецкор «Литгазеты», и первым делом обязан, — я специально подчеркнул это слово, — обязан сообщить о нашем контакте руководителям редакции.

Слово «контакт» я тоже подчеркнул.

— Ну зачем же, Юрий...

С этим мы и расстались.

Я радостный возвратился в редакцию и, увидев в коридоре Аркадия Удальцова, тогдашнего нашего зама главного, сказал, что только-только из гостиницы «Будапешт», где состоялась такая вот идиотская беседа.

— Здесь что-то не то... — протянул Удальцов. — Может, они хотят из тебя сделать секретного агента?

Потом я рассказывал эту историю множество раз: в командировках, в застольях, на пляже, друзьям и даже малознакомым попутчикам в поездах.

И все долго смеялись.

Кстати, майор Алексей Иванович звонил мне еще дважды, в том самом, 1980-м. Один раз он мне почему-то радостно сообщил, что только что вернулся из отпуска, второй — признался, что очень ему нравится, как я пишу, и попросил назвать номера газет, в которых были мои статьи.

С тех пор он исчез...

До сих пор не могу понять, что же им было тогда от меня надо? Действительно ли их интересовала эта ерунда про буддизм и каратэ или просто нужен был повод для беседы?

Как-то я рассказал эту историю ленинградскому писателю Константину Азадовскому (о его судьбе еще пойдет речь в этой книге), который сам по милости КГБ отсидел два года на Колыме.

По мнению Кости, вот так же, как и меня, вызывали и вызывают многих, но большинство предпочитает о подобных встречах не рассказывать. Почему? Да потому, по его мнению, что их заставляют молчать под угрозой компрометации.

Не знаю, могли ли Алексей Иванович со своим начальником чем-то мне пригрозить в том, восьмидесятом, и потом — сделать своим осведомителем. Не знаю, не уверен...

Скорее всего, больше они никогда не приглашали на конспиративные встречи по другой причине: слишком быстро и слишком многим я рассказал об этой странной встрече. Вполне возможно, они решили, что с таким трепачом уж лучше и не связываться.

Не знаю, не знаю... Им было виднее.

Но вот что поразило меня сейчас в себе самом, когда вдруг ударился в собственные воспоминания: как отчетливо сохранились в памяти эти две встречи! Какое было время года — помню! Какая погода стояла на улице! Время суток, место встреч, с кем

был, о чем разговаривали — все-все! Даже запахи — именно те запахи, тех лет, — и то, кажется, если чуть-чуть постараюсь, мгновенно почувствую.

А что, эти встречи были из числа главных в моей жизни? Да абсолютно нет. Больше того — они из тех, которые и не должны остаться в памяти. Мало ли с кем сводила судьба! Уж не говорю, со сколькими чиновниками из разных министерств и ведомств мне приходилось видеться. Так сейчас хоть убей — не вспомню, ни что это были за чиновники, ни о чем мы с ними говорили и для чего встречались.

А эти встречи — помню. А эти — не позабыл.

Я это к тому, что сижу сейчас, читаю письма-исповеди, пришедшие ко мне, и в них — то же самое!

Зоя Федоровна Суржина помнит, что в местную, свердловскую Лубянку ее вызвали к 15.30. А это когда было — в 1951 году! Не просто — днем и не просто — после полудня, а именно к 15.30...

А.С. Гуревич не забыл, что каюта, в которую его вызвал особист, чтобы предложить «стучать» на товарищей (он служил на корабле в пятидесятые годы), имела номер А-40ю.

Иля Анатольевна Штейн пишет, что свидания ей назначались на Кудринской площади — так в 1933 году называлась площадь Восстания (до того, как ее недавно снова сделали Кудринской).

Или уж совсем невероятный факт:

«Мне было указано, куда ежемесячно звонить по телефону.

Номер этого телефона я помню даже спустя 55 лет: Некрасовская АТС 2-18-89» — это пишет агент ОГПУ Н., сейчас уже древний старик.

Нет, не просто так, не случайно выхватывает память из всего накопившегося за жизнь мусора именно эти мгновения. И мне тоже — нечего удивленно разводить руками, а что это я помню подобную ерунду?

Да нет, помнишь, потому что и для тебя это была не ерунда. Это сейчас веселишься, а тогда, в юности, убежден, сам воспринимал эти странные встречи куда более остро, и, конечно, тревога охватывала тогда еще не очень окрепшую твою душу.

А вот еще одна защитная реакция памяти.

Из письма в письмо повторялось, что те, кто вербовал, имели «цепкий, колющий взгляд» и «вкрадчивый голос». Да и сами по себе чекисты с первого же знакомства вызывали омерзение.

«Странными казались его лицо и фигура, словно выращивали человека в парнике или накачивали гормональными препаратами, отчего он имел щечки младенца, приличный животик и глаза, не выражающие никакого чувства» (молодой белорусский писатель Славомир Адамович).

«Низкорослый... Короткие ноги. Круглое одутловатое лицо. Пристальные свинячьи глазки» (московский актер А.А. Головин).

Еще десятки подобных портретов чекистов нашел я в исповедях!

Да что, не было, что ли, среди них гусаров? Не было поэтов? Не любили их женщины? Не было среди них рубах-парней и заводил компаний? Не пели разве они в своих компаниях Вертинского в 30-е или Высоцкого в 70-е? Неужели только физическими уродами заполнялись коридоры больших и малых Лубянок во времена ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ?..

В другом, наверное, дело.

В страхе перед НИМИ!

«У меня подкосились ноги...», «Я похолодел...», «Ладони тут же стали влажными...», «Я замерла от ужаса...» — подчеркиваю фразы из писем секретных агентов, первых попавшихся, лежащих сейчас передо мной на столе.

Именно страх перед НИМИ превращал ИХ, людей, возможно прелестных в быту или замечательных в дружеских компаниях, в монстров, «накачанных гормональными препаратами».

А страх, переживаемый тобой, может иметь только такое лицо.

Хотя бы этим оправдаться сегодня за тех, кого предал, кого продал, кому изменил...

Нет, зря я так написал! Не для того, чтобы бросить в кого-то камень, я взялся за эту книгу.

И те, кто ждал на конспиративных квартирах, и те, кто, робея, поднимался по лестнице, чтобы прийти на эту конспиративную встречу, — все были частью одной безумной машины.

И ты сейчас, как школьник на уроке физики, пытаешься понять, почему одно колесико приводит в движение другое, другое — третье.

И вот уже все завертелось...

И человек как в метели, которая кружит, кружит и кружит, и не видно дороги, и не видно просвета.

## **ОДИНОКИЙ ГОЛОС В ХОРЕ**

**Москва. 1931 год**

«В октябре 1931 года я поступила в Московский гидрометеорологический институт.

Где-то в первую декаду учебы на листке из школьной тетрадки появилось объявление, в котором было написано восемь фамилий, в том числе и моя. Всем нам предлагалось зайти в отдел кадров. Каково же было мое изумление, когда мне сообщили, что я должна зайти на Лубянку. Правда, в то время слово «Лубянка» еще не звучало так зловеще, как в последующие годы, хотя и радости, конечно, не вызывало.

Я решила, что меня будут привлекать за побег из Кемеровского рабфака, и решила на чистосердечное признание о побеге. Дело в том, что в 1928 году, приехав в Кемерово, я поступила на курсы штукатуров. В том же году там открылся вечерний трехгодичный рабфак. Два года я работала и училась, а на третьем курсе нас перевели на дневное отделение со стипендией в десять рублей.

В Кемерове было три шахты, кадры шахтеров состояли частично из сезонников, которые к началу полевых работ разбегались, и нас, студентов, бросали на прорыв. Так что мы про шахты знали не понаслышке. Тогда же я решила, что горняком не буду.

В июле 1931 года я закончила рабфак, и чтобы не работать на шахте, мы, несколько рабфаковцев, решили бежать.

В это время в Кемерове существовало общество путешествий и экскурсий. Там можно было получить путевку, дающую право на льготный проезд по железной дороге и двухразовое питание по льготной цене. Но оказалось, руководство рабфака, зная о настроениях студентов, сообщило в бюро путешествий, чтоб нам, окончившим рабфак, путевок не давать. Тогда один парень посоветовал нам написать, что мы являемся рабочими коксохимзавода и что мы едем отдыхать в свой законный отпуск.

Так мы и оказались в Москве.

И вот, идя на Лубянку, я думала, что меня вызывают из-за этого, и готова была во всем признаться.

В бюро пропусков мне выписали пропуск, и началось мое шествие сквозь ряды охраны. Часовые стояли друг против друга на рас-

стоянии 10–15 шагов, и каждая пара проверяла пропуск и направляла дальше.

Путь казался необыкновенно долгим. И, наконец, я дошла до нужного кабинета на 4-м этаже. За столом сидел выхоленный, откормленный человек в сером костюме. Стал расспрашивать, кто я и откуда, хотя анкету мою, конечно, до этого изучил.

Мой отец был Георгиевским кавалером, погиб на мировой войне, мать работала уборщицей. И он, зная об этом, начал говорить о капиталистическом окружении, враждебном отношении внешних и внутренних врагов, о революционной бдительности и т.д.

Я пыталась рассказать о своем побеге из Кемерово, но поняла, что это его совсем не интересовало. Он мне прямо предложил стать секретным сотрудником. Я отказывалась как могла, ссылаясь на свой мягкий характер и что просто не смогу выполнить его задания. Тогда он перешел к посулам, говоря о льготах, которые я буду иметь: повышенную стипендию, хорошее общежитие, всяческую помощь при сдаче экзаменов и т.д. И после долгих уговоров я согласилась.

Что я должна была делать? Слушать враждебные разговоры, запоминать, кто при этом присутствовал, самой задавать провокационные вопросы. Я должна была заводить связи с подозрительными лицами. «Не волнуйтесь, — добавил он, — деньги мы вам заплатим».

Он предложил мне кличку «Таня», дал номер телефона и заставил его несколько раз повторить — записывать его было нельзя.

Так я вышла из Лубянки «Таней», но тут же сама себе сказала, что звонить никуда не буду.

И, видимо, он забыл про меня, чему я была несказанно рада.

В ноябре 1932 года я вышла замуж за однокурсника, и только примерно в первой половине 1933 года меня нашли снова. Дали мне нагоняй, почему я не звонила и не проявляла бдительность. Но к тому времени я уже была беременной, и он в конце концов отпустил меня с миром.

Так закончилась, не начавшись, моя карьера стукача.

Ну а остальные, которых вместе со мной вызывали тогда на Лубянку? Не знаю, как они вели себя. Знаю только, что за время нашей учебы был арестован один студент из нашего потока и двое преподавателей.

*З.П. Былинкина, 82 года.»*

## **ПОРТРЕТЫ НА ФОНЕ ПЕЙЗАЖА: ЮНОША С КИНОСТУДИИ**

Нет, нет... Уж чего-чего, а этого я никогда не хотел... Меня абсолютно не интересовало, кто из людей, которых я знал или с которыми был близок, одновременно был близок с НИМИ. Кто, покинув наше застолье, набирал лишь ему известный номер телефона и, захлебываясь от переполнявших его знаний, пересказывал наши разговоры... Кто, оглядываясь, входил в подъезд, где на конспиративной квартире ждал его улыбающийся куратор... Кто потом не спал ночами, проклиная распроклятую свою судьбу, заставившую его пойти к НИМ в услужение...

Как часто я слышал от своих друзей и знакомых: «Вот бы посмотреть на свое досье! Вот бы узнать ИХ имена!..»

Нет-нет... Я этого никогда не хотел, больше всего на свете страшась того, что вдруг имя, которое я там увижу, больно режет по сердцу.

Да здравствует успокоительное незнание, да здравствует вера в человечество, и пусть все остальное так и останется по другую сторону нормального течения жизни, как неопознанные летающие объекты, в существование которых я не верю и не собираюсь верить, пока сам не пощупаю их руками и не увижу глазами.

ОНИ представлялись мне безликой толпой, как в метро в часы пик: и сам ты сваливаешься от усталости и тебе не до того, чтобы рассматривать прекрасные человеческие лица.

И когда ОНИ впервые (после того газетного обращения) стали переступать порог моей комнаты на четвертом этаже редакции: инженер, священник, студент, чиновник, актер, хиппи, — с каким жадным любопытством я рассматривал ИХ. Почти так же, как в детстве (не избалованном, как сегодня, впечатлениями от прикосновения к незнакомым чужим мирам), я смотрел на иностранцев, случайно встреченных на улице: а что, они едят точно так же? что, они ночами спят, а днем бодрствуют? чувствуют ли они боль от обиды или от тоски, сжимающей сердце?

Даже когда я привыкну к ИХ лицам, к ИХ словам — то написанным, то произнесенным, к ИХ слезам, наконец (да-да, и слезы тоже были, правда, лишь однажды. Впрочем, когда я, чтобы успокоить захлебывающегося в рыданиях человека, нагнулся над ним и прикоснулся к его плечу, то почувствовал стойкий запах перегара и понял, что этот мой посетитель мертвецки пьян), — и то все равно для меня ОНИ оставались все-таки людьми посторонними, никак и никогда не пересекающимися с собственной моей жизнью.

Да, естественно, они были людьми во плоти и крови, но я их прежде всего воспринимал в качестве персонажей бесконечно длящегося спектакля, где ОНИ просто играли написанную для них роль в облики «Корчагина», «Стерегающего», «Тани», «Феликса», «Островского», «Синягина», «Алика», «Сергеевой», «Саши», «Моски», «Кларины», «Московского» и даже «Пушкина», «Достоевского» и «Чехова» (что это была за страсть у КГБ давать своим секретным агентам имена классиков отечественной литературы? С «Пушкиным» и «Достоевским» я познакомился лично, а от «Чехова» получил письмо... Хотя возможно, существуют и агенты с именами ныне живущих? Агент «Куняев», агент «Бондарев», агент «Проханов»?)

Да, так было до тех пор, пока пуля, как говорится, не просвистела прямо возле виска и я не познакомился с личным, можно сказать — персональным агентом.

Стояла уже весна 1992 года...

К этому времени я по уши залез в бесчисленные истории стучаек и сексотов и иногда, читая или слушая очередную исповедь, ловил себя на том, что тот первый — нервный и напряженный — интерес к ним уже пропал. Я с ужасом стал подмечать в себе участливое равнодушие врача, с мимолетным вниманием отмечающего даже при встрече с человеком, здоровым полностью, признаки болезни, тихо изъедающей его.

Да, так было до того дня, когда я познакомился с НИМ. Уже с НИМ — моим.

Познакомился — и снова стало близко, горячо...

Для меня эта история началась поздним весенним вечером, да нет, уже за полночь (помню, была какая-то гнусная слякотная погода за окном), с телефонного звонка.

— Алло... Извините, что звоню домой... Но это важно... Мы не могли бы сейчас увидеться? — услышал я в трубке молодой голос. — Сегодня, сейчас...

Я привык к неожиданным телефонным звонкам и не боюсь ночных перемещений по городу: бросок на улицу, такси, дорога, ночная Москва, чужой свет за окнами, выхваченные фарами лица прохожих — все это давало ощущение жизни даже тогда, когда казалось, что жизнь начинает затухать.

Но тут я посмотрел за окно, на хлеставшие в стекло крупные капли дождя, на черное небо — нет, только не сегодня, только не сейчас.

Я почувствовал, что человек, набравший мой номер, разочарован отказом.

— Ну, давайте утром... До утра недалеко...

И тогда он произнес слова, значение которых я в тот момент не понял:

— У меня остался всего лишь один день... — И после паузы: — Тогда обязательно завтра утром, потому что завтрашний день у меня на самом деле последний.

И какая-то новая интонация послышалась мне: уже не растерянная, а твердая, уже не просящая, а требующая. И я, помню, подумал: «О, брат... Да у тебя стряслось что-то серьезное...»

Потом я долго не мог уснуть, уже сожалея о своем отказе.

И даже стал с нетерпением ждать утра, не подозревая, какой сюрприз оно мне принесет...

Он появился в редакции чуть позже десяти, едва я сам успел переступить порог своей комнаты. Как я и предполагал, он действительно был молод — лет двадцать пять, не больше. Интеллигентное лицо медленно взрослеющего юноши из хорошей семьи.

— Я звонил вам вчера ночью...

— Привет... Ну? Садись...

— Спасибо... — И обернувшись — Можно закрыть дверь?

— Да закрывай... Что стряслось?

Он закрыл дверь, замер, так и не сев в кресло, судорожно глотнул и произнес, глядя вверх меня, за окно, где темнели развалины соседнего с редакцией здания:

— Я хочу, чтобы вы простили меня... Пять лет назад я написал на вас донос в КГБ.

От неожиданности информации я даже, вспоминаю, засмеялся:

— На меня? Ты ничего не перепутал? Я тебя, парень, вижу первый раз в жизни...

И он заговорил — быстро, словно опасаясь, что я не дослушаю, прерву на полуслове:

— Я тогда учился и работал на киностудии Горького... А вы у нас выступали с лекцией. О молодежном движении. Мне понравилось. Но когда я рассказал своему куратору о том, что вы у нас были...

— Куратору?

— Я стал агентом КГБ, когда еще учился на первом курсе... — И так же не глядя на меня, продолжал этот свой странный рассказ:

— Да... И куратор потребовал, чтобы я подробно написал, о чем вы нам говорили... Я сначала отказывался... Но он меня заставил... Он сказал, что с вами ничего не сделают... Им просто надо знать... Я написал... А потом я прочитал статью кинорежиссера Инны Туманян... Она написала, что после выступления на студии одного известного журналиста его вызвали на ковер. В горлом партии... Я понял, что это о вас... И обо мне... Я тут же бросился к своему куратору... Я нашел его... Мы увиделись на конспиративной квартире... Он был не один, а еще с кем-то... Я его спросил: «Вы же говорили, что это только для вашей информации... Что с ним, то есть с вами, — он облизнул губы, — ничего не будет!» А они засмеялись... Оба... И куратор сказал: «Что ты волнуешься! Мы же его не посадили...»

Он говорил короткими, отрывистыми фразами, и я мог только предположить, как трудно ему дался и тот, вчерашний ночной звонок, и сегодняшний утренний визит, и слова, которые он произносит, глядя куда-то поверх меня — туда, туда, далеко-далеко, в известное лишь ему пространство жизни, где ему суждено было упасть и в котором ему захотелось подняться.

Он замолчал и потом, после паузы, произнес:

— Завтра утром я улетаю... Я эмигрирую... Наверное, навсегда... Я не хочу здесь больше оставаться... Я буду жить в Израиле... Наверное, я никогда вас больше не увижу... Если можно... Простите меня...

Лишь в этом месте я мельком взглянул на него и снова опустил глаза... Не потому, конечно, что мне было неприятно смотреть на его лицо — лицо хорошо воспитанного юноши из интеллигентной еврейской семьи. Нет, все совсем по-другому! И злость не закипела, и презрение не обожгло, то есть ничего такого трагическо-карнавального в душе не возникло. Скорее всего, я просто растерялся, как теряешься, не знаешь, что сказать в ответ, когда

вдруг случайный попутчик в поезде неожиданно распахнет перед тобой душу...

Да, парень, ну а что же мне теперь делать?..

То выступление на киностудии имени Горького и все последовавшее за ним я тут же вспомнил. Хотя сам этот случай не настолько сильно запечатлелся в памяти, чтобы считать его какой-то вехой в жизни. Так, какой-то бред.

А суть дела (да, именно «дела», как я потом убедился, увидев в руках у чиновников, допрашивающих меня, пухлую папку) заключалась в следующем.

Еще в конце занимательной брежневской эпохи я начал исследовать различные подростковые группировки, которые именно тогда (а с еще большей интенсивностью — при Андропове, Черненко и в начале горбачевской эры) стали как грибы вырастать на девственной советской земле. Были бы они просто хулиганами — было бы все ясно и понятно. Или диссидентами — тоже уже по привычной схеме разобраться с ними не составляло бы труда. Но они были не теми и не другими — они были «неформалами», самым названием противопоставляя себя официальным комсомольским организациям.

Кто только не появлялся, в каких одеждах, под какими названиями, с какими прическами, прикидами и колокольчиками на штанах! И если с теми же футбольными фанатами было более-менее все ясно, когда они начинали драки между собой или переворачивали после матча машины, то когда те же фанаты устраивали многотысячные демонстрации в центре Москвы, начальству в их глупых лозунгах, выкрикиваемых многотысячным хором, «Спартак — чемпион!», чудилось посягательство на существующий строй.

И, в принципе, они не так уж были и не правы.

Как животные в минуты опасности, ОНИ поняли, что естественная смена поколения (то есть приход первых в советской истории подростков, чьи отцы не только не воевали, но и не были арестованы; — на арену общественной жизни выходило «непоротое поколение») неминуемо приведет к их собственному разрушению. Ведь эти ребята были лишены того, что долгое время являлось фундаментом Системы, — страха.

И тогда-то все смешалось в домах на Старой площади (там, где располагался ЦК КПСС), и на Новой площади (там, где ЦК ВЛКСМ), и, естественно, на площади Дзержинского, в КГБ.

Появление этого нового, странного, непуганого поколения настолько обеспокоило власти, что в структуре КГБ был впервые создан специальный молодежный отдел.

Сейчас мы все уже как-то позабыли, что, как говорится, первыми ласточками свободы стали именно дети, а не отцы. Именно к фанатам, рокерам, панкам, металлистам, хиппи (сколько их еще тогда, в начале восьмидесятых, появилось, и каких!) приклеили слово «неформал», а не к «Демсоюзу» или клубам избирателей!

Дети показали отцам: да, можно выйти на демонстрацию не только в «майские» или «октябрьские» — и не только с разрешения властей, но и по собственной воле, слушаясь своего собственного чувства. Это уже потом их отцы, матери, бабушки и дедушки заполняли улицы и площади на многочисленных митингах, и тогда-то дети ушли в сторону, как и бывает обычно во все времена, в вечном противостоянии поколений.

Да, их тусовки не носили политического характера последующих митингов, да, они не кричали «Долой КПСС», да и самиздат они тоже вряд ли читали, не доверяя ни тем, ни этим, противопоставляя себя всему, что было вокруг.

Но уже то, что их, новых, становилось все больше и больше и что они таким ярким пятном выделялись на общем сером фоне, — уже одно это заставило КГБ посчитать «работу с молодежью» одним из своих главных приоритетов.

Я столкнулся с этим «приоритетом» едва ли не в первый день, когда, опубликовав в «Литгазете» номер телефона для прямой связи с юными «неформалами», включил эту «горячую линию».

— Подполковник КГБ Мищенко... — в очередной раз подняв телефонную трубку, услышал я недовольный голос, принадлежащий явно не хиппи или панку. И тут же с налету:

— Что это вы себе позволяете!? Мы еще с вами разберемся! Вы что, вздумали создать новый комсомол? — И что-то еще такое, грубоистерическое.

Я зло сказал подполковнику, что он ворвался в молодежную линию, и попросил его положить телефонную трубку, добавив, что если он хочет со мной о чем-то переговорить, то сможет это сделать в другой день и по моему городскому телефону. «Мы с вами еще разберемся!» — рывкнул он, и я даже почувствовал, как шмякнулась на рычаг трубка на том конце провода.

Разбирались ли они — не знаю. Как-то я прочитал в «Московском комсомольце», что, листая архивы комсомольского опера-

тивного отряда (а это была официальная школа для стукачей), журналист «МК» наткнулся на документ, имеющий к этим «разборкам» прямое отношение. Юный сексот сообщал своим начальникам, что некий студент философского факультета Саша «регулярно встречается со спецкором «Литературной газеты» Щекочихиным в кафе «Турист» и там получает инструкции по организации неформального молодежного движения».

Сколько я ни вспоминал, что это за студент Саша, — так и не вспомнил. Да и где в Москве находится кафе «Турист» — до сих пор не знаю. В общем, чушь какая-то несусветная.

Но в куда более серьезные приключения попадали сами ребята, на которых Лубянка положила глаз. Правда, как это обычно у нас происходит, все это чаще всего принимало фарсовый характер.

Помню замечательную историю Никиты, одного из лидеров спартаковских фанатов. Когда его призвали в армию, то КГБ тут же не преминул сообщить воинским начальникам, что за птица залетела под славные знамена Советских Вооруженных Сил.

Без смеха он не мог потом вспоминать свой первый разговор с московским военкомом, когда тот долго топал на него ногами и кричал, с трудом выговаривая непривычные для него слова: «панки», «хиппи», «рокеры», «металлисты», а потом, откричавшись, сказал ему: «Понял? Так что ты мне эту гадость в Советской Армии не разводи, а то в бараний рог скрутим!»

И — скрутили.

Мало того, что загнали в какую-то сибирскую тьмутаракань, мало того, что в стройбат (а всех мало-мальски значимых лидеров в подростковой среде загоняли в этот самый грязный во всех значениях этого слова род войск), но и там не оставили в части, а сунули куда-то в лес, в кочегарку, в которой он должен был постоянно поддерживать огонь, сам не понимая, зачем и почему.

И вот в один прекрасный день, когда Никита тоскливо глядел на опостылевшую чугунную печь, вдруг на раздолбленной лесной дороге, медленно переваливаясь, появилась «волга», прекрасная в своей ослепительной черноте.

Из «волги» выпрыгнули аккуратные молодые люди в абсолютных штатских костюмах и, даже не дав Никите переодеться, засунули его в машину и привезли в районный отдел КГБ. Там, напоив его чаем с печеньем, отвели в кабинет районного начальника, который ему откровенно сказал: «Понимаешь, сынок, здесь нам

указание дали работать с этими панками, — сделал он ударение на первом слоге, — с хиппи всякими и остальными. А кто они такие? С чем их едят? Ты уж давай расскажи мне, что это такое...»

И Никита в течение часов пяти просвещал обескураженного новым поручением районного кагэбешного начальника (а городок был маленький, затерянный в сибирских лесах, и думаю, что появление на его улицах хиппи было бы воспринято местным населением точно так же, как визит инопланетянина), почему одни ходят нечесаными, а другие выстригают затылки, третьи цепляют на штаны колокольчики, а четвертые скандируют: «Спар-так — чем-пи-он»...

В общем, потеха да и только.

Но КГБ относился к этой потехе с маниакальной серьезностью.

И, конечно, мы в редакции не могли это не чувствовать.

Трижды снимала цензура — с подачи «друзей» с Лубянки, конечно, — уже из сверстанной «Литгазеты» страницу прямых диалогов с разношерстными представителями молодежных группировок, которую я озаглавил «Алло, мы вас слышим!..», и я помню тупое отчаяние, которое охватывало меня в те дни, когда я смотрел на распятую на стене газетную страницу, так и не дошедшую до читателя.

Но тем не менее каким-то заметкам об этих новых ребятах удавалось проскальзывать, и потому, наверное, меня постоянно приглашали рассказать подробнее, что же происходит сегодня с молодежью.

Одна из таких встреч, отголосок которой вдруг возник пять лет спустя с визитом этого странного агента КГБ, была именно на киностудии имени Горького.

Помню, спустя несколько дней после этого выступления меня встретил в коридоре Олег Прудков, бессменный редакционный парторг. «Что это вы там... — он сделал многозначительную паузу, — наговорили на киностудии?»

Я куда-то бежал и, особенно не придав значения этим словам, что-то нечленораздельное буркнул в ответ, скорее всего через минуту и не вспомнив об этом разговоре.

Но спустя день или два парторг вызвал меня и голосом, в котором одновременно звучали отчаяние и отвага, произнес: «Так... Завтра вас вызывают в горком партии. И меня заодно!»

О эти священные слова тех лет: ЦК, горком, партконтроль, парткомиссия! Генеральный секретарь (да-да, «Генеральный» непременно с большой буквы — если даже сам забудешь, поправит корректура), член Политбюро (да, и «Политбюро» — тоже с большой, непременно с большой), «строгий выговор с занесением в учетную карточку», «партбилет на стол», «прошу принять меня в ряды», «надо очистить ряды от...», «Ленинский зачет», «доцент кафедры марксизма-ленинизма», «Партия — наш рулевой», «Коммунизм неизбежен» (из всех виданных мною лозунгов этот для меня был самым любимым, соперничая, может быть, лишь с еще одним, который я однажды обнаружил при въезде в кубанскую станицу: «Снесем миллион яиц!»). А дантовские трагедии из-за потери партбилета, сердечные приступы при исключении из партии: рассказывали, что на заседаниях Комитета партийного контроля при ЦК КПСС непременно присутствовала медсестра со шприцем и камфорой на случай, если кто-нибудь бабахнется в обморок при словах «партбилет на стол».

Сейчас во все это уже трудно поверить, можно лишь плакать или смеяться над иллюзиями одурманенных миллионов и миллионов, но я помню, как уже позже — не у нас, в Польше, — знакомая коллега сказала мне: «Ты знаешь, когда я поняла, что ЭТО закончилось и не вернется? Когда, вернувшись из какой-то командировки, взяла газету и на последней(!) странице увидела набранное мелким шрифтом сообщение о том, что прошел пленум ЦК ПОРП. Сначала я не поверила своим глазам, еще раз перечитала текст, даже не вдумываясь в смысл, и сказала сама себе: «Ну вот, наконец, и все...»

Да, но это там, в Польше. А у нас в стране под ЭТИМ рождалось, жило и умирало тремя поколениями больше, чем в той же Польше, и уже потому-то казалось, что по-иному нельзя, невозможно, невысказано, и жизнь страны определялась не самими людьми — их чувствами, желаниями, поступками, а только тем, что скажет один человек в Кремле и что подхватит какая-то жалкая тысяча в двух шагах от Кремля, в серых громадинах партийных бастаионов на Старой площади...

Так вот, в один из таких домов, который занимал МГК КПСС, мы и шли в то утро с нашим парторгом.

Бюро пропусков, подъезд, цепкий взгляд гэбистского прапорщика, ковровая дорожка в лифте, оглушающая тишина в коридоре...

Подробности разговора из памяти выпали. Помню, что нас встретили двое, что оба — молодые, что говорил один, а другой листал какую-то папку, время от времени бросая на меня многозначительные взгляды, что мое выступление на киностудии было пересказано более-менее подробно (это меня несколько удивило: вот память у людей, я бы сам лучше не пересказал), что снова, как когда-то от гэбистского подполковника, я услышал несусветную чушь о том, не собираюсь ли создавать новый комсомол (будто одного, уже дышащего на ладан, было мало!).

Потом, в конце разговора, мне было сказано что-то вроде: «Мы вас предупреждаем»...

Но шел уже 1986 год, время первых горбачевских надежд, и потому серьезно это предупреждение не прозвучало ни для меня, ни для них самих. И даже мне показалось, что они облегченно вздохнули, когда мы направились к двери.

Помню только, когда я рассказал об этом вызове на ковер кинорежиссеру Инне Туманян, она со своим горячим армянским темпераментом переполошила всю студию, и там долго обсуждали, кто же настучал, греша то на какую-то неведомую девушку-комсомолку, то на какого-то старика оператора, члена парткома.

И вдруг, спустя столько лет — этот парень.

История его сотрудничества с КГБ в принципе оказалась довольно банальной, хотя и с некоторым чисто национальным оттенком.

Парень — еврей, и первый его вербовщик (в звании не то подполковника, не то полковника) был тоже евреем. Разговор при их первой встрече шел о следующем: «Вы знаете, что такое общество «Память», и оно представляет опасность для всей страны, но для нас с вами — в особенности. Западные спецслужбы крайне заинтересованы в дестабилизации нашего государства и для этого могут пойти на разные провокации и в первую очередь на то, чтобы воздействовать на еврейскую молодежь, пытаясь вовлечь ее в крайне националистические, сионистские организации. А это может дать «Памяти» очень мощный стимул для развития. Потому-то мы и хотим, чтобы вы стали нашим союзником».

Что-то примерно такое умудренный опытом гэбист внушал юноше-первокурснику. И внушил. Дело кончилось согласием стать агентом, подпиской, конспиративной квартирой и так далее.

Но самое интересное, как рассказал мне этот парень, после того как подписка была взята, больше он с этим полковником ни разу не встречался. И о «Памяти» больше никто с ним не разговаривал. Вопросы были совсем другие: кто из профессоров как себя ведет, о чем говорит, какие анекдоты рассказывает, кто какие вражеские голоса слушает, то есть сообщения о всякой ерунде, которая, как он сам считает, его кураторов не очень-то и интересовала. И спрашивали они его об этом, встречаясь то на конспиративной квартире, то на бульваре больше по обязанности, предписанной инструкцией, чем для какого-то реального дела.

Так было, когда он еще учился в институте, так продолжалось, когда он ехал работать на киностудии.

— Я чувствовал, что после наших встреч они просто ставили галочку в своих отчетах и что я им был нужен просто для количества агентов в их архивах, а не для чего-нибудь стоящего...

Только раз дело, которое ему поручили, оказалось, на его взгляд, серьезным — по крайней мере из-за последующего эффекта: это мое злополучное выступление и его донос, и то, что последовало за доносом, из-за чего, по его признанию, он резко порвал отношения с КГБ.

Порвать-то порвал, но что-то там засело в душе, что-то заставляло мучиться, переживать, страдать — и в конце концов — набрать номер телефона, а потом переступить порог редакции.

Вот ведь какая наша жизнь! Что за испытания она вдруг преподносит! В каком же таком веке мы оказались? В какой стране? В какой эпохе?

И что уж там этот парень!

Он не первый в этой колонне, которая все тянется, тянется, тянется сквозь годы и десятилетия...

Там, далеко впереди, те, чей прах давно уже истлел в земле, и те, перед чьим старческим взором вдруг пронесутся тени погубленных ими людей, и те, кто ищет себе оправдание то в обстоятельствах судьбы, то во времени, прижавшем его к этой стенке, то просто — в житейских мелочах жизни.

Потому что не верю, что для кого-то общение с НИМИ осталось бесследным.

Что уж там этот парень!..

Не такие ломались, не такие переступали ту черту, за которой (какие бы оправдания себе ни придумывал) — все равно ночь, одна черная ночь...

Я хорошо представлял, какая буря чувств бушевала в душе этого парня, когда он, так и отказавшись сесть, стоял передо мной: страх, раскаяние, презрение к себе, отчаяние — сколько там еще всего, кто посчитает?

О господи, как тяжело чувствовать себя предателем!

И я тут же вспомнил рукопись, которую обнаружил в архиве Гуверского института в Калифорнии. Даже не знаю, как она оказалась там: вывезли ли ее из России тогда, давно, когда, наверное, и отец этого парня еще не родился. Или сам этот человек — его звали С. Локшин, больше ничего неизвестно — сумел когда-то давно эмигрировать, чтобы потом рассказать свою страшную тайну? Но судя по всему — в те годы он был ровесником пришедшего ко мне в редакцию парня и точно таким же молодым интеллигентом. И все похоже, хотя их разделяет лет шестьдесят или семьдесят. Правда, я уже никак не мог ни увидеться с ним, ни получить от него письма.

Вот о чем шла речь в том найденном мною в архиве тексте.

В институте, где он скорее всего преподавал, а может, даже и учился в аспирантуре, Локшина стал обхаживать некий Кашарский. Вот как об этом сказано в первоисточнике:

«— Вы же растете, товарищ, — обрызгивал он меня в ажиотаже слюной. И, как высшая милость олимпийца, устроил мой перевод из закрытого распределителя литер «Б» в закрытый распределитель литер «А» при Доме ученых. Я стал, как у нас острили, «литератором». В отличие от ничего не получавших «литераторов», приносил я счастливой семье два раза в неделю кислое повидло и в бесконечном количестве лавровый лист. Я чувствовал, что все это не зря, что меня засасывает в трясины. Но плыл по течению. И доплыл скоро до приглашения в гости к самому Кашарскому.

Был весь институтский бомонд. Товарищ Красавчик крутил без перерыва Вертинского. Были вещи, которые я давно уже забыл: и пироги с мясом и капустой, и разные консервы, и в изобилии водка и вино. Под утро осоловевшие сановные гости стали расходиться. Но хозяин увлек меня на конец стола, где сидел некто в синей гимнастерке и заканчивал расправу с большим куском жареной курицы. Рядом с ним никого не было. Незнакомец уперся мне в лицо своими пустыми глазами. Хмель сразу сошел с меня. Продолжая жевать, он сказал: «Кашарский мне говорил о вас. Давайте познакомимся поближе. Зайдите завтра на про-

спект Володарского, 39, в бюро пропусков. А сейчас опрокинем по рюмочке за установление единого фронта, как говорится...»

«Неужели это все не сон?»

Я тряс головою, щипал себя, думая сбросить страшную одурь. Но нет, все было наяву! От этого сознания под коленками противная дрожь. Судорожно глоталась клейкая слюна. С Невы дул свежий ветер. Но мне не хватало воздуха. Перед глазами стояла привычная с детства царственная панорама. Но она не успокаивала, а пугала меня. Я доплелся через мост до памятника «Стерегущему».

«Стерегущий!» Я сам теперь стерегущий... Стерегущий пес ненавистных мне самому режима и людей, в которых, кроме внешности, нет ничего человеческого.

— Вы, надеюсь, понимаете, что это не шутка — работать в органах советской разведки, — звенели в моих ушах погребальным звоном слова того, в синей гимнастерке. — Отныне вы не принадлежите себе. С вашими обычными чувствами — жалостью, любовью к семье, товарищеской солидарностью, с тем, что вами считалось честным, — надо расстаться. Вместо всего этого: неукоснительное выполнение всех заданий, даже если бы это задание повлекло за собой репрессии против близких. А самое главное: ваши мысли не должны быть нам неизвестны. Вы можете, понятно, ошибаться, особенно на первых порах. У вас, интеллигентов, свои предрассудки в отношении нашей почетной чекистской работы. Но для вас же и для ваших близких безопаснее, если вы будете откровенны. Лучше заранее признаться в ошибке самому, чем мы поймаем вас. А все возможности у нас для этого есть. Надеюсь, вы это понимаете? Ну, тогда подпишите-ка теперь. Это ваше добровольное желание работать у нас секретным осведомителем и обязательство не разглашать служебной тайны. Обратите внимание на предупреждение. Вы помните, о чем говорится в этой статье Уголовного кодекса? Между прочим, ваш коллега доцент Мариинский отказался работать с нами и имел глупость похвалиться этим «под честным словом» своему «учителю» профессору Грабе; а сей последний поведал об этом... Ну, неважно, кому он поведал. Вы их обоих давно ведь не видели? И никогда не увидите, никогда!

Да, это все наяву... Я спешно срываюсь со скамейки. Издали мелькнули знакомые фигуры моих сослуживцев. Им надо теперь

бояться меня, а я сам, с бьющимся сердцем, спасаюсь от них бегством.

Новый страх: как прийти домой, посмотреть в глаза своим? За ними тоже ведь надо шпионить! А завтра на работе?.. Но мозг судорожно цепляется за гаденькое оправдание: «Ведь иначе нельзя было. Такова судьба. Я должен спасти своих...»

Дня три я лежал дома, уткнувшись носом в стену, боясь поднять глаза. К счастью, оказалась маленькая температура и врачиха из амбулатории дала неожиданно бюллетень. Но это глупая отсрочка. Роковой день все равно наступил. Как во сне пошел я на назначенную мне «явку». Мойка, 96, квартира 14. Дверь приоткрылась, и я узрел перед собой... Кашарского.

Явно нежилого вида комната. Обои, мебель — все новое, стандартного типа, но какое-то заплесневелое. Стоит тяжелый дух курева. Окна, видимо, никогда не открываются.

— С НКВД вы не должны теперь прямо соприкасаться, — получаю я инструктаж. — Теперь вы будете работать со мной, уполномоченным ленинградского областного НКВД. Мы с вами будем встречаться регулярно. Вы будете пока сообщать мне письменно все то, что на работе и в институте вы услышите критического о Советской власти. Поинтересуйтесь, кто из ваших знакомых имеет знакомство с иностранцами. Может, кто ходит в «Европейскую» или «Асторию». Понюхайте, нет ли у кого инвалюты — это можно сделать под предлогом желания купить что-либо в «Торгсине». Да, нас еще интересуют анекдоты. Это новая форма антисоветской агитации, и мы должны всяких остряков-самоучек вывести на чистую воду, как говорится. Вот на первой стадии ваши задачи. Пока только будьте нашим ухом, активно сами не вмешивайтесь в антисоветские разговоры. Будете хорошо работать — дадим другое задание. Будете работать плохо, ну, я не сумею тогда вас защитить. К следующему разу напишите мне полный список ваших родственников и знакомых с краткими характеристиками. Ну, не насчет того, какой он — сварливый или ревнивый, а о его настроениях в отношении к Советской власти и возможности привлечения к нашей работе. Да, и вам надо для работы иметь другую фамилию, ну какую-нибудь кличку. Как?

— «Стерегающий», — вспомнил я видение того ночного корабля.

— Ну, хорошо, так и запишем.

Началась моя вторая жизнь.

Руки мои были противно липкими, когда утром меня встретило дружеское рукопожатие моего коллеги Рождественского, милого, скромного, с вечной заботой о старухе матери. Кашарский в принесенном мною списке отчеркнул Рождественского синим карандашом и сказал:

— С ним хорошо? Это нам и надо. С него же вы и начнете вашу работу. Будем его мы, чекисты, разрабатывать. Узнайте у него как-нибудь, кто был его отец. Он пишет в анкетах: врач, а по нашим данным — он брат царского адмирала и сам прокурор в морском флоте. Для этого вам надо будет ходить к нему домой. И почаще. А чтобы не скучно было, я вам раздобуду коньячок.

Тогда-то в моей голове возник роковой план. С Рождественским я, разумеется, не рискнул не встречаться. Все-таки могут проверить. Но об отце — ни звука. Чекистский коньячок мы с ним распили и мило поболтали. Жить можно еще, решил я.

И вскоре я явился на очередную «явку» уже не в столь подавленном настроении.

— Ага, — встретил меня Кашарский, — вы сияете, как золотой грош. Значит, вы знаете уже, что мне надо от Рождественского?

Для большей правдоподобности своего отчета я упомянул, как Рождественский критически проезжался насчет «капитального» труда «Победы социализма в СССР», состряпанного ударными темпами под руководством самого Кашарского.

— А об отце... — говорю, — оказалось трудным делом... Рождественский не шел на такой разговор...

— В особенности если вы сами его не заводили! — оборвал меня Кашарский. Его лицо стало злобным, просто страшным. Он с силой ударил по столу прессом и заговорил тихо, почти шепотом.

— Вы что же думаете, мы дураки? Вы думаете, можно нас водить за нос? Так это не так! Так этот номер вам не пройдет! Вы даже не заводили и речь с Рождественским об его отце. Мы знаем все, вы видите теперь. Я так вам доверял, все делал для вас, все! И в закрытый распределитель устроил, и командировку в Москву хотел организовать... А вы! Вы свободны, я не желаю вас больше видеть. Я пошлю рапорт кому нужно, вам не будет весело. Это будьте уверены.

Прошла мучительная неделя. Я был уверен, что погиб. Ждал ареста каждую ночь. К счастью, жены с дочерью не было, они уе-

хали в Озерки, к бабушке. В институте от Кашарского я бегал, как от огня. Но он и не смотрел в мою сторону; тут я еще узнал, что Рождественский получил срочное назначение в Москву. И он одного поля со мной ягода! Кому же верить? Я совсем уже потерял голову, все спрашивали, что со мною; Кашарский встретил меня в коридоре, сказал вдруг, чтобы я вечером зашел к нему домой.

Я обещал себе, что расскажу здесь все. Но рука не поднимается все же передать, что было в этот вечер у Кашарского. Мои нервы не выдержали, я бился в истерике, валялся в ногах у этого поганца, заклинал не губить семью. И он снисходительно, наконец, согласился не предавать меня, вернее, повременить, посмотреть, «исправился» я или нет.

— Но вы должны помнить, что только благодаря мне вы уцелели, — напутствовал меня Кашарский. — Не забывайте этого!

Как все относительно на свете: когда я вышел от Кашарского, я был почти счастлив...»

Помню, с каким чувством я тогда в Калифорнии отложил этот документ. Да и Локшин был почти счастлив, сам поражаясь тому, как быстро позволил себя сломать...

Вот так это начиналось. И с тех пор — тянется и тянется эта колонна. Почти что с начала XX века. Почти что до самого его конца.

Не матерятся на них конвоиры, не слышен злобный скулеж верных Русланов, не ослепляет их свет прожекторов, да и не в барак они возвращаются — домой, и не миску баланды швырнет им в лицо придурок повар.

Но и они — в ГУЛАГе.

В том, другом, однако параллельном настоящему.

Да, нет в этом их ГУЛАГе ни барачков, ни колючки, ни вышек.

Но те же коменданты, но те же конвоиры.

Оставили тело на свободе — взяли душу.

Широки, необозримы просторы этого ГУЛАГа. И во времени, и в пространстве. Скольких людей поглотил!

«Это сеть, которой была оплетена вся страна, — написал мне К., агент КГБ. — Войти на любую ступеньку пирамиды власти было невозможно без гласного или негласного сотрудничества с КГБ. Это — не пустые слова. Это — факт нашей жизни, реальность нашей страшной жизни.

Раньше я много раз замечал, что если кто-то опрометчиво рассказал анекдот (а в группе было, допустим, десять человек),

то его непременно вызовут куда-нибудь на собеседование. Следовательно, если 280 миллионов человек поделить на десять, то получится, что в стране было 28 миллионов сексотов. Конечно, может быть, это преувеличение, но без миллионных цифр все равно не обойтись.

Я вырос в нашем удивительном обществе, поэтому мне трудно представить, как себя чувствует свободный человек...»

Трудно не согласиться с К. Хотя не знаю, да и никто, наверное, не знает, сколько же людей вместил за эти десятилетия этот параллельный ГУЛАГ.

Людей, ставших доносчиками, осведомителями, стукачами, секретными агентами, добровольными «помощниками». Оставшихся на свободе и — до конца своих дней обреченных быть узниками.

Я много о них узнал. Я многих из них узнал...

Сейчас, написав первые страницы этой книги, я еще сам не представляю, к чему приду. Знаю только, что хочу понять соотношение времени и человека во времени, случайности поступка и его predeterminedности, обманчивой идеи — и жестокой расплаты за веру в эту идею.

Двадцатый век кончается, и все, что происходило в нем, постепенно становится историей. Не уверен в том, что этот век оказался лучшим для человечества, — слишком много жизней было оборвано ракетами, штыками, напалмом, бомбами или пулями в затылок. Но если миллионы, миллионы и миллионы насильно оборванных жизней можно объяснить хотя бы научно-техническим прогрессом, который привел к созданию индустрии убийств, то как же так случилось, что миллионы, миллионы и миллионы человеческих душ в XX веке оказались подстреленными на одной шестой части суши безо всякой пули?

Да, без пули. Только лишь подпиской, образец которой я нашел тоже в Гуверском архиве:

*«Я, нижеподписавшийся, Семенов Петр Ивановичу даю настоящую подписку оперативному отделу НКВД в том, что добровольно изъявляю согласие сотрудничать с органами по выявлению различных контрреволюционных элементов и выполнять все даваемые мне задания по работе органами НКВД.*

*О своей связи с органами, даваемых мне заданиях и выполняемой работе, а также обо всем, могущем мне стать из-*

*вестным в связи с работой, обязуюсь никому не разглашать, никогда и ни при каких обстоятельствах, в том числе своим родным и близким знакомым.*

*В целях конспирации буду сотрудничать под псевдонимом «Стрела», за подпись которым несу ответственность наравне как и за подпись своей настоящей фамилией.*

*В случае несоблюдения настоящей подписки несу за все ответственность перед органами НКВД наравне как и за разглашение государственной тайны во внесудебном порядке.*

*Город*

*Подпись (фамилия)*

*Подпись псевдонимом*

*Подписку отобрал:*

*Оперуполномоченный 4-го отделения*

*лейтенант госбезопасности*

*(подпись)».*

Не было такого «Семенова Петра Ильича» и «Стрела» — это не реальный псевдоним. И звание «лейтенант госбезопасности» тоже абсолютно ничего не означает. И не случаен прочерк вместо даты и города.

Это — не подписка реального секретного агента, сексота, стукача.

Это — хуже: ОБРАЗЕЦ подписки.

В служебном кабинете с неизменным портретом Железного Феликса или на конспиративной квартире с дешевыми обоями на стенах; в огромном городе или маленьком районном городке, который и на карте-то не сразу найдешь; на севере, юге, западе и востоке огромной страны; старые и молодые; мужчины, женщины, старики и подростки; русские, украинцы, армяне, узбеки, евреи, эвенки и представители всех, всех остальных национальностей СССР; широко, даже академически образованные люди и те, кто еле-еле владел русским языком, — с этого ОБРАЗЦА писали расписки настоящие секретные агенты, сексоты, стукачи.

ЧК менялась на ГПУ, ГПУ — на НКВД, НКВД — на МГБ, МГБ на привычный нашему поколению КГБ, и дальше, дальше, боюсь, что и по сегодняшний день; появлялась новая, в духе времени лексика: скорее всего — «во внесудебном порядке» заменялось чем-то более современным, но с таким же угрожающим смыслом — не позволяющим попавшему в ловушку человеку широко вздохнуть всей грудью, как подбитой птице — расправить крылья.

ОБРАЗЕЦ оставался неизменным по своей сути — той путевой в ад, тем символом конвейера, на который государство кидало, кидало и кидало своих граждан.

И что уж там этот парень с киностудии, чей визит так поразил меня...

Помню, закончив свою исповедь, он замолчал, так и не сев на предложенный мною стул и так ни разу не взглянув на меня.

Тогда я что-то сказал ему, какую-то чушь, то ли о том, что это полная ерунда и я об этом уже давно забыл, то ли — что это была не самая большая неприятность в моей жизни от КГБ.

А он снова повторил:

— Прошу вас... Простите меня...

И тогда я чуть ли не вскричал:

— Да прекрати ты! Забудь об этом! Уезжай спокойно! Нормально живи там! Там всегда тепло, мандарины, море... Брось ты все это!..

— Спасибо... — выдавил он, резко повернулся и быстро, почти бегом, исчез из комнаты.

Потом, помню, я присел на подоконник и с высоты четвертого этажа смотрел на наш вечно перестраивающийся, как будто после бомбежки, переулок. Мне вдруг захотелось увидеть, как он будет уходить из редакции. Какая у него будет походка? Какой взмах руки? Будет ли поднята голова? То есть я хотел понять, стало ли легче парню после этого нелегко давшего ему признания.

Но я его больше так и не увидел. Наверное, от подъезда он повернул к Сухаревке, туда, куда мои окна не выходят...

Скорее всего, он пошел из подъезда в другую сторону.

И тогда я вдруг вспомнил, что так и не узнал не только его фамилию, но даже его имя.

Впрочем, это, наверное, и к лучшему. Пусть в памяти он так и останется — просто ОН. Просто человек в толпе.

## **ОДИНОКИЙ ГОЛОС В ХОРЕ**

### **Ленинград, 1934-й**

«Осведомительство мое органам ОГПУ продолжалось недолго, один год (лето 1934 — лето 1935-го), не приносило как будто никому вреда, но травмировало оно меня на всю оставшуюся жизнь...

Осенью 1933 года, будучи студентом 4-го курса одного из ленинградских вузов, я был вызван в здание ОГПУ на улице Дзержинского, и после заполнения подробной анкеты мне было указано на мои недостатки: сын потомственных дворян, нерусская национальность, родственники за границей, с которыми переписывается мать, и многое другое.

Надо доказать свою преданность Советской власти, регулярно сообщая органам о разговорах, настроениях, антисоветских высказываниях друзей, сокурсников по вузу.

Я отказался, сославшись на то, что полученное мною воспитание не позволяет мне заниматься подобного рода деятельностью.

Сотрудник ОГПУ, беседовавший со мной, заметил, что его воспитание не отличается от моего, выразил неудовольствие моим отказом, отпустил, взяв подписку о неразглашении причин вызова. Подписку я написал.

Поздней весной (или в начале лета) 1934 года я был повторно вызван уже в новое здание ОГПУ — в Большой дом на Литейном, где новое лицо, назвавшееся Петровым, вело со мной разговор о том же, но уже в более жестких тонах. На мой отказ мне было сказано, что если я не соглашусь, то мне не дадут доучиться, может быть, и вышлют из Ленинграда.

Я принужден был согласиться, подписав соответствующее обязательство.

Выбор был мною сделан исходя из того, что при отказе будет сломана вся моя жизнь, а мне хотелось учиться, работать по избранной специальности, а в случае высылки может, в конечном счете, пострадать моя семья — родители, братья, сестры. Мы уже знали тогда, что бывает с семьями репрессированных.

Мне было указано, куда ежемесячно звонить по телефону только из автомата, адрес квартиры, куда я должен являться по вызову, псевдоним, которым надо подписывать донесения. Номер телефона я помню даже через 55 лет: Некрасовская АТС, 2-18-89.

Со мною работал на конспиративной квартире в районе Большого дома Роман Михайлович Бродский (думаю, что через 3–4 года его заточили в лагерь или расстреляли — в те годы сменяемость кадров ленинградского ОГПУ была велика).

Подписанное мною обязательство о сотрудничестве сразу изменило мое поведение: я стал уклоняться от встреч и новых знакомств, стал замкнутым и нелюдимым.

При встречах с Бродским, которые проходили после ежемесячных звонков (не каждый раз), я говорил, что никакого компромата у меня нет, что все мои друзья имеют просоветские настроения. Это стало вызывать возрастающее раздражение собеседника и угрозы.

Решив, что надо найти разумный компромисс, я сообщил Бродскому, что один мой сокурсник выразил несогласие с решением правительства продать Китаю Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД). Студент свое мнение выразил открыто, подвергся осуждению товарищей и стенгазеты, которую читали сотни студентов. Это мирило меня с собственной совестью, и я был убежден, что не выдаю этого парня и что, возможно, в ОГПУ уже лежит не один донос по этому поводу.

Бродский сказал, что факт этот интересный, предложил мне написать донесение, которое я подписал данным мне псевдонимом.

Студент этот благополучно закончил институт, уехал по назначению. О судьбе его я не знаю, как и о судьбах восьмидесяти процентов моих сокурсников. Я считаю, что мой донос последствий не имел. Он, кстати, был единственным.

Летом 1935 года, когда после убийства Кирова ленинградским органам было, по-видимому, не до меня или они поняли мою бесперспективность, Бродский сказал мне, что я больше могу не звонить и не встречаться с ним, если, конечно, не узнаю чего-нибудь важного для безопасности государства.

На этом моя связь с органами прекратилась навсегда.

В том же году я случайно узнал, что мой лучший друг тоже был связан с Бродским. Он нарушил правила конспирации и позвонил Бродскому из моей квартиры: характер разговора не оставлял сомнений. А может быть, он это сделал нарочно, чтобы предупредить меня?

Все это вызвало у меня глубокое отвращение к Системе, к режиму. Позорную тайну я не открывал никому. Вы, Юрий, мой первый адресат.

Дальнейшая жизнь моя может считаться вполне благополучной для гражданина нашей страны: и большое личное счастье, и большой служебный успех. Но никогда не изгладится память о годе сотрудничества с ОГПУ.

Иногда думаю, убеждаю себя, что поступил правильно, согласившись на сотрудничество с НИМИ. Отказавшись, я мог бы быть превращенным в лагерную пыль. А согласившись, я не только прожил интересную и счастливую жизнь, но и немало способствовал росту престижа своей страны. Тот, на кого я донес, не был арестован.

Но можно посмотреть и с другой стороны.

Уверен ли я, что мой донос не повлиял на дальнейшую жизнь моего сокурсника? Не пошел ли этот донос за ним по месту назначения? Не открыл ли его чиновник НКВД в 1937 году и, стараясь выполнить спущенный план по арестам, подумал: «Дело мелковато, какая-то КВЖД... Но на других-то вообще ничего нет, а тут бумага из Ленинграда, где враги убили товарища Кирова», — и подмахнул ордер на арест. А может быть, он остался на свободе, но мой донос был использован для шантажа — излюбленный метод органов, и он заплатил за свободу такую же цену, как и я? И дальше. Согласившись на сотрудничество со второго раза, я обоснованно позволил органам думать, что русская интеллигенция — слюнтяи и трусы, что такими методами с ними нужно работать и дальше...

А если бы все студенты и рабочие, академики и артисты, офицеры и служащие говорили бы на подобные предложения твердое «нет», может быть, что-нибудь и изменилось? Может быть, в конечном счете число изломанных судеб было бы куда меньше и наше общество не пришло бы к катастрофе?

И дальше. А как бы поступил Андрей Дмитриевич Сахаров и другие герои правозащитного движения на моем месте, в аналогичной ситуации? Ведь Сахарову надо было только промолчать по поводу советского вторжения в Афганистан. И остались бы у него награды и звания и московские друзья, и не был бы он сослан в Горький. Но Андрей Дмитриевич не смог бы тогда оставаться тем, кем он остался...

И последнее. На каких весах, по какой морали можно взвешивать возможную гибель человека и повышение престижа своей страны?

По христианской морали, по Достоевскому, по которому счастье мира не стоит слезы ребенка...

Вот почему безнравственны самооправдания мои и подобных мне.

Т., Москва.»

## ПУТЬ В МЫШЕЛОВКУ

Однажды вдруг влетает домой мой товарищ.

— Есть важный разговор, — взволнованно начинает он и замечает, что у меня гости. — Можешь выйти?

Был вечер, осень, шел противный дождь, и я понял: случилось что-то настолько важное, что человек поехал в такую собачью погоду ко мне, на окраину Москвы, что не мог об этом важном сказать по телефону, что даже добравшись до меня — решил сказать что-то чрезвычайно важное на улице, подальше от чужих глаз и ушей.

Мы вышли.

— Что случилось? — помню, нетерпеливо и нервно спросил я.

— Сегодня я шел около площади Дзержинского и увидел, как из подъезда Лубянки выходит, знаешь, кто?

— И кто?

— Р... — назвал он имя нашего общего товарища, тогда, в начале семидесятых, такого же начинающего журналиста, какими мы были и сами...

Хотел было написать, что сейчас, зная, чем все закончилось, без смеха не могу вспоминать эту историю, но вряд ли это было бы правдой. Тогда-то, молодыми, мы не смеялись! Напротив! Сколько переживаний навалилось на нас тогда. Р.? Неужели? Среди нас? Как он мог?

Не думаю, что мы, совсем юные журналисты, только-только закончившие школу, в то время были интересны хоть какому-то, самому захудалому оперу КГБ (хотя скорее всего в то время мы были в этом абсолютно уверены). Нет, другое так перевернуло наши души: предательство близкого человека, и помню еще, целый вечер мы долго обсуждали, как утром встретимся с Р., как посмотрим на него, зная его страшную тайну, и отведет ли он глаза, поймав в наших взглядах знание этой тайны.

К счастью, уже утром все разъяснилось самим Р., когда он радостно сообщил, что вчера посетил Лубянку, сожалел лишь о том, что его не пустили дальше вестибюля: оказывается, ему поручи-

ли написать какую-то ерунду о пограничниках и там, в подъезде, в котором располагались погранвойска, какой-то клерк из политотдела должен был передать ему какую-то справку.

Думаю, мы были бы куда спокойнее, если бы представляли, что ни один нормальный опер не пригласит своего агента прямо в свое логово.

Сколько я ни встречался с секретными агентами КГБ, сколько ни читал исповедей их предшественников (агентов ГПУ, НКВД, МГБ) — последние сведения о том, что для кого-то первый шаг в эту мышеловку был именно в здании на Лубянке (или в малых «Лубянках», раскиданных от Москвы до самых до окраин), датировались лишь самым началом тридцатых годов.

Вот что написала мне Иля Анатольевна Штейн из Москвы:

«В 1933 году я работала в Измайловском парке культуры и отдыха в экспериментальном коллективе. Мы, молодые актеры, выступали на сцене и просто на лужайке. Концертные номера чередовались с затеями массовиков. В коллективе было не более 10 человек.

Однажды ко мне пришла повестка — такого-то числа явиться на Лубянку (не помню уже, как тогда называлось это страшное заведение — ЧК, ОГПУ или НКВД). Когда я пришла, меня прежде всего предупредили, что о предстоящем разговоре я никому не должна говорить. Затем, даже не спрашивая моего согласия, этот человек заявил: «Я вам даю следующее задание. Вы должны прислушиваться ко всем разговорам в вашем коллективе и вообще везде. О всех высказываниях, порочащих партию, правительство и партийцев, вы должны сообщать нам при очередной явке на Лубянку». И мне был назначен день и час явки».

Да, только в начале тридцатых — вот так, через парадный вход, в открытую, открытым текстом чекисты призывали отдать свой долг, как призывали на выборы или на овощебазы (подтверждение тому — и письмо Зинаиды Дмитриевны Былинкиной из Курска, которое я уже приводил).

Думаю, что уже с 1934 года, то есть с началом очередной волны массовых репрессий после убийства Кирова и по сегодняшние дни, никаких приглашений на «Лубянку» и никаких списков фамилий, вывешенных на стене больше не было. По крайней мере, ни в одной исповеди, полученной мною и относящейся к более позднему периоду, чем самое начало тридцатых, я не нашел упоминаний о том, что человек, которому суждено было стать

сексотом, смог вот так, открыто, переступить порог секретной полиции, будто это такое же учреждение, как Минпрос или управление бань.

Нет, только таинственность могла обеспечить значимость миссии, которую ОНИ возлагали на попавшего в ИХ сеть человека, только секретность должна была возбудить чувство, которое и управляло человеком, людьми, государством — страх перед НИМИ.

Вот типичная первая встреча с вербовщиком, происшедшая в 1940 году у Е. Андреева, который в то время работал конструктором крупного авиационного завода в Восточной Сибири.

В спецотдел завода его вызвали в полночь, и он, по его словам, сначала не мог понять, почему именно ночью. Его встретил упитанный мужчина лет 35, вежливо пригласил сесть, достал из ящика стола его личное дело и сказал:

— Я хорошо познакомился с вашей биографией и пришел к выводу, что вы нам подходите. Нам нужны сведения о неблагонадежных товарищах, работающих на заводе.

Из дальнейшего разговора он понял, что его задача — помочь государству в разоблачении врагов народа — шпионов, диверсантов, вредителей, а также сообщать об антисоветских разговорах среди его знакомых, друзей и сотрудников по работе. Тут же ему присвоили кличку «Резец».

Далее Е. Андреев вспоминает:

«Я ответил, что у меня нет никакого желания заниматься подобной деятельностью, так как очень занят в клубной самодеятельности. Но он настаивал...

Когда я пришел домой, то крепко задумался.

На заводе к этому времени уже исчезли многие сотрудники. Почти каждую неделю ночью «черный ворон» увозил в город ни в чем не повинных людей. Сначала пропали директор завода и главный инженер, потом — начальники цехов, мастера и простые рабочие. Я подумал и решил — нет! Меня за душу схватила и затрясла сама мысль стать провокатором, доносчиком, стукачом. Я твердо решил: пусть меня лучше посадят, чем это.

Этот прохвост не раз звонил мне по телефону, приглашая на свидание, но я находил разные причины, чтобы к нему не ходить.

Потом случайно встретился с ним в техническом отделе, но тут же отвернулся. Хотя он мне и сам сказал при первой встрече, что если увидимся — надо делать вид, что незнакомы друг с другом.

Прошло около месяца после этого, как вдруг мой хороший друг говорит: «Слушай, Евгений, а ведь Сталин — это настоящий Иуда». Я посмотрел на него как на сумасшедшего: «Ты что, хочешь на Соловки попасть!?» Он в ответ усмехнулся и замолчал. Потом он не раз повторял мне эти слова... И я понял, по чьему указанию он говорит так, и перестал быть с ним вместе, то есть потерял друга.

Через некоторое время я стал невольным свидетелем разговора, из которого понял, что в НКВД области готовится дело на одного нашего конструктора и на меня. Этот конструктор сразу постарался уехать из города, а следом за ним и я.

Через тридцать лет я узнал, что мой бывший друг в 1940-м получил повышение по службе — стал начальником цеха и угробил нашего общего знакомого П. на десять лет лагерей...»

В какое-то мгновение мне захотелось прервать этот текст, оставив из него только сам факт: ночь, тайна, спецотдел, «Резец», — то есть показать лишь, как сам человек чувствовал себя при первой встрече с НИМИ и как ОНИ пытались захватить человеческую душу.

Но потом понял — нет, нет, все, что написал мне в письме Е. Андреев, и составляет суть нашей истории, это не сор жизни, а ее суть, смысл, если хотите. Ведь есть одна большая история, история нашей страны — со множеством ошибок, которые впоследствии разберут и, возможно, сделают правильные выводы. И есть история, заключенная в единственной и неповторимой судьбе одного-единственного и неповторимого человека. Ее не переделаешь, из нее не извлечешь уроков. Она была, есть и уходит вместе с самим человеком. Потому-то, может быть, самое важное в этой исповеди даже не ночь, тайна, «упитанный мужчина», а то, что ОНИ отняли у него друга, который стал предателем.

И даже жалею, почему же мне показалась не к месту первая фраза, с которой Е. Андреев начал это письмо ко мне:

«Тогда я был молод и играл на саксофоне в заводском оркестре...»

Сороковой, молодость, саксофон... ОНИ.

Ну так вот... Повторяю, кроме свидетельств из начала тридцатых годов, больше, как я ни искал, первых встреч с НИМИ на ИХ территории не нашел.

Галину Павловну Попову из Вольска через несколько дней после начала работы в воинской части попросили зайти в строевую часть, но до нее она не дошла:

«На первом этаже меня перехватил невысокий худощавый человек с цепким, колючим взглядом. Объяснив, что звонил мне он, предложил пройти в какой-то кабинет. Уже не помню, кем он мне представился, но смысл разговора заключался в том, что я могла бы им помочь. В чем? — удивилась я. В подробности он не вдавался, но когда я ответила, что да, что попытаюсь, он попросил меня написать расписку...»

В 1956 году В. Ширмахера вызвали по телефону из института, который он заканчивал, в военкомат: «Поинтересовавшись, какой дорогой я пойду, неизвестный сказал, что меня встретят. Мой путь лежал мимо милиции, и когда я проходил мимо, вышел из дверей человек и позвал меня. Но я был не один, так как, почувствовав в этом звонке что-то необычное, взял с собой товарища — здравенного студента.

Незнакомец оказался этим очень недоволен: «Приходите завтра, но один. Скажите, что насчет прописки».

Мой корреспондент из Казахстана, который подписался псевдонимом «Фриц Паулюс» (к его истории мы еще вернемся), был перехвачен прямо на улице, поздним вечером, когда возвращался из школы, где он работал, домой.

«Обычно я ходил пешком, но тут решил поехать на автобусе. Не успел войти в него, как меня окликнули по имени-отчеству и настойчиво попросили пойти домой пешком. Мне это не понравилось, не понравился и колючий взгляд товарища, который меня остановил. Мог бы мне сказать об этом, когда я стоял на остановке. Я, повинувшись ему, вышел на следующей остановке. Когда мы остались одни, он представился. Из его документа, который сверкнул на слабо освещенной остановке как падающая звезда, я, конечно, ничего не понял, но фамилию схватил, так как у меня в классе был очень трудный ученик с такой же фамилией. Почему-то решил, что этот товарищ из милиции, и тут же сказал, что не хочу иметь отношений с милицией в личном плане. Шли мы домой, как я обычно хожу, очень быстро, расстались на углу проспекта, но новую встречу он успел мне назначить: пединститут, первый этаж, кабинет секретаря парторганизации».

Одессита А. Кельеже, который в 1954 году должен был везти группу молодежи в Казахстан, на целину, перед отъездом вы-

звали в райком комсомола, где секретарь райкома сказал: «С тобой хочет поговорить один солидный человек». «Солидный» оказался сотрудником одесского КГБ. Он предложил сотрудничество, которое заключалось в том, чтобы Келькеже выявлял тех, кто антисоветски настроен и у кого есть родственники с «антисоветским уклоном».

На лестнице, на улице, в проходном дворе, в красном уголке ЖЭКа и очень часто — в кабинетах комсомольских и партийных секретарей, где хозяйева, предварительно выйдя, оставляли человека один на один с НИМИ, — вот так тихо, тайно, без лишних глаз и ушей становились сексотами, агентами, стукачами миллионы моих соотечественников.

Итак, недолгая эпоха парадных подъездов Лубянок закончилась в начале тридцатых, но неправильно было бы думать, что с того дня только через полутемные подъезды или вечерние улицы и другие, не парадные, а черные входы шла дорога в этот другой, параллельный ГУЛАГ, раскинувшийся на всей территории страны, на пространстве жизней и судеб всех наших поколений, — и тех, кто родился в начале века, и тех, кто уже был зрелым в его середине, и тех, кто еще молод к его концу.

Остался, остался и официальный вход туда, в этот ГУЛАГ.

В любом учреждении — от банно-прачечного комбината до Совета Министров, на любом заводе, в любой конторе — везде была, чаще всего незаметная, дверь с табличкой: «Отдел кадров».

«После второго курса, в разгар переводных экзаменов, ничего не подозревающего, меня вызывают в отдел кадров. По миллион раз тиражированному сценарию, инспектор представила мне миловидного человека в штатском, перед которым лежало мое личное дело, и тихо испарилась. Охваченный внезапным страхом, я не расслышал его фамилии, только понял, ОТКУДА он. Сославшись на неудобство беседы в этом помещении, он пригласил меня в стоявшую у подъезда черную «эмку».

Вот в какую дверь, чтобы потом пересесть на сиденье казенного автомобиля под присмотром миловидного в штатском, вошел однажды сегодняшний кинорежиссер из Свердловска Вл. Новоселов и, как я убедился, большинство тех, чьи исповеди я прочитал или услышал.

О, эти кадры, которые, по знаменитым сталинским словам, действительно «решали все». Не те кадры, которые вкалывали за

копейки, которых загоняли в колхозы, которые были счастливы, выстояв в километровой очереди за куском полусъедобной колбасы, а именно эти, истинные «кадры», серые мышки Системы — они говорили свое решающее слово. Скорее даже и не говорили, а чаще всего лишь озвучивали слова, которые им озвучивать призывали.

Помню, как с нежным смехом одна пустая московская девушка, молодая жена гэбешника, рассказывала в застольной компании, в которой я случайно оказался, как муж отомстил ее начальнику, с которым она что-то не поделила: «Он позвонил в отдел кадров и просто спросил, а у вас такой-то работает? Как он? И через два дня этому козлу отменили командировку во Францию».

И я убежден, что и это — правда.

Сколько себя помню — столько помню эти редакционные комнаты, в которых никогда не был слышен стук пишущих машинок, куда не забегали дерганые дежурные по номеру, откуда не был слышен обычный для редакционных кабинетов смех или шум уже полутрезвой компании. Сюда заглядывали обычно мельком — взять какую-нибудь справку в ЖЭК или в военкомат — и, натываясь на пристальный взгляд кадровика (в редакциях это обычно женщины), быстро торопились закрыть за собой дверь.

Хотя с «пристальным» взглядом я, наверное, загнул...

Обыкновенные женщины (из тех, которых я помню), обыкновенно смотрели, да и комнаты мало чем отличались от тех, в которых мы и сами работали и работаем. Ну и что — что стоял огромный сейф или даже два? И в наших комнатах — по крайней мере в некоторых, тоже стояли эти железные ящики, и те, у кого они были, по молодости лет, естественно, этим гордились, убеждая сами себя в том, что там хранятся какие-нибудь редакционные тайны.

Но в сейфах кадровиков никаких редакционных тайн не было — там хранились наши личные дела.

За свою жизнь я работал в четырех редакциях. Значит, в моей жизни было три личных дела (в «Новой газете» в девяностые все уже как-то проще). Я никогда не знал, что там находится — какие мои грехи перечислены (а, может, и не перечислены), какие справки о моей личной жизни подшиты, какие даты проставлены в графах между «жил и умер». Но скорее всего, ничего там такого и не было, и нет — обычная канцелярская ерунда.

Но только знаю, что именно в отделы кадров заходили незнакомые для редакционного народа люди, и если кто из газетчиков нечаянно врывается туда за какой-нибудь очередной справкой, то разговор там мгновенно смолкает и не вовремя ворвавшийся репортер натывается на взгляд завкадрами: не добродушно-равнодушный, как обычно бывало, а на чужой, жесткий, холодный.

Этим отличался любой другой редакционный кабинет от того самого в момент посещения куратора из КГБ. А кураторы тогда были приставлены к каждой редакции.

В «Комсомолке» я о них не знал, только догадывался, точно так же, как и о тех, кто являлся агентами КГБ: это была, кстати, особенно в семидесятых, постоянная тема для разговоров. Но встретился с ними в «Литгазете», да и то уже после горбачевской перестройки, когда эти сменяющие друг друга «Сергеи», «Жени», «Игори», приходя в редакцию, не особенно скрывали свою принадлежность к органам. Переговорив с нашими кадровиками, они шатались потом по редакционным коридорам и даже жаловались на бардак в своей системе (это был конец 90-го — начало 91-го). Помню, один из них, по-моему, его звали Игорем, когда мы столкнулись рядом с нашим отделом кадров, вдруг сказал: «Знаешь, зачем я приходил? За оперативными данными на Юрия Бондарева!» — «Чего?» — растерянно спросил я. — «Да у него юбилей... Наши должны приветственный адрес писать...» Хотя этот Игорь, естественно, скромничал. Позже я узнал, что в здании редакции прослушивались десять кабинетов, и именно кураторы из КГБ еженедельно знакомились со всеми этими записями, уж не говорю о том, что они спрашивали и что им рассказывали в нашем отделе кадров.

Да, отделы кадров были теми форпостами, откуда потом загоняли людей в стукачи. Хотя, как и в любой бюрократической системе, там творилось черт знает что и были в них и кадровики с человеческим лицом.

Прочитую письмо, полученное мною из Киева от Дмитрия Игнатьевича Фурманова, работавшего начальником отдела кадров.

«Отдел кадров — это банк демографических данных на всех, и потому кадровик — находка для КГБ. От вербовщиков в звании до капитана я отбивался собственной грудью с орденскими планками, а принципиальным майорам и выше заводил волынку на манер Швейка. Альянс не состоялся, хотя в нужные бумаги они нос совали. И не только нос, но и своих людей.

В «Укргипропроме», где я начинал кадровиком, в спецчасти сидели подполковники КГБ запаса Дьяченко и Усатюк. Когда гданьские корабелы затеяли забастовку, получаю приказ: учредить круглосуточное дежурство ответственных работников и... (цитирую приказ) «через каждые два часа докладывать дежурному по ДСК-1 о настроениях рабочих и ИТР».

Звоню своему начальнику:

— Ты умный человек, как же ты мог сочинить такой идиотский приказ? Где взять столько «ответственных», когда неизвестно, сколько дней продлится там у них забастовка? И потом эти доклады через каждые два часа?!

— С дежурными выкручивайся сам, а регулярная информация — требование секретаря парткома.

Звоню секретарю:

— Ты же знаешь, что наши участки разбросаны по окраинам Киева. Какой же инспектор будет бегать вокруг города за «настроениями и высказываниями»?

Он мне:

— Приказ свыше...

Плюнул я в трубку, а через час звонок:

— Ладно, докладывай раз в сутки после работы.

В сердцах выдал забытый фронтовой жаргон, а через день пригласили меня в Печорский райком партии, и безусый партбосс долго-долго меня воспитывал, пока я не взмолился:

— Господи, как же можно бояться своего народа, чтобы из-за братьев-поляков поднять такой тарарам?! И вообще, где Польша, а где Киев?!

Товарищ не понял. И долго я выкручивался с дежурствами и информацией.

За двадцать лет работы кадровиком и парторгом хорошо рассмотрел, какой густой липкой паутиной преуспевающих секторов опутано наше многострадальное отечество и как вольготно кормятся с их помощью легионы номенклатурных боссов и охраняющие их органы».

Господи, в каком бреду мы жили! Но как этот бред ломал и уродовал людей! Какой горький осадок — надолго-надолго, до конца жизни — оставался от первой встречи с НИМИ.

В марте 1943 года Т., тогда еще юноша, почти подросток, получил повестку явиться в поселковый совет. Когда он показал повестку, председатель указала ему на другую дверь. Он вошел. За

столом сидел полковник в общевойсковой форме, то есть петлицы были красного цвета и соответствующее количество ромбов — в этих тонкостях пацаны военного времени разбирались очень хорошо.

Далее Т. (так и было подписано это письмо ко мне — Т., Луганск) пишет:

«Только я поздоровался и представился, на меня обрушился град обвинений — почти на крике, суть которых сводилась к следующему: я враг народа и меня надо немедленно расстрелять. Конечно, мне стало тут же жутко: в чем дело? почему? в чем я виноват? Не успел я сам себе придумать обвинения, как полковник вдруг резко сменил тон и спокойно сказал, что он «проводил эксперимент», чтобы меня «испытать». А дальше начался длинный часовой разговор. Вернее, это был не разговор. Он говорил, а я сидел и слушал. Я услышал, что «про меня все известно» и что я «им подхожу». Потом сказал о льготах, которыми буду осыпан. В числе первых — не пойду на фронт. Далее пошла деловая часть: явки, контакты, характер поведения. Много кой-чего. И, наконец, первое отвратительное задание. Он говорил, а я, повторяю, слушал. Самое главное, он ни разу не поинтересовался моим согласием...»

О, господи...

«Нас водила молодость в сабельный поход, нас кидала молодость на кронштадтский лед...»

Вводила их молодость в полутемные комнатки, и потом долго-долго, на протяжении всей жизни, до самого ее краешка все вспыхивали, не погасая, эти воспоминания. Как ломали, как ломались...

Бедные ребята тех поколений! Уже выраставшие в том (а другого и не знали), что так — НАДО, что так — МОЖНО, что так — НУЖНО. Для Родины, для блага которой ты уже с детства был обречен на предательство, как на доблесть.

«В те далекие годы миллионы советских школьников подражали Павлику Морозову. Различные были тогда формы тиражирования образа юного героя, но самой многочисленной и доступной оказался театр. Лет пять я играл роль пионера-доносчика на школьной сцене. На сцене я каждый раз предавал своего отца за украденные им полмешка зерна и каждый раз отца забирали в тюрьму, а меня перед всей школой награждали тряпочной красной звездой. Перестал я играть эту роль только тогда, когда нашу соседку посадили на 10 лет за килограмм зерна. Она из лагеря

так и не вернулась, а ее осиротевшую семнадцатилетнюю дочь взял в жены сорокалетний — на вид страшнее Бармалея — коммунист, председатель колхоза, который по чьему-то доносу обшаривал карманы колхозников, когда они возвращались с поля домой. Трудно представить, как можно целоваться и рожать детей от убийцы своей матери! А ведь у них были дети, и они потом узнали, что их родной отец сгноил в тюрьме родную бабушку. Как может быть генофонд у этих людей?..»

Эти строки я нашел в письме Лукмана Закирова из Казани.

Как по минному полю шел человек. Мог шагнуть, наступить, взорваться. Могло и пронести.

Случалось, что судьбу человека предопределяли случайности. Он мог бы жить тихо-мирно, не сталкиваясь сам лично с НИМИ. Ведь при всем том, что потребность в сексотах, стукачах, секретных агентах была огромной, ОНИ понимали, что не от каждого может быть польза для ИХ дела). Но неожиданно, вдруг органы начинал интересовать человек, который живет рядом.

Так случилось с Зоей Федоровной Суржиной.

Шел 1951 год... В Россию начали возвращаться из Китая, больше всего — из Харбина — русские, волею судеб оказавшиеся за границей. Об этом довольно много написано в современной литературе: и о том, как рвались люди домой, в Россию, и что потом с ними происходило, и какой горькой оказалась встреча с Родиной, и как желанная Родина представала для многих из них в виде лагерных бараков, колючей проволоки и часовых на вышках.

В Свердловске, где жила тогда Зоя Федоровна, таких (как сейчас бы сказали) «новых русских» оказалось много. Думаю, как и в других уральских и сибирских городах, главное — подальше от центра.

«Мы с мамой (а я тогда работала в техникуме преподавателем русского языка и литературы), — вспоминает она, — жили в маленьком деревянном домике: холодном, худом, проветривавшемся всеми ветрами. Было холодно, голодно, и мы решили маленькую, отгороженную деревянной перегородкой комнату сдать приехавшим из Китая и ищущим угол «шанхайцам» — так их называли тогда. Комнату в 8 метров, в которой едва помещалась железная кровать, шатающийся стол и табурет, снял «шанхаец» лет 60 или даже постарше — высокий, худощавый со впалыми щеками. Я помню и его имя: Леонид Абрамович Фукс. Дома он бывал мало, и только иногда к нему приходили гости, приехавшие с ним

из Харбина два молодых человека. Поскольку перегородка была деревянной, то я слышала их разговоры, но они всегда говорили по-английски...

У Леонида Абрамовича не было никаких вещей, кроме большого сундука. Человек он был больной и по утрам долго и надсадно кашлял, отплевываясь в баночку, — у него была астма. Потом пил чай и куда-то уходил. Он не работал. Сказал, что в Харбине у него была коммерция.

Все они были одинокими людьми...»

Однажды во время урока секретарша директора вызвала Зою Федоровну с урока и сказала, что ее спрашивает какой-то молодой человек. Она вышла и попросила его подождать, пока закончится урок. «Вы мне нужны срочно и на одну минуту», — сказал он тоном, не допускающим возражений. Потом, показав ей красную книжечку, добавил: «Вы должны сегодня в 15.30 быть в комнате — назвал номер — на Ленина, 17».

Для свердловчан Ленина, 17 означало то же самое, что для москвичей — Лубянка.

Когда она увидела красную книжечку в руках молодого человека, у нее подкосились ноги:

«Он повернулся, ушел, а я не помню, как закончила этот урок. Думала только об одном: если это арест, то они должны были приехать за мной на машине...»

Сейчас трудно представить, что она пережила, когда шла до этого страшного здания, выписывала пропуск, входила в подъезд, находила нужную комнату, не понимая, что ее сейчас ждет, кому она могла понадобиться, зачем?

Но все объяснилось просто.

«У вас проживает «шанхаец» Фукс? — спросили ее. — Так вот, отныне вы должны слушать все, о чем он говорит и о чем говорят те, кто к нему приходит. Нам важно знать, куда он ходит, где бывает...» — «Но они говорят по-английски», — пролепетала она. — «А какие языки вы знаете?» — «Французский и немецкий...» — «Жаль, жаль... Но все равно вы будете приходить к нам ежедневно и докладывать о нем».

Как же поступила Зоя Федоровна?

«Когда я пришла домой и рассказала обо всем матери — она была потрясена: дом 17 по улице Ленина наводил на нее ужас.

В тот же день, сославшись на то, что к нам якобы приезжает родня, отказала от дома нашему «шанхайцу»...

Безжалостно? Бесчеловечно?

Но только вот так Зоя Федоровна сумела избежать горькой судьбы стукача в то безжалостное и не очень человеческое время.

А вот другая история, ближе к нам по времени. Уже начало семидесятых. Время иное. Нравы — не те. Да и люди, люди тоже изменились. Но ситуации — схожие. И если Зоей Федоровной Суржиной ОНИ заинтересовались из-за соседа, то Любовью Тионовой — из-за однокурсников.

Она тогда училась на отделении журналистики филфака Дальневосточного университета. Однажды на третьем курсе ее вызвали прямо с лекции в деканат. Замдекана, кивнув при ее появлении красивому мужчине средних лет, вышла, деликатно приотворив дверь.

«Красавчик, выдержав паузу и внимательно меня рассмотрев, подошел к двери и повернул ключ в замке. Все эти манипуляции меня жутко заинтриговали. Я и предположить не могла, откуда и по какому поводу явился этот смазливый дядечка. И вдруг он бухнул как обухом по голове, что он из КГБ. Была бы я помоложе, то подумала, что у меня «крыша поехала». Представьте себе девочку — тихую, вполне заурядную. Из тех, кто в школе привычно пишут сочинения, иногда шлют заметки в местные газетки и воображают, что это и есть верный путь в большую журналистику. Знаний почти никаких, политика, экономика, философия за семью замками и вообще-то не особенно влекут. И вот такого куреныша — в сотрудники органов.

Дяденьку звали Геннадием Ивановичем. Он меня буквально обезоружил знанием мельчайших подробностей из моей весьма немудрящей биографии: кто мой жених, с кем я дружу, куда и когда хожу... Даже мнение свое высказал: мол, неудачную я себе партию подобрала, с таким парнем счастья не видать. После этого я немного пришла в себя и сообщила, что пока еще в состоянии сама себе выбирать парней. И поинтересовалась, зачем, собственно, приглашена...»

Зачем же понадобился ИМ этот, по ее собственным словам, «куреныш»?

Оказалось, из-за ее однокурсников, одного из которых в своем письме она обозначила инициалами «В.Ш.»

Кагэбешник начал допытываться, как часто она бывает у этого В.Ш. дома, что она там делает, о чем говорят... Попросил рас-

сказать, что за фотомонтажи В.Ш. стряпает и не позировала ли она ему в обнаженном виде.

«Я просто обалдела ото всех этих вопросов. Тот, кем они в тот раз интересовались, был очень талантливым парнем. От многих из нас отличался классической начитанностью, общей культурой, играл на пианино, на гитаре, пел песни собственного сочинения. Очень неплохо писал сатирические стихи. Написал он к тому времени поэму «Перо и серп», в которой его бывшие однокурсники совмещают интеллектуальный труд с физическим, крестьянским. Было в ней об идиотизме советской деревенской жизни, бесперспективности колхозного хозяйства, моральном разложении тех, кто пробрался в начальники. И все это хорошим слогом, с юмором. Мы просто падали от смеха, читая этот шедевр в перерывах между лекциями. А фотомонтажи он приносил такие: первая красавица курса на прекрасной лужайке обнимается с Брежневым и Фиделем Кастро. Или сам В.Ш. пьет на брудершафт с тем же Ленидом Ильичом. Качество было на высшем уровне. Как и все, что делал этот немного безалаберный, но безусловно очень одаренный мальчик.

Меня, как общежитскую, вечно голодную и тоскующую по маме, он иногда приглашал на домашние обеды. Французский коньяк (впрочем, давали самую маленькую рюмку), маринованные грибки, красные икра и рыба, жаркое, салаты... Готовила и угощала его аристократическая бабуля, бывшая преподавательница языков и музыки. Потом мы уходили в комнату В.Ш., он играл и пел, я ковырялась в его книгах, альбомах. Он мастерски делал женские портреты, вся стена над тахтой была увешана нашими университетскими красотками. Между прочим, никакой пошлятины! И вот Геннадий Иванович выуживал у меня компромат на этого мальчика, делал грязные намеки — и не напрямую, а как-то бочком, бочком давал понять, что у меня возможны неприятности, если я откажусь от сотрудничества. Я решила, что раз он и сам говорит о «художествах» В.Ш., то я это вполне могу подтвердить. Но только устно, никаких бумаг и подписей. Г.И. попросил запомнить его телефон и предупредил, что еще меня вызовет. А пока никому — ни-ни!..»

После этого разговора Л. Тихонова, по ее словам, места себе не находила. И в первую очередь вот почему (еще раз напомню, шли уже семидесятые):

«Я размышляла, почему выбрали именно меня, за какие провинности или «заслуги». Очень была оскорблена. Видимо, думала, морда была у меня подходящая, значит, я похожа на сексотку! В общем, измаялась вся и решила все рассказать жениху. Он был на пять лет старше меня, работал в газете, отличался независимыми взглядами, был уже сложившейся личностью. Реакция его была определенной:

— Ну, ты даешь! Ты хоть понимаешь, что заложила парня! Нужно все ему рассказать, и пусть уж сам крутится дальше...»

Вместе с женихом она в тот же вечер разыскала В.Ш. и рассказала об этом странном визите.

Геннадий Иванович объявился снова спустя неделю. Вызвал с лекции в коридор и назначил встречу по определенному адресу. Она пришла в какую-то квартиру с детским трехколесным велосипедом в прихожей. Тем не менее вид у дома был нежилой. Ожидала расспросов о В.Ш., но их не последовало. На сей раз темой их беседы явилась жизнь и образ другого ее однокурсника — Ю.Ш.

«Надо сказать, что этот парень был посложнее всех нас, вчерашних школьников. Отслужил армию, интересовался философией, экономикой. Тоже писал хорошие стихи. На лекциях задавал серьезные вопросы, доводил порой преподавателей до белого каления. Словом, кандидат в диссиденты. В группе его не любили, но интеллект и эрудицию признавали. И вот мне предлагалось осведомлять Г.И. обо всем, что говорят и делают ребята из моей группы, особенно В.Ш. и Ю.Ш. Я уточнила:

— Доносить, что ли?

— Не доносить, а осведомлять. Это большая разница, и, вообще, Люба, у вас искаженные представления о дружбе и товариществе...»

Геннадий Иванович пообещал ей, что «если с ним дело пойдет», то ее ждут определенные льготы: лучшее распределение, возможность продолжить учебу в аспирантуре МГУ, хорошая квартира. Это потом. А пока, возможно, будет выплачиваться что-то вроде стипендии от органов.

«Ночью долго ворочалась. Девчонки не выдержали:

— Что ты вздыхаешь, как больная корова? Ходишь последнее время, будто стипендию потеряла. Рассказывай!

Не спали до утра. Однокурсницы мои были просто потрясены. И все не могли понять, почему зацепили именно меня, а не кого-то из них. Пообещали в беде не бросать, успокаивали как могли...»

С Геннадием Ивановичем Любовь Тихонова встречалась еще три раза, он вызывал ее с лекций, уговаривал, увещевал, говорил, что она уже все равно у них на заметке пожизненно. Где бы она ни оказалась, чем бы ни занималась — каждый ее шаг будет ИМ известен.

И чем же закончилась эта история?

«Однажды, гуляя с подругой по Океанскому проспекту, я попросила позвонить ее по «секретному» телефону. Мы вошли в телефонную будку, подруга набрала номер, удостоверилась, что подошел тот, кто нужен, и произнесла интеллигентным голосом:

— Геннадий Иванович, вы меня, пожалуйста, извините, но вы — дурак.

И положила трубку.

Что есть духу мы помчались по проспекту. Было до ужаса смешно. В общежитии выкурили по сигарете, ждали, что за нами придут. Причем подружка с хохотом уверяла, что она-то ни при чем — придут-то, мол, за тобой, ты же «дружишь» с органами. Честно говоря, в этот день я немного попереживала. Но напрасно, как оказалось. Больше никто меня не вызывал, и Г.И. я больше никогда не видела.

В группе мы после этого старались лишней раз не высказываться, немного сдерживали языки. Шутили, что «ЧК не дремлет», вычислили одного сексота, устроили ему хронический бойкот. Между прочим, был серющим студентом, но впоследствии остался на кафедре, закончил аспирантуру, получил обещанные блага. «Товарищи» держат слово.

Мне, наверное, просто повезло. Были друзья, порядочное окружение. Всем этим я очень дорожила. Мы мало чего боялись, над многим иронизировали, мало задумывались о серьезных вещах и мало чего хотели. Не были заражены ни особым цинизмом, ни ура-патриотизмом, ни стремлением во что бы то ни стало сделать карьеру. Всей группой бойкотировали субботники и воскресники, бастовали против баланды в студенческой столовой, в знак протеста сидели под дверью никудышной читалки. У нас был девиз: «Всех не перевешаешь» — так мы шутили. Видимо, и к нам подходили несерьезно. На комсомольских собраниях нашу группу называли «зловонным букетом», наших отличников лишали повышенной стипендии. Тем не менее все мы благополучно получили дипломы, разъехались по белу свету. Уцелели вроде бы все...»

А я вот думаю, слово-то какое: «уцелели». Не на войне ведь. Идет, идет человек по этому минному полю... Мина — сосед, мина — однокурсник, мина — друг. Можно уцелеть, можно подорваться...

Но, как я убедился, читая исповеди, которые пришли ко мне, чаще для НИХ представлял интерес не конкретный человек, под которого ОНИ и готовили стукача, а тайное познание всей жизни, окружающего воздуха, просто людей, настроений, сказанных или запрятанных слов.

Помните, какое задание дали на Лубянке И. Штейн в 1933 году: «Вы должны прислушиваться ко всем разговорам в вашем коллективе и вообще везде. О всех высказываниях, порочащих партию, правительство и партийцев, вы должны сообщать нам при очередной явке на Лубянку»?

А вот история уже почти что совсем наших дней.

Одна из исповедей, полученных мною, была от молодого писателя из Белоруссии Славомира Адамовича, который даже название города, в котором он живет, подписал не привычным «Минск», а своим, белорусским национальным: «Менск». Потому-то я долго думал, откуда же на самом деле этот парень, пока не понял: да господа, именно так пишут название своей столицы те, кого еще совсем недавно называли «белорусскими националистами». Тогда, давно, когда еще мы все жили одной страной, а ребята (или как по-белорусски это слово?) хотели жить отдельно от нас. То ли от России, а скорее всего — от СССР.

Но — дело не в этом.

Славомир — из СССР, как бы он ни обозначал название своей столицы, ставшей столицей уже независимого государства (как, допустим, Швейцария или Ирландия). Но все равно — мы вместе с ним из одной эпохи, которую я помню так же отчетливо, как и он сам.

Тогда, когда Славомир столкнулся с НИМИ впервые, он работал сверловщиком на станкостроительном заводе им. Кирова. И оставайся он сверловщиком, то, возможно, ничего и не произошло бы. Но он начал писать, и притом на родном белорусском языке... В журнале «Маладосце» готовилась первая подборка его стихов.

Он шагал в литературу, кое-что уже в жизни испытал.

«У меня был достаточный жизненный опыт. 8 классов школы, ПТУ, где я получил первые уроки «дедовщины», работа в Казах-

стане, служба на флоте (и там же — месяц гауптвахты в одиночной камере), затем опять работа и — суд, приговор к двум годам условно с обязательной отработкой на так называемых «стройках народного хозяйства». Этой «стройкой» и был станкозавод.

Как видите, с системой подавления и изоляции личности я был знаком. Но даже мой немалый жизненный опыт не подготовил меня к встрече с интеллектуальными подонками...»

Хотя, как мне кажется, его первая встреча с представителем КГБ была никакой, и не думаю, что некоего Ивана Ивановича, первого человека ОТТУДА, кого он встретил в жизни, можно обозвать «интеллектуальным подонком».

Хотя и встретился он с ним в достаточно интеллектуальном месте — на творческом семинаре молодых литераторов в Доме творчества:

«Вместе со мной был поэт и переводчик Н., который и показал мне таинственного Ивана Ивановича, сказав, что этого человека надо сторониться.

Мы жили с Иван Ивановичем в одном и том же флигельке, в комнате 13. По вечерам мой знакомый поэт Н. в присутствии «товарища» травил анекдоты, не давая нам, неискушенным в правилах поведения при гэбешниках, пускаться в лиро-политические откровения. К сожалению, тогда предостережения нашего более осведомленного друга были восприняты не вполне серьезно. Да и Иван Иванович активно не высказывался. Странными только казались его лицо и фигура: словно выращивали человека в парнике или накачивали гормональными препаратами, отчего он имел щечки младенца, приличный животик и глаза, не выражающие никакого чувства.

Уехал он спустя три дня утром, так и не представив на наш суд ни стихов, ни прозы, ни какой-нибудь пьесы абсурда. Впрочем, теперь я уверен, что увез Иван Иванович прекрасные психологические портреты новой смены белорусских литераторов...»

Может быть, принадлежность этого «Ивана Ивановича» к тайному ордену — всего лишь плод воображения Славомира, мимо-летное воспоминание, которое вдруг всплыло, когда ЭТО уже накатило всерьез? Ведь я сам, припоминая сейчас разные молодежные литературные совещания и семинары, в которых участвовал, сколько раз удивлялся присутствию на них людей, непонятно зачем на них попавших. Но знал: один оказался потому, что его приятель — руководитель семинара, другой захотел повер-

таться в писательском кругу, третий — просто на халяву, используя свое знакомство или родственные связи с директором Дома творчества, где эти семинары обычно и проводились. И помню, как мы по-юношески зло высмеивали их.

Но знаю и о другом (и потому-то думаю, что скорее всего Славомир прав в своих подозрениях): о повышенном интересе КГБ к тем, кто пишет, снимает или рисует. Недаром же у каждой газеты, у каждого театра, у каждого издательства был свой куратор из КГБ. Не говорю уж о Союзе писателей, в котором практически открыто существовал в должности оргсекретаря человек в погонах: некоторые старые члены СП СССР даже с гордостью вспоминают, что занимавший когда-то пост оргсекретаря СП Ильин был генералом КГБ.

Потому-то для них было естественным посылать своих людей на подобные семинары и совещания: не анекдоты записывать (и здесь Славомир прав: сами чекисты — люди довольно циничные и потому не обращали внимания на то, кто и какие рассказывает анекдоты, по крайней мере, уже в наше время). Но целью было — понять, кто есть кто из молодых писателей; от кого может исходить потенциальная опасность для строя, который они охраняли; кто окажется слабее, чтобы не отвергнуть впоследствии предложенное сотрудничество.

Возможно, тогда этот «Иван Иванович» и заметил Славомира...

Хотя вторая встреча с НИМИ была совершенно случайной, к дальнейшей его судьбе отношения не имела.

«Поскольку мой авантюрный опыт иногда вторгал меня в довольно интересные ситуации, то вскоре такая случилась, — продолжает свою исповедь Славомир. — Однажды я ехал в трамвае без билета, рядом тут же оказались контролеры. И как нарочно им по дороге подвернулся пункт по охране общественного порядка, куда меня без лишних слов и привели. Там прошмонали мой «дипломат» и нашли книгу Гете с готическим шрифтом да мои стихи на родном белорусском. Сии предметы взволновали капитана милиции и дружинниц куда больше, чем мое нежелание платить штраф в два рубля. Меня направили в камеру, где я рассказывал какие-то сказки задержанным прощелыгам и курил их «чинарики». Через два часа наша милая беседа была прервана и меня из камеры направили напрямиком к следователю... КГБ. Даже приятно было очутиться после вонючей камеры в тихом, мягком

кабинете с портретом Железного Феликса. Там тоже удивились, узнав, каким образом я попал к ним. Но обещали познакомиться с Гете на немецком языке и моими стихами. Через несколько дней я получил обратно свои вещи и ушел на все четыре стороны, так и не заплатив два рубля штрафа...»

Кстати, книги, да и просто тексты на иностранных языках всегда вводили в шок всякий народ, стоящий на страже порядка. Даже самые безобидные из них становились предметом серьезных разбирательств, шума, гама, паники. Вспоминаю рассказ парня, как в армии (а он попал в ВДВ) его таскали на ковер за то, что ему мама прислала Диккенса на английском языке. Особист испуганно вертел в руках книгу, словно это была граната, из которой уже выдернута чека, и долго допытывался, зачем ему «эта зараза» в армии, будто нет нормальных книг в библиотеке части. И уж совсем анекдот произошел, когда, еще в семидесятых, я сам служил в армии. В соседнем с нами полку прямо на плацу нашли какой-то листок, исчерченный иероглифами (тут же решили, что его подбросили китайцы, так как именно в это время они стали нашим потенциальным противником). Но так как не только в части, но и во всем городе, в котором я служил, не нашлось ни одного переводчика с китайского, то с перепугу доложили по команде в Москву, и оттуда прилетел целый самолет с чекистами, контрразведчиками и переводчиками. Правда, в конце концов выяснилось, что иероглифы были не китайскими, а японскими и изображали они безобидную рекламу какой-то ерунды.

Но шум вышел знатный...

Все время у меня в чужие исповеди врываются собственные воспоминания, но, наверное, так и будет на протяжении этой книги: все мы проживали одну жизнь, одну эпоху и были детьми одной Системы — просто в разной степени зависимости от нее: кого прижимало сильнее, кого — слабее, кто был более чувствителен к ее прикосновениям, а у кого кожа задубела настолько, что даже град камней воспринимался как порыв легкого ветерка. А, может, дело просто в обыкновенном везении — одному больше, другому меньше. Как на войне.

Так вот, что касается личных воспоминаний...

События, которые стали поворотными в судьбе Славомира Адамовича и сделавшие его секретным агентом КГБ, сексотом, стукачом, по случайности и мне были хорошо знакомы.

Шел 1986-й... Второй год горбачевской перестройки...

Как-то я услышал от Вадима Бакатина, одной из значительных фигур того времени:

— Ты знаешь, когда я понял, что все, что Система умерла? Когда Горбачев впервые произнес заморское слово «плюрализм». Все, решил я тогда, если вместо одной «гениальной» теории будет несколько — строй рухнет...

Может быть, первыми ощутили возможность этих перемен на «национальных окраинах», те, кого так усиленно убеждали, что появилась новая нация — «советский народ» и что адрес в паспорте — «не дом и не улица, наш адрес — Советский Союз».

Да нет, хотелось и собственного дома, и собственной улицы, и языка своего, и истории, и традиций — всего того, чего не отнимешь у человека. Разве что силой, насилием. Но и то — не навсегда, как и оказалось впоследствии.

Прибалтика, Средняя Азия, Закавказье, Украина...

И вдруг до Москвы докатилась весть, что что-то происходит в тихой и вечно преданной Белоруссии.

Сначала в газетах появились сообщения, что в день рождения Гитлера минские нацисты вышли в центр города, но их разогнали мужественные «афганцы». Особенно это никого и не удивило: молодежные нацистские бригады то и дело пугали прохожих (уж не говорю о властях) своими намалеванными свастиками. И хотя их было мало и в основном они состояли из подростков (сейчас фашистов, кстати, куда больше, и это, увы, уже не подростки с их стремлением просто попугать своим видом родителей), но каждое очередное их выступление вызывало в обществе шум и ярость (кстати, несравнимые с сегодняшними, когда одного придурка из Питера никак не могут осудить за распространение гитлеровских откровений).

Все начали дружно осуждать минских нацистов, но вдруг до нас, то есть до «Литгазеты», начала доходить информация, что на самом-то деле никаких нацистов не было.

Я поехал в Минск и вместе с кинорежиссером Валерием Рыбаревым, с которым мы тогда только начали работать над фильмом «Меня зовут Арлекино», увиделись с ребятами, которых называли нацистами. Помню, что тогда меня поразило. В Минске — в принципе русскоязычном городе, они отказывались со мной говорить по-русски. Больше того! Когда я им задавал вопросы, они делали вид, что меня не понимают, и Валерий (сам, по-моему,

смеясь над собой, над ребятами и надо мной) выступал в качестве переводчика.

И постепенно я понял, почему не хотели эти ребята говорить со мной по-русски и почему с такой злобой смотрели они на меня, русского, в городе, в котором, повторяю, и не услышишь белорусскую речь.

Дело-то все было в том, что не день рождения Гитлера они, ученики минского художественного училища, праздновали в тот день, а свой национальный праздник, который по-белорусски называется «Гуканье Весны». Но кто-то (потом-то я выяснил, что это был минский КГБ) сообщил ветеранам Афганистана, что в центре города на Траецком предместье должны были собраться нацисты. И — началось побоище, когда разъяренные «афганцы» срывали не свастики с курток ребят, а белорусскую национальную символику.

И самое интересное! Одним из этих ребят вполне мог бы быть Славомир, так как именно в это время он вошел в организацию «Талака», стремившуюся возродить в Белоруссии белорусское.

И именно тогда-то его уже ОНИ прихватили серьезно.

«Я готовился к поступлению в университет, — вновь цитирую его исповедь. — В июньском номере «Маладосци» напечатали мои стихи. Я находился на седьмом небе от счастья.

Я занимался на подготовительных курсах, и вот за несколько дней до вступительных экзаменов меня вызвали с занятий, сказав, что «к вам пришли».

Это были ОНИ.

Мы встретились в скверике у главного корпуса университета (а ИХ было двое — молодой и пожилой), они поинтересовались моими успехами и даже принесли с собой номер журнала с моими стихами. Затем дали понять, что знают о моей семье, о том, что я вхожу в организацию «Талака», что, наконец, им известно, где и когда я говорил о нацизме с одобрением и давал читать «фашистские» журналы. Все эти елейным голосом сказанные слова, признаюсь, хорошенько меня взбодрили. То есть мне стало страшно.

Впрочем, о журналах (а имелись в виду журналы, издаваемые в Белоруссии в период фашистской оккупации) они быстренько позабыли. Им показалось куда более выгодным склонить меня к стукачеству. Началась усиленная обработка, в которой главный

kozyрь — шантаж: не будешь с нами работать — посадим за пропаганду нацизма.

От меня не отставали. Не поленились даже сгонять белую «волгу» в деревушку Ольховка, где жила моя мать. Навели шухер в сельсовете, испугали своими расспросами пенсионера-одногофамильца. И поползли там слухи...

И опять упорное склонение к стукачеству. Понимаю почему. В это время началось брожение масс. Люди стали проявлять себя не по сценарию КПСС–КГБ, а значит, требовалось все больше и больше стукачей...»

Но его не только пугали, естественно. Обещали и помочь с деньгами, посодействовать в сдаче экзаменов в университет, и даже, узнав, что он переписывается с польским ровесником, поездку в Польшу.

И Славомир сдался. На явочной квартире под магазином «Алеся» (оттуда, по его мнению, и наблюдали чекисты, как избивали «афганцы» ребят из художественного училища) он подписал подписку о неразглашении и стал «Петром»: такой псевдоним дали ему в КГБ.

Как и многие другие люди, попавшие в подобную передерягу, он до сих пор не забыл номера телефонов, которые ему дали для связи: 59-65-78 и 29-93-07, помнит, что «жигули» его куратора были белого цвета, и встречались они чаще всего у проходной завода имени Кирова.

Чем же было предложено ему заниматься? В первую очередь глубже внедряться в «Талаку», узнавать о настроениях, лидерах, планах. Чуть позже, а это уже шел 1987 год, когда появилась общественно-политическая организация «Тутэйшняя» («Здесьние»), ему предложили создать псевдолитературную организацию, которая, действуя под контролем КГБ, сумела бы нейтрализовать ее.

То есть все шло по вечному ИХ сценарию.

«Да, я пошел на известный компромисс, — признается Славомир. — Да, было во мне подленькое рабье чувство — страх. Да, из-за страха, из желания хотя бы на самую малость проникнуть в их деятельность я и стал балансировать у опасной черты, за которой было предательство. Я вел с ними свою игру, сочиняя легенды о несуществующем в реальной жизни, делая вид, что прислушиваюсь к их советам. Однако я понимал, что из такой игры нужно выйти при первой возможности...»

Его «вел» Вячеслав Андреевич Шевчук, тридцатипятилетний сотрудник минского КГБ, подтянутый, короткостриженный, с жесткими черными усиками.

По словам Славомира, «это был ангел, сама кротость, находка для любой женщины». И этого «ангела» он возненавидел так, как только можно ненавидеть человека.

«Он говорил мне: «Славомир, я докажу тебе, что человеческий материал довольно хрупок и твой страх утонет в твоём собственном дерьме.»

Мы много говорили о жизни. Он все пытался натравить меня как недавнего пролетария на интеллигенцию, моих знакомых по «Талаке». Мол, видишь, как ты жил, как тяжело работал, всего достигаешь сам, а они там, националисты в «Талаке», выросли на всем готовеньком, и прочее, и прочее. В такие минуты я был готов вцепиться в его выступающий кадык. Тогда же я укрепился во мнении, что антисемитизм — негласная политика коммунистического государства, ибо при каждой нашей встрече им подкидывалась идея, что во всем виноваты евреи. Даже так называемую «Белую книгу сионистов» приносил он мне и настойчиво советовал прочесть...»

Все то же, все так же... Несмотря на то, что уже кончались восьмидесятые.

«В течение всей моей игры с КГБ я оставался один, никто мне ничего не мог посоветовать. Мой знакомый поэт дал мне понять, что у него тоже сидят на хвосте.

Никогда никто из моих знакомых откровенного разговора о КГБ не вел, существовал только черный юмор и нескрываемая ненависть к этой организации и сознание того, что все мы ходим под КГБ. Как наши деды говорили, что все «ходим под Богом».

Потом я порвал с ними отношения и вышел из игры. Случилось это в тот день, когда куратор привел на встречу со мной молодого парня, очевидно, для натаскивания и практики. Но смены караула не состоялось», — так закончил свою исповедь молодой белорусский писатель Славомир Адамович.

Стоит лишь добавить, что разрыв с КГБ стоил ему в то время исключения из университета.

Сколько же людей прошло через ЭТО? Да и подсчитывается ли количество ИХ секретных агентов?

Не так давно, когда уже КГБ перестало существовать, один бывший ИХ опер, работавший в восьмидесятые, сказал мне, что,

как и везде, и там у них существовало свое планирование. «Лично я каждый год должен был вербовать семь новых агентов, — признался он мне, и с гордостью добавил: — У меня получалось...»

Если каждый опер ежегодно превращал семь нормальных людей в стукачей, если помножить это на количество лет, а потом перемножить на количество оперов и еще сделать допуск на восьмидесятые годы (раньше, в семидесятые, думаю, план был больше, не говорю уже о пятидесятых, сороковых или, тем более, тридцатых) — да, если все это подсчитать, то получится...

Нет, не осилю я эту арифметику. Скорее готов согласиться с Лукманом Закировым из Казани (помните, он играл в школьном театре Павлика Морозова?), который написал мне:

«Их были миллионы — доносчиков, специально сплоченных партией для тайной слежки за населением страны. Стукачей у нас очень много, и точного количества никто пока не знает. Говорят, их десятки миллионов. Ходят слухи, будто каждый десятый взрослый — стукач разного калибра. Есть стукачи крупные и есть мелкие, партия калибровала их так же, как и номенклатуру».

Да, все наше государство было усеяно этими минами на протяжении семи десятилетий, и практически каждый человек мог стать ИХ жертвой. Хотя, конечно, были и зоны повышенной опасности.

Во-первых, это, естественно, армия.

«Я служил в 1970-1972 годах, — пишет Леонид Ефремов из Якутии. — В казарме нас было чуть больше сотни человек. Из моего призыва офицер особого отдела вызвал троих (в том числе и меня), побеседовал, рассказал о борьбе со шпионами, попросил нас помочь, т.е. сообщать ему о таких случаях. Больше я с ним не встречался — не было шпионов. Про двух других не знаю. Догадываюсь, что из других призывов тоже вызывали. Значит, умножим на 4 призыва, которые служат одновременно, и получим, что из ста человек десять, по меньшей мере, являются СЕКСОТАМИ. И из них хотя бы один может оказаться добросовестным».

Особым вниманием, конечно, пользовались и те, кому по роду службы приходилось выезжать за рубеж в составе различных делегаций на семинары и симпозиумы.

Сабир Мамедов, старший научный сотрудник Шемахинской обсерватории, рассказал о своем, как он пишет, «очень заурядном и краткосрочном» сотрудничестве с КГБ.

«В 1979 году я ездил на съезд астрономов в Канаду в качестве научного сотрудника сроком на две недели. Перед выездом в Москву мне позвонили из отдела КГБ Шемахинского района Азербайджана и поручили позвонить по такому-то телефону, как только приеду в Москву. Как и было поручено — позвонил. Назначили мне встречу. Молодой, лет 30, человек откровенно сказал мне, что он — сотрудник КГБ. Он меня очень вежливо попросил присмотреть за известным ученым-астрофизиком Шкловским, а потом сообщить ему о всех подозрительных действиях того. Этот сотрудник тоже под видом астронома ехал в Канаду. Я согласился. Почему? Испугался, что если не соглашусь — то не видать мне Канады. Но! Про себя я твердо решил, что не буду следить за Шкловским и ничего не буду передавать. Так и поступил. Но уже там, в Канаде, я заметил, что и за мной тоже приставили следить одного астронома. И он-то, подлец, за мной следил.

Я считаю, что (и об этом много говорили) в заграничной поездке тогда по поручению КГБ все следили за всеми...»

Ну и, в-третьих, зоной повышенного риска являлись те, кто так или иначе общался с иностранцами, так как любой иностранец являлся потенциальным врагом хотя бы потому, что он — иностранец.

И думаю, что охота за иностранцами началась с первых дней образования ЧК.

В Калифорнии, в том же архиве Гуверского института, я нашел несколько листов машинописного текста, написанных скорее всего одним из сотрудников МГБ, перебежавшим на Запад (авторство, к сожалению, так и не сумел установить). И текст очень любопытен, особенно, когда автор описывает систему «наружного наблюдения», «НН», выражаясь их профессиональным языком, или проще — «наружки», за иностранцами. Цитирую:

«Наружному наблюдению подлежат все иностранцы.

Простому смертному трудно, а может быть, и совсем невозможно представить себе, что такое «НН», например, в масштабе города Москвы. Это значит, водить день и ночь под секретным надзором многие сотни «фигурантов» различных разработок, причем за каждым ставится бригада в три человека, а иногда и больше. Кроме того, ежедневно ставится наружное наблюдение за несколькими десятками, а иногда и сотнями приезжающих в Москву по разным делам крупных «фигурантов», разрабатываемых областными управлениями и республиканскими наркомата-

ми МГБ, которые часто оповещают второй спецотдел о такой необходимости только в день приезда «фигуранта» в Москву.

Но этим дело не ограничивается: согласно специальной инструкции наркома, надо водить под постоянным «НН» каждого сотрудника иностранных миссий, посольств, консульств, всех чиновников иностранных военных атташатов, всех приезжающих из-за границы иностранцев и особенно корреспондентов иностранных газет и телеграфных агентств. Меньше всего забот и неприятностей органам «НН» причиняют иностранные туристы, поскольку они всегда едут по определенным маршрутам и имеют неизменно при себе гидов и переводчиков от «Интуриста». Последние всегда являются агентами или штатными сотрудниками органов государственной безопасности. Во всяком случае за поведение иностранных туристов и за их встречи и беседы с советскими гражданами на улицах, в общественных местах отвечает не «НН», а спецчасть «Интуриста».

Но другие иностранцы доставляют второму спецотделу достаточно хлопот. Так, например, перед войной секретарь японского военного атташе в Москве Кембо Саоаки имел обыкновение ежедневно совершать вечерние прогулки от атташата по Охотному ряду и далее по ул. Горького до памятника Пушкину на Бульварном кольце. При этом он держал во рту незажженную сигарету и у каждого встречного просил огня, опрашивая таким образом за вечер по 30-40 человек. Кроме того, он подходил к различным киоскам, цветочницам и так далее. И везде заводил короткие разговоры. Сколько нужно было агентов, чтобы составить «установку» на каждого вступившего с ним в разговор?! Сводка о наружном наблюдении только за одним Саоаки имела каждый вечер до 50-60 «установок» и с проверкой по спецучету. В центре было прекрасно известно, что Саоаки таким путем откровенно издевался над МГБ, но «НН» за ним не прекращалось и не сокращалось.

Немцы и представители соседних с СССР стран Восточной Европы вели себя обыкновенно довольно спокойно, но американцы сперва являлись настоящим бедствием для «НН». Не имея обычно никакого понятия о действительном положении вещей в Советском Союзе и пользуясь полной свободой у себя на родине, американцы старались сохранить свои привычки и в Москве. Настойчиво пытались изучать жизнь Советского Союза теми же методами, которые обычно применяются для изучения всех других стран, т.е. они посещали все общественные места, спешили заво-

дить частные знакомства с советскими гражданами и засыпали Министерство иностранных дел просьбами о разрешении им поездок по всей территории Советского Союза. Помимо всех прочих причин, эта неприятная для КГБ особенность американцев объяснялась также тем, что США установили дипломатические отношения с СССР почти на пятнадцать лет позже других великих держав и американские представители в Москве пытались налаживать свои первые контакты с советскими гражданами именно в тот период, когда МГБ обратило острое своей деятельности на пресечение всякой связи между советским населением и иностранцами.

Очень большие хлопоты доставлял «НН» первый посол США в Москве Вильям Буллит (1933–1936). Он любил спорт и часто бывал на стадионе «Динамо», где пытался заводить знакомства с советскими спортсменами. При таких посещениях за ним приходилось ставить усиленную бригаду «НН», и «установки» за один день достигали многих десятков. Для облегчения службы «НН» к мистеру Буллиту прикрепili двух специальных агентов — рекордсмена-бегуна и теннисистку, игравшую за СССР во Франции, чрезвычайно стройную и броскую своей фигурой женщину. Но комбинация с теннисисткой не прошла. С наступлением зимы мистер Буллит начал отправляться на лыжные прогулки за город, чем приводил в отчаяние приставленных к нему агентов, не умевших хорошо ходить на лыжах. В это время он и некоторые другие американцы являлись в НКВД предметом разговоров о горах сводок «НН» на установки связей. НКВД вздохнул лишь тогда, когда Буллит клонул на подведенную к нему агента 2-го спецотдела, известную балерину Лепешинскую, и стал проводить все время только в ее обществе...»

Да, можно только посочувствовать бойцам невидимого фронта из «НН». Так же, впрочем, и как и послу Буллиту.

Но самое-то интересное, что иностранцы в России были предметом усиленного внимания КГБ вплоть до последнего времени.

Вспоминаю одну смешную историю, случившуюся не так давно. В Москву приехала Кьяра Валентино, мой товарищ из итальянского еженедельника «Эспрессо». Мы зашли пообедать в маленький ресторанчик возле «Новослободской». И вот только здесь вспомнили, что обещали взять с собой Марко Политти, тоже нашего друга из «Месседжера». Кьяра пошла ему звонить, и вдруг парень, который был ее переводчиком, сказал: «Интерес-

но... Наконец-то увижу Марко...». «А вы что, знакомы?» — спросил я. «Я три года сидел на его телефоне». «В каком смысле?» — сначала не понял я. И он мне объяснил.

Оказывается, этот парень всего лишь пол года назад ушел из КГБ и его работа состояла именно в том, чтобы подслушивать разговоры Марко Политти...

Сами можете представить, какова была реакция Марко, появившегося через полчаса в этом ресторанчике, когда я сообщил ему, что хочу познакомить его с самым близким для него другом, — и представил этого парня. «И много я наговорил?» — помню, растерянно спросил Марко. «Да нет, у вас было все нормально», — успокоил его бывший гэбешник.

Согласитесь, для того, чтобы «охватить» каждого иностранца, живущего у нас или приезжающего к нам в гости, нужно было иметь — кроме кадровых офицеров КГБ — еще и невероятное количество секретных агентов.

«Кузницей» таких кадров являлось Управление по делам дипломатического корпуса (УПДК), которое поставляло всем иностранцам — от посольства до представительств фирм и газетных бюро — обслуживающий персонал, который практически весь состоял из секретных агентов КГБ.

Один из таких агентов пришел ко мне в редакцию и согласился на диктофон наговорить свою историю.

«С момента прихода в Систему, то есть в УПДК, мне было сказано, что я должен сообщать о всех своих встречах с иностранцами и о встречах иностранцев с нашими. Периодически мне звонили ОТТУДА, и я должен был докладывать, с кем они виделись и о чем они говорили», — так начал свой рассказ Юрий Владимирович Гудков, работавший инженером в представительстве одной югославской фирмы.

— Не удивило ли вас, когда вы устраивались на работу в УПДК, что вам придется стать сексотом? — спросил я его.

— Мне было прямо об этом сказано при поступлении на работу: иначе я бы просто не прошел через их отдел кадров. А разница в зарплате инженера в министерстве и инженера на фирме как минимум в два раза.

Все эти годы его «вел» один и тот же опер по имени Александр.

Встречались они с ним или на Кузнецком мосту, или в скверике возле архитектурного института, или в каком-нибудь близле-

жащем переулке, куда Юрий Владимирович подъезжал на своей машине. «И каждый раз Александр спрашивал у меня, нет ли в машине микрофонов. Он всегда старался выйти из машины и разговаривать на лавочке».

К своей работе на благо контрразведки Гудков относился достаточно скептически:

— У меня была чисто техническая работа, в тайны фирмы я старался не лезть, и потому что-нибудь конкретное я своему куратору сообщить не мог. Он чаще всего спрашивал, с кем именно встречались представители фирмы. Как правило, ИХ интересовали встречи с немцами, австрийцами и американцами.

Интересовала куратора и личная жизнь югославов: с кем встречаются, с кем проводят время, но тогда, как правило, возле домов, где жили иностранцы, стояла милиция и никого без сопровождения к ним не пускала.

Я спросил, были ли какие-нибудь целенаправленные задания? Оказалось, нет — просили рассказывать все, что узнал или увидел. Когда рассказывал мало — обижались, но, по словам Юрия Владимировича, толком-то он ничего и не мог рассказать, так как на переговорах сам не присутствовал.

— А югославы догадывались, что вы работали на КГБ?

— Естественно. Сомнений у них на этот счет не было, и в некоторых случаях, когда что-то надо было обсудить без меня, они прямо говорили: «Отвали».

Вообще, по его словам, работа эта была абсолютно никому не нужная. Доходило до ерунды:

— Однажды мы ехали с фирмачами, а я был за рулем. Я увидел за собой ИХ машину и решил от нее оторваться. Просто так, шутки ради... И оторвался, уйдя через проходные дворы. На другой день меня вызвали и спросили, кто был за рулем. Я соврал, что шеф. Они мне посоветовали передать ему, чтобы так быстро не ездил...

Дома знали, что он работает на КГБ, но сам куратор в гости никогда не приходил. Никаких денег не платили, видимо, по одной причине: работа в УПДК была сама по себе честь для малооплачиваемого советского инженера.

Я спросил, тяготится ли он каким-нибудь воспоминанием о своей «дружбе» с КГБ.

Юрий Владимирович на секунду задумался, а потом сказал:

— Однажды ко мне подошли два парня, может быть с провокационными целями, и попросили провести их в посольство ФРГ. Я их довез до посольства и — сдал в милицию. Но, может быть, они не были никакими провокаторами....

— Интересовало ли куратора, привозят или нет югославы с собой диссидентскую литературу?

— Нет, но, естественно, Солженицын у фирмачей был.

— А вы сами читали?

— Еще раньше, когда был за границей... В командировке в Белграде. Там в Доме русской книги можно было купить и «Архипелаг ГУЛАГ», и «Доктора Живаго». Я покупал, читал, но в Москву не вез, чтобы не испытывать судьбу.

Он ИХ, естественно, боялся:

— У меня самого арестовали деда. В той же квартире, где и живу сейчас. Так что я все пережил еще мальчишкой.

— Александр знал об этом?

— Естественно... Ведь у НИХ досье есть на каждого человека...

Потом сказал, что он сам чувствовал: его телефон прослушивался не только на работе, но и дома. В фирму же перед каждой важной встречей обязательно приходили «телефонисты» и говорили, что надо починить телефон. Югославы смеялись, но шеф бюро, когда нужно было поговорить о чем-то важном, непременно снимал телефонную трубку, думая, что это помогает от прослушивания.

Когда он ушел из УПДК — от него отстали.

— Но если бы не работал на КГБ, то меня бы не приняли в Министерство авиационной промышленности. Когда я только туда перешел, меня тут же вызвали в особый отдел, и я понял: про меня все известно.

Сейчас Юрий Владимирович убежден, что ни пользы, ни вреда от его работы никакой не было. Просто, был винтиком этой системы...

У всех, конечно, было по-разному.

Некоторых делали доносчиками лишь для какого-нибудь конкретного дела и после к ним уже больше не приставали. Вот что написал мне сексот, подписавшийся псевдонимом «Кочубей»:

«Однажды ко мне обратился сотрудник КГБ с предложением «раскрутить» одну конкретную личность, т.к. предполагалось, что эта личность ведет активную антисоветскую пропаганду, имеет

связи с зарубежьем. В те годы я был правоверным и на предложение согласился не колеблясь.

И ходит этот инженер, а его уже несколько раз принимал министр отрасли, не ведая о том, как сгущается хмарь над его нестандартной головой.

Так как вербовка моя была целевая, связь с КГБ после разработки инженера прекратилась.

Я рад, что не принес вреда тому человеку. Но и не сразу пришла ко мне оценка — моральная оценка именно политического сыска: ведь пионером меня воспитывали в дружине им. Павлика Морозова.

В то время я заметил, что Комитет активно интересовался настроением в рабочих и инженерных коллективах — это были первые месяцы Андропова на посту Генсека».

Другим же завербованным везло меньше, и КГБ не оставлял их в покое до самой старости, кружа, кружа над головой.

В. Гурвич из Новосибирска служил на Севере, на флоте, в бригаде подводных лодок. Уже на пятом году службы, в начале 1948 года, он вдруг понял, что им интересуется отдел контрразведки.

«Дело было так. Я возвращался к месту службы из краткосрочного отпуска, и в Москве у меня украли бумажник со всеми документами. Я сразу же явился в морское ведомство в Козловском пер. и был препровожден в Химки, на гауптвахту, откуда только через неделю отпущен с новым билетом в Полярное.

Положение осложнялось тем, что украденные документы были просрочены (иначе зачем я поперся на губу — ехал бы дальше) и там стояло разрешение на задержку военкома с места жительства. Их сначала подбросили где-то, а потом какая-то добрая душа переслала на корабль — плавбазу «Печора», где я служил мотористом. Закрутилось дознание, но я был спокоен, пока к дознавателю не подключился сам капитан 3 ранга И.А. Дубнов...»

Никаким капитаном 3-го ранга он не был, хотя и носил морскую форму, а являлся начальником контрразведки бригады и располагался в специальной каюте А-40ю, куда и стали вызывать В. Гурвича. Чаще всего по ночам. Видимо, подозревая, что он симулировал кражу, чтобы скрыть самовольную задержку, моториста заставляли писать определенные слова левой рукой и т.д.

«Замполитом на «Печоре» был некий Филоничев, откровенный антисемит и совершенно безграмотный мерзавец. Всю кашу

со СМЕРШем заварил он, и это меня и спасло: Дубнов решил проявить объективность.

Через некоторое время Дубнов вызвал меня. После формального разговора он начал со мной беседовать вдруг милостиво и вальяжно. Спросил о моих планах после дембеля — я ответил, что хотел бы поступить на юридический. Он одобрил и даже поделился своими трудностями в разрешении некоего юридического казуса (можете себе представить!). А потом намекнул вскользь, что я мог бы уже и сейчас оказывать посильную помощь в оперативной работе: «Вот только вам в партию надо вступить... Но повторяю, при желании вы можете и сейчас мне кое в чем помочь...» — и так далее.

Еще через год, когда замполит добился списания моториста во флотский экипаж (это вроде пересылки), а оттуда направили на остров Кильдин, Гурвич вспомнил предложение Дубнова — а тот уже пошел на повышение, — и отправил ему записку с просьбой о встрече.

«Меня мгновенно вызвали на базу, к Дубнову. Он велел мне подписать обязательство о внесудебной ответственности за разглашение и объявил, что будет готовиться моя засылка на Новую Землю как гражданского для «проверки надежности охраны объектов». Он даже сказал: «Создадим вам контору «Рога и копыта»... Мне было также сказано, что связь будет со мной держать через капитан-лейтенанта Меркурьева, и представил бесцветного, такого же липового «моряка». И еще мне велели выбрать псевдоним, которым я должен был подписывать сообщения, начинающиеся словами «Источник сообщает»...

Псевдоним я выбрал себе шикарный — Грановский. И начал служить при штабе в Полярном. Смершевцы все морочили мне голову Новой Землей, а пока «временно» Меркурьев велел писать, о чем говорит старшина 2-й статьи Шкарупа и что делает матрос Смирнов, ориентируя «источник», что первый — украинский националист, а второй — сын известного троцкиста.

Но «националист» и «троцкист» ничего такого не говорили, и тогда Меркурьев велел мне интересоваться капитаном Матцингером и часовщиком из Ленинграда Фимой (фамилию я позабыл). Костя ничего не говорил, кроме матерщины (он был начальником строевой части), а с Фимой мы пропили 50 меркурьевских рублей, которые шеф мне дал под расписку, и еще 500 рублей Фиминых.

Что эти орлы-чекисты делали нормально, так это инструктировали, что разговор с клиентом нужно умело склонять на интересующую их тему, но ни в коем случае не идти на провокацию, не поддакивать...»

Потом Гурвича демобилизовали, и он был убежден, что и подписка, и псевдоним, и чекисты — все останется там, в прошлом, как нелепый сон. Он переехал в Тбилиси, поступил на физтех университета. И вдруг спустя год — вызов в профком.

«Там меня ждал хмырь в белом кашне, в шляпе, драповом синем пальто и в хромовых сапогах. На улице он представился старшим лейтенантом госбезопасности Майсурадзе и передал привет от Меркурьева: «Будем работать вместе. Факультет у вас секретный, а люди разные...» Он предложил встречаться раз в месяц и открыл своим ключом дверь какого-то домоуправления, без крыльца и тамбура, прямо с улицы».

То есть Гурвича сдали с рук на руки. Стал он являться к новому куратору на свидания, и тот каждый раз нудно выспрашивал, все ли благополучно на факультете, и предлагал познакомиться то с одним доцентом, то с другим профессором...

Когда подопечный начал пропускать свидания, «куратор» приходил к нему домой и говорил, что если станет плохо работать, то «со своими соплеменниками будет землю копать», — тогда все евреи ждали поголовной депортации... И пытал на тему провокационных слухов о «массовых репрессиях» — что говорят об этом знакомые евреи...

Гурвич понял, что от него не отстанут.

«Пошел я тогда к своему другу-однокурснику Робику Людвиговичу и все ему рассказал (а отец его работал начальником секретариата Лаврентия Павловича). Попросил его помочь через отца избавиться от этого кошмара. Роберт засмеялся и сказал, что у него не такие отношения с отцом...

Потом, наконец, умер Сталин. И мы втроем, запершись, пили с одним непременным тостом: «Таскать вам не перетаскать...» И я всем говорил одно: хуже не будет. И как в воду глядел: летом расстреляли Берию. А меня вызвал на очередную прогулку Майсурадзе с другим чином, который представился подполковником (фамилию забыл), и строго мне выговаривают: «Вы пять лет саботажем занимаетесь. Вы давали подписку... У нас длинные руки...» А я им: «Все. Я выхожу из игры...»

Но не такая это игра, из которой можно выйти, когда захочешь.

Спустя три года после окончания университета В. Гурвич уехал работать в Дагестанский филиал АН СССР. Весной 1961 года его вызвали в КГБ Дагестана.

Капитан Ахаев спросил его о делах, самочувствии и потом спросил: «Борису Пастернаку писали?» — и протянул фотокопии писем.

— А с чего вы взяли, что это письмо написал я? Тут нет моей подписи. И почему вы вообще читаете чужие письма!

— А нам, — отвечает, — после смерти Бориса Леонидовича с возмущением это письмо передала его вдова...

Поволок меня Ахаев в кабинет к полковнику и стали мне грозить собранием по месту работы. «Давайте собрание, — говорю. — Только не ждите, что я буду молчать о ваших делишках...»

Велели мне явиться, «подумав», завтра. Наплевал. Через три недели стучит сосед: «Известный вам Ахаев вызывает вас завтра к десяти...»

Отказался...

Потом я уже переехал в Новосибирск...»

И, считает он сегодня, этим и спасся.

А вот еще одна судьба, чем-то схожая с судьбой В. Гурвича. Правда, этого человека не оставили и по сегодняшний день.

«Что такое сексоты, я знал с малолетства. В роковые 30-е годы наша семья жила в Москве, шесть человек в двух барачных комнатах, причем спали все в одной 15-метровой комнате, а вторая — кухня — для жилья была мало пригодна. Отец и мать работали в одном наркомате и часто, думая, что мы с сестрой спим, шепотом обсуждали события прошедшего дня: мать — секретарь замнаркома, рассказывала об арестах, отец — о своих делах, и оба — о «свиданиях» с чекистами. Так я и проник в тайну чекистской агентуры. Я уверен, именно эта тайная жизнь и спасла родителей от репрессий в тридцатых, хотя и не помогла отцу выжить в ГУЛАГе, куда он попал после войны как бывший военнопленный. Но это уже другая история...

Так что службу я «унаследовал» от родителей, а вернее, в те ночные часы, когда подслушивал их разговоры о шефах с Лубянки и проникался романтизмом сексотства, хотя и не подозревал о том, что и самому придется дать расписку о неразглашении» — так начал свою исповедь москвич Н.

В июле 1941 года 16-летним пацаном он ушел добровольцем на фронт, отвоевал от звонка до звонка, потом служил в Берлине. Именно тогда, уже в конце службы, последовал вызов в СМЕРШ полка. А попался он вот на чем.

«В 1943 году во время боевой операции я потерял медаль «За отвагу», которую получил за взятие Новозыбкова. А в 1946 году Господь послал мне такую же медаль в вагоне берлинской электрички, под другим номером. По простоте душевной я попросил в мастерской перебить номер. Что мне и сделали и — сообщили куда надо. И вот при таких обстоятельствах мне пришлось дать подписку о согласии стать агентом. Представьте ситуацию: начальник СМЕРШа страшает дисциплинарным батальоном, а я «так давно не видел маму» и мне такие хорошие письма пишет первая любовь, моя одноклассница Нина.»

Так вот, дал он тогда согласие, подписку и обещал остаться на сверхсрочную. Но... обманув СМЕРШ, демобилизовался в марте 1947-го. После этого начал работать в Москве в одной полувоенной организации. А в октябре — приглашение зайти к оперуполномоченному, напоминание о расписке и приглашение к работе сексота. Отказался. После этого вызов в кадры: предлагают подыскать другое место работы, не связанное с допуском, так как он «не пользуется доверием». Еще предложили записать в личное дело, что его отец, бывший военнопленный, отбывает наказание в Воркуте. А он уже женился, жена ждала ребенка, жить негде и не на что. Так что пришлось согласиться.

«Но цель моего письма рассказать вам не о себе, а моих шефах. Не буду называть их фамилии, поскольку и в Вашей редакции есть сексоты и нет гарантии от доноса. Берлинский шеф, капитан по званию, карьерист и провокатор. Он меня учил: заводи разговоры на политтемы с солдатами, сержантами, делай вид, что поддерживаешь антисоветские настроения и т.п. В Москве у меня в разные периоды были разные шефы. Были среди них и хорошие ребята. Один из них помог разобраться с делом отца и с его реабилитацией, другой — просто хороший товарищ, коллега по садоводству — интеллеktуал, хороший собеседник. Он интересовался тем, кто собирался в командировку или в турпоездку за границу, спрашивал: как думаю, не убежит? Но двое с Лубянки оставили тяжелое впечатление. Один подполковник, другой — полковник, оба пьяницы и, уверен, взяточники. На одну из встреч со мной они пришли оба под хмельком. Подполковник первым

делом отсчитал мне 100 рублей и попросил дать расписку на 200. Я поблагодарил и отказался, мол, не достоин такой большой чести, да и в деньгах не нуждаюсь. Оба они были почему-то сильно обозлены на писателей и вообще на интеллигенцию. «Мало дали этим ублюдкам (имелось в виду дело Синявского и Даниэля), надо бы к стенке, чтобы другим было неповадно».

Вообще о моих шефах у меня сложилось следующее впечатление: чем омерзительней был их моральный облик, тем больше коммунистами-ортодоксами они старались казаться. Ни о каких поисках шпионов не было и речи. Вся их работа была направлена на подслушивание всяких разговорчиков и анекдотов, на возможность пришить дело по ст. 70 или же по ст. 190...

Разные у меня были шефы — капитаны, майоры и даже один полковник. Но никто от моих донесений не пострадал. Более того, думаю, что многих я в какой-то степени даже реабилитировал в глазах чекистов.» — так на закате жизни утешает себя Н.

«О всех высказываниях, порочащих партию, правительство и партийцев, вы должны сообщать нам при очередной явке на Лубянку.»

«Он подписал подписку о неразглашении и стал «Петром»: такой псевдоним дали ему в КГБ.»

«Псевдоним я выбрал себе шикарный — Грановский...»

## ***ВСЕ. МЫШЕЛОВКА ЗАХЛОПНУЛАСЬ***

Я прервусь. Давайте взглянем на все с другой стороны — со стороны тех, кто оказался жертвами ЗОНЫ — самой настоящей.

Хочу привести лишь одно письмо — из сотен, полученных мною от детей узников тех сталинских лагерей.

Может быть, сквозь восприятие одного из них пойдем, попытаемся понять, что означала эта подписка о «неразглашении». Итак, письмо А. Безносика из Молдавии.

«Одесса. Февраль 1938 года. Мне 12 лет. Я принес в тюрьму передачу отцу: нижнее белье, носовой платок, десяток яиц. Передачу не приняли. Я расплакался. На меня обратил внимание ка-

кой-то тюремный чин и распорядился принять белье. Яички не взяли. Через некоторое время вынесли то, что отец снял с себя в камере. Я схватил грязное, пахнущее потом и камерой белье, прижал к груди и кинулся к выходу. У родственников, которые жили в Одессе, мы прощупали и осмотрели каждую складочку в надежде найти хоть что-нибудь, открывающее завесу неизвестности, но, кроме следов крови на вороте рубашки, ничего не нашли. Этим я был потрясен: отца били.

Вторую передачу, в марте, не приняли. Сказали, отец убыл на этап. Я не понимал, что такое этап.

Жили мы в то время на станции Затишье Одесской железной дороги. Отец до ареста работал путевым обходчиком.

2 февраля, ночью, его вызвали в отдел кадров, и больше я его не видел. Спустя две недели мать, потрясенная случившимся, тяжело заболела. Ее поместили в одесскую психбольницу. Меня и старую бабушку после «убытия» отца выселили из железнодорожной будки в сарай, так как на место отца назначили другого путевого обходчика. Стоял апрель. Было холодно. В сарае мы жили с нашей коровой. Она нас кормила и обогревала. Там я готовил уроки. Учился хорошо, а поведение было плохим. Стал раздражительным, грубил учителям. Несколько раз, бросив школу, ездил на товарнике в Одессу, подолгу ходил возле тюрьмы, пока не попадал в поле зрения охраны, которая меня задерживала и передавала милиции. Эти похождения стали известны директору школы. Она вызвала меня в кабинет и предупредила: «Ты знаешь, кто твой отец, будешь плохо себя вести — и ты туда пойдешь». Я долго после этого плакал. Мне казалось, что нет в мире никого, кто желает мне добра.

Потом была война, была долгая тяжелая служба. Где бы я ни был, меня не оставляла горькая мысль, что же за такая жестокая, присущая временам инквизиции, несправедливость свалилась на нашу семью в 1938 году.

Мой отец был честный, добросовестный, справедливый человек. Любил трудиться, любил жизнь, любил свою семью. Это доброе с одной стороны и подлое, жестокое с другой теснилось в моей голове.

Постановление особой тройки НКВД в отношении отца было вынесено 11 марта 1938 года, а 24 марта 1938 года его расстреляли. Это мне сказали: отправили на этап... Время торопило.

Нужно было разоблачать очередных врагов народа, получать звания, должности, ордена. Трупы где-то закапывали, но где?

Сейчас я уже старый, больной человек. Мне, как никогда раньше, хочется прикоснуться руками, телом к той земле, где лежат кости отца.»

Таких писем у меня много — от тех, чьих отцов и матерей уводили навсегда, навечно, так что даже и фотографий не оставалось. И от тех, кто своей детской памятью помнит то, о чем стали забывать мы, уже повзрослевшие.

## **ОДИНОКИЙ ГОЛОС В ХОРЕ**

**Иваново, 1942 год**

«Ваши публикации разбередили мне душу. Они подтолкнули меня к откровению, к покаянию, если хотите. То, что вы сейчас прочтете, я даже никому не рассказывал. Может быть, это письмо поможет мне избавиться от ощущения вины перед людьми, по отношению к которым я совершал, как осознал позднее, подлость.

Шел 1942 год, а мне — семнадцатый. Был я в ту пору секретарем комсомольской организации ивановской школы №51.

Как-то меня вызвали в райком комсомола. Секретарь Сталинского райкома сидел в своем кабинете в обществе какой-то средних лет женщины, одетой в строгий костюм. Секретарь немного поговорил со мной о текущих комсомольских делах, из-за которых, как я понял, не стоило вызывать в райком, потом буркнул: «Вот тут с тобой поговорить хотят» — и вышел, оставив нас вдвоем.

Женщина, скупой улыбнувшись краем рта, представилась сотрудницей органов и назвалась Анной Ивановной Марецкой. Она немного поспрашивала меня о школе, о комсомольской работе, о родителях, а потом перешла к главному. «Сейчас, — сказала она, — когда идет война, у нас много врагов не только на фронте, но и в тылу, среди нас. Врагов нужно выявлять, и ты, как сознательный комсомолец, должен нам в этом помогать».

Она объяснила, в чем должна заключаться моя помощь. Я должен был подслушивать разные вражеские разговоры, выявлять людей с нездоровыми настроениями, недовольных и враждебных Советской власти. Спросила, согласен ли я. Ну, конечно же я, находясь

в эйфории патриотизма, с радостью согласился: врагов, где бы они ни находились, нужно выявлять и уничтожать.

— Обо всем будешь мне докладывать письменно, — сказала она. — А подписываться будешь псевдонимом. Какой выберешь?

— Корчагин, — не задумываясь ответил я, называя любимого героя любимой книги.

Она назначила мне встречу в определенное время в доме, который все ивановцы, отмечая его архитектурную особенность, называли «подковой».

И я приступил к «работе», т.е. стал стукачом.

Слушал разговоры людей в очередях за продуктами, в школе и везде, где придется. То, что мне казалось крамольным, записывал. А потом составлял донесение и бежал на конспиративную квартиру.

На квартире меня встречала пожилая женщина и предлагала чай с пирожками. Пышные, вкусные пирожки мне, вечно голодному, казались чудом, и я мигом сметал их с тарелки. Марецкая всегда появлялась чуть позже. Она бегло просматривала мой донос, задавала несколько незначительных вопросов, уточняла кое-какие обстоятельства и прятала его в сумочку... Мне казалось тогда, что донесения мои ее мало интересуют.

Как-то она пришла позднее, чем обычно. Сняв пальто, оказалась в военной гимнастерке с «кубарями» в петлицах. На этот раз мы разговаривали дольше обычного. Марецкая рассказала несколько историй о разоблачении органами врагов народа, шпионов и диверсантов. Потом вынула из сумочки и показала пистолет. Я, замороженный, смотрел и на «кубари», и на пистолет, который она, вынув обойму, дала мне подержать. В этот момент я почувствовал себя причастным к органам и мысленно поклялся выполнять все, что мне только ни поручат.

Потом Марецкая спросила, знаю ли я ученицу нашей школы по фамилии Гаёк. Я ответил утвердительно: Зойка училась в соседнем классе, имела две длинные косы и бойкий характер.

— А отца ее знаешь?

Нет, отца Зои, инженера одного из ивановских заводов, я не знал.

— Нас очень интересует инженер Гаёк, — сказала Анна Иванова. — Ты постарайся с ним познакомиться.

Я понял, что неспроста органы заинтересовались инженером, значит, он если не скрытый враг, то уж точно — неблагонадежный человек.

И — начал действовать, через Зою, конечно. Она сначала усмехалась и презрительно фыркала, не принимая моего внезапно вспыхнувшего желания поухаживать за ней. Потом помягчела — парень я был видный. Через некоторое время я, пользуясь гостеприимством семьи Гаёк, уже сидел с ними за вечерним чаем.

Инженер Гаёк, то ли немец, то ли еврей, жизнерадостный, энергичный человек, много говорил о политике, о войне, о работе, очень неодобрительно отзывался о существующих порядках: высказывал сомнения в достоверности сводок Информбюро, критически говорил о правительстве и некоторых конкретных личностях в нем.

Нет, я не давился за столом инженера куском хлеба, потому что видел в нем врага, а в сознании своем отделял отца от дочери. Я с аппетитом жрал, слушал, мотал на ус, а потом, потискав на прощание Зойку в коридоре, бежал писать свой донос. Надо ли говорить, что Марецкая к этим моим «материалам» относилась с большим интересом: расспрашивала о подробностях, уточняла то, что казалось ей важным.

Позже меня вызвали в НКВД. Произошло это в день моей отправки на фронт, когда с мешком за плечами я сидел в одной из комнат Сталинского военкомата вместе с другими призывниками.

В НКВД мне дали прочитать «материалы», составленные на инженера Гаёк. Я читал сухие казенные строчки, узнавая кое-где свои выражения. Читал с чувством исполненного долга, с удовлетворением хорошо выполненной работы...

О судьбе инженера я узнал, когда побывал дома после второго моего ранения: его арестовали вскоре после моего отъезда, а семью, включая и Зою, куда-то сослали...

И еще одна встреча с органами.

1949 год. Я после окончания училища в чине лейтенанта-танкиста служил в Германии. В это время в каждом полку был представитель особого отдела — или «особняк», как мы их называли. Особисты находились в привилегированном по отношению к другим офицерам положении: жили в Германии с семьями, что другим не разрешалось, имели шикарные квартиры и отдельные рабочие кабинеты. Вся их работа была окружена атмосферой таинственности.

Однажды меня вызвали к нашему особисту, лейтенанту Корзухину, и между нами состоялся вот такой диалог.

— Ну как, понравились вам наши солдаты? — спросил он.

«Что значит — понравились? — подумал я. — Они что, девушки, что ли?» — и ответил:

— Солдаты как солдаты... А что вас интересует?

— Ну, как у них настроение, какие разговоры ведут?

— Разговоры обыкновенные: все насчет баб и как пожрать или выпить.

— Ну, это понятно... А других разговоров не замечали?

— Каких — других? — начал злиться я: спрашивает, сам не зная о чем.

— Ну... — снова занукал особист, — разговоры насчет власти, существующих порядков... — и уже определеннее: — Антисоветчины не замечали?

К тому времени я уже был не семнадцатилетним пареньком, многое понял и деятельность корзухиных никаких симпатий у меня не вызывала.

— Нет, не замечал, — отрезал я.

— Это хорошо, — протянул Корзухин с ноткой некоторого разочарования. — Но если услышите такие разговоры, сразу мне сообщайте.

— О чем сообщать-то?

— О настроениях, о разговорах такого толка, о чем мы с вами сейчас толкуем, — раздраженно сказал особист. — Вы что, не поняли?

— Мне солдат военному делу учить надо, а не подслушивать их разговоры.

— Не подслушивать, а слушать! — сердито воскликнул Корзухин. — Вы член партии?

— Кандидат...

— Вот видите, вам в партию вступать надо и по службе продвигаться... А сотрудничество с нами ценится. Так что подумайте...

Нет, на этот раз я не стал сотрудничать с органами, и напрасно ждал меня Корзухин с докладом. Больше я к нему в кабинет не заходил. Сама мысль о том, что я подслушиваю солдатские разговоры — а они мне доверяли и говорили при мне не стесняясь, — казалась мне отвратительной.

В этом случае было как будто все в порядке: я сам решил, как мне поступать.

А вот тогда, в пору юности?..

Кто мне скажет со всей определенностью, правильно ли я поступил тогда? Но пусть скажет тот, кто чувствует себя вправе бросить в меня камень...

А нас ведь было много таких. Проклятая наша жизнь сделала нас безответными винтиками: и ввинчивали нас, куда надо, и крутили, как хотели.

*В.В. Власов, Иваново.»*

## **УЖЕ ТАМ.**

### **КОГО, ЗА ЧТО, ПОЧЕМУ?**

Что-то не так было в этом человеке, бывшем массажисте юношеской сборной по гимнастике из большого сибирского города, представившемся мне Александром

Васильевичем. («Имя, предупреждаю, не настоящее», — сказал он мне, как только вошел в комнату, плотно притворив за собой дверь).

Что же, что?

Душа каждого человека — загадка, да еще какая, а душа сексота, доносчика, стукача — совсем уже космос, обрушивающийся на тебя бесконечно бездонной чернотой. От «Александра Васильевича» несло тревогой, да такой, что она передавалась и тебе самому, и начинало казаться, что вот-вот что-то произойдет, а может быть, уже произошло, только ты сам этого и не заметил.

Что за черт!.. Встречаются же такие люди!

Хотя на первый взгляд, как только он переступил порог моего кабинета, ничего такого особенного, необычного я в нем не обнаружил. Напротив, и сам он, и все в нем было обычным, невыдающимся, неотличимым: маленький, неловкий, тесно прижатые уши, заметная плешь. Тусклый, как учебник обществоведения, которым нас загружали в год окончания школы.

Да и история его вербовки банальна — таких сотни.

Сочи, ранняя осень, море, международные сборы, гимнастка из ГДР, обыкновенный пляжный роман.

Нашли его через неделю по возвращении домой.

Тоже — обычная история: телефонный звонок, «надо бы встретиться», «да, нехорошо получилось с этой немкой». Выбор: или забудь о поездках за границу, или... Потом подписка о сотрудничестве с КГБ, конспиративные встречи... Свои донесения подписывал, как там водится, псевдонимом, который он сам выбрал. «Какой, интересно?» — «Пушкин». — «Пушкина-то зачем?» — удивленно спрашиваю его. «Стихи его мне нравятся...» — бормочет в ответ.

Да, все как обычно, но почему же, чем дальше я его слушал, тем больше и больше какая-то неясная тревога меня охватывала? Почему?

И наконец-то я понял! У этого агента «Пушкина» — фигурой, лицом, движениями напоминающего гоголевского Акакия Акакиевича, у этого человека с жалкой, жалобной улыбкой, из тех бедняг, которому на роду написано быть вечной жертвой пьяных подростков на ночной улице, глаза пылали таким неугасающим огнем, что, нечаянно наткнувшись на его взгляд, перенесенный с лица какого-нибудь испанского гранда, покоровшего женские сердца от Севильи до Гренады, я сам почувствовал себя стоящим на краю пропасти — и оторваться от которой невозможно, и заглянуть вниз мучительно.

Помню, вот так же однажды я чувствовал себя, когда ко мне в редакцию пришел наемный убийца, киллер. Не по мою душу, нет. Он считал, что те, кто его нанял, связаны с КГБ и что, как только он выполнит задание, и его самого ликвидируют. Парень как парень. В меру воспитанный, даже в очках. Спокойно, как о должном, сказавший мне: «Юрий, не думайте, что это очень легкая профессия». Ничего не было пугающего в его облике, но все равно, все равно...

Вот так же и этот «Пушкин»...

Да, то, что он пережил, согласившись стать агентом КГБ, могло наверняка сломать и человека куда более сильного. Сейчас уже не помню детали, помню только про какого-то соседа по лестничной площадке, который подмешивал ему в чай какую-то гадость, неожиданно приезжающие спецмашины из психбольницы, открытая слезка на улице, бегство из города в город и, наконец, тяжелая болезнь, поразившая его. И страх, страх, страх...

— Хорошо, — предложил я ему. — У меня есть знакомый врач, замечательный врач, я ему позвоню, вы придете...

— Нет, — вздрогнул он. — Это исключено. ОНИ меня перехватят. Или тот врач, ваш знакомый, сообщит ИМ обо мне. Так уже было, было... — И вновь я наткнулся на его обжигающий взгляд.

— Да не сообщит он, не сообщит...

В конце концов договорились, что через два дня, здесь же, в моем редакционном кабинете, я сведу его с врачом, моим другом.

Он согласился. И мы расстались, чтобы вновь встретиться через два дня...

Он ушел, а я еще и день, и вечер, и следующий день все никак не мог забыть этого странного человека. И, естественно, пытался и пытался понять, чем же ОНИ сумели удержать в своих сетях не только этого странного посетителя, а миллионы, миллионы и миллионы человек? Да и дальше бы удерживали, до гробовой доски, если бы так стремительно не перевернулась наша жизнь.

Могу понять: да, и это — занятие, которое хотя и не самое лучшее, но надо же кому-нибудь заниматься и им? Как, допустим, ассенизатор, исполнитель приговоров или забойщик скота на бойне. Занятие, призвание, профессия, которая оплачивается государством, как и другие, не очень приятные, но необходимые человеческие дела...

Но какая уж там профессия, какие деньги...

Знаменитый провокатор Азеф в 1912 году, например, получал наравне с начальником департамента российской полиции. А сколько же КГБ платил своим агентам за доносы?

— Получали ли вы деньги за свои донесения? — спросил того же «Пушкина». Он назвал смехотворную, но символическую сумму, которая показала, что и его шефы обладали пусть своеобразным, но чувством юмора: ему заплатили тридцать рублей.

И то только однажды, когда он сообщил, что знакомый тренер читает набоковскую «Лолиту», в то время в СССР не издававшуюся.

Ищу нужные строчки в полученных письмах:

«Однажды я получила премию за «сотрудничество» — 15 рублей. Мы как раз закончили большую работу, и я думала, что премия за нее. Но потом, просматривая свою трудовую книжку, увидела запись: «награждена премией за успехи в политической учебе». Больше я никаких премий не получала, какие бы сложные

программы ни делала и как бы усердно ни конспектировала труды классиков марксизма-ленинизма для политзанятий», — сообщает из Вольска Г.П. Попова, ставшая секретной сотрудницей во время работы в воинской части.

Офицер Р.Т. получал от КГБ несколько раз небольшие суммы: на выпивки с теми, кого он должен был разрабатывать.

В конце пятидесятых годов В.В. Ширмахеру из Саратова шеф приносил деньги, рублей 50-100 (в старых деньгах), и он давал расписку в их получении.

Предлагали деньги Н. из Москвы, помните? «Подполковник первым делом отсчитал мне 100 рублей и попросил дать расписку... на 200.»

Куда чаще, чем деньгами, расплачивались всевозможными услугами: устройством на работу, возможностью съездить за границу, продвижением по службе.

Рабочий Михаил Ярославцев из Воронежа, действовавший под псевдонимом «Феликс», порвал с КГБ в сентябре 1988 года. Но, как он пишет, «если бы я с ними не сотрудничал, то они бы не устроили меня в фирму «Хака», которая строила в Воронеже завод видеомагнитофонов».

«За свою работу я, как активный агент, поощрялся беспрепятственным продвижением на основной службе, я мог посещать по спецпропуску (для приобретения дефицитных товаров) все закрытые военные гарнизоны Мурманской области, а также мог безбоязненно спекулировать контрабандным товаром, включая порнографию и т.д.», — признается сегодня Ю.П. Митичкин (о его личной истории еще впереди).

Сергею Петровскому особист, пытавшийся завербовать его в 1974 году во время службы в армии, обещал, что если тот станет сексотом, то:

1. После учебной роты — служба в Москве.
2. Предоставление ежегодно отпуска с выездом домой в удобное для меня время.
3. Увольнение в город в любой день.
4. Покровительство по службе.
5. Материальное поощрение за хорошую работу...»

Да, те, кто скреплял своей подписью согласие на секретное сотрудничество, знали, понимали, были убеждены — ОНИ все-таки сильны, и если уж соглашаться, то не просто так, а за что-то.

Когда В.И. Алешенко из Киева, работавшего в НИИ, вызвали в кабинет начальника первого отдела и сотрудник КГБ, показав свое удостоверение, предложил сотрудничество в поимке «иностранный шпиона», то вот о чем он тут же подумал:

«У меня тогда был не решен квартирный вопрос и я не мог устроить дочку в детский сад. Сотрудник КГБ намекнул мне на то, что они помогут с квартирой. Я, в свою очередь, сказал, что лучше бы они смогли устроить дочку в ведомственный детский сад КГБ, который находится поблизости от моего дома. Но он в ответ только посмеялся: видимо, о таком детском саде не слышал или это была военная тайна...»

Но что это за подачки, что за копейки, что в новых деньгах, что в старых, когда плата-то неизмеримо выше? Собственной судьбой, жизнью?

Да и так ли уж нужно было тратить казенные деньги, когда кроме денег у НИХ имелся куда более сильный довод, чем сиюминутная подачка?

«Денег мне не платили и никакой другой помощи не оказывали. Я думаю, что и другим не платят. Да и никакой бюджет не выдержит, если платить всем подряд... Зачем платить, если есть такой мощный стимул деятельности, как страх», — убежден агент с четвертьвековым стажем, подписавший свое письмо псевдонимом «Арманов».

Опять — о том же, опять о страхе...

Летом 1995 года — уже 95-го! — мой товарищ Зураб Кодалашвили, работающий оператором на Би-би-си, приехал из Ульяновска — города, как известно, сквозь все путчи и политические потрясения оставшегося верным коммунистическим идеалам, в том числе и талонам на мясо и колбасу.

— Ты знаешь, — рассказывал он, — Ульяновск — это заповедник. Самый настоящий заповедник. Берем у молодых ребят интервью, они, узнав, что для англичан, пугаются. Одних на пляже разговорили — попросили, чтобы только не называли их фамилий. «Да почему?» — удивились мы. Отвечают: «КГБ узнает...» Чудеса...

Удивляется... И я удивляюсь. Что, еще где-то осталось? Неужели так прочно все тогда зацементировали, что ломали, ломали, ломали — а все равно где-то еще живо, цело, живет в генах, передающихся из поколения к поколению?

Потому-то, наверное, не могу отделаться от ощущения: пишу о прошлом — вспоминаю настоящее — опасаясь будущего.

Итак, о мотивах. Первое, что, естественно, приходит в голову, — страх. Но страх особый, в государственном масштабе, страх, возведенный в ранг державной политики.

В начале 20-х годов секретарь Сталина Борис Бажанов, сбежавший из СССР в 1928 году, стал свидетелем разговора Ягоды (впоследствии расстрелянного), в то время еще заместителя начальника ОГПУ, с заведующим агитпропом ЦК Бубновым (тоже впоследствии расстрелянным). Вот как он описал его в своих воспоминаниях: «Ягода хвастался успехами в развитии информационной сети ГПУ, охватывавшей все более и более всю страну. Бубнов отвечал, что основная часть этой сети — все члены партии, которые нормально всегда должны быть и являются информаторами ГПУ; что же касается беспартийных, то вы, ГПУ, конечно, выбираете элементы, наиболее близкие и преданные Советской власти. «Совсем нет, — возражал Ягода, — мы можем сделать сексотом кого угодно и в частности людей, совершенно враждебных Советской власти». «Каким образом?» — любопытствовал Бубнов. «Очень просто, — объяснял Ягода. — Кому охота умереть с голоду? Если ГПУ берет человека в оборот с намерением сделать из него своего информатора, как бы он ни сопротивлялся, он все равно в конце концов будет у нас в руках: уволим с работы, а на другую никто не примет без секретного согласия наших органов. И в особенности если у человека есть семья, жена, дети, он вынужден быстро капитулировать».

Тогда, в начале этой бесконечной дороги, по которой мы отправились в путь, заставить человека «капитулировать» было, с одной стороны, легко, но с другой — все-таки еще подыскивался повод для того, чтобы получить согласие на секретное сотрудничество.

Вот свидетельство, которое я нашел в архиве Гуверского института. Некий Николай Беспалов рассказывает о том, как и для какой работы вербовались агенты в начале двадцатых годов.

«В продолжении моей деятельности в качестве тайного агента ОГПУ мне приходилось часто встречаться и разоблачать других «секретных сотрудников» политической полиции. Но узнать, как они были заагентурены, мне удалось лишь про немногих. ОГПУ жестко конспирирует свою секретную агентуру, и мне мои ра-

зоблачения приходилось держать про себя и не соваться с распросами к начальству.

В 1921–1922 году в Уральске для «продвижения» меня по партийной лестнице была организована группа социал-революционеров целиком из агентов-провокаторов Уральской ЧК -Подъячева, Альбанова и Скрипченко... Альбанова обещали оставить жить в Уральске: он был офицером из армии генерала Толстого и подлежал ссылке. Потом оказалось, что он выиграл себе жизнь: его товарищей, сосланных в концлагеря Архангельской области, всех перестреляли.

Яков Карпович Скрипченко — агроном, запутался в казенных деньгах, растратил казенные суммы, и так как это было не в первый раз, то его приговорили к расстрелу. В сентябре 1923 года он снова растратил 600 золотых рублей (громадная по советским масштабам сумма), принадлежавших земельному отделу Самары, куда он был направлен ОГПУ, чтобы иметь наготове своего агента на случай организации эсеровского комитета. Начальник 3-го отделения Решетов возместил растрату из сумм ОГПУ и взял со Скрипченко обещание «усилить работу» и «выдвинуться» в партии социалистов, в противном случае — расстрел.

В сентябре 1923 года Решетов познакомил меня со счетоводом типографии быв. Сытина в Москве Сергеем Соломоновичем Иоффе. Его я должен был ввести в партию социалистов-революционеров и на первых порах руководил его работой. Он был заагентурен в Гомеле. В губкоме профсоюзов, где он служил, стал частенько появляться какой-то тип, присаживался к Иоффе и подолгу беседовал с ним, расспрашивая о других служащих и о посетителях. Потом пригласил Иоффе к себе на квартиру, запер дверь и, положив на стол револьвер, предложил ему служить в ОГПУ в качестве осведомителя. Иоффе было только 16 лет, он испугался и согласился. После этого его таскали в Могилев, перевели в Москву с заданием «освещать» настроения рабочих.

Наконец, летом 1923 года в Симферополе был заагентурен бывший член Учредительного собрания Таврической губернии Василий Терентьевич Бакута. Он по идейным соображениям желал вступить в РКП. Симферопольский комитет сообщил об этом Крымскому отделу ОГПУ. Заместитель начальника секретной части Арнольд потребовал от Бакуты в доказательство искренности сделаться агентом-провокатором ОГПУ по партии со-

циал-революционеров. В.Т. Бакута сначала не согласился, но потом сделался агентом.

Как кончают секретные агенты? По опыту видно, что большинство их «проваливается» в продолжении первого года работы; 2 года считается длинным сроком, который могут выдержать только особо ловкие агенты. ГПУ разбирается в причинах провала агента и в результатах его работы. Если агент провалился не по своей вине, а по стечению от него не зависящих обстоятельств, и если его деятельность имела ценные для ОГПУ результаты, то тайного агента принимают в штат официальной политической полиции. Начальник секретной части Уральского отдела ОГПУ был агентом-провокатором ЧК в партии эсеров, выдал их нелегальную газету «Вольный голос красноармейца». Но другой крупный агент-провокатор Назаров, состоявший в 1921 году во время Кронштадтского восстания членом Петроградского ревкома и выдававший все его мероприятия Петроградской ЧК, был в 1923 году расстрелян, так как его работа была признана неудовлетворительной...»

А вот уже свидетельство из моего собственного архива. Десятилетие спустя.

В тридцатые годы этот человек, который подписал свое письмо псевдонимом, данным ему ОГПУ: «ростовский Сашка» («о моей прошлой деятельности знает только жена»), — работал в одном из районных центров Казахстана.

«В этом большом селе, — пишет он, — образовался круг интеллигенции: агрономы, зоотехники, учителя, врачи. У нас был прекрасный драмкружок, струнный оркестр, хор. Мы буквально оживили работу захудалого Дворца культуры. Мы поставили почти все пьесы Островского.

Мы были молоды, ненавидели, что делается вокруг. Как жестоко сгоняют людей в колхозы, как умирают люди от голода. И все, что мы видели, не могло не вызвать у нас чувства протеста. И к нам стал принюхиваться начальник райотдела ОГПУ и его красавец шофер.

Для постановки нам было нужно два старинных пистолета. Мне их дали в ОГПУ, но после первого действия они исчезли из-за кулис. Когда я на следующий день пришел с повинной в райотдел, мне сказали: «Принеси или посадим в тюрьму». И потом направили к начальнику. Тот мне тоже сказал: «Или тюрьма или будешь на нас работать». И дал мне три дня на размышления. Что

мне оставалось делать? Я дал согласие. Свои доносы я должен был подписывать псевдонимом «Сашка».

Я никого не предал. Если и писал, то писал такое, за что даже ругать-то неловко, не то что судить. Но от меня требовали другого: дали задание — заполнить анкеты на всех кружковцев. Я сопротивлялся, но от меня не отставали...

Через два года я случайно узнал, что пистолеты из-за кулис украл шофер начальника райотдела...

Вот так вербуют в сексоты...»

Этот человек вынужден был переехать в другой район, но и там его нашли. Он снова переехал — нашли снова. Даже в блокадном Ленинграде от него не отставали. Последний раз, по его словам, к нему пришли в Таллине. «Разве я мог найти шпионов, да и должен ли был их искать? От меня требовали другое: доносы на инакомыслящих».

Он все еще боится, «Сашка ростовский» — так подписался даже сегодня. Сейчас, на закате жизни.

В моем архиве — десятки свидетельств того, как, каким образом оказывались в сетях спецслужбы молодые люди конца двадцатых — начала тридцатых годов, сегодняшние уже доживающие свой век бабушки и дедушки.

Но все-таки, все-таки... Еще требовалась ИХ находчивость, ИХ игра в кошки-мышки, чтобы заставить человека подписать согласие на сотрудничество с НИМИ: хоть пистолет подбросить или выкрасть. И как бы ни хвастался Ягода тем, что ОГПУ сможет сделать своим агентом каждого, кого пожелает, нет, еще нет...

Началось затмение, но ночь еще не наступила.

Власть еще мерила их, своих агентов, на единицы — хотела же на миллионы.

Донос должен был стать долгом человека перед Родиной, а доносчик — национальным героем.

Помните мучения молодого интеллигента, который бредет сквозь ночной Петербург? Там, в самом начале этой страшной дороги?..

Нет, никаких мучений!

Уже в середине тридцатых годов в стране была создана такая атмосфера, при которой «заагентурить» (ИХ термин, до сих пор ИХ) человека было так же просто, как научить писать на доске тогдашних первоклашек «рабы — не мы». И даже не за страх. Как говорится, за совесть.

И вот уже проводится в пионерском Артеке слет детей, повторивших «подвиг» Павлика Морозова. Тех, кто донес на своих родителей, родственников или знакомых родителей и родственников, — представляю, какой там шел обмен опытом!..

Но все равно, все равно... Куда деться между внушенным тебе долгом и тем, что этому долгу противится душа. «Нет, что-то не так... Что-то не так...» Все кричали, все кричало: «Надо! Надо! Надо!», а сердце противится: «Не могу, не могу...»

Вот как описывает бурю чувств, вспыхнувшую после предложения стать секретным агентом, читательница, подписавшаяся Г.С.С.:

«Случилось это в середине 1943 года в блокадном Ленинграде. Мне было 24 года, я работала в одном НИИ рядовым младшим сотрудником. Но, кроме того, я была секретарем комсомольской организации, состоявшей из нескольких двадцатилетних девушек и нескольких только что вступивших в комсомол подростков. То, что я была старшей по возрасту и по образованию, наверное, и послужило причиной того, что ИХ выбор пал на меня (впрочем, на кого еще и на скольких еще, мне неизвестно)...

Однажды ко мне неожиданно пришла женщина из «Большого дома». Она сказала, что я должна быть бдительной и обо всем, что услышу из разговоров сослуживцев, обо всем, что вызывает подозрение, докладывать К-кой (начальнице спецотдела). Спросила, согласна ли я? Я сидела не шевелясь и на все ее вопросы невнятно отвечала: «Да», «Понимаю», «Да»... А что я еще могла ответить? Я должна была доказать, что я — честный человек, комсомолка, помощница партии. Посетительница, взяв с меня обещание никому не рассказывать о нашем разговоре, удалилась.

Я была в жутком смятении и ужасе. Никакой эйфории от того, что «мне доверяют», я не испытывала. Тогда не было слова «стукач». Был официальный термин — осведомитель. Но это дела не меняло. Я чувствовала, что попалась в их сети надолго, а возможно, и навсегда. Что делать? Что делать?..

Посоветоваться с кем-либо невозможно. Во-первых, потому, что обещала молчать. Во-вторых, если я сообщу кому-то, то все предупредят друг друга, что я осведомитель и меня надо опасаться. А это было ужасно — оказаться подлецом в глазах моих товарищей. Докладывать о «подозрительных» разговорах для меня было невозможным, потому что я отчетливо понимала, что со мной вместе работают преданные своей стране люди.

Тогда мы не знали о масштабах сталинских репрессий. Но знали отчетливо, что по доносам сажают, ссылают, объявляют «врагами народа».

Я тоже должна буду доносить и делать людей «врагами народа»?.. Пойти и отказаться? Это тоже было невозможно. Меня же попросили сообщать только о подозрительных людях, быть бдительной. Сообщать, что услышу, а там разберутся. Ну, а если услышу какое-нибудь высказывание, а скорее всего анекдот? Докладывать и об этом? Нет, не буду. Если услышу случайно, то незаметно уйду. А если не случайно? А если спросят, слышала ли я?

Рисовались самые страшные картины...»

Даже сейчас нетрудно представить переживания Г.С.С.

«Надо, надо, надо...»

«Не могу... Не могу... Не могу...»

Бедное, несчастное поколение...

И так выросло новое поколение. Да и не одно, и не два.

Восторженным студентом-комсомольцем воспринял предложение о сотрудничестве В.В. Ширмахер из Саратова (а это уже 1956 год, время знаменитой хрущевской оттепели).

«Мы контрразведчики», — сказали они, довольные тем, что произвели на меня впечатление. Я понял: ловят шпионов. Я вел обширную переписку с границей, может быть, они считают шпионом меня? Но нет, шпионом они меня не считали. Наоборот, попросили меня выявлять врагов строя. Врагов я не любил и потому дал согласие их выявлять, считая тогда помощь им честью для себя. Меня попросили дать письменное согласие и дали мне псевдоним, которым в дальнейшем я и подписывал свои донесения».

С. из Москвы был завербован спустя полгода после призыва в армию (а это уже был конец семидесятых!). Майор сказал ему: «Ты сознательный комсомолец и будешь нам помогать», то есть стучать на своих же товарищей. Он согласился, понимая, что не он один будет завербован. «До сих пор боюсь этих сволочей, — признается мне С. — Но, — утешает он сам себя, — я горжусь тем, что никого из ребят не продал и согласился сотрудничать с этими гадами только для того, чтобы им меньше попадало той информации, которую они хотели получить»...

Подобных свидетельств множество. Но уж ладно там тридцатые, сороковые, пятидесятые, шестидесятые, семидесятые, пусть даже восьмидесятые — можно понять, можно догадаться

почему. Но оказывается, даже позже, даже после начала перестройки, когда столько правды — и какой правды — было наконец-то обнародовано, все равно, все равно находились ребята, которые с таким же энтузиазмом, как их сверстники в тридцатых или сороковых, с легкостью в сердце бросались в эту пропасть.

Вот подробный рассказ Олега Уласевича из Брянска:

«Я был завербован КГБ в 1987-м, год спустя после окончания средней школы. На добровольных началах. После школы я работал в институте и там же учился. Однажды в разговоре с близким приятелем я поделился, как это часто бывает, разговорами о работе. Спустя некоторое время мы встретились снова. Друг предложил мне повторить мой рассказ одному человеку, которому это небезразлично. Я тут же догадался, что этот человек — из КГБ.

Первый раз на эту встречу мой приятель привел меня поздно вечером в пустое домоуправление. Тот, с кем я там познакомился, был молодым человеком лет 29–30. Он назвал себя Алексеем и сказал, что является сотрудником КГБ, что без хороших отзывов моего друга и без его гарантий нашего с ним контакта не было бы.

Он сразу же предложил мне сотрудничать. Объяснив, что в стране сейчас очень трудное положение, сказал, что надо вести борьбу с темными силами и обеспечить успех перестройки, и я, как комсомолец, просто обязан оказать помощь.

Дальше — больше. В каких только местах мы с ним не встречались: на пустых квартирах, в различных конторах, просто на улицах. В основном по вечерам, соблюдая все правила конспирации. Если же мы случайно виделись на улице, то делали вид, что друг с другом незнакомы.

Чем он интересовался? Настроениями студентов, особенно различными неформальными группами. Он хотел знать, что студенты читают, просил достать образцы самиздата. Интересовался, не ходят ли какие-нибудь разговоры о военных объектах, кто говорит, как? Проскальзывают ли какие-либо секретные сведения?

Вообще за год нашего общения я прошел хорошую агентурную школу: элементарные правила конспирации, умение вести разговоры, вызывая на откровенность, получил небольшие понятия о структуре работы сотрудников КГБ (на одного сотрудника КГБ приходилась школа или институт и т.д., и штат подчиненных ему агентов).

Периодически на заседаниях горисполкома представитель Комитета докладывал обо всем, что мы, агенты, им собрали, делая, соответственно, свои выводы.

Дальше по всем профессиональным правилам мы выявили через самиздат неформальную организацию: кто в нее входил и место сборов, адреса участников, их места работы и т.д.

Я иногда начинал себя ловить на том, что стал более подозрительным по отношению к людям и, вступая с кем-то в разговор, легко отыскивал в них криминальные черты. От Алексея я слышал, что работаю не один, что рядом — другие осведомители и что сведения он собирает перекрестно. Ну что ж, думал я, это один из методов его работы...

Вроде бы я был на хорошем счету, судя по тому, что Алексей предлагал мне поступить в школу КГБ и добавлял, что ни один человек не может туда поступить без их рекомендации.

На личном счету Алексея, по его словам, было четверо доведенных до ума агентов, т.е. поступивших в эту школу. Я, однако, от такого предложения отказался. Перед самым уходом в армию я был предупрежден, что как только прибуду в часть, местные сотрудники включают меня в работу и проинструктируют, как в нужный момент я смог бы связаться с их людьми. Впоследствии мне не раз приходилось использовать эту систему.

Надо сказать, что подписки никакой с меня не брали. Зато был рассказан случай, как один из агентов «распустил» язык и как он потом об этом пожалел.

Мы тогда «работали» группу молодежи, было даже подозрение, что они поставляют информацию кому-то в Москву о военных объектах. Но вообще-то Алексей сам предлагал уже готовые версии и только указывал, куда пойти, с кем завязать знакомство, где, как бы случайно, проговориться и т.д.

Одна шестая этих поручений вызывала чувство правоты и полезности работы, которой ты занимался, но все остальные — чувство недоумения. Кто что читает? Кто о чем говорит? И главное, неизвестно было, куда уходит наша информация. Сам Алексей объяснял, что сейчас надо знать все, чтобы в дальнейшем не произошло худшее.

Кстати, по той неформальной группе во мне столкнулись чувство и долг. Пришлось вступить в игру и оказаться между двух сторон. В конце концов я был вынужден давать массу вымышленной информации, чтобы все выглядело правдоподобно.

Слава Богу, забрали в армию. В какой-то мере армия спасла меня от провала с двух сторон.

Еще у них есть такая система: уходишь в армию или меняешь место жительства — стараешься найти себе замену. Так было и со мной.

Через год армии меня вызвали в штаб, назвали номер комнаты, куда надо войти. Предложили работать на них, но я отказался. «Как? Такие хорошие рекомендации!» Потом — жестче: «С нами так не поступают». А потом я с удивлением узнал, что по какой-то там отчетности я получал от Алексея деньги. Услышав это, я встал и ушел.

Больше я с ними не встречался.»

Уф... «Контрреволюционеры»... «Враги народа»... «Противники социализма»... «Темные силы, мешающие перестройке»...

Время изменяло терминологию. Суть оставалась неизменной: контроль над умами.

Но меня в данном случае интересовало другое.

Ладно, понимаю: страх как орудие, которым можно было припилить человека к подписке о сотрудничестве с НИМИ, будто не человек это вовсе, а глупая бабочка-однодневка.

Но убежденность в том, что дело, которым ты занимаешься, правильно, праведно, полезно, необходимо?

Как легко поддавался человек доводам: «польза дела», «служение идеалам», «сознательность», наконец!

И тогда, когда страна жила в тени ГУЛАГа, и тогда, когда, казалось бы, человек уже должен был перестать быть рабом идеи.

А все равно, а все равно...

Не за страх — за совесть работал на НИХ вчерашний школьник Олег Уласиевич, жадно вслушивался в чужие разговоры, выискивал самиздат, входил в доверие к людям, с удовольствием постигал науку конспирации, продавал близких, убежденный в том, что он служит высокой цели.

И парень-то вроде неплохой: обиделся, узнав, что за его бескорыстную работу, оказывается, ему выписывали деньги (простим уж его куратора — тоже человек, тоже сын и жертва эпохи). Обиделся, отказался, в редакцию написал.

Но это он, а другие, такие же, как он, ставшие рабами уже новой идеи — Перестройки? Те, кто вновь поверил, что ради борьбы с темными силами, мешающими воплощению очередной идеи, можно пойти на ЭТО? И те, кто пошел, согласился, а потом

— мучился, покрывался краской стыда за то, что сделал и совершил?

Или — не мучился и не покрывался краской стыда.

Сейчас много говорят о том, что для процветания России недостает одной малости — общенациональной идеи, способной соединить различные, пусть прямо противоположные силы. Вот отыщется эта идея, появится человек, который скажет: «Я знаю, как надо! Я знаю, ради чего надо!» — и все, заживем в цветущем саду, которым станет наша измученная страна.

Да, да, да! — ты и сам иногда начинаешь соглашаться с этим, когда уже совсем не можешь разобраться, где, как мы живем, куда, в какую сторону движется наш обдуваемый свирепыми ветрами корабль. Но потом замираешь от предчувствия того, что может случиться, если такая идея появится. Ведь, как всегда у нас бывает, скорее всего идея эта начнет внедряться сверху, а если сверху, то значит, не обойтись без силы, а если невозможно без силы, то снова возникнет необходимость в хранителях этой идеи, а хранителям, чтобы держать под контролем страну, понадобятся миллионы и миллионы секретных сотрудников. Тех, ради исследования которых я и начал работать над этой книгой.

Нет, нет... Согласен, чтобы над человеком был Закон. Что такое Идея над человеком — мы уже проходили.

Вот что я нашел в воспоминаниях Надежды Мандельштам: «Мы разговариваем сейчас о множестве вещей, которые раньше были под полным запретом, и большинство людей моего круга не смели, не хотели и отвыкли о них думать. Мало того, мы сейчас не желаем знать, запретны ли еще какие-нибудь темы. Мы с этим не считаемся. Мы об этом забыли. Но это еще не все. Молодые интеллигентные люди двадцатых годов охотно собирали информацию для начальства и для органов. Они считали, что это делается для блага революции, для ее охраны и для таинственного большинства, которое заинтересовано в охране порядка и в укреплении власти. С тридцатых годов и вплоть до смерти Сталина они продолжали делать то же самое, только мотивация изменилась. Стимулом стала награда, выгода или страх. Они несли куда следует стихи Мандельштама или доносы на сослуживцев в надежде, что за это напечатают их собственные опусы или повысят их по службе. Другие это делали из самого примитивного страха: лишь бы не взяли,

не посадили, не уничтожили... Их запугивали, а они пугались. Им бросали подачку, а они хватали ее. К тому же их заверяли, что их деятельность никогда не выплывет наружу, не станет явной. Последнее обещание было выполнено, и эти люди спокойно доживают свои дни, пользуясь всеми скромными преимуществами, которые они получили за свою деятельность. А сейчас те, кого вербуют, уже не верят ни в какие гарантии... К прошлому нет возврата. Поколения сменились, и новые далеко не так запуганы и покорны, как прежние. И главное — их нельзя убедить, что их отцы поступали правильно, они не верят, что «все позволено». Это, конечно, не значит, что сейчас нет стукачей. Просто изменились пропорции. Если раньше я могла ждать удара в спину от каждого юноши, не говоря уже о растленных людях моего поколения, то сейчас среди моих знакомых может затесаться подлец, но только случайно, только хитростью, а скорее всего даже подлец не сделает подлости, потому что в новых условиях ему это невыгодно и от него все отвернутся...»

Эти воспоминания Надежды Мандельштам опубликованы в журнале «Юность» летом 89-го — во времена чарующих надежд и пьянящего ощущения свободы.

Ну, помните же?.. Не забыли еще?..

«Поколения сменились, и новые далеко не так запуганы и покорны, как прежние»...

«Дальше, по всем профессиональным правилам, мы выявили через самиздат неформальную организацию: кто в нее входил и место сборов, адреса участников, их места работы и т.д.» — именно в это время чарующих надежд и пьянящего ощущения свободы только что закончивший школу Олег Уласевич входил, профессионально озираясь, в конспиративную квартиру. Обычный пацан горбачевской эпохи, на которого уже начало обрушиваться море правдивой информации: что у нас было, что с нами было, какими мы были. Обычный пацан. Обычный, но не совсем... Радостным огнем обжигало его сердце присутствие в братстве защитников великой Идеи. Он был убежден в своей правоте. Тогда еще был убежден.

Я обратился через «Литгазету» к секретным агентам незадолго до августовского путча, то есть спустя два года после выхода в свет воспоминаний Надежды Мандельштам. И, естественно,

больше всего меня интересовали не исторические персонажи, а мои современники — представители моего поколения, от 30 до 40. Ведь как бы там ни было, мы уже выросли в другую эпоху: были не так молоды, чтобы со щенячьим энтузиазмом убеждать себя, что, помогая КГБ, мы защищаем Идею (какая уж там, к черту, идея, в разухабистое брежневское и постбрежневское время?!) и не так напуганы, как поколения наших отцов и дедов, что бы с трепетом прислушиваться к шагам в ночном подъезде.

Что же этих-то людей заставляло идти к НИМ на секретную службу?

Поэтому-то особенно тщательно искал я ответы на эти вопросы и в исповедях сексотов моего поколения, полученных по почте, и при личной встрече с ними.

Конечно, у некоторых было то, что я назвал бы энтузиазмом стукачества: во имя Идеи или так просто, из-за особенностей собственной личности. Конечно, некоторые просто испугались сказать «нет» (выше я уже цитировал подобные признания). Но и страх-то, правда, был совсем иного рода, чем, допустим, в тридцатые или сороковые, то есть страх — как часть общегосударственной политики. В наше время (и это напоминало первые шаги ОГПУ по созданию института сексотов) для того чтобы заставить человека подписать соответствующее обязательство, снова необходим был повод, предлог, мотив: «или ты с нами, или мы знаешь, что с тобой сделаем?!..» Как, допустим, произошло с агентом «Пушкиным», с которого я начал эту главу.

Случалось и так, что человек — даже, как он думал, с благими намерениями, — сам переступал порог КГБ, не подозревая о том, что сам же подписывает свой приговор.

Вот, мне кажется, типичная история, рассказанная П.М. (агентурный псевдоним — «Смирнов»).

В 1980 году он официально подписал бумагу и стал агентом КГБ. Он, как сам пишет, — простой гражданин, родных и близких нет, а главное — из среды рабочих.

В юности П.М. совершил преступление, вышел из тюрьмы в 25 лет. Ему, по его словам, захотелось начать новую жизнь. Он ото всех скрывал свою судимость, познакомился с девушкой, женился, уехал к ее родителям в Луцк.

«Где-то месяца три я работал возле военного аэродрома, — пишет он. — Однажды ко мне подошел мужчина и предложил оказать услугу: сфотографировать ту местность, конечно — не бес-

платно. Кто он был — я не знал, но понимал, что за такую «услугу» меня ждет куда большее наказание, чем то, за которое я отсидел. А ведь хотелось просто нормально жить. Я сам пришел в КГБ и обо всем рассказал. Меня долго обо всем и по многу раз спрашивали, а потом сказали, что я поступил правильно, и отпустили».

Сначала его никто не трогал и никто никуда не вызывал. Он уже стал забывать об этом случае. Но потом его вызвали — не в КГБ, а за город, где с ним беседовали в машине.

«Меня убеждали стать агентом то в холодном официальном тоне, то мягко. Я не долго колебался, думая, что со временем все образуется. Жене я ни о чем не рассказал. Потом пошли конспиративные встречи — то в номере гостиницы, то в машине. То, чем я занимался, мне было противно с самого начала, иногда давал просто выдуманную информацию.

Эти встречи и звонки не остались незамеченными для жены и для тещи, но я уже дал подписку о сотрудничестве и из-за страха все скрывал. Потому отношения в семье становились все хуже и хуже. Я просил сотрудника, который работал со мной, прекратить все это, так как рухнет семья, но я им, видимо, был нужен. Кончилось все тем, что я разошелся с женой и уехал из этого города. Мое общение с органами не прошло бесследно. Когда я им сказал, что прекращаю всякое сотрудничество, последовали угрозы — вплоть до физической расправы. Это уже был 1986 год.

Даже здесь, в Керчи, через разные службы про меня не забывали, да и теперь, думаю, что помнят...»

Но куда чаще сотрудничество с НИМИ было вызвано вполне житейскими причинами. Как обыкновенный способ выживания в государстве неравных возможностей. «Арманов» из Москвы был завербован в агенты КГБ в конце 50-х годов и пробыл в организации более четверти века. Вот как это произошло.

«Видимо, есть люди, которым на роду написано заниматься подобной деятельностью. Я, несомненно, отношусь к их числу. Что я представлял собой перед вербовкой? Молодой человек (25 лет), русский, по взглядам — западник, знающий три иностранных языка, по убеждениям — молчаливый диссидент, с пяти лет видевший проявления политического террора (37-й год), филателист, работник военного завода с гуманитарным образованием.

Перед вербовкой произошел трагикомический случай. Я вернулся вечером домой, и мама мне говорит: «К тебе приходили из

КГБ». Увидев мое испуганное лицо, она засмеялась и сказала: «Я пошутила, это был филателист». Бедная мама, она так и не узнала, что ее шутка была вещей (или зловещей): филателист оказался подполковником...»

По мнению «Арманова», три фактора заставили его дать подписку о сотрудничестве:

— страх, который внушала эта организация, тем более во время сталинских репрессий пострадало несколько его родственников;

— боязнь потерять работу — все-таки военный завод;

— и то, что жена ждала ребенка.

Но с такой же скрупулезностью сейчас, когда, по его словам, он уже вышел из организации, «Арманов» анализирует и те причины, которые заставили его оставаться агентом КГБ четверть века:

— опять же страх;

— определенное чувство патриотизма (борьба с происками внешнего врага и т.д.)

— врожденное чувство дисциплины.

И, наконец:

«В политическом плане я был одинок, — пишет он в своей исповеди. — Не верил в партию и с большим неудовольствием состоял в комсомоле, куда меня затащили в 13 лет. Принадлежность к тайной армии странным образом компенсировала мое одиночество. Я стал как бы трехслойным: дисциплинированный конформист снаружи, диссидент внутри и на самом деле — агент тайной армии».

А вот еще одна история. И она — о выживании.

«Да, я тоже агент КГБ, но пока полностью раскрываться не собираюсь, как и порывать связи с этой организацией. Почему? Надеюсь, это станет ясно из моей исповеди», — так начал свое письмо офицер Р. Т. с Сахалина. — Моя вербовка была подготовлена всей нашей системой и не состояться не могла».

Р. Т. по национальности еврей. «Мне всегда хотелось, чтобы наша страна была действительно интернациональной, но я постоянно чувствовал: чтобы быть уравненным в правах с неевреем, мне надо было быть как минимум на голову выше его.»

Р. Т. с отличием закончил школу. Хотя и с превеликим трудом, но поступил в военное училище. С отличием закончил и его. Закончил — тут все и началось. Несмотря на то, что он, как и все,

изучал секретные дисциплины, служить его отправили не по специальности, в непрестижную часть, на самую низшую, какую только можно найти, должность. И хотя он служил хорошо, но именно ему со всего курса задержали присвоение первого после училища звания.

«Всем моим ровесникам присвоили, а мне нет, хотя служил я не хуже, а может быть, лучше многих из новоиспеченных старших лейтенантов.

Дальше — больше. Всяческие обходы по службе. Всевозможные грязные и непрестижные работы — пожалуйста, в неограниченном количестве, а повышение по службе — это уж извините. Я видел, как растут мои одногодки, как у них на погонах прибавляются звездочки, как на должности, которые мог бы занять я, назначаются абсолютно некомпетентные люди, но имеющие подходящую национальность.»

И так он пришел к НИМ. Вернее, ОНИ к нему в лице офицера особого отдела. Когда тот вызвал Р. Т. к себе в кабинет, он сорвался и сказал все, что думает о своих командирах, а особенно о политработниках.

«Эти ребята — неплохие психологи. Они понимали, что если офицер — еврей, то этот офицер — патриот, который честно и добросовестно выполняет свой долг и которому, как и всем остальным, необходимо расти по службе, и он хочет, чтобы его не дискриминировали. Они понимали, что я хочу, чтобы меня ценили по моим делам, а не по фамилии или форме моего носа.

Офицер особого отдела был со мной вежлив, дружелюбен, пообещал интересную оперативную работу. Результатом этой беседы стало мое заявление о согласии работать. Я получил псевдоним».

Р. Т. написал расписку, получил псевдоним и скоро понял, что попал в западню:

«Естественно, никакой работы в тылу врага я не вел. Моих новых хозяев интересовали мои друзья-евреи и сослуживцы. После одной из бесед и записки, начинавшейся со слов: «Источник сообщает», — я понял, что превращаюсь в обыкновенного стукача, и ужаснулся. Но еще шел период застоя, и я понимал, что другого пути у меня нет.»

Какие же слова утешения нашел для себя Р. Т.?

«Я долго мучился, переживал, размышлял, как мне быть, и наконец придумал. Дело в том, что особисты изучали меня, а я

изучал их, способы и методы их работы. Почувствовав, что уже внушаю доверие, я понял, что могу приносить пользу тем, для «стука» на которых я был завербован. Оказывается, от моего мнения и от информации, которую я даю о людях, зависело и отношение к ним органов, а именно — возможность продвижения по службе, отсутствие притеснений и даже провокаций. И скоро я уже мог убедиться в этом. Мои друзья и сослуживцы — евреи и не евреи — после моих «доносов» повышались по службе, отправлялись в зарубежные командировки, получали вовремя очередные звания. Я не считаю это, конечно, лишь своей заслугой, но тем не менее утешаюсь мыслью, что своей деятельностью никому не навредил, кроме себя самого, так как факт согласия стать сексотом считаю позором для себя.

Не подумайте, что я водил за нос своих руководителей из органов. Нет, я давал им правдивую информацию, но — исключительно положительную. А чтобы меня не заподозрили в двойной игре, я большое внимание уделял форме «источник сообщает...»

А еще Р. Т. утешает себя тем, что когда он выйдет на пенсию, то вся история его сотрудничества будет вспоминаться, как нелепый сон, приснившийся в детстве... Каждая семья несчастна по своему...

Но вот что я заметил в сообщениях об агентурной работе или в исповедях самих агентов, относящихся к ближайшей к нам истории, то есть к 80–90-м годам: куда больший бюрократически-меркантильный, или — скорее — цинично-меркантильный интерес, чем, допустим, у сексотов предшествующих поколений.

Дело даже не в оплате и не в мелких подачках (этот мотив мы уже рассмотрели). Нет, в другом. Принадлежность к агентуре давала возможность стать частью самой системы, которая, особенно в эпоху Брежнева, позволяла если и не приблизиться к сословию, пользующемуся системой привилегий (специальные инструкции КГБ запрещали вербовать партийную номенклатуру даже низшего, первичного звена) — то по крайней мере брать из кормушки, не опасаясь последствий.

Больше того! И сами сексоты, и их кураторы активно использовали возможности для личного обогащения, которое — по крайней мере до короткого наступления эры Андропова — не считалось предосудительным. (Кстати, при Брежневе, да и позже КГБ не только не имел права вербовать партийных функционеров. Даже вести оперативные разработки против инструктора

райкома партии можно было только лишь с разрешения вышестоящего партийного руководства. Да и не только КГБ! Для того, чтобы получить Владимиру Олейнику — руководителю следственной части российской прокуратуры -санкцию на арест все-сильного в восьмидесятых начальника управления московской торговли Трегубова, понадобилось решение руководителей Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Причем предварительно он был обязан показать все агентурные данные, что потом, естественно, затруднило работу следствия).

Вот письмо Л. Долгих из Одессы, раскрывающее сам этот механизм:

«Я многие годы проработал в одесской таможне и хотел бы познакомить вас с методами вербовки.

Начиная с 1984 года все инспектора таможни, посещая — в составе комиссии по оформлению — иностранные суда, были обязаны писать рапорт на имя зам. нач. таможни по режиму (сотруднику КГБ), в котором указывать:

1. Кто из членов комиссии, куда и с кем из иностранцев перемещался по судну.
2. Кто брал подарки и какие.
3. Кто вел «неслужебные» разговоры и на какие темы.
4. Кто что ел и пил.

Это нововведение ввел в таможне А. Никольский, затем продолжил его преемник Н. Пивень.

По-видимому, дела пошли так успешно, что вскоре А. Никольский получил направление на самую престижную в Одесском КГБ должность — пассажирским помощником на теплоход «Шота Руставели».

Дальше происходит следующее: инспектор настучал на врача, переводчика, ветеринара или на кого-нибудь другого. Того вызывают — или работа, или...

Кроме этого, КГБ может без объяснения лишить пропуска на иностранное судно.

В общем, либо тихая, хорошая работа с «презентовыми» сигаретами, напитками и т.д. — либо сексот на всю оставшуюся жизнь.

Теперь вопрос, к чему все это: ведь в составе комиссии два пограничника, то есть официальные представители КГБ. Для системы всеобщего доносительства? Нет.

КГБ через сексотов из числа сотрудников таможни начинает решать вопросы оформления в таможенном отношении лиц, весьма сомнительных с точки зрения законности перемещаемых ими вещей. Сами они таможенных атрибутов не имеют. Для меня лично нет до сих пор ответа на некоторые очень крупные контрабандные и прочие операции.»

Это письмо вот еще почему привлекло меня. Я хорошо знаю Одессу и различные махинации, проводившиеся там в те годы, и потому убежден, что все это — правда: за мелким «стуком» могли последовать довольно крупные дела, прикрываемые местной номенклатурой, в том числе и из КГБ. Но больше того: слово «таможня» можно заменить названием организации, так или иначе соприкасавшейся с иностранцами. Не говорю уже о «валютных проститутках», которые (сколько я наслушался этих рассказов!), кроме информации, чаще всего не имеющей никакого отношения к проблемам государственной безопасности, передавали своим кураторам часть заработанных более-менее честным трудом денег.

Естественно, КГБ позволял своим агентам нарушать законы. Часто именно предоставление возможности оставаться безнаказанным становилось тем коротким поводом, на котором они держали их на привязи. Но случалось и так, что именно эта позиция: «работай, мы прикроем» — оказывалась впоследствии роковой для самих агентов.

Свидетельство тому — история агента Ю. М-на, которую он поведал мне, находясь в заключении. Письмо, как явствовало из приписки, было им направлено ко мне нелегально.

Вначале идет сюжет относительно для меня привычный:

«В 1982 году, после работы электрорадионавигатором на кораблях-шпионах, закодированных под научные суда, я был «удостоен чести» стать секретным агентом-информатором Мурманского обл. управления КГБ. В круг моих обязанностей входил сбор компромата как на отдельных граждан СССР (под девизом «Каждому советскому человеку — достойное досье»), так и на целые коллективы, для чего меня, например, в 1983 году внедряли на три месяца под видом младшего научного сотрудника в Мурманский филиал Ленинградского НИИ морского флота. Полученную информацию на работников этого института я передавал начальнику отдела кадров Б-ву или его помощнику — лейтенанту С-

ву в одном из конспиративных номеров гостиницы «Полярные зори».

Занимался я сбором компромата и на оперсостав Первомайского РОВД г. Мурманска, в результате чего некоторых из них уволили из органов МВД.

Если же тот или иной «объект» не шел на личный контакт со мной, то мне предписывалось «близкое знакомство» с его женой... Так, например, было в истории с одним из офицеров ИТУ-МВД, когда я втайне записывал на японский магнитофон постельные откровения его жены: мол, муж — негодяй, наркоман и пр.

Если же компромата не удавалось получить и таким образом, то против неугодных контрразведке лиц фабриковались уголовные дела... В 1982 г. я принимал непосредственное участие в одном из таких дел, когда абсолютно невиновного человека — мать двоих детей — осудили на полтора года на основании моих заведомо ложных показаний, сфабрикованных КГБ (явку с повинной о даче ложных показаний я написал еще в 1989 году, но либо ее не отправили по назначению, либо прокуратура посчитала, что сначала нужно реабилитировать жертвы НКВД, а уже потом, очевидно, через очередные 50 лет — жертвы КГБ).

Участвовал я и в слежке за иностранными моряками, за установлением их связей с гражданами СССР и в других антиконституционных деяниях...»

Но как выяснилось, не для того, чтобы покаяться в этих своих грехах М-н направил мне эту свою исповедь. Дальше он переходит ко второй части своей истории — к тому, что он называет «личным поискам»:

«В 1984 году, находясь в г. Риге, я внедрился в группу валютных фарцовщиков, но во время контакта они обнаружили у меня удостоверение сотрудника КГБ. Имея своих людей в органах милиции, они тут же заявили, будто я, используя удостоверение, конфисковывал у них импортные вещи.»

М-на взяли под стражу. От показаний он отказался, настаивая на встрече с работниками КГБ (как он утверждает, «в соответствии с инструкцией на случай подобных ситуаций»):

«Надо сказать, что тогда у милиции с госбезопасностью были сложные отношения, и только после 22 суток голодовки мне удалось встретиться с представителем КГБ ЛССР. Капитан (фамилию не помню — латышская) посетовал на то, что слишком позд-

но я связался с ними — уголовное дело уже возбуждено, но обещал помочь и поставить в известность своих мурманских коллег. При этом он предложил мне молчать о принадлежности к КГБ, т.к. это, по его мнению, грозило неприятностями моим шефам. После беседы с ним я начал давать показания, суть которых сводилась к тому, что я подделал изъятое у меня при аресте удостоверение, но никаких вещей, естественно, не конфисковывал».

Незадолго до окончания следствия его ночью привезли в КГБ Латвии и сказали, что если на суде он будет придерживаться прежних показаний, то ему дадут полтора года. Он согласился. Так и произошло. В мае 1985-го его осудили на полтора года, и уже в 1986 году он был освобожден, получив — думаю, не без помощи КГБ — компенсацию за «незаконный арест и задержание» в 500 рублей...

По словам М-на, после освобождения он отказался сотрудничать с Комитетом, что стоило ему нового срока — уже на 11 лет. На этот раз по обвинению в ограблении сберкасс. Сам М-н это обвинение не признает, считая, что его специально подставил КГБ...

Хотя я не очень-то верю в его невиновность. Как и в бескорыстность его «личного поиска», заставившего его внедриться в среду фарцовщиков. Как милиция, так и КГБ сквозь пальцы смотрели на неблагоприятные — мягко сказано — проступки своей агентуры, зная, что каждый подобный проступок является еще одной ниточкой, которой, как в кукольном театре, можно управлять своим сексотом. Но не было большей радости — что у тех, что у других, — чем подловить на преступлении агентов друг друга. Особенно в конце семидесятых — начале восьмидесятых, времени непримиримой борьбы МВД с КГБ, Щелокова с Андроповым.

Каждый из тех, кто решил доверить мне историю собственного падения (да, падения, что уж там выбирать слова?), тем не менее пытался найти для себя слова оправдания. Да что, разве это нельзя понять?

Это уже на закате жизни, чувствуя приближение последнего дыхания, вздохнет пенсионерка Чернышова из Днепропетровска: «Сейчас, на последней ступени жизни, вспоминаю весну 35-го и насмешливого профессора, который у себя на квартире, в своем застолье, сказал: «Хайль, Гитлер!»... Поднял бокал и рассмеялся. Я донесла. И кто-то еще. Вспоминаю это, как в тяжелом сне. Права? Не права? Несу покаяние...»

Или покается — с поклоном до земли в пояс, как В.В. Ширмахер из Саратова: «Вот только теперь, спустя более чем тридцать лет, я смогу обо всем этом сказать и попросить прощения у тех друзей и знакомых, на которых я доносил и которые, возможно, имели в жизни неприятности из-за меня. Вы, которые не сделали мне ничего плохого, простите меня, уже не студента, а пенсионера».

Но, повторяю, это уже когда? Тогда, когда последний зимний холод обожжет твое сердце. Но в юности, молодости, даже в зрелости, когда кажется, кажется, кажется — что нет, еще не вечер, еще есть шанс, есть много шансов, чтобы переиграть собственную жизнь и что еще зацветут вокруг тебя и в самом тебе цветы мая! — естественно желание найти объективные мотивы, оправдывающие собственные поступки, которые заставляли покрываться краской стыда.

Какие только оправдания не находили себе написавшие мне стукачи, сексоты уже нашего поколения! От фрейдистских, как у Андрея из Львова, который написал: «У меня очень мягкий характер, я слабовольный, и многие этим пользовались. И то, что я являюсь секретным агентом — придает мне силы жить. Мне уже за 30, карьеру я не сделал, и мое сотрудничество с КГБ поднимает мой авторитет в собственных глазах», — до джеймсбондовских, как у «битломана и диссидента» (его собственная характеристика) Валентина из Москвы, который согласился стать агентом с целью, «используя полученную от них информацию», уехать на Запад, «чтобы потом разоблачать стиль и методы их работы».

Но какие бы ответы на эти «почему?» ни находил я в исповедях агентов КГБ — объяснение того, что миллионы и миллионы людей перешагивали эту черту, можно найти и еще в одном.

История, которую я хочу рассказать сейчас, думаю, окажется понятной многим, кто еще не позабыл, как жили, какими нравственными законами руководствовались еще совсем недавно многие наши соотечественники.

Это, можно сказать, филологическая история. О богатом и могучем русском языке. И о его многочисленных оттенках. И о том, как разными словами разные люди писали письма в одно и то же учреждение — КГБ.

Жил-был поэт...

Нет, даже не так. Жил-был в Казани обыкновенный инженер, который писал стихи, — Леонид Андреевич Васильев.

Однажды он написал стихотворение, посвященное третьей годовщине со дня ссылки в Горький Андрея Сахарова.

*О подлое племя... О мерзкие души:  
Откуда вы взялись? Кто вас породил?  
Кто вверил вам в руки судьбы людские  
И с черным несчастьем нас породил?*

— так начиналось это стихотворение. А заканчивалось следующими строками:

*Стонут стены тюремные серые;  
Стонет ржавый колючий запрет;  
И содрогнется дом сумасшедших,  
Отвергая партийный ваш бред...*

Стихи больше плохие, чем хорошие, — из тех, которые любой литконсультант скорее всего бросит в корзину или — в лучшем случае — посоветует неумелому автору учиться у Пушкина и Маяковского.

Но шел 1983 год.

Когда я начал собирать свидетельства стукачей и о стукачах, то я получил письмо и от Васильева:

«Я был осужден в декабре 1983 года на два года колонии общего режима. Освобожден в декабре 1985-го. Статья 190 «прим», расшифровывать, думаю, нет надобности. Вина — солидарность с А.Д. Сахаровым, с польской «Солидарностью», а также рукопись будущей книги «Где зарыта собака, или Кляуза на «Солнце» и на всю «Солнечную систему». Мне — 54 года, работаю главным специалистом в проектно-институте.

У меня есть фотокопии около 50 доносов, касающихся моего «дела»: из Казани, Москвы, Ленинграда, Горького. Авторы доносов — студенты, доценты, профессора, членкоры и др. Ксерокопии некоторых посылаю Вам.»

И дальше в конверте — пачка ксерокопий доносов, которые подчеркивают безграничные возможности русского языка.

Итак...

«В Комитет государственной безопасности ТАССР от секретаря партийной организации конструкторско-инженерного бюро Казанского филиала АН СССР Ирины Дмитриевны Голубевой.

8 февраля 1983 года в 10 часов утра мне был передан сотрудником нашей лаборатории тов. Юрием Александровичем Гариковым документ идейно вредного содержания за подписью Льва Волжского.

Данный документ прилагаю.»

\*\*\*

«В Комитет государственной безопасности ТАССР от гр. Мосуновой Г.М., раб. на полиграфическом комбинате имени К. Якуба юристом.

25 февраля 1983 г. примерно в 15 часов на полу в коридоре 3-го этажа здания Дома печати я обнаружила сложенную вчетверо бумагу с машинописным текстом. Ознакомившись с документом, я поняла, что он носит антисоветский характер, в связи с чем обратилась в органы госбезопасности.»

\*\*\*

«Комитет государственной безопасности СССР.

Направляем полученное редакцией газеты «Известия» в марте 1983 г. письмо Родригеса И.Р. из г. Кишинева, исполненное на машинке, в копии.

Текст письма начинается словами «Ко дню третьей годовщины бессрочной ссылки в г. Горький действительного члена Академии наук СССР профессора Андрея Дмитриевича Сахарова — ума, чести и совести народа российского.»

Заканчивается письмо фразой «Андрей Дмитриевич Сахаров арестован 22 января 1980 г. в 15 часов дня.»

С. Иванова,  
зав. группой анализа и информации отдела писем  
газеты «Известия».

\*\*\*

«В Комитет государственной безопасности Татарской АССР.

При этом направляем письмо политически не выдержанного содержания, поступившее в Институт в марте 1983 года — от гражданина Конотопа П.П. для сведения.

Я.Г. Абдулин, директор Института языка,  
литературы и истории им. Галимджана Ибрагимова,  
профессор.»

**\* \* \***

«Комитет государственной безопасности ТАССР.

При этом направляется поступивший в президиум Казанского филиала АН СССР на имя Пудовика А.Н. отпечатанный на машинке враждебный документ, начинающийся словами:

«Ко дню третьей годовщины...»

Приложение: документ на 2 листах.

Зам. председателя президиума  
Казанского филиала АН СССР  
Р.Г. Каримов.»

**\* \* \***

«Комитет государственной безопасности Татарской АССР.

Направляю на Ваше решение письмо клеветнического характера, отпечатанное на машинке на 2 листах с подписью «Лев Волжанский».

Письмо было обнаружено 14 марта между 17 и 18 часами на лестнице, ведущей на кафедру микробиологии, ассистентом кафедры Офицеровым Евгением Николаевичем и передано мне через секретаря партбюро биофака Котова Ю.С. 15 марта 1983 года.

Приглашенный для уточнения обстоятельств обнаружения письма Офицеров Е.Н. сообщил, что письмо он прочитал, но кроме Котова Ю.С. никому о нем не говорил.

Начальник отдела кадров В.М. Дука.»

**\* \* \***

«В КГБ ТАССР.

Партком КГУ направляет вам документ негативного содержания, найденный студентами физфака Мирзакраевым и Сяляновым 12 марта в 14.00 на площадке второго этажа между 2-й и 3-й физ. аудиториями главного здания.

Секретарь парткома Р.Г. Кашафутдинов.»

**\* \* \***

«В КГБ ТАССР от профессора Казанского авиационного института А.Ф. Богоявленского.

При этом направляю на Ваше рассмотрение анонимное письмо, полученное мною в конце марта 1983 года.»

\*\*\*

«В КГБ ТАССР от Бушканца Ефима Григорьевича  
ЗАЯВЛЕНИЕ

14 марта 1983 года в семь часов вечера моя дочь, студентка ТГУ, возвратившись домой, принесла конверт с письмом на двух машинописных листах. Текст начинается словами «К третьей годовщине...» и заканчивается датой «2 января 1980 года в 15 часов дня». Конверты раздавались неизвестным лицом в университете...

Ознакомившись с письмом, которое носит антисоветский характер, я пошел в КГБ и передал его дежурному 14 марта в 19 часов с минутами.»

\*\*\*

«В КГБ ТАССР от доцента Казанского инженерно-строительного института Ерупова Бориса Григорьевича.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Мною получено анонимное письмо на служебный адрес. Время получения письма 23.03.83. В тот же день письмо передано мной (в 15.–в 15...) в партком КИСИ т. Сучкову Б.Н. Почерк на конверте мне незнаком. Незнаком и шрифт машинки, которым выполнено письмо. Среди моих знакомых нет людей, имеющих машинки с таким шрифтом.

Письмо передано по официальным каналам и предположительно через канцелярию КИСИ. О письме мне сообщил доцент Назаришин М.Д.»

\*\*\*

«Председателю КГБ ТАССР т. Галиеву И.Х. от Линдеглер-Липсцера Игоря Германовича, заведующего музеем Театра имени В.И. Качалова, члена КПСС с 1944 года, заслуженного работника культуры ТАССР.

ЗАЯВЛЕНИЕ

22 марта 1983 года на мое имя в театр поступило анонимное письмо от неизвестного мне человека. Письмо явно антисоветского характера, что возмутило меня как гражданина СССР, члена Коммунистической партии.

По моему мнению, письмо это написано злостным отщепенцем, возможно, ведущим подпольную антисоветскую работу по дискредитации советского строя и партии Ленина.

Подобное письмо получено мною впервые в жизни. Кто может быть его автором, не предполагаю, так как среди людей, с которыми мне приходится встречаться по роду работы и личных дел, людей с подобными взглядами и настроениями я не встречал.

Анонимное письмо прилагается.»

И таких писем — пятьдесят. Ровно столько, сколько раз Леонид Андреевич Васильев, обыкновенный инженер из Казани, оставял свою рукопись в коридорах научных и учебных институтов, на лестничных площадках домов, посылал в редакции газет и в президиум академий, передавал в руки людей, которые, казалось ему, готовы были услышать его. Ровно столько раз это его стихотворение, подписанное различными псевдонимами, оказывалось в одной папке. В его уголовном деле, которое в конце концов привело его на два года в лагерь. Это была не бомба, не призыв к свержению строя и к убийству руководителей государства. Просто — стихи. И те, кто, казалось ему, должны были услышать его, те, кого он считал российскими интеллигентами, не раздумывая пересылали их в КГБ. Хотя в душе многие, наверное, были согласны с рукописью его сочинения.

Для судебного решения было необходимо провести судебно-научную экспертизу.

30 января 1984 года за подписью еще трех представителей трех интеллигентных профессий — кандидатов философских наук В.В. Королевым, В.К. Лебедевым, М.Д. Щелкуновым — эта экспертиза была сделана:

«По идейно-теоретическому и политическому содержанию рукопись открыто направлена против идеологии и практики коммунизма и представляет собой пропаганду злобного антисоветизма...

... Советский общественный строй изображается автором как тоталитарно-деспотическая диктатура во главе с КПСС, осуществляющей социальное, духовное и физическое насилие над народом с целью преследования своих собственных, сугубо бюрократических интересов...

... Откровенным антисоветизмом отличается авторская оценка государственного строя СССР..

... Огульной критике подвергаются все формы политической жизни, права и свободы советских граждан. Одновременно с клеветническими измышлениями по поводу государственного строя автор злобно высмеивает принципы социалистической демократии, советскую форму народовластия, избирательную систему, народных депутатов. Грубо фальсифицируется внешняя и внутренняя политика СССР...»

Ну и так далее.

И — выводы, которые стали основанием для суда отправить Леонида Андреевича Васильева в лагерь:

«На основании тщательного анализа рукописи пришли к следующему заключению:

1. Идеиная направленность рукописи имеет ярко выраженный антисоветский, антикоммунистический характер.
2. Вся рукопись по своему идейному содержанию является произведением, порочащим советский общественный и государственный строй и построенным на заведомо ложных клеветнических измышлениях».

То есть именно то, что и должно было соответствовать знаменитой «190 «прим».

Когда же все это было-то?

Да только что. На нашей памяти. Ближайшей памяти.

Почему же кому-то еще все хочется, хочется, хочется вернуться туда?..

Помню, получив все эти документы, я позвонил Леониду Андреевичу, чтобы узнать, да как же оказались у него в руках все эти доносы?

— После освобождения я пришел в суд и попросил показать мое уголовное дело. Там где-то посоветовались — и дали. И я стал все эти письма перефотографировать.

— Тайно, что ли? — помню, предположил я.

— Да нет, открыто... Они же не дорожат своими людьми, — услышал я в ответ.

Пытаясь в этой главе найти ответ, почему же, почему с такой легкостью люди соглашались пойти на службу к НИМ, я искал самые различные объяснения.

Может быть, в истории Васильева заключен еще один ответ на эти «почему?». Да потому! Потому, что так было принято. Так было — нормально, естественно, как нормально и естественно плясать на свадьбах и плакать на похоронах.

Так жили. Так, казалось тогда, и надо было жить.

Человек определяет течение времени? Или время — жизнь человека?..

Но все-таки... Но все-таки...

«Надо... Надо... Надо...»

«Не могу... Не могу... Не могу...»

Нет, не надо говорить о том, что выбор этот легкий, и потому естественен для человека. Ох, если бы было все так, какой бы простой и красивой оказалась наша жизнь! Но это — когда не столкнешься, когда не прижмет, когда не припечатают к стенке...

Я не говорю о том, что сегодня этот выбор совсем уж безболезненный. Но тогда, в эпоху откровенной доносительской идеологии?

Только можно представить, как приходилось человеку.

Потому я жадно ловил в историях, которые прочитал или услышал (особенно из того времени), как все-таки удавалось не сломаться, выдержать, выжить.

Доктор технических наук, профессор заочного политеха Герман Устинович Шпиро позвонил, а потом пришел в редакцию.

— Я родился в 1913 году, то есть, как вы догадываетесь, человек уже немолодой. Рос в более или менее благополучной семье... Один мой дядя жил в Омске — его арестовали, и он исчез. Следом, в 1936 году, арестовали, уже в Москве, еще одного дядю. И через месяцев семь мне позвонили...

— Оттуда?

— Да, с Лубянки... Сказали, что задерживают жену дяди, мою тетю, и попросили, чтобы я принял их детей на воспитание. Мальчику было лет десять, а девочке — года четыре. Я приехал, написал расписку и забрал детей... Я их воспитал. Мальчик стал известным искусствоведом. Рудницкий... Слышали такую фамилию?

— Кажется, слышал...

— Да, так вот...

— Ну а что случилось с вами?

— Для этого я пришел к вам, чтобы рассказать, как же было тогда...

Этот рассказ Германа Устиновича до сих пор хранится у меня на диктофонной кассете.

«У меня все было более или менее в порядке, хотя в течение десятков лет в шкафу хранились запакованные теплые вещи, на случай ареста. Я хорошо понимал, что у нас в стране происходит, и потому был очень осторожен во всех разговорах... Так все шло тихо-мирно до 1940 года.

А где-то осенью 40-го — я тогда работал инженером в «Метропроекте» — мне позвонили, и я услышал:

— Герман Устинович, моя фамилия Петров... Я приехал с Севера... В журнале мне попала ваша статья по расчету шахт, и мне очень бы хотелось с вами встретиться.

Я предложил ему приехать ко мне на работу. Он ответил, что лучше встретиться у него в гостинице, так как он очень плохо знает Москву. Не мог бы я приехать к нему?

Я согласился и после работы отправился в «Балчуг».

Повторяю, жизнь научила меня осторожности, и потому у администратора я уточнил, на самом ли деле в 525-м номере проживает Петров? Мне подтвердили: да, проживает. Я поднялся.

Петров оказался приятным человеком лет сорока. Он сказал, что занимается проблемами прочности шахт там у них на Севере и потому хотел бы со мной проконсультироваться... Мы поговорили немного об этом, а потом он начал говорить совсем о другом:

— Вы знаете, как у нас шло раскулачивание? Сотни стариков, женщин, детей умирали от голода...

Я насторожился, ответил что-то вроде того, думали ли эти кулаки о своих батраках...

Говорил скрепя сердце, так как отлично обо всем знал, но понимал, что отвечать должен именно так.

Потом он сказал: как можно строить метро в Ленинграде, когда каждый знает, что там валуны.

Строительство ленинградского метро тогда почему-то держалось в секрете, и я насторожился... Были и другие такие же вопросы.

Когда он позвонил и заказал обед в номер, то принесли поднос, где было накрыто на двоих, хотя он и не сказал, что в номере было двое.

Мы расстались, и я пообещал Петрову принести расчеты, которые он попросил сделать...

Снова мы встретились через два дня, и он мне заплатил за расчеты триста рублей — большие по тем временам деньги, но, в принципе, заслуженные: расчетчиком, повторяю, я был очень квалифицированным. Я написал расписку в получении денег...

Петров, помню, пригласил меня в ресторан — я категорически отказался, сказав, что не любитель ходить по ресторанам. И мы распрощались.

Прошло три дня. Ко мне подходит начальник отдела кадров и говорит, что меня срочно вызывают в управление Метростроя. Срочно, немедленно... Вышел на улицу, оглянулся — и увидел, что начальник отдела кадров стоит на пороге и смотрит мне вслед...

Рабочий день в Метрострое уже заканчивался.

На лестнице меня ждали двое. Показали удостоверения и провели в какую-то комнатку на третьем этаже.

— Знаете этого человека? — показывают мне фотографию Петрова. — «Знаю...» — «Кто это?» — «Он представился Петровым. Сказал, что с Севера. Несколько дней назад я консультировал его». А они мне: «Вы знали, что он — французский шпион?» «Откуда?..» — удивился я. «Так вот, — объяснили мне, — он — шпион. Мы его задержали. Он дал показания, что получил от вас ряд ценных сведений, в частности о том, что в Ленинграде строится метро, и что он приезжал в Москву для того, чтобы наладить с вами связь. А ваш адрес дал ему ваш дядя, который недавно приезжал в СССР». Я рассказал, как мы встретились, но сказал, что я ничего не говорил о метро, так как сам не знал, строится ли оно в Ленинграде или нет. А они: «И все-таки вы виноваты перед нашей страной». Я ответил, как тогда было положено, что понимаю свою вину и постараюсь ее искупить честным трудом. Но они мне: этого мало, надо, чтобы я на них работал. «Если это так надо, то добивайтесь моего перевода к вам», — ответил я. «Нет, — ответили они и откровенно заявили: — Вы должны работать на нас секретно». Я ответил категоричным отказом... Они: «Подумайте. Вы же знаете, что мы можем сделать с вами все что угодно...» «Знаю», — вздохнул я.

Мне предложили написать объяснение, заперли в комнате и ушли.

Я остался один. О чем я тогда думал? Да о том, что если не дам согласие работать на них, то скорее всего меня арестуют. А если дам? Если все-таки заставят, то в тот же вечер повешусь...

Через час они возвратились: «Ну?» Я снова повторил свой категорический отказ. Они опять заявили, что могут сделать со мной все что угодно, и добавили, что «граница на замке» и что я никуда не денусь... Потом меня заставили написать расписку о неразглашении. И — отпустили.

На улице я очутился уже в четыре утра. Вышел на Красную площадь... Пусто, темно... Километров десять я прошел пешком, пока, наконец, не открылось метро...

Я понимал, что это — провокация. Начал вспоминать и вспомнил.

За несколько недель до встречи с Петровым меня вызвали в отдел кадров, там сидел какой-то военный, который стал расспрашивать, чем я конкретно занимаюсь, сколько зарабатываю...

В то время у себя в институте я был на виду, и вот почему. Я зарабатывал раза в три больше, чем другие проектировщики. Может быть, потому что был самым квалифицированным...

И тут он говорит мне, что им очень нужны квалифицированные люди: «Как вы посмотрите на то, что мы дадим вам работу с повышением?»

Я отказался, сославшись на то, что занимаюсь еще и научной работой, которая отнимает много времени. У меня опубликовано довольно много статей. Потом он меня вдруг спросил, есть ли у меня родственники за границей?

А они у меня были — и дядя в Польше, и дядя во Франции. Тот, что из Польши, даже приезжал ко мне в гости.

Военный рассказал, как на меня вышел — прочитал мою статью в журнале, позвонил в наш отдел кадров и спросил, как найти автора. И тут-то он прокололся: статья была ошибочно подписана не «Шпиро», а «Шаиро», человека же с такой фамилией у нас не было...

Через несколько дней мне снова позвонили с Лубянки, сказали, что на меня заказан пропуск. Я, конечно, испугался: поехал к брату и оставил у него все свои записные книжки.

В кабинете, куда я поднялся, меня ждал хмурый человек, который тут же с порога спросил, какой дядя ко мне приезжал, из Польши или из Франции? Ответил, что из Польши. Он помолчал и спросил, есть ли у меня к ним какие-либо просьбы? Я набрался смелости и сказал: «Не подсылайте ко мне никого больше и больше, если можно, меня не беспокойте...» Он бросил хмуро: «А уж это зависит от того, понадобится ли вы нам или нет».

Надо ли говорить о том, каким счастливым я вышел на улицу...

Снова я увиделся с НИМИ только после войны, в 1946-м.

Звонок из отдела кадров: «Вам надо срочно явиться в военкомат». — «Ладно, приду...» Буквально через две минуты снова звонок: «Вы еще не ушли? Быстрее, быстрее... Там ждут».

Я удивился. Возле военкомата меня ждал человек. Показал удостоверение... Меня снова привели на Лубянку.

Человек представился, что его фамилия Чулков и он уполномоченный НКВД по нашему НИИ. Он достал какую-то папку и начал листать, время от времени задавая вопросы, от которых мне становилось страшно.

— Откуда вы знаете о расстреле поляков в Катыни?

Отвечаю, что узнал об этом из наших газет.

— Но вы сказали, что знали об этом раньше?

Я почувствовал, как на голове начали шевелиться волосы. Дело в том, что у меня была одна знакомая, которая работала в ТАСС и должна была слушать немецкие передачи. И она мне рассказала о катынской истории за день до того, как советская версия появилась в газетах... Когда в тот день я пришел на работу, то спросил одного своего коллегу, слышал ли он о расстреле в катынском лесу?

И я понял, как этот факт попал в мое досье.

Потом Чулков достал еще одну бумажку: «Вот вы как-то сказали, что в стране было проведено две переписи населения, потому что по первой выходило в стране слишком много неграмотных и верующих».

Еще такой вопрос: «Вы знаете такого Маханека?» — «Знаю... Есть у нас такой начальник лаборатории...» — «К нему надо подойти и задать один вопрос...» Я ответил, что не только не буду задавать ему вопросы, а вообще не буду с ним разговаривать и даже здороваться...

Понимал, что встал на край пропасти, но другого выхода я для себя не видел.

Дальше он снова начал говорить, что я — болтун. Согласен, отвечаю, постараюсь исправиться. Он снова: «Вы должны на нас работать». — «Нет». — «Посидите подумайте...»

Он запер меня в комнате. Возвратился через час: «Ну что, подумали?» — «Да... Не буду у вас работать...» — «Тогда пойдёмте».

Меня привели в другой кабинет. Другой чекист, видимо, начальник Чулкова, спросил его: «Ну что?» — «Он категорически отказывается...» — «Идите, вы знаете, что с ним делать...»

Меня вновь заставили написать расписку о неразглашении...

Это было мое последнее в жизни свидание с НИМИ.

Я даже сам не знаю, как меня пронесло тогда мимо них...»

Вот таков был рассказ Германа Устиновича Шпиро, слово в слово оставшийся на моем диктофоне.

Но было еще кое-что, не вошедшее в диктофонную запись.

Когда мы уже прощались, он сказал мне:

— На всякий случай — вот мой адрес... Знаю, о чем вы пишете... Они этого не очень любят. У меня вы всегда будете себя чувствовать в безопасности...

О, Господи!

Какое счастье все-таки мне подвалило в жизни!

Когда довольно часто мне задают вопрос, не страшно ли мне от того, что и о чем я пишу, я обычно отмахиваюсь: «Да ладно, ладно... Такие вопросы для студента-первокурсника журфака, романтизирующего нашу странную профессию». Но вспоминая всякие приключения, связанные с напечатанными статьями и, куда чаще, с теми, над которыми еще работал, думаю о людях, которые подставляли плечо в довольно сложных и даже иногда рискованных ситуациях. О тех, кто давал ночлег в чужом городе, чтобы не засвечиваться перед местным начальством, кто перевозил мне документы, рискуя нарваться на неминуемые неприятности, кто страховал при встречах со всякими сомнительными типами и кто проводил вместе ночь с «Калашниковым» в руках (и такое тоже случалось).

Я особенно уже ничего не боюсь в жизни. По крайней мере того, что может случиться со мной самим (близкие, родные — это особый страх, который не может не присутствовать в нормальном человеческом существовании). Но хорошо понимаю и честно в этом признаюсь, что не боюсь не из-за врожденного бесстрашия (чушь все это и ерунда!). Знаю, знаю и счастлив от этого знания: не один я, нет! Не говорю о друзьях, которые всегда приходят на помощь в самых немыслимых жизненных ситуациях. Просто — о людях, о народе, о человечестве, которое куда больше приспособлено для того, чтобы спасти ближнего, чем для того, чтобы ближнего предать.

Странно, что именно об этом думаю, когда снова, снова, снова пытаюсь понять суть и сущность тех, для кого предательство стало профессиональным ремеслом, то ли по собственной воле, то ли по стечению обстоятельств.

Да нет ничего в этом странного. Нет!

«Какой повод я дал ИМ для этого?» «За какие провинности или заслуги выбрали именно меня?» «Может, морда у меня похожа на сексотскую?» «С самого начала, как только прозвучало это предложение, я почувствовал себя растерянным и униженным. Как же так? Меня? Это было настолько мерзко, что хотелось в кровь разбить кулаки об стенку» — выискиваю эти строчки в письмах.

Пытаюсь понять, что же такое с нами было вчера.

Осталось ли сегодня?

Возвратимся ли к этому завтра? Возвращаемся? Никуда не уходили?

... Как мы и договаривались, агент «Пушкин» появился в редакции спустя два дня. Пришел и замечательный московский доктор — Виктор Давыдович Тополянский. Я ушел из комнаты, оставив их один на один. Вернулся через час. «Пушкина» уже не было.

— Ну что? Что с ним?

— Да не я ему нужен — больница нужна. Психиатрическая, — ответил Виктор Давыдович. — Все, что он тебе рассказал, правда. Кроме одного: потом он заболел. Мозг не выдержал всего того, что с ним произошло. Как говорили когда-то раньше — сошел с ума. Хочешь, могу тебе объяснить подробно симптомы. Но ты, наверное, все равно не поймешь.

Трудно все-таки бывает жить. Трудно и больно.

## **ГОЛОСА ИЗ ХОРА**

**М. П., Новосибирская область, 1942 год**

«Шла война. Немцы подходили к Москве... Я учительствовала в одном из районов Новосибирской области. Муж был на фронте, а дома — две маленькие дочурки и старая мама.

Не то в конце 1941-го, не то в начале 1942-го привезли к нам немцев из Поволжья. Надо отдать должное людям — встретили их по-человечески. Никаких оскорблений, никаких выкриков. Поделились с ними картошкой, овощами. Расселили по домам. И обратили внимание — они быстро привели свои жилища в божеский вид: окошки заблестели чистотой, во дворах соринки не увидишь. Обратили внимание, что овощи у них начали созревать раньше всех, умели работать люди.

К нам в школу была назначена учительницей Элеонора Генриховна. Моя старшая дочь училась у нее в классе, и мы очень быстро с ней сдружились. Мне было тогда около 30 лет, ей около 40. Она была одиночкой: дети ее, сын и дочь, были в лагере под Новосибирском, работали там на заводе, а мужа расстреляли за «шпионаж»...

Она с большим достоинством несла свой крест... Все длинные осенние и зимние вечера мы проводили вместе. Она была удивительно умной, милой и интеллигентной женщиной.

Мы пили морковный чай, пекли картошку, благо все это было в достатке, и говорили, говорили, говорили. О жизни, о поэзии, об архитектуре.

Но однажды меня вызвали в райком партии, якобы прочитать лекцию на партактиве. Я удивилась, так как была беспартийной и никогда в партию не стремилась — ненавидела ложь, которой была проникнута вся «авангардная». В райкоме партии мне указали на дверь второго секретаря. Я вошла. Там сидел начальник районного управления НКВД. Он мне предложил сесть и сказал: «Вы дружите с полуфашисткой! И обязаны извлечь пользу из этой дружбы...»

Я ошарашенно открыла рот... А он: «Не надо пугаться. И отказываться вам с вашим положением нельзя...»

О, положение свое я знала. Дочь расстрелянного «врага народа», сестра томившегося в ГУЛАГе брата, «японского шпиона».

«Что вы должны делать... — продолжал начальник. — Вам надо влезть к ней в душу и всеми силами добиться, чтобы она открыла вам все карты своей вражеской деятельности».

Господи, какой «вражеской деятельностью» она могла заниматься, если единственным «промышленным предприятием» в нашем районе была общественная баня?

Почти год моя деятельность в качестве Маты Хари не приносила НКВД никакой радости.

И вдруг — засветилась...

В канун Нового года меня откомандировали в Новосибирск выбить гостинцы школьникам для новогодней елки. Я сказала об этом Элеоноре Генриховне. Она даже поднялась со стула: «Умоляю... Отвезите посылку моим детям» (езды от Новосибирска до лагеря, где они томились, было всего-навсего двадцать минут).

Я согласилась, но о посылке — я понимала — должна была доложить НКВД. Мне приказали: в канун отъезда, в полночь, я должна отнести посылку на проверку в НКВД.

Ночь, к моей радости, была темной. Когда заснули не только люди, но и собаки, я, как шпионский резидент, подняла воротник пальто и отправилась в НКВД.

Там посылку вскрыли все высыпали на стол (шторы при этом они наглухо задвинули). В посылке были: килограмма три сырой картошки, мешочек с черными сухарями, штопаное-перештопаное чистое белье, две пары теплых носков и... мешочек с сахаром.

Сахара было грамм 350–400 — не больше.

Чекисты перебрали всю картошку, перенюхали сухари, прощупали все швы в мешочках и приказали посылку зашить.

А мешочек с сахаром протянули мне.

Я в ужасе отшатнулась: «Зачем?! Мне не надо...»

Они хохотнули: «Тогда сахар отдадим в детский дом», — хотя в нашем районе не было никакого детского дома.

Я вся похолодела и взмолилась: «Верните сахар! Ведь Элеонора Генриховна подумает, что я его присвоила...»

— Фашистам сахар не положен, — отрезал начальник.

— Тогда я скажу ей, что посылку вскрыли вы...

— Что? — заорал начальник и выразительно крутанул пальцем около виска. — Чеканутая, что ли?!

... Лагерь я нашла быстро. Часовой очень благожелательно поговорил со мной, послал в барак солдата, и вскоре к проходной вышла красивая молодая немка. Она сказала, что дети Элеоноры Генриховны на работе, но она передаст им посылку. И назвала свою

фамилию. А часовой добавил: «Без сомнения отдаст... Они точно по адресу передают...»

Элеонора Генриховна была очень огорчена, что я не увидела ее детей...

А недели через две после моего возвращения она, встретив меня, сказала: «Больше, пожалуйста, ко мне не заходите...»

Так, по милости этих подонков из НКВД, я в ее глазах оказалась воровкой.

И только сегодня, когда мне уже 78 лет, я рассказываю о том, как гнусно поступили со мной чекисты, которых я люто ненавижу за гибель всех моих родных, за мой позор, за мой страх перед этой страшной организацией.

Адрес на конверте. Не за себя боюсь. За детей, внуков, правнуков.»

## ***Лидия Бородина***

### ***Москва, 40–50-е годы***

«Шла война. В Куйбышев тогда был эвакуирован дипломатический корпус и ряд корреспондентов зарубежной прессы. Меня взяли на работу в кассу приема иностранных телеграмм при Центральном телеграфе: телеграфу нужны были люди, знающие язык, я только что закончила институт иностранных языков.

Однажды какая-то женщина — она оказалась курьером норвежского посольства — вместе с очередной телеграммой подала мне листок бумаги и попросила:

— Переведите мне, милочка, это письмо нашему послу. А я вам билетки в Большой принесу (театр тоже был в Куйбышеве).

Письмо было отвратительно лакейским по содержанию. Она-де впервые в жизни видит людей, которые относятся к ней по-человечески, впервые досыта поела, посол вот недавно котлетами угостил — одним словом, что-то в этом роде.

Сейчас я думаю, что отнесла это письмо в 1-й отдел только потому, что была в это время секретарем комитета ВЛКСМ. Совсем недавно погибла Зоя Космодемьянская, мы все искали любую возможность быть полезным фронту, а тут вдруг такое холуйское письмо.

В 1-м отделе мне сказали: переведите и отдайте. Перевела и отдала. (Спустя два-три года увидела эту самую женщину в Москве, в той же должности, в том же посольстве).

Не знаю, сколько моих заявлений лежало в военкомате, чтобы взяли на фронт, но однажды — я была дома после дежурства — подошла машина, мне дали повестку, и я поехала в полной уверенности, что еду в военкомат, счастливая, что наконец-то поверили (а я ведь дочь «врага народа»), что я скоро пойду на фронт. Но военкомат мы почему-то проехали. Тогда я спросила:

— А куда же мы едем? Я вернусь домой?

— Это от вас будет зависеть, — ответили мне, и тогда я все поняла.

Повезли на улицу Степана Разина, там НКВД. Посадили в кабине, где была застекленная дверь в соседнюю комнату, стекло прикрыто занавеской. Сидела долго. Нервно позевывала.

Потом пригласили войти. Сначала все по форме. А дальше по нарастающей: «Что же это, Лидия Петровна, вы так компрометируете звание жены советского командира? Ведете себя плохо, как вы представляете себе вашу дальнейшую жизнь?..»

Я ничего не понимаю. А следователь смотрит на меня прямо-таки с гневным упреком и вдруг говорит:

— Мы вам не верим. А если хотите, чтобы поверили, помогайте нам.

— Как это?

— А так: мы вам скажем, что нам интересно знать.

Я в то время была очень вежливой девицей:

— Извините меня, пожалуйста, но я не могу. Я ведь еще учусь в студии, пишу стихи, и это мне совсем не подходит. Конечно, если как та тетка, с котлетами, то я приду и расскажу, потому что она действительно позорит нас перед иностранцами, а так, как вам нужно, — не могу.

Отпустили: «Идите и поразмышляйте о вашем поведении».

(Я, естественно, не думала тогда, что то письмо было провокацией, проверкой меня на патриотизм, но вот почему-то понесла его все-таки в 1-й отдел. А если б оно было искренним выражением благодарности и ту женщину тогда же и арестовали бы... Хотела ли я этого? Упаси бог! Но я это сделала. И сейчас меня в этом моем поступке только то и оправдывает, что она была провокатором).

А потом наступил 1943 год.

У меня перемены. Я еду в Москву. Пропуск получен. У меня фанерный чемодан, на крышке которого еще маминой рукой переписаны мои детские вещи, и... часы. Большие настенные часы с мелодичным звоном.

Сразу все получилось не так, как мыслилось. Жила в чужой семье на положении не то домработницы, не то будущей невестки. Об учебе речи не шло.

А на Кузнецком мосту была странная для тех лет газета. Она называлась «Британский союзник», и у нее было два редактора: советский и английский. Выходила она на русском языке.

Однажды я там проходила и увидела вывеску. Поднялась на второй этаж. Навстречу вышел длинный джентльмен, которого я на рошом английском спросила, не нужны ли им переводчики.

Кажется, уже через неделю я была сотрудником этой газеты и получила жилье в гостинице «Метрополь», которое оплачивала редакция. Ужасно гордилась. Зарплата — две тысячи в месяц.

Вот тогда-то и позвонила мне какая-то женщина и предложила встретиться возле Моссовета. Она была в синем пальто с серым каракулевым воротником, лет сорока, с миловидным лицом. Наверное, на третьем вопросе, на который я, как и на первые два, получила совершенно невразумительный ответ, я все поняла. И когда она привела меня в чью-то пустую квартиру на улице Горького (теперь-то я знаю, почему эта квартира была пустая), села за стол и приготовилась говорить, то первые слова, которые я сказала, были:

— А я уже догадалась, кто вы. И я согласна.

Да, вот так и было. И слова-то еще не было сказано, а я такая умница-разумница — прямо так и заявила: я согласна. И расписалась о неразглашении тайны. Ст. 121 УК РСФСР.

Что же я делала, выполняя функции секретного сотрудника НКВД? Какие важные сведения могла передать органам двадцатитрехлетняя особа, работавшая в окружении иностранцев?

Что могли делать все эти Джоны, Тэды, Вилли? Им тоже всем по 20 с небольшим, они солдаты в американском или английском атташатах. У каждого есть своя «ханничка» (милая), и интерес тут вполне определенный. Я не была исключением. За мной ухаживали, приглашали на «парти» и говорили о разном. О нашей свободе тоже, и всегда с насмешкой.

Донесения мои были всегда однотипны: «он сказал», «я сказала». Причем, как правило, он говорил то, что хотел, про наши порядки, а я выдавала патриотическую тираду, что и фиксировалось в моем донесении.

Иногда, откровенно посмеиваясь, какой-нибудь Стив или Фрэнк спрашивал: «Лидия, а как вам нравится вести двойную жизнь?» Я становилась в позу оскорбленной невинности, а они говорили слова, соответствующие нашим «а нам до лампочки». Конечно, им было до лампочки, они были из другого мира. И они знали, что после первой, даже случайной встречи с иностранцем девочку немедленно приглашали в НКВД, а она на другой же день с ужасом рассказывала своему «ханичку», что с ней произошло, и либо переставала с ним встречаться (но все равно получала срок: с нами сидела одна девушка за единственный визит с иностранцем в ресторан), либо шла на риск, а может быть, принимала те же условия, которыми связали меня.

Ох, как же быстро я поняла, в какую клоаку столкнула меня моя коммунистическая бдительность! Меня превратили в марионетку с ниткой на шее: иди туда, не ходи сюда, с этим не встречайся, а с тем — иди на все условия. А мне как раз не нравился тот, с кем «на все условия», и хотелось видеть того, с кем «нельзя».

Отсутствие русских друзей, боязнь старых знакомых поддерживать со мной добрые отношения — это мучило меня. «Двойная жизнь» была нелегким делом. Хотя никто из иностранцев, естественно, не делился со мной «диверсионными намерениями» и планами «стратегических операций», все равно внутри у меня всегда было противное чувство: каждый свой шаг я контролировала в своих донесениях, а к тому же должна была запоминать все то, что говорили в тех компаниях, где я бывала.

И однажды, больше не выдержав, я написала в органы письмо. Долгое, не очень связанное, но там была просьба: «Если надо, арестуйте меня на год, но уберите из этого мира. Я больше не могу так жить, когда мне не верят ни свои, ни чужие».

Что мне ответили — не помню. Скорее всего — ничего. Но первыми словами следователя, когда меня утром 19 сентября 1947 года привели на Лубянку, были: «Ну вот, Лидия Петровна, мы выполнили вашу просьбу. Вы просили арестовать вас, правда, просили на год, но уж сколько пробудете — не обессудьте...»

И в лагере обо мне не забыли. Не помню, какой это был пятидесятый — не то первый, не то второй, может быть, это еще был 49-й, кажется, осень. Откуда-то прибыл новый опер и вызвал по очереди «смотреть фотографии». Мне тоже показал несколько штук, а потом

попросил: напишите, пожалуйста, вашу биографию, укажите, с какого времени поддерживаете с нами связь, и добавьте: «желание сотрудничать с органами НКВД у меня сохранилось...»

... Оглядываясь сегодня назад, я вижу перед собой разного возраста мужчин, у которых я была на связи. Иногда совсем молодых, иногда таких, кому я годилась в дочери. Разве они не понимали, в какое дурацкое положение ставила их верховная власть, заставляя держать в секретной службе таких, с позволения сказать, сотрудниц, как я, и сотни подобных мне девчонок, жаждавших веселья, любви, замужества? Кого интересовали откровения удачных шоферов, щеголявших перед русскими девочками «Кэмэлом» и «Лаки страйком»? Как они могли, эти взрослые люди, сидевшие в своих кабинетах под портретами Сталина и Берии, всерьез вести игру в разведработу с такими, как я? Кому были нужны мои «оперативные» донесения о свидании с Тэдом на пикнике в Серебряном бору?

Теперь остается сказать, зачем я все это написала. Если кто-нибудь скажет, что это смелый поступок, я признаюсь: ничего подобного. Я по-прежнему всего боюсь. С трепетом вскрываю каждое казенное письмо. Не люблю, когда молчат в трубку, потому что думаю, что это ОНИ, хотя и понимаю, что и время совсем другое, да и интереса я ни для кого давно не представляю.

Если же кто-нибудь захочет бросить мне в лицо презрительное слово «сексот», я отвечу: не стала бы я писать всего этого, будь я хотя бы перед одним человеком виновата в его аресте. Совесть моя чиста.

О другом я думаю. Почему я была такая в свои молодые годы? И ответ нахожу в силе, во всесиили слова. Разве же я не знала про 37-й год? Это я-то, увидевшая своего отца, изувеченного побоями через три месяца после ареста? Я ли не знала, что всех, поголовно всех кавжэдецев арестовали в 36-м и 37-м, а потом провели «второй набор» в 47-м? Разве я не видела колючую проволоку в районе строительства Куйбышевской ГЭС? Почему же я и тысячи таких, как я, восторженно внимали слову? Значит, оно было сильнее истины? (Таких, как ребята из «Черных камней» Жигулина, было не так уж и много.)

Выходит, слово может ослепить, затмить разум, убить. Я повторяю это как банальный трюизм, и я не скажу ничего нового, утверждая, что слово может и вдохновить на подвиг, творчество, милосердие.

И вот я думаю: если оставить слову только две категории — доброту и мудрость и сделать его сегодня таким же всемогущим, каким оно было в годы сталинского террора, но только теперь со знаком плюс, то через двадцать лет не будет в России людей, которым станет стыдно смотреть друг другу в глаза.

А сейчас говорится так много слов! В разные стороны тянут наше несчастное общество политические лебеди, раки, щуки, а возле МГУ стоит юноша, на спине которого написано: «Не верю никому».

Мне хочется сказать этому мальчику: «Милый, я тоже верила себе, я была уверена в своей правоте, и что получилось...»\* Неверие — не выход. Выход в ясном разумении, что есть добро и что есть зло. Если тебе скажут: «Бей женщину» — ты же поймешь, что это зло? Если тебе будут говорить, что ты самый умный, потому что ты — русский (грузин, армянин, еврей и т.д.), ты же поймешь, что это зло?

Ты должен найти свою веру. И защищать ее словом, которое будет мудрым и добрым. Вот для тебя-то, кому жить в третьем тысячелетии, я написала это письмо.»

---

\* Л. Бородина имеет в виду Андрея из Львова, чье письмо я опубликовал в «Лит-газете»:

«Я агент КГБ с 1984 года и горжусь этим. Нет, я не отъявленный сталинист и не фанатик-коммунист из сторонников Нины Андреевой или Лигачева. Я реально смотрю на вещи и знаю, что коммунизм это утопия, а у КПСС нет никакого будущего.

У меня очень мягкий характер, я слабовольный, и многие этим пользуются. И то, что являюсь агентом КГБ, придает мне силы жить. Мне уже за 30, карьере я не сделал, и мое сотрудничество с КГБ поднимает мой авторитет в моих же собственных глазах. Пошел я на сотрудничество с КГБ совершенно добровольно, и ваши статьи не убеждают в ошибочности моего выбора.

Деньги я от них брал и брать буду. Мои друзья догадываются, что я связан с КГБ, и мне даже приятно, что они меня побаиваются. Современная жизнь — сложная штука. Надо постоянно держать ухо востро, а сотрудничество с КГБ научило меня осторожности, конспирации. Я люблю свою страну и, сотрудничая с КГБ, я защищаю ее. Призывы ликвидировать КГБ я считаю аморальными. Сейчас не модно цитировать Ленина, но я приведу его слова: «Любая власть только тогда что-то значит, когда она умеет себя защищать». КГБ стоит на страже безопасности страны. Может быть, не всегда его методы законны и моральны, но я не думаю, что методы других разведок и контрразведок — ангельские. При любой власти секретные сотрудники нужны. Нет ни одной страны в мире, где бы службы безопасности не пользовались услугами секретных агентов.

По понятным причинам пишу, изменив почерк, и подписываюсь не своим именем.»

## **Владимир Новоселов, кинорежиссер Свердловск. Конец сороковых**

«С войны в родной Свердловск я вернулся в сорок седьмом молодым человеком, заметным, статным, но ужасно робким (я и сам это знал) и застенчивым, как красна девица. Вернулся, отработав два года в советских загранучреждениях в Австрии. И потому, когда появился на танцах в Горном институте, одетый в смокинг с атласными отворотами, благоухая заморскими духами, то... сами понимаете. Внимание к моей экзотической персоне привлекали, наверное, не только пылкие взоры худосочных от военной голодухи девушек. Вскоре прозвенел первый звонок.

В нашем ЖАКТе (жилищное акционерное кооперативное товарищество), сколько себя помнил, бесценно работал участковым милиционером Константин Павлович Демин. Мы, дворовая шантрапа, звали его Копалычем. Исключительной порядочности и доброты человек этот многих из нас уберег от кривой дорожки, и, став теми, кто мы есть, не раз, встречаясь позже, мы вспоминали Копалыча добрым словом.

Так вот, однажды, когда я колол дрова, готовясь к зиме, подсел ко мне Копалыч, вытер взмокшую лысину внушительных размеров платком и завел такой разговор. Ты, дескать, Володя, — фронтовик, комсомолец и, без сомнения, патриот Родины. А я, старый, получил задание, которое можешь выполнить только ты. Кто дал такое задание — и не спрашивай, не имею права.

Таинственность его слов интриговала, а чистосердечное признание внушало доверие. Так или иначе — то ли от врожденной робости, то ли из доверия к нему, но я согласился помочь исстрадавшемуся от нравственных мук человеку, годившемуся мне в отцы.

А суть дела сводилась к следующему. До войны в одной группе со мною в машиностроительном техникуме при Уралмаше учился Коля Плясунов. Он, как и я, ушел добровольцем на фронт и где-то осенью сорок третьего исчез, стал числиться пропавшим без вести. А тут совсем недавно его, якобы, видели живым и здоровым на Украине, но под другой фамилией, что сразу же навело на подозрение. Мне необходимо было навестить его мать и деликатно выспросить, не поддерживает ли она с ним связи, а еще лучше — выведать адресок.

Встреча состоялась. Я сознательно пошел на такой шаг хотя бы из желания узнать правду о своем товарище, но вел себя настолько неуклюже, что мать Коли тут же замкнулась, и потому пришлось несолоно хлебавши ретироваться.

Той же осенью сорок седьмого по справке об окончании двух курсов техникума меня без экзаменов (была такая льгота у фронтовиков) зачислили в университет на отделение журналистики. Акцентирую на этом внимание намеренно, так как в недалеком будущем сей факт сыграет немаловажную роль в моей судьбе.

На нас, фронтовиков, только что окончившие школу ребята смотрели с немым обожанием. Потому, наверное, охотно и искренне выдвигали на большинство постов в студенческом самоуправлении. Мне пришлось стать членом комитета ВЛКСМ и редактором сатирической газеты «Наш крокодил». Широкая популярность газеты отсвечивала и на нас, ее издателей, а популярность в те времена была вещь весьма опасная, в чем вскоре мне довелось убедиться.

После второго курса, в разгар переводных экзаменов, ничего не подозревающего меня вызывают в отдел кадров. По миллион раз тиражированному сценарию, инспектор представила мне миловидного человека в штатском, перед которым лежало мое личное дело, и тихо испарилась. Охваченный внезапным страхом, я не расслышал его фамилии, только понял, ОТКУДА он. Сославшись на неудобство беседы в этом помещении, он пригласил меня в стоявшую у подъезда черную «эмку», и мы поехали на Ленина, 17. Для свердловчан этот комплекс зданий на углу Ленина — Вайнера все равно что Лубянка для всех нас. У него своя страшная, кровавая история.

Память мгновенно высветила случай из детства. Шел косивший людей незабываемый тридцать седьмой. Однажды мы с мамой проходили мимо этого мрачного здания, где в зарешеченных подвалах даже днем горел электрический свет. Часовые, прогуливаясь вдоль стен, поторапливали прохожих: задерживаться категорически запрещалось. Люди с оглядкой, шепотом рассказывали, что здесь приводят в исполнение приговоры троек и особых совещаний. (Что это так, свидетельствую: показывали опустившегося «орангутанга», который шатался по значным местам, клянча на кружку пива. Я сам слышал его хвастливые заявления о том, как он «дырявил головы врагам народа». Потом он бесследно исчез, или замерз по пьяни, или свои же кокнули за длинный язык.)

Возле одной из решеток к моим ногам упал комок хлебного мякиша с клочком бумаги. Не успел я протянуть руку, как огромной силы удар ниже спины швырнул меня на проезжую часть. Беззвучно плача, мама зажала платком мой кровоточащий нос и в ужасе оттянула меня в сторону. Когда я оглянулся, часовой, тыча штыком внутрь решетки, орал: «Вражины сраные, пули на вас жалко! Вешать вас надо бы...»

Это все я помнил с детства. А сейчас сопровождавший (или конвоирующий?) меня человек передал другому, который назвался Новиковым. Он долго расспрашивал об учебе, делах на курсе, о товарищах, делая особый акцент на активистах. Потом внезапно, в лоб:

— А знаете, нам нужна ваша помощь.

— Какая помощь?

— Не догадываетесь? — пристально-пристально посмотрел он на меня и продолжил: — У вас столько друзей, вы в гуще стольких событий. — Его голос звучал вкрадчиво и любезно. — Нужно понаблюдать за некоторыми студентами. Например, за Очеретиным. Нам известно, что он пишет повесть и хочет назвать ее «Я — твой, Родина». Только Вадим не так уж любит-то ее, Родину. Это нам тоже известно. И потом его родители... Шанхай все-таки... Или вот — Рутминский. Скрывал, что он из княжеского рода, ну и пришлось изолировать... А сколько еще таких...

Я был потрясен, потрясен подобной наглой ложью. Вадька Очеретин — израненный десантник танковой бригады, участник освобождения Праги! А Виктор?!

— Как же это еврей Рутминский попал в русские князья?

— Не будем дискутировать, — мягко оборвал он. — Ваша задача...

— Шпионить?

— Наблюдать, слушать и...

— Доносить?

— Информировать... — что-то дьявольское было в его ухмылке.

— Ну нет! — Я, кажется, впервые в жизни преодолел собственную робость. — Я не способен на такое, не обучен.

Новиков устало вздохнул:

— Что ж, иного ответа я не ожидал. Хотя, признаться, рассчитывал на то, что сын старого большевика, участника революции будет более лояльным к Советской власти. Ваш пропуск! — уже зло бросил он. — Можете идти! И помните: о нашей встрече никому ни звука!

Я уходил, а мне летели в спину слова-выстрелы.

В следующий раз меня выдернули уже из дома. Раненько поутру. Все тот же Новиков начал с места в карьер:

— Надеюсь, вы передумали?

— Напрасно надеялись. Ответ будет тот же. — Дерзя, я еще не представлял всех последствий своего отказа.

— Ну-ну... — Откровенная издевка лучилась на его лице. — И вас, стало быть, ни капли не волнует свое будущее? Нет? В таком случае я сейчас живописую его вам. На днях вас исключат из комсомола и, соответственно, с позором вытряхнут из университета. Вас никуда не примут на работу, разве что дворником на говнозавод. О журналистике забудьте. Ну так как, будем сотрудничать?

— Это почему же исключат? — ошалело промямлил я. — За что?

— А за то! Человека, поступившего в вуз по фальшивым документам, надо не просто гнать в шею, а отдавать под суд! Статейку-то, будь-будь, подберем. Любуйтесь...

Он придвинул ко мне мое личное дело студента УрГУ. Вместо серенькой с чернильным угловым штампом справки из техникума красовался гербовый аттестат об окончании средней школы. И даже в перечне прилагаемых документов вроде бы моей рукой было вписано подтверждение этому.

— Но это же подлог, липа! — срываюсь на крик.

— Подлог? А кто тебе, щенку, поверит? Иди! Иди и оправдывайся на комсомольском собрании...

Я брел бесконечными коридорами управления нашей безопасности абсолютно раздавленный случившимся и не стану лукавить — была, была такая мыслишка — броситься назад, сказать, что передумал, что погорячился. Я же понимал, что эти люди слов на ветер не бросают. Но не повернул, возможно, из-за своей нерешительности, а может, вспомнил мамин девиз: «Все, что ни делается, — к лучшему».

Через неделю был вывешен приказ ректора о моем отчислении из университета «по... состоянию здоровья». Никого не удивило, что инвалид войны не выдержал напряженного учебного процесса, голодухи и сошел с дистанции. Памятуня о подписке о неразглашении, да же друзьям я не рассказал всей правды.

В первые, самые трудные дни на помощь пришел все тот же Копалыч. Выслушав меня, он почесал свою лысину, буркнул что-то

вроде «прорвемся» и ушел. А еще через семь месяцев, летом пятидесятого, я с отличным аттестатом отправился в Москву поступать в институт внешней торговли, благо имел при себе рекомендации влиятельных людей, с кем работал в Австрии.

После первого экзамена состоялся, как под копирку, разговор в отделе кадров. Мне передали привет от капитана Новикова и задали все тот же вопрос... О моей поездке в столицу, кроме мамы, знал только один человек. Он и сейчас, как ни в чем не бывало, при встрече раскланивается со мною.

Отказались принимать меня и в мой родной университет, мотивируя тем, что учебный год уже начался и курсы укомплектованы полностью. Причина — не придерешься. И только категорическое вмешательство министра высшего образования СССР Кафтанова решило дело. Не стесняясь моего присутствия, этот добродушный человек-гора гневно отчитывал по телефону ректора за волокиту и неуважение к правам фронтовиков. Министр-то ведь не знал истинную причину моих бед.

А эпилог этой грустной истории таков. Через десяток лет уже корреспондентом центрального радиовещания по Уралу я должен был как-то срочно прибыть в редакцию, в Москву. Билетов в столицу, как всегда, не было, и кассир посоветовала обратиться к начальнику агентства. Открываю дверь и вижу — в летной форме сидит ОН. Новиков, конечно же, узнал меня тоже. И такая злоба вдруг вспыхнула во мне, что я, хлопнув дверью, выскочил из этого кабинета.

Но кем он был, этот капитан Новиков? Лишь маленьким, ничтожным винтиком в страшной машине уничтожения и подавления людей.»

### ***В. Хаскин, пенсионер Харьков. Шестидесятые годы***

«Моя история, пожалуй, действительно слишком мелка, чтобы рассказ о ней назвать исповедью. Вероятно, она похожа на тысячи других. И все же...

Она была бы скорее комичной, если бы не свидетельствовала о поразительной всепронзаемости наших спецслужб и не оставляла желания избавиться от неприятного осадка на душе: никакое шпионство не бывает невинным.

Лето 1966 года. Столица Украины готовится к XIII Всемирному конгрессу птицеводов. Предстоит грандиозное мероприятие: тысяча иностранных участников, сотни докладов, международная выставка птиц и птицеводческого оборудования, обширная культурная программа...

Готовится к конгрессу и украинский НИИ птицеводства, в Борках под Харьковом. Я здесь работаю — заведу биохимической лабораторией.

У нас напряженная суэта: спешно заканчивается отделка нового здания института, асфальтируются дороги, наводится блеск в только что построенных новых лабораторных помещениях: ведь после официальной программы конгресса к нам должны приехать иностранные коллеги. У нас множество забот, но главная — хорошо подготовиться к научному докладу на конгрессе.

В один из этих хлопотных дней меня вызвали в отдел кадров. Кадровичка представила меня сидевшему в кабинете незнакомцу и быстро вышла.

Тот по-хозяйски запер дверь на ключ, назвал себя (имени не помню, но скорее всего оно было ненастоящим, потому буду называть его К.В.) и попросил меня рассказать о себе. Я, конечно, сразу же догадался, что имею дело с товарищем из «органов», хотя раньше Бог миловал от встречи с ними. Но и он, видимо, уловив мою настороженность, снял забрало и сразу же перешел к делу. Деталей беседы не помню, но суть ее состояла в следующем.

В числе участников и гостей конгресса ожидается появление агентов иностранных разведок (что им делать на конгрессе по птицеводству? — помню, поразился я). И потому для полного их выявления КГБ нуждается в помощи наших подлинных участников. Особенно беспокоит чекистов делегация Израиля, в которой могут быть не только профессиональные разведчики, но и люди, специально подготовленные к активной сионистской пропаганде. Именно эти «объекты» входят в сферу интересов КГБ.

Он спросил, не соглашусь ли я сотрудничать и помочь чекистам в Киеве во время конгресса. Здесь же последовало заверение в добровольности моего решения и обоснования в выборе именно моей персоны: делегат, да еще докладчик, да еще чуть ли не единственный еврей среди советских участников. Мне, по его словам, будет легко познакомиться с предполагаемыми объектами (при этом

с умеренной деликатностью была отмечена моя характерная внешность, но высказано сожаление по поводу незнания мною «еврейского языка»).

Я прекрасно знал тогда цену «добровольности», но не был напуган (в голове быстро прикинул способы убедить его в полной моей непригодности к выполнению таких заданий, но не нашел ни одного стоящего). Меня не задел и национальный привкус предложения, так как долгое время я был вполне благополучен в этом отношении и не имел такой обостренной чувствительности к проблеме «пятой графы», как многие мои соплеменники. Я не был заражен шовинизмом и не верил в опасность сионизма для нашей страны (напомню, что описываемые события происходили за несколько месяцев до шестидневной войны, когда у нас еще сохранялись государственные отношения с Израилем, а эмиграция советских евреев была еще далека от последующего политического драматизма). Тем более мною двигали и соображения патриотического долга, хотя сделанное мне предложение подразумевало это, как и мою полную благонадежность.

Короче, я согласился...

Очень стыдно сейчас признаваться в этом, но перевесило и почти мальчишеское легкомыслие (это в 37-то лет!): мне стало очень интересно, как все это делается, тем более что я с недоверием, почти с иронией отнесся к возможности масштабного проникновения шпионов посредством птицеводства. Киевский конгресс и так ненадолго вырывал меня из довольно тупой провинциальной повседневности, а теперь еще и добавлялось таинственное приключение. К тому же я почему-то был уверен, что этот эпизод не будет иметь продолжения, что вербовка для длительного сотрудничества исключена (так оно впоследствии и оказалось).

А эпизод свелся вот к чему.

К.В. велел мне через день приехать в Харьков и во столько-то часов позвонить по телефону, который он мне оставил.

Я приехал, позвонил. Незнакомый голос назначил мне встречу через час у одного ориентира за парком. Это было малолюдное место. Валерий Сергеевич (так он назвал себя — для меня он В.С.) прибыл без опоздания. У нас началась спокойная и совершенно нейтральная беседа обо всякой всячине. Скорее всего это было обычное прощупывание. Через несколько дней беседа повторилась,

но содержание ее я тоже не помню. За день до отъезда в Киев на конгресс во время короткой встречи В.С. сказал, что найдет меня в Киеве и тогда даст уже конкретное задание. «Самому же, — добавил он, — знакомство со мной не поддерживать и не узнавать, если вы меня случайно встретите на конгрессе».

Дальше — приезд в Киев, регистрация, размещение в гостинице, встречи с коллегами, открытие, банкет, заседания, доклады, включая и мой, выставки, концерты — словом, обычный многолюдный и веселый бедлам хорошо организованного большого съезда. Новым для меня было только присутствие множества иностранцев и тревожное ожидание «задания». Вся атмосфера конгресса и общение с коллегами были настолько доброжелательными и праздничными, что в какой-то момент я остро пожалел о своем согласии.

На третий день я издали увидел В.С. со значком участника конгресса на лацкане пиджака — в перерыве заседания, на котором я делал доклад. Но только за три дня до окончания он позвонил мне в гостиницу и назначил встречу, на которой я и получил свое «задание». Мне предстояло познакомиться с одним из членов израильской делегации, который собирался после окончания конгресса поехать в Харьков (для иностранных участников предусматривался ряд туристических маршрутов). У меня была простая и естественная легенда: мне поручено пригласить его в украинский институт птицеводства, сопровождать его и опекать как коллеге — представителю гостеприимных хозяев. Надо было как можно больше находиться с ним вместе, отмечая все его контакты и предметы интересов. Имя моего «подопечного» (на этот раз оно было настоящим) — Хаим Канцеленбоген. Возраст около семидесяти (недурно для шпиона). Давний эмигрант, он должен говорить по-русски, хотя на конгрессе больше говорил по-английски. Сотрудник израильского департамента земледелия.

Тоска меня взяла ото всей этой информации и от этого задания, но отступать уже было поздно.

В сущности, я все сделал «по инструкции». Легко с ним познакомился, пригласил к себе в институт (и он с благодарностью принял приглашение), предложил свои услуги гида (что было принято более сдержанно), два дня старался с ним как можно чаще встречаться в Киеве. Затем встретил его уже в Харькове, на вокзале, помог устроиться в гостиницу, гулял с ним по городу, сопровождал в Борки, при-

гласил к себе домой, познакомил с семьей, накормил домашним обедом, проводил и с искренней сердечностью — и с облегчением — попрощался.

Увы, для моих «хозяев» ничего интересного не было. И это не только мое сегодняшнее злорадство.

Ведь такое знакомство и общение могли произойти и без участия КГБ, без шпионства и постоянной задней мысли от боязни быть искусственно назойливым.

Чем больше я наблюдал этого спокойного интеллигентного старика, его сдержанные манеры, его неторопливую и точную, но с заметным акцентом речь, его естественную реакцию на новые для него черты нашей жизни, тем больше я досадовал и на себя, и на захомотавших меня разведчиков.

В беседах с Канцеленбогеном я узнал, что к птицеводству он имел весьма отдаленное отношение, а являлся экспертом по вопросам экономики земледелия. Узнал, что он родом из Харькова и эмигрировал с родными еще в 1912 году после еврейских погромов, что ни разу с тех пор не был в России и что он переехал в Израиль из США только в 1950 году.

Вечером 23 августа мы были с ним на праздничной площади Дзержинского в Харькове — в этот день харьковчане отмечали 23-ю годовщину освобождения города от гитлеровцев, — и в отвсетах фейерверка я увидел слезы на глазах у старика. Спустя несколько минут он рассказал, что накануне побывал на той улице и в том дворе, где прошло его детство (я потом ходил туда; удивительно, но старый дом действительно сохранился), и что после этого «уже со вчерашнего дня ноет сердце». Он произнес это на иврите...

Я понял, что он просто решил побывать в конце жизни на родине и что вряд ли другие цели были для него важны. Да и были ли они?

В конце концов, самый большой «криминал», который был мною зафиксирован — это его вопрос, обращенный к моей матери: не хочет ли она ступить на землю предков? Да еще маленькая шестиконечная звезда, подаренная моей десятилетней дочке.

Может быть, в архиве «большого дома» на Совнаркомовской в Харькове сохранился мой «отчет» вместе с подпиской о неразглашении. Там есть все это.

Простите, простите меня ради бога.»

## **«Фриц Паулюс» (псевдоним) Аральск, Казахстан. 1964 год**

«Был расцвет волюнтаризма. Хрущевское целинно-кукурузное политбюро, чуть не приведшее страну к атомной катастрофе, вышло на свой последний виток власти, а в его утробе уже шевелилось, готовилось к появлению на свет и к первому властному крику стопроцентно партократное политбюро периода застоя.

А простые советские люди, несмотря на это, жили, кормили себя и огромный командно-административный аппарат, работали до изнеможения и — становились сексотами КГБ, а чаще жертвами доносов этих сексотов.

Попался в поле зрения КГБ и я и до сих пор не знаю, кому этим обязан. Может быть, «подвело», что вел тогда очень активную общественную деятельность? Брался за все, что мне предлагали: читал лекции на родительских собраниях, выступал с беседами в залах кинотеатров перед сеансами, вел курсы подготовки учителей немецкого языка и т.д.

У меня все получалось, и меня все знали, приглашая постоянно как хорошего специалиста по немецкому языку. Жил легко и весело, моими любимыми занятиями в свободное время были фотография, чтение и рыбалка.

Так было до тех пор, пока меня не пригласили сотрудничать с КГБ. Как это произошло?

Поздним вечером после педсовета в школе я, как всегда, спешил домой. Обычно я ходил пешком, но тут решил поехать на автобусе. Не успел выйти, как меня окликнули по имени-отчеству и настойчиво попросили пойти домой пешком. Мне это не понравилось, не понравился и колючий взгляд товарища, который меня остановил. Мог бы мне сказать об этом, когда я стоял на остановке. Я, повинувшись ему, вышел на следующей остановке. Когда мы остались одни, он представился. Из его документа, который сверкнул на слабо освещенной остановке как падающая звезда, я, конечно, ничего не понял, но фамилию схватил, так как у меня в классе был очень трудный ученик с такой же фамилией. Почему-то решил, что этот товарищ из милиции, и тут же сказал, что не хочу иметь отношений с милицией в личном плане. Шли мы домой, как я обычно хожу, очень

быстро, расстались на углу проспекта, но новую встречу он успел мне назначить: пединститут, первый этаж, кабинет секретаря парторганизации.

Ночь прошла сравнительно спокойно, так как до меня толком не дошла вся опасность нависшей надо мной беды, но все-таки долго не мог уснуть. Жаль, думал я, нет рядом со мной отца, прошедшего десять лет сталинских лагерей... Лежал, глядел в потолок низенькой комнатки, которую мы снимали за 200 рублей. Что нужно от меня этому типу?

На другой день ровно в 10 утра я дернул ручку двери указанной мне комнаты, вошел, удостоился рукопожатия и приглашения сесть за большой письменный стол напротив хозяина кабинета, предусмотрительно закрывшего за мной дверь на ключ. Меня это, конечно, сразу же насторожило. И насторожило другое: а не вмонтированы ли в этот стол магнитофон? И потому я сел у входа, на крайний — в длинном вдоль стены ряду — стул. Никакие уговоры хозяина кабинета пересесть ближе не помогли. Усилила мое волнение и моя биография, тщательно выученная и до мелочи рассказанная мне моим собеседником, «забывшим» только, что мой отец отсидел 10 лет в лагерях, а я сам, как сын «врага народа», отбыл на спецпоселение. Для моего собеседника эти два факта были из разряда невыгодных, но разве каторга и рабство забываются? Когда же я сам напомнил их, он сделал вид, что не знает об этом, но его тут же выдали заученная фраза: «Сын за отца не отвечает, тем более что ваш отец реабилитирован».

Этот момент в нашей беседе был решающим — дальше я уже ничему не верил: ни квартире, которая мне светит, согласись я сотрудничать с КГБ, ни продвижению по службе, ни повышению воинского звания (тогда я был лейтенантом запаса), ни ожидающим меня привилегиям — ничему! А когда «товарищ» изложил суть моего первого «задания», я чуть ли вообще не сорвался. Оказывается, мне поручалось войти в доверие к учителю немецкого языка А. Штыреву (он закончил Ленинградский институт иностранных языков и работал на кафедре немецкого языка местного пединститута). В доверие и не нужно было входить: я и так хорошо знал его, и мы часто встречались. Я его уважал за человечность, неординарность мышления, за безупречное знание языков и, главное, за умение его свободно болтать со мной на родном для меня немецком языке...

Но «товарищ», как ни в чем не бывало, начал уточнять суть «задания»: в разговорах со Штыревым мне нужно было наводить его на желаемые для КГБ темы, располагать его к откровенности, а затем письменно сообщать о чем говорилось в органы.

Я встал и потребовал открыть дверь и выпустить меня, сказав, что считаю такое «доверие» оскорбительным для себя и унижающим мое достоинство и как человека, и как учителя. И закончил я словами: «Для того чтобы стать сексотом, не стоило учиться 15 лет! Это может делать каждый дурак! В детдоме это делали подонки, их избивали за это до полусмерти. Выпустите меня, или я начну кричать».

Он пытался успокоить меня, посоветовал подумать и через день-другой позвонить ему. И в заключение обязал меня никому об этой встрече не говорить, даже жене. И пригрозил, что все равно не оставит меня в покое. Уже выпуская меня, сказал, что если я проболтаюсь, то мне будет очень плохо.

И это была единственная и чистая правда из всего, что он мне рассказывал. Это я знал точно и очень давно из скупых рассказов отца, на воспоминания о которых против моей воли ушла вся следующая ночь.

Да, всю ночь, потому что воспоминания прошлого окутали меня.

1937 год. Маленький, щуплый, с испитым лицом работник НКВД сидит за сельсоветовским столом, а в конце стола примостился отец. Он работал завучем в школе, и энкавдешник добивался согласия отца на сотрудничество...

Я там, конечно, не присутствовал, но из рассказов отца мог восстановить любую самую маленькую подробность.

Страсти тогда накалились до того, что отец, выскочив на улицу, чуть не сбил торчавшего на крыльце председателя сельсовета.

Все это отец рассказал своему брату дяде Карлу — главному бухгалтеру колхоза и его жене тете Марии, передовой трактористке МТС. Дядя Карл сказал, что и ему предлагали — тот же тип — стать сексотом. Тетя Мария посоветовала поколотить этого негодяя и отвадить его от поселка. Братья молчали... «Когда у вас следующее свидание?..» — спросила тетя Мария. «В клубе... Послезавтра...» — ответил отец.

Задание, которое НКВД пытался дать моему отцу и его брату, заключалось в том, чтобы «вывести на чистую воду» председателя

колхоза и директора школы, которые якобы занимались вредительством и антисоветской пропагандой.

До начала следующей встречи тетя Мария и ее напарница, такая же отчаянная женщина, спрятались в клубе, бывшей сельской церкви. Они вооружились монтировками и бутылками с керосином. И когда беседа была в самом разгаре, женщины — рослые и сильные, в комбинезонах, с монтировками и бутылками в руках — появились в комнате, в которой сидели отец и энкавэдешник. Отца выгнали, а ему сказали: «Слушай, выродок! Мы были за стенкой и все слышали. Если ты еще раз придешь к братьям Паулюс, то мы тебе этими монтировками раскроем череп, обольем тебя керосином, сожжем и запашем».

После этого они взяли побледневшего и дурно пахнущего энкавэдешника за руки и за ноги, вытащили на крыльцо и выкинули во двор.

Мое «ночное кино» кончилось... По рассказам отца знаю, что энкавэдешник в селе больше не появлялся. Но братья Паулюс позже, во время войны, в трудармии все-таки попали под жернова НКВД. Дядя Карл превратился в лагерную пыль, а отец каким-то чудом выжил...

К утру у меня созрело одно-единственное решение — отказаться.

Но учителя Штырева я стал если не избегать, то, по возможности, обходить стороной. И странно, он, который раньше души во мне не чаял, болтал со мной по-немецки о самом разном, тоже как-то потускнел. Иногда мне даже казалось, что он знает о моем задании и боится меня. А потом его вообще перевели в сельскую школу, и встречаться мы стали очень редко.

Время шло, КГБ оставил меня в покое, по крайней мере мне стало так казаться. И все начало забываться. Но когда мы с женой как-то вечером, гуляя с детьми, присели отдохнуть на скамейке, я неожиданно сделал открытие: в том же скверике напротив нас уселись и тут же ушли двое мужчин в штатском. Одним из них был мой «старый друг». Жена знала об этой истории, и я незаметно обратил ее внимание на уходящих. И она тут же почти вслух выпалила: «Так я его знаю! Этот тип несколько раз приставал ко мне, когда я поздно возвращалась домой. Вот наглец!»

Года три назад мы как-то повстречались со Штыревым, разговорились и, опьяненные гласностью и духом перестройки, «расколо-

лись» и выдали друг другу «государственную тайну». Выслушав мою исповедь, коллега рассмеялся и сообщил мне, что в то же самое время тот же гзбешник пытался завербовать и его. Он должен был собрать материалы... на меня.

Стало тихо, как в космосе. Потом мы обнялись как братья...

Сколько радостей и простых человеческих волнений лишил нас этот советский инквизитор!

Александр Иванович Штырев был уже тяжело болен, ушел на шестидесятирублевую пенсию, стал верующим. Мы сели на скамейке и долго-долго беседовали. Нам теперь нечего было бояться. По крайней мере ему (я их еще побаиваюсь).

— За что вас преследовали? — наконец спросил меня мой коллега.

Я молчал. Я до сих пор не знаю, за что. Может быть, за отца? Александр Иванович долго молчал, а потом спросил: «А знаете, за что меня?»

Оказывается, что когда он еще был студентом, то попал в сочувствующие «венгерскому путчу». И оттуда, из Ленинграда, из его юности потянулась за ним эта нить. И он всю жизнь боялся, что эта нить перехватит его и задушит.

Кто и чем измерит, сколько крови испортила, пронзила все его существо эта проклятая нить? А ведь сколько людей в стране были на нее нанизаны! Сколько пылких мечтателей, фантазеров, талантов и будущих светил заглохли как сухофрукты, пронизанные этой нитью! Сколько людей уничтожил и придавил страх перед драконом!»

## ***А. Головин, актер***

### ***Москва. Шестидесятые годы***

«Слово «осведомитель» я впервые услышал в пятилетнем возрасте в день, когда из Ленинграда прибыл гроб с телом Кирова. Сказанное моей матерью, оно относилось к нашему дворнику Хомутову. Он был окружен ореолом таинственности и даже зависти, и я замечал, как при встрече с ним жильцы почтительно здоровались и спрашивались о здоровье. В тот день Хомутов тщательно запер ворота, выходящие на площадь трех вокзалов, куда выносили гроб с телом убитого Кирова. Было запрещено выходить на балконы и открывать окна.

Но тогда я, конечно, не мог предположить, что через два с небольшим десятка лет сам окажусь в дьявольском капкане осведомительства и буду шутить с горькой усмешкой, что достиг «Хомутовского уровня».

Я был актером МХАТа с 1955 по 1960 год. Однако путь мой к заветным подмосткам был далеко не легким. По окончании в 1951 году студии имени В.И. Немировича-Данченко меня рекомендовали во МХАТ. Но в результате проверки моих анкетных данных соответствующим отделом ГБ мне было отказано, «Видишь, какая всешки неприятность получилась со МХАТом, — директор студии В.З. Радомыслинский проносил «всешки». — Почему же ты скрыл от нас при поступлении в студию, что у тебя арестована мать?» — «Так вы бы меня не приняли», — отвечал я. Директор студии задумчиво промолчал, потом утвердительно кивнул: «Всешки ты прав... Не приняли бы...»

Теперь же диплом с отличием об окончании студии МХАТа, подписанный О.Л. Книппер-Чеховой, лежал у меня в кармане, и мне было море по колено.

«Я вас обманул не только в этом, — признался я. — У меня еще и аттестат об окончании десятилетки был липовым.» «Это мы знали», — сказал директор.

Пожалуй, я поступил правильно, что и при поступлении в студию, и при приеме в комсомол скрыл арест матери. Мой однокурсник Ланговой кому-то проболтался, что отец был репрессирован. Его отчислили после первого курса за профнепригодность. Понятен и случай со мной. МХАТ был «режимным» театром, и присутствие там, где бывает правительство и сам Сталин, сына «врага народа» было, естественно, нежелательным.

Мою мать арестовали летом 1947 года, когда я сдавал экзамены за девятый класс. Влепили ей 13 лет лагерей. Необычный срок, не правда ли? Дали-то ей 10 по 58-й, но добавили за «нападение» на следователя. Фамилия его была Каптиков. Она швырнула ему в физиономию чернильницу — так возмутили ложь и несправедливость обвинения.

Вскоре после ареста матери «случайно» я познакомился с очень милой молодой женщиной. Звали ее Лиля Садовская. Стали встречаться. Но я молчал об аресте матери, так как был убежден, что это — ошибка. В чем она, простая медсестра, могла быть виноватой? Разве что рассказала анекдот? Затем мне стало известно, что

эта милая женщина встречается с моими товарищами по 9-му классу и интересуется моими настроениями. А еще позже я узнал, что Лиля — лейтенант госбезопасности. В школе уже знали, что я сын арестантки, и я решил не возвращаться туда. Выдержал экзамены в школу-студию МХАТ и достал липовый аттестат зрелости. Спустя год — летом 1948-го, добившись свидания с матерью, я пробыл сутки на территории лагеря в домике для свидания в далекой Ухте, в ОЛП 13. «Я виновата, и больше ты меня ни о чем не спрашивай», — отрезала мать. Тогда я не понимал, что своей умышленной ложью она как бы берегла меня — сдержала от взрыва возмущения, от хлопот по ее освобождению. При моей вспыльчивости и прямоте я мог бы угодить вслед за ней.

Конечно, мне было обидно, что не взяли во МХАТ, но вмешался Его Величество Случай, и в день рождения Сталина, 21 декабря 1951 года, я вышел на сцену Московского драматического театра им. К.С. Станиславского в премьерном спектакле «Юность вождя» в роли молодого Сталина. Хвалебные рецензии захлестнули столичную прессу. Появилась надежда как-то облегчить судьбу матери. Но спектакль просуществовал недолго. Сталин умер. Расстреляли Берию. Мать после девяти с половиной лет заключения освободили. «Ваша мама скоро будет с вами», — прощebetал по телефону женский голос из прокуратуры. Но это оказалось ложью. После досрочного освобождения ей приписали «минус сто», и она была вынуждена снять угол в Можайске: власти делали все, чтобы уменьшить поток бывших зеков в столицу. «Согласится ли чукча жить в Узбекистане? Я москвич и хочу вернуться на свою жилплощадь», — заявил на приеме у Полянского бывший зек Пельтцер, брат известной актрисы. «У нас страна большая. Выбирайте любой город». И Пельтцер осел в Челябинске.

Мне все же удалось добиться возвращения матери в Москву после того, как Верховный суд СССР выдал ей справку, что постановление Особого совещания отменено и дело производством прекращено в связи с недоказанностью обвинения.

К этому времени мною в театре было сыграно немало различных образов начиная с Грибоедова и кончая Треплевым, и меня снова пригласили во МХАТ. «Роль Сталина невелика, но очень значительна, — внушал мне автор «Кремлевских курантов» Николай Погодин. — Сталин неотъемлемая часть нашей истории. Он появляет-

ся в момент кульминации пьесы. Всем ходом спектакля готовится его появление. Поэтому разговор с инженером Забелиным очень важен».

МХАТ готовил «Кремлевские куранты» к XX съезду КПСС.

Однако мое ощущение образа Сталина к этому времени было уже иным. Я задумал показать затаившегося кровавого тирана, хотя и скрывавшего, пока жив Ленин, свое подлинное лицо. Б.Н. Ливанов, игравший инженера Забелина, понял мой замысел и сам обыгрывал мое появление: цепенел, глаза наполнялись скрытым ужасом, он растерянно отводил и прятал свой взгляд.

Умерший вождь пока еще покоился рядом с Лениным в Мавзолее, и зритель мое появление на сцене встречал аплодисментами.

Близился спектакль, на который должен был приехать Хрущев.

Неожиданно меня вызвал директор МХАТа А.В. Солодовников: «В следующем спектакле роли Сталина не будет», — сказал он. «Как не будет?» — удивился я. «Не будет совсем», — сказал директор. «Что, я плохо играю?» — «Нет, все гораздо сложнее, дело, по-видимому, совсем в другом», — уклончиво ответил директор.

Так Сталин исчез из спектакля навсегда, а вместо него возник эксперт Глаголев, произносивший почти тот же текст.

А вскоре стало известно, что на закрытом заседании XX съезда Хрущев разоблачил и осудил культ личности Сталина. «Не того вождя сыграл, — шутил Ливанов. — Ничего, тебе всего четверть века — у тебя все еще впереди».

В эти дни как-то вечером раздался телефонный звонок. Вкрадчивый голос попросил о встрече: «Это крайне необходимо... Лучше всего где-нибудь в безлюдном месте, ну хотя бы в одной из комнат Колонного зала. Днем там обычно пусто. Близким о моем звонке говорить не надо...»

«Левый» концерт хотят предложить? А может, съемки в кино?» — размышлял я.

Таинственность. Загадка. Интересно.

На следующий день, отыскав указанный номер комнаты, я постучал. Тишина. Открыл дверь. Никого. Я вошел, сел на стул, огляделся. Минуты через три вошел человек и кивнул мне, как старому знакомому. Я же видел его впервые. Низкорослый. Короткие ножки. Круглое одутловатое лицо. Пристальные свиные глазки. «Здравствуйте,» — полуженским голосом произнес он, снимая темную

шляпу и плащ. Завязался разговор о театре, о моей работе... «Вы должны нам помочь», — более определенно произнес незнакомец и положил передо мной удостоверение майора госбезопасности. «Александр Тимофеевич Буланов», прочитал я. «Нам очень нужна ваша помощь. Надо посмотреть...

Сведения самые незначительные... Что в театре...»

«Что в театре? — облегченно вздохнул я, — это пожалуйста... В театре у нас...»

«Не сейчас, — улыбнулся и жестом остановил меня майор. — Как-нибудь в другой раз. Я вам позвоню...»

«Но у меня концерты, радио...» — пробормотал я, считая, что мы больше не встретимся...

«Это не займет у вас много времени. О нашей встрече никому не рассказывайте, даже матери...»

Через неделю состоялась новая встреча, там же. А затем — на конспиративной квартире на Пушкинской площади, в доме, где сейчас редакция «Московских новостей». В театре же по предложению секретаря партбюро МХАТа меня неожиданно избрали секретарем комсомольской организации.

Майор Буланов, несмотря на хрущевскую оттепель, обладал хваткой сталинских времен: «Все остается по-старому... Надо посмотреть... Мы должны знать все. Про всех...»

Мне уже была дана кличка, которой я должен был подписывать свои доносы. Стало ясно, что прежняя система сохранялась, и это рождало во мне страх и чувство бессилия. Что я мог? Плюнуть в лицо майору и крикнуть: «Ваше ведомство искалечило жизнь моей семье! Сделало инвалидом мою мать! И за это я должен вам служить?!» Или: «Ваши предшественники в год «великого перелома» на 9 месяцев «по ошибке» бросили в тюрьму моего деда. Кто-то донес, что видел его до революции в форме жандармского офицера, а инженеры-путейцы носили фуражку с кокардой и шинели с лычками. И он, получив двустороннее воспаление легких, скончался. И за это я должен любить вас?!»

Но я ничего этого не крикнул. Испугался. Актера МХАТа Н.И. Дорохина вербовали еще во время войны и уговаривали стать осведомителем. Он отказался. Но это Дорохин, известный киноактер, заслуженный артист РСФСР. А кто я? Песчинка, на которую дунут, и никто не заметит ее исчезновения.

«Пора бы в партию, — доброжелательно улыбался парторг МХАТа Сапетов. — Рекомендации дадут, я уже говорил с товарищами». Но я уклонялся, ссылаясь, что «еще не дорос».

В перерывах репетиции «Беспокойной старости», где я играл Бочарова, ко мне стал подходить актер Коркин (фамилия изменена), интересовался моей жизнью, предлагал вместе, ни с того ни с сего, писать пьесу. Выглядело это грубо и примитивно, и я сразу же понял, что это работа майора Буланова, — нужны были сведения обо мне.

В процессе наших встреч майор расширял задачи, которые ставила передо мной госбезопасность в отношении деятелей театра: пролезть в мозги, знать настроения и мысли. «Дай список всех твоих друзей и знакомых», — требовал майор. «Всех студийцев разматало по городам, — уклонялся я от ответа, — а новых друзей у меня нет». «Присмотрись к артисту Касперовичу. Надо посмотреть... Он крутится возле иностранцев. Напиши на него характеристику», — потребовал он первый письменный документ.

Я понимал, что, оказавшись в дьявольском капкане, становлюсь нитью огромной паутины, которая опутала все наше искусство, все наше общество, всю нашу страну, всю нашу жизнь. Меня уже не просили — от меня требовали «работы» и сам майор Буланов, и те невидимые, кто стоял за ним. И у меня созрело единственно возможное тогда решение.

В столовой, которая размещалась раньше под студией МХАТа, к моему столику подсел Олег Ефремов — в то время актер Центрального детского театра. Я был двумя курсами младше и видел все его студийные работы. Показывал ему своего «Челкаша». Ефремов тогда задумывал создать свой театр: «Директор студии дает большой зал. Будем репетировать ночами. Хочу начать с пьесы Розова «Вечно живые». Соглашайся...»

Я тяжело вздохнул. Ефремов ждал ответа, а во мне бродил страх. Создать вместе молодежный театр — не об этом ли я мечтал еще в юности? Но проклятая паутина потянется за мной и туда, и в любой другой театр. Нет, нет, они меня не оставят в покое.

«Прости, Олег, я по ночам репетировать не могу — здоровье не позволяет», — отказался я.

И мы расстались.

А вскоре я подал заявление об уходе из МХАТа и покинул театр навсегда. Год был без работы, перебивался случайными заработками, но сеть дьявольской паутины удалось оборвать.

Многие удивлялись, почему я, столь удачно начавший жизнь в театре, ушел. Но что я мог им ответить?

Впрочем, обо мне не забыли. Когда я работал в Москонцерте, возникли трудности при оформлении гастролей за границей. Оказывается, «вычислили», что я могу стать невозвращенцем. А как же иначе? Мать несправедливо отсидела 9 лет, я сам уволился из театра и уклонился от связей с органами. Что, мол, у него на душе? Должен сбежать... Тогда уже появились невозвращенцы, и госбезопасность бросилась на поиски потенциальных предателей родины. «Смотрите, если сбежит! На вашу ответственность!» — предупредил КГБ тех, кто меня посылал. Об этом я узнал, вернувшись из поездки.

Бдительное око КГБ я ощущал постоянно: и в прослушивании телефона, а иногда и в слежке — искали связь с диссидентами, и в отказе от турпоездки на Запад.

В то время в Москонцерте во всю действовал загранотдел — фактически филиал КГБ. Периодически меняющиеся начальники этого отдела были работниками КГБ, вышедшими на пенсию. Ими и партбюро создавались выездные комиссии из своих людей. Особенно их заботил моральный облик артиста. Но сами начальники были вымогателями, взяточниками, а некоторые, продолжая традиции Берии, использовали служебные кабинеты для обслуживания собственной плоти.

Неутверждение характеристики вызывало тяжелые душевные и нервные травмы, смертные случаи. Сердечный приступ перенес и я, когда мне отказали в поездке в США по приглашению от частного лица. А оправдание было одно: такая система, такое время. Ложь, одним словом.

Большинство, пусть молча, отвергало такую форму существования. Люди навсегда уходили из Москонцерта, уезжали из страны. Эти же холуйски прислуживали в надежде извлечь выгоду для себя. И извлекали.

Так кто же виновен в отравлении нравственной экологии страны? В изломанных людских судьбах? Оказавшиеся в дьявольском капкане сексоты, осведомители, стукачи или же те, кто породил их?»

## **Б. Кривопапов, журналист**

### **Новокузнецк. Восьмидесятые годы**

«Впервые с НИМИ я встретился, когда по молодости лет, еще граничащей с мальчишеством, работал официантом в кафе провинциального городка. Тогда, по неопытности, влип в какую-то до сих пор непонятную мне историю, связанную с доверчивыми поляками, которые оказались чисто по-русски споеными и ограбленными двумя прохиндеями.

В тот вечер эта интернациональная компания гуляла у нас в кафе, и я их обслуживал. Потом что-то с ними случилось, и в кафе объявились через несколько дней два субчика в официальных сюртуках и в присутствии администратора начали задавать мне вопросы. Затем последовала серия перекрестных допросов, правда, уже в милиции. Ну а после у меня дома раздался телефонный звонок, и предельно вежливый мужской голос, — и не без дружеских ноток, вполне миролюбиво, а главное, интригующе — предложил встретиться. «Ну ты, конечно, понял, откуда я», — поведал незнакомец.

Я действительно понял. Мне было чертовски интересно, мальчишеское любопытство действовало на меня очень сильно. Я настоял встретиться у меня на квартире, он согласился. Перед назначенным часом я предупредил родителей о визите секретного гостя и, одержимый шпиономанией, а также для пущей важности спрятал под кресло диктофон. Именно так писалось в шпионских романах.

Моя вербовка проходила долго и нудно. Виталий, как я по-домашнему называл его, просвещал меня о деятельности разведки и контрразведки в других странах, сыпал иностранными именами прославленных разведчиков. А я развесив уши внимал словам майора КГБ и запивал всю эту галиматью сухим вином, которое в то время являлось обычным делом в дружеских компаниях.

Недолго думая, вернее, не очень-то задумываясь ни о своей будущей роли, ни о самой организации, коей являлся КГБ, я дал свое согласие на сотрудничество. Шел 1980 год, страна еще держалась в пике застоя, а мы — двадцатилетние и тщеславные юнцы — с завистью взирали на проносящиеся мимо черные «волги» партийно-государственной номенклатуры, на уютные особнячки госбезопасности в таких городах, как наш. Иметь отношение к структурам власти было престижно, к секретным — к тому же еще и романтично.

Через неделю мой новый знакомый объявился вновь, поправив меня, правда, что зовут его не Виталий, а Виталий Альбертович, подвинув меня тем самым к более серьезным отношениям. Он позвонил и предложил встретиться. Предупредил, что будет не один. Сказал, чтобы я ждал в фойе гостиницы «Новокузнецкая» (гостиница называлась по названию города, в котором все это и происходило) и следом за ним, соблюдая дистанцию и конспирацию, поднялся на этаж.

В точно назначенное время я был в гостинице, выполнил все установки шефа и вошел в гостиничный номер. Это был номер люкс. Майор представил мне своего компаньона. Фамилию я не запомнил, да и вряд ли была названа истинная — они это делали редко. Документа он не показал, обмолвившись лишь, что возглавляет какой-то важный отдел в КГБ, в котором работает Виталий Альбертович.

— Какие-нибудь просьбы ко мне есть?

— Есть, — обрадовано заявил я, предвкушая лавину привилегий. — Хочу работать в ресторане «Новокузнецкий».

Шеф отдела многозначительно глянул на Виталия Альбертовича, и тот быстро удалился в спальню, где, по всей видимости, находился телефон. Через две минуты он вернулся и сообщил, что меня дожидается директор гостиничного ресторана (этажом ниже). На этом встреча закончилась, и в тот же день я получил согласие директора самого престижного ресторана города принять меня.

Постепенно работа на КГБ становилась мне в тягость, хотя и не очень-то докучала. Денег за такую деятельность мне не платили. С майором госбезопасности мы встречались регулярно в номерах гостиниц. Он потихоньку натаскивал меня на доносную деятельность, подбрасывал какие-то наводящие факты и вопросы об окружающих меня людях, попутно выпрашивая все, что я мог о них знать. Но я не знал ничего его интересующего, потому что не видел в них ни иностранных шпионов, ни ярых ниспровергателей устоев социализма, отщепенцев или диссидентов. Это были самые обычные люди с типично социалистическими запросами в жизни и вполне коммунистическими убеждениями. Чувствуя, что я бесполезен шефу, я старался изо всех сил. Я умудрялся даже звонить ему домой ночью, когда заканчивал работать ресторан и местные шлюхи разбредались по номерам. В таких случаях Виталий Альбертович деликатно выпрашивал меня и сонным голосом говорил «спасибо»...

Он был почти таким же, как остальные: нашпигованный идеологемами правящей партии, подтрунивающий над престарелым и

впадавшим в маразм генсеком, любил вкусно поесть и хорошенько выпить. Просто ему повезло, он сумел забиться под сень КГБ и обрел все жизненные блага, которых явно не хватало на всех. Фанатом-большевиком он не был, как, впрочем, и иная номенклатура власть имущих.

Почему-то я постоянно нарушал конспирацию. Идя в гостиницу на встречу, обязательно останавливался, чтобы поздороваться с каждым знакомым, раскланивался с горничными на этажах. Виталий Альбертович не раз делал мне замечания, но я не принимал его правил игры. Я играл в собственные игрушки, но причислял себя к таинственной организации. Я был неисправим.

В тот год я поступил в Новокузнецкий пединститут, оставил ресторан. И Виталий Альбертович с величайшим удовольствием, как я понял, «передал» меня другому опекуну (по их терминологии — куратору), курирующему многочисленное студенчество и в особенности мой факультет иностранных языков. Такое внимание КГБ к студентам иняза объяснялось очень просто: мы имели информацию из-за «бугра», вернее, имели возможность понимать иностранные языки, и потому нуждались в особой опеке.

Со своим новым куратором, майором Евгением Владимировичем Филимоновым, я встречался уже в другой гостинице. Он оказался еще более скучным типом, басен из опыта мировых разведок не знал, ходил мрачный и нагонял на меня тоску, постоянно требуя информации. Но о тех студентах и преподавателях, с которыми я дружил, я не считал нужным его информировать, а о других — мне было просто недосуг докапываться.

Правда, я и сам был не вполне благонадежным. Каникулы я предпочитал проводить в столице или в Прибалтике, откуда возвращался со свободолобивыми мыслями, заражал ими других, вечно скандалил с деканом — ИХ ставленником. Он, в свою очередь, называл меня «аполитичной личностью» — это было для декана самым большим ругательством. В аполитизме он обвинял каждого, кто не признавал марксизм-ленинизм и при возможности старался слинять с лекций, а также тех, кто без замиранья взирал на многочисленные и неуклюжие портреты Ленина. Трижды меня пытались отчислить из института, но я всегда спасался за могучей спиной КГБ, за что им огромное спасибо, — в те годы каждый приспособливался, как мог. И на третьем курсе я со своей подружкой умудрился сорвать комсо-

мольскую встречу с французской безработной молодежью, от тоски путешествующей по странам социализма и приехавшей в наш город. Рассерженные комсомольские функционеры отправили в деканат озлобленную депешу о моем непатриотическом поведении, но ИМ удалось меня спасти. Я еще оставался их человеком.

Мне порою кажется, что я умудрился дойти до госэкзаменов в те зверские времена, да еще и диплом получить только из-за того, что всему белому свету (новокузнецкому) было известно о моих контактах с КГБ. Но, по-моему, эта организация тоже вздохнула свободно, когда я, окончив вуз, перебрался в Ленинград.

Напоследок Филимоновым было заявлено, что, как только я устроюсь, я должен прислать ему открытку со своим адресом. Текст может быть любым, самым невинным (например, поздравление с первым днем осени или с несуществующим днем рождения), главное — адрес.

В Ленинграде ОНИ меня вновь разыскали, и мы повели долгий и никчемный разговор о том, чем я могу быть полезным КГБ. Я работал в знаменитой «Астории» официантом, но ИМ требовалась информация о молодежных течениях, воззрениях, помыслах. Видимо, среди obsługi именитых иностранцев у НИХ был переизбыток кадров, а вот молодежь приходилось опекать, и очень сильно. Шел уже 1986 год, страна потихоньку сбрасывала с себя ложь и лицемерие, и ИМ был резон бояться отрезвления молодежи от профанации коммунизма. Расстались мы весьма прохладно.

А позже я был призван в армию и по телефону сообщил своему шефу, что искать меня надо в Главном штабе Сухопутных войск, в полуправлении. Он, в свою очередь, пообещал передать меня «новому опекуну», теперь уже в Москве. Но за все полтора года мною так никто и не поинтересовался. Видимо, я им надоел основательно.

Со временем моя связь с КГБ как-то забылась. Волна налетевшей гласности заставила меня многое пересмотреть как в истории страны, так и по отношению к этой некогда по-юношески обожаемой организации. Моя причастность к КГБ стала каким-то страшным сном, полузабытым и полусерьезным. Но одно не давало покоя — расписка о сотрудничестве.

Зная коварный характер Комитета, порою становилось страшно. Где и, главное, когда и для чего они могут использовать против меня собственное слово и мою личную подпись. Юридически неис-

кушенный, я и сейчас не могу представить меру ответственности за оглашение этой связи, которую считаю порочной.

И последнее. Доверчивому читателю несерьезный тон повествования может показаться очередной шуткой или формой беззаботности. Нет, это, конечно, не так. Взрослея, я многое понял и многое ощутил. И главное, я понял, что сотрудничество с Комитетом — это моя боль, мой позор и, как ни странно, совесть. Единственное, чем сам себя успокаиваю, — это то, что своей былой деятельностью я был бесполезен для КГБ.»

### ***Алексей Лукьянов*** ***Москва. Восьмидесятые***

«Сам я осведомителем не был, но предательство, считаю, совершил. Но все по порядку.

Ко времени поступления на журфак МГУ я уже знал, кто такие чекисты. Служил в армии — работал в клубе. Однажды в библиотеку пришел незнакомый капитан. Назвался сотрудником особого отдела. Предложил помогать ему. У нас была драка на межнациональной почве — спросил, что я о ней знаю. Это был далекий сейчас 1974 год. Я почувствовал в его предложении, несмотря на благость намерения, что-то противоречащее морали. О драке я знал только то, что знали все. Но отдал ему книгу Брежнева, в которой фотография генсека была наклеена вверх ногами. Во все последующие встречи старался заговаривать ему зубы. Скоро он отстал от меня, но я тогда понял, что людей из КГБ можно встретить где угодно.

Потом я вернулся домой. Стал студентом. Первые беззаботные дни в университете. Разговоры о Комитете происходили между нами очень часто. Кто-то сказал о повышенной слышимости в аудиториях, а вскоре меня дома ждал неожиданный визит.

У нашего очень демократического семейства (отец — шофер, мать — медсестра) имелся дальний родственник — полковник КГБ. Иногда он навещал нас. В тот раз я поговорил с ним вообще-то ни о чем, по-моему, о каком-то фильме. После его ухода подвыпивший отец сказал мне, что, по словам этого родственника, на факультете журналистики есть специальные розетки. Я сразу догадался, о чем он. Подслушивающее устройство состоит из микрофона, элемента

питания и антенны. И удобнее всего для устройства «жучка» — розетки. Нет, неспроста сказал о розетках дальний родственник.

Потом присмотрелся — розеток было понатыкано на самом деле немало. О том, что подслушивают, многие знали. Острили, поминали какого-то Петровича. Очень скоро я понял, кто это, — сотрудник КГБ на факультете журналистики, который сидел на первом этаже, под парадной лестницей, дверь в дверь напротив медпункта.

Это открытие меня почему-то ужаснуло. А еще больше то, что студенты были развращены не только знаниями о «жучках» и тем, что считали их присутствие на факультете нормой, но и прямым пособничеством органам.

Подслушивающие устройства не должны были работать вхолостую. Чтобы узнать мнение студента по тому или иному вопросу, надо было его спросить. Вот некоторые и задавали наводящие вопросы вблизи «жучков». И ответ уходил прямо в эфир.

С Петровичем были связаны многие преподаватели. Помню В.Ш. Я ходил на занятия в его экспериментальную группу, на которых он просил нас вести дневники. Сказал примерно так: «Пишите свободно, раскованно, искренне. Помните, что каждый человек — мир непостижимых проблем». И носил стопки дневников в комнату под лестницей.

Но что я все о других да о других... Пора и о себе. У меня был друг Боря, с которым я познакомился еще до армии. Он был хиппи, его не раз сажали в психушку. Он сильно интересовался литературой, что нас и сблизило. Я понял, что за Борей следят, и знал, почему. У Бори была знакомая, которая ему помогала делать ксероксы с Набокова и Солженицына. В самой радиофицированной аудитории я с приятелем разговорился о Боре. Сказал и о ксероксах, хотя никто не тянул меня за язык. Приятель неожиданно попросил повторить мой рассказ. Я догадался, зачем, но повторил. Почему? Да просто испугался. И когда вышел из аудитории, то понял, что совершил предательство. Боре я больше не звонил и не встречался — было стыдно. Стукачом я не был — просто лозинкой под колесами.»

## ***Н. Н., диссидент Москва. Восьмидесятые***

«Я решил написать вам. Хотя и считаю, что работа секретных служб — не забава для журналиста. Поэтому и не открою своего имени. Но в прошлом надо разобраться. Будем разбираться вместе, если хотите.

Прежде всего отмечу три момента, которые ослабят ваш интерес ко мне, и один момент, который его усилит. Мой случай не типичен для практики КГБ. Исповедуясь, я не собираюсь каяться. Я вновь поступил бы так же (одна моя техническая ошибка не в счет). Я прекратил свою связь с КГБ еще до перестройки. А вот что усилит Ваш интерес: я работал против диссидентов мировой известности. Это не считая многих других. Одиннадцать человек из них были арестованы.

Теперь история моей деятельности. В 14 лет я уже имел осознанные политические убеждения. Какие — писать не буду, чтобы не вызвать априорное отношение к ним и предрасположенности, обусловленной Вашими политическими пристрастиями. И постарайтесь не гадать о моих убеждениях. Скажу только, что был противником брежневского режима, считая его преступным. Никто не читал комсомольских пропагандистских брошюр, а мне они были очень интересны, я сравнивал то, что там было написано, с тем, что видел в жизни. Однако, кроме комсомола, не было больше поля для активности.

Параллельно я занимался общественными науками. Что, собственно, и помогло КГБ выйти на меня. Однажды задумал провести социологическое исследование методом включенного наблюдения. Результаты мне показались интересными. Я поделился ими в комитете комсомола и предложил выступить на научно-практической конференции. Меня возмущало, что профессора, читавшие доклады о борьбе идей, понятия не имеют о жизненных реалиях. Комсомольские функционеры ответили мне, что фактов, о которых я хочу сообщить, в советском обществе нет и быть не может. Но когда я вышел из комнаты, комсомольцы набрали номер известного телефона.

Вскоре мне позвонили, представились и пригласили в номер одной из гостиниц. Там меня встретил начальник отдела КГБ, его заместитель и один сотрудник. Мои социологические изыскания их очень заинтересовали. Они предложили встречаться регулярно, и я согласился. «Нажима обстоятельств» или давления не было. Была

оказана определенная помощь в решении некоторых моих проблем, но не более. Они действительно пытались помочь мне, но у них не получилось. Однако наше сотрудничество продолжалось. Мне выплачивалась небольшая сумма денег, которая уходила на транспортные и командировочные расходы. Так что ни принуждения, ни корысти в моем случае не было. По инструкции, действующей в КГБ, сотрудничество может быть только добровольным. Мне все же известно, что добровольность трактуется крайне расширительно и порой граничит с шантажом.

По правилам, я мог встречаться только с тремя сотрудниками КГБ: начальником отдела, его заместителем и офицером, находящимся со мной на связи. Но бывают перемещения кадров. В общей сложности я контактировал с пятнадцатью сотрудниками, наблюдая их работу, и потому могу судить о ней. Звания у них были — от лейтенанта, стажера Высшей школы КГБ, до генерала. Служебный уровень — от районного управления до центрального аппарата. Кстати, мне известно, что центральный аппарат причастен ко всем делам, выходящим за пределы одного региона. Все пятнадцать сотрудников были с высшим образованием, но интеллигентными из них были только двое.

Почему я согласился на сотрудничество? Работа эта нелегкая и непростая. Тем более что мое отношение к власти было негативным. Но дело в том, что мое отношение к тем, против кого я работал, было тоже негативным. Политическая истина конкретна, а политические силы, участвующие в борьбе, многообразны. Соглашаясь с одним политическим течением в оппозиции, можно решительно сопротивляться другому. Политических союзников выбирают не по моральным критериям, а по их силе. Это и освобождает от верности им. Так, сотрудничая с КГБ, я организовал втайне от Комитета несколько передач по западному радио, очень нужных мне передач. Моя задача состояла в том, чтобы расшевелить застой политической жизни. А сделать это можно было только нажимая на все клавиши — и черные, и белые. Рассчитывать на революцию снизу не приходилось. Мало у кого была возможность и выступать в печати. Надо было раскачивать власть, надо было воздействовать на зарождающиеся структуры оппозиции, изменять их в нужную, с моей точки зрения, сторону, нужно было рассчитывать на будущее. Мой способ для этого — фильтрация секретной информации для КГБ.

Оценить общий итог моей работы очень трудно. Получалась (почти по Энгельсу) некая равнодействующая разнонаправлен-

ных сил. Я заставлял двух своих противников — КГБ и диссидентов (но лишь одного политического направления) — воевать между собой. Думаю, что это больше раскачивало застой, чем укрепляло одного из них и популяризировало второго.

Мне можно бросить упрек, что люди страдали в лагерях. С легкостью от этого не отмахнешься. Но я не предавал тех, кого считали диссидентами. Я не считал их диссидентами, а потому я им не изменял. Я с ними боролся, пусть и недемократическими методами.

Сейчас принято прославлять диссидентов, рисуя их рыцарями чести. Раньше печать охаивала, дискредитировала их. И то и то — односторонность. Я преклоняюсь перед нравственным подвигом Сахарова. Но я знаю среди диссидентов и других людей. Я знаю общий фон околодиссидентской публики. К сожалению, это растленная богема. Были герои, но были и истероиды, спровоцированные властью на преждевременные выступления. Власть и оппозиция стоили друг друга. И если я самочинно взял на себя роль судьбы в этом деле, то только потому, что был уверен в своей правоте.

Мне можно возразить, что когда сторонник одной части оппозиции борется, посредством КГБ, с другой частью оппозиции, то ослабляется вся оппозиция и выигрывает КГБ. Так рассуждает тот, кто не знает политики. КГБ выигрывал в любом случае просто как более сильный партнер в игре. Но относительный выигрыш оставался и за силами прогресса. Ибо противоположная нам часть оппозиции была намного реакционнее КПСС.

Можно считать, что я сотрудничал с КГБ по убеждению, но убеждения не были элементарными. И я сейчас не считаю, что все силы — от «Памяти» до анархистов; от либералов до партии «Сталин»; от КПСС до НТС — должны пользоваться одинаковой свободой. Я также не считаю, что демократия дает гарантии от крайностей. В истории всякое бывало. Перестройка и демократизация были необходимы. Но истина остается конкретной. Что хуже: чтобы несколько десятков человек работало на свежем воздухе в лагере или чтобы тысяча человек была растерзана в межнациональной резне?

Политическими соображениями мои мотивы не исчерпывались. Разведка — это такая сфера, о которой мало что известно тому, кто с ней не соприкасается. Речь не о секретности — это самое простое. Разведка дает уникальный угол зрения на жизнь. Был бы на моем месте писатель или философ — он бы оценил это. Когда ведешь разведывательную ра-

боту, начинаешь понимать, сколь же ограничены возможности человеческого познания в самой простой жизненной ситуации. Люди не понимают последствий своего слова, жеста. В упор не видят мотивов собеседника. Поддаются на самые незамысловатые приемы. Почему-то считают, что собеседник может знать никак не больше их самих, видеть не дальше их. Люди образованные, с жизненным опытом, с репутацией хитрецов — внезапно открывают поразительно наивную, даже глуповатую сторону своей личности, когда попадают в поле зрения разведки. Это одинаково относится и к диссидентам, и к сотрудникам КГБ.

Какое же страшное оружие — разведка! Люди не способны к внутренней дисциплине, к целесообразности своей речи. Но проявляется это по-разному. Сотрудники КГБ — люди простоватые, даже примитивные (умный человек — самостоятелен, а значит — трудно предсказуем. Умных в КГБ не берут). Приняв тебя за своего, они не особенно скрытничают. Иначе у диссидентов. Их компания — не секретная служба, а просто общественная организация, диссидентская вольница. Она не смогла бы существовать, если бы они говорили между собой, что нужно непосредственно для дела. Говорят, это умели масоны. Но диссиденты это не умеют. В их компании стоит непрерывный и безответственный треп. Чем секретней секрет, тем чаще и громче они его рассказывают. Ерунду же они передают друг другу с большими предосторожностями. Их конспирация — скорее пышный ритуал посвящения, чем неукоснительное и скромное дело. Советский человек способен изощряться в интригах у себя на работе, но перед КГБ он как кролик перед удавом.

Интересно мне было сравнивать, о чем говорят между собой друг о друге диссиденты и сотрудники КГБ. Темы действительно различны. Сотрудники КГБ говорят о покупке мебельных гарнитуров, «мерседесов» (тогда это была большая редкость), о наличии пива в магазинах, об устройстве синекур для себя и своих знакомых. Диссиденты говорят о судьбе России. У них много метких наблюдений, остроумных замечаний. Но и желчи много, и фантазмов через край, много преувеличенных и несправедливых суждений. Дело все-таки не в оценке суждений, а в психологическом анализе личностей.

Наблюдая своих противников, я понимал: дорвись они до власти — плохо будет не только кагэбистам, плохо будет стране. Нетерпимости им у КГБ не занимать. Конечно, я сужу только по тем, кого я тогда знал. И только по худшим из них. Но ведь худшие и были во главе

групп. Нетерпимы и жестоки они были по отношению к своим соратникам. Так, в одной из групп они периодически устраивали аутодафе над одной жертвой. И все это сопровождалось слащавыми заверениями в дружбе. Такова, видимо, психология замкнутых экзальтированных групп. Бесы ведь были не только среди народников прошлого века.

Личная жизнь лидеров не отличалась чистотой, и брошюры под псевдонимами известных мне сотрудников КГБ — при всей их варварской тенденциозности — в этом случае против истины не грешили.

Дело, опять же, не в личных грехах, а в том, что за собой диссиденты ничего не замечали, считали себя эталоном человека. Я спрашивал себя: кто дальше от народа, сотрудники КГБ или диссиденты? Получалось, что диссиденты. Сотрудники КГБ по внутреннему облику не сильно отличались от членов парткома какого-нибудь завода или НИИ. Отвлеченным размышлениям они не поддавались, рассуждали банально. На политические темы почти не говорили. О диссидентах во внеслужебной обстановке не вспоминали. В служебной ситуации, говоря о них, называли фамильярно, по именам, но и грубили: «Мы им рога пообломаем!» Часто именовали их врагами. Это относится к оперативным работникам, следователи-процессуалисты более сухи и официальны. Сотрудники КГБ не любили милицию, чувствовали превосходство над собой работников партаппарата, сильно боялись ЦК КПСС. Вот почему мы и не имели государственного переворота.

Партаппарат отбирал для себя другие кадры и по-другому их воспитывал. Там гораздо больше чопорности, нарочитости и двусмысленности. В целом же у меня сложилось впечатление, что люди КГБ не раздумывая выполняют любой приказ сверху, и в этом отношении со сталинских времен ничего не изменилось. С сожалением замечу, что и многим простым людям не свойственно размышлять о нравственности данных им указаний. Правда, инструкции КГБ в мое время были по-брежневски гуманны: меня предупреждали не играть на чувствах тех, против кого я работаю, опасаться самоубийств. Метод провокации, как мне говорили, применяется лишь там, где речь идет об убийствах или терроре. Это были официальные указания. ЦК КПСС ставил задачу перед КГБ путем профилактики правонарушений избегать, по возможности, арестов. Однако я знаю случаи, когда перед обыском подкладывали компрометирующие материалы, а ни о каком терроре там речи не было. Знаю случаи, когда человека по указанию КГБ уволили с работы и посадили за тунеядство. Знаю слу-

чай, когда КГБ арестовывал людей, как бы выполняя данную кем-то количественную разрядку, так сказать, план по валу, а не персонально. Тогда даже со мной советовались, кого я считаю нужным посадить из данной команды. Но не больше такого-то числа. Своего твердого мнения у них в этих случаях, видимо, не было.

Хотя подразделения 5-го управления КГБ специализировались по определенным идеологическим течениям, меньше всего их сотрудники интересовались идеологией. Это им непонятно. Их интересовало: кто, где, когда встретился с иностранцем и что ему передал. Поэтому они и оказались не в силах предсказать развитие событий после отмены любимых ими статей Уголовного кодекса.

Эти люди — послушные орудия власти. Любой власти. Власть для них права уже потому, что она власть. Ее фактическое положение и есть доказательство ее правоты.

Самодетельности у них и раньше не наблюдалось, но в нынешний острый момент можно было, казалось, отдать дань своей старой идейной присяге. Перекрашиваются они мгновенно, только сейчас не знают, в какой цвет. А ведь совсем недавно тот же человек, который «устал» от официальных демонстраций, собирался во внеслужебном порядке пойти полюбоваться, как будут бить дубинками членов «Демократического союза». Правда, это был единственный случай внеслужебного интереса к неформалам.

Глупо звучит, что агентов сразу можно различить. На самом же деле все было наоборот. Агенты ни с кем не ссорятся, всем поддакивают, не выступают с инициативами, не добиваются лидерства. Не среди лидеров, а среди их ближайшего окружения КГБ вербует своих информаторов. Есть и еще забавный прием опознать сотрудника КГБ. Назначьте человеку встречу. Если он опоздает на полчаса — это диссидент. Если придет минута в минуту — это кадровый офицер КГБ. Вообще кадровых офицеров, внедренных в диссидентскую среду, опознать гораздо легче, чем завербованных КГБ бывших диссидентов. У них совершенно другое мышление, другая лексика, другой стиль общения. Только очень грубый взгляд может не замечать этого.

А вот изменник ничем не отличается от своей среды. Впрочем, тонкое различие есть. Дело в том, что устная речь людей по структуре отлична от письменной. В устной речи смысл передается еще и интонацией, паузой, мимикой. На письме это не передается. Если вас спросят, а вы промолчите в ответ, то ответ более-менее ясен, но запи-

сать это невозможно. Чтобы составить письменное донесение, собеседник должен добиться от вас ответа членораздельного. Вот это-то и делает секретный сотрудник. Но чаще они выдают себя грубыми ошибками. Например, приводят такие детали вашей биографии, о которых вы и сами не помните. Их может знать только тот, кого накануне ознакомили с вашим досье. Во всяком случае, я научился по заданному вопросу понимать, кто и для кого меня спрашивает. Это мне пригодилось потом, когда мои отношения с КГБ испортились.

Началось все с того, что мне предложили стать свидетелем на судебном процессе. Ничего особенного в предложении в общем-то не было. На всех подобных судах свидетелями обвинения против диссидентов выступали их же товарищи — диссиденты. А потом их друзья сажали уже их. Когда они выходили из лагеря, то дружба продолжалась. До следующего суда. Такова жизнь. Таковы эти люди.

Точно так же было и на этом суде. Целая очередь еще не посаженных свидетельствовала против того, чья очередь садиться, по мнению КГБ, уже подошла. Заартачился один я. Доносить на свободного человека я был готов. Я видел в этом соперничество с ним в уме, в силе духа; я видел в этом, если хотите, борьбу наших вер. Конспиратор против конспиратора — разве это не борьба на равных? Но добывать лежачего, расправляться с арестованным — нет! Пусть это делают его единомышленники! В этом тоже борьба наших вер.

КГБ это не понравилось, и меня решили сбавить другому отделу. Не будучи людьми идейными, а лишь конформистами, кагэбешники не сообразили, что у человека могут быть свои политические убеждения, которые не совпадут с профилем отдела. Привлечь меня к новой работе было то же самое, что поручить козлу стеречь капусту. Теперь уже единомышленниками для меня становились те, против кого я работал. Моя политическая позиция обусловила и моральную — предателем своих убеждений я стать не мог. Однако свое положение я использовал сполна. Как водится, все свои источники КГБ старается дублировать. Один агент, разумеется, другого не знает. Но не знать — не означает, что и не стараться узнать. Мне были известны косвенные признаки и указатели. Легко было убедиться, что данный человек не стукач. Гораздо труднее — выяснить, кто именно стукач. Но самое трудное — это установить, что список распознанных тобой стукачей исчерпывающий. (Конечно, только применительно к одному кругу лиц, к одной организации). Только это и дает гарантию.

Мне приятно, что я сумел это сделать. Я обезопасил себя вполне. Другим, правда, передать свои знания невозможно, так как потребуются для доказательства назвать источники своего знания. Учитывая обычную ненадежность людей, назвать источники знания — значит потерять этот источник. Все же я отводил для ряда людей возможность ареста, направлял слежку по ложному пути, давал дезинформацию.

Через некоторое время я, правда, почувствовал, что мое бывшее руководство проявляет ко мне тайный интерес. Со мной знакомились люди навязчивой откровенности, демонстративно недовольные Советской властью. Ну что ж, я знал, как надо поступать в подобных случаях. Я знал, чего боится КГБ больше всего, и поступил соответственно этому. Представляю, как выглядели вызванные на ковер полковники! После этого меня решили поугаать. Но это уже было вовсе несерьезно и неинтересно.

Как оценить уровень профессионализма сотрудников КГБ? Я бы сказал, что этот уровень очень низкий. Знаю примеры такого головотяпства, что диву даешься. И одновременно с этим их работа чрезвычайно эффективна. Секрет этой эффективности прост. Он объясняется духовной слабостью их противников и непропорционально массивным применением ими средств. Результат достигается не тонкостью методов, а чрезвычайно тонким нажимом. Никаких психологических изощренностей на допросах не применяется. Изощренность выдумывают диссиденты-мемуаристы. Просто подследственному говорят: либо ты даешь показания, либо мы накрутим тебе максимальный срок. Очень все просто, а действует почти безотказно.

Я не имел доступа к досье, но однажды мне все-таки досье на одного человека показали. С точки зрения профессии досье было абсурдным: в нем преимущественно содержалась грязная ложь. В работе такое досье не помогает, но именно по его материалам начальство судит о диссиденте и о сотруднике, составлявшем досье. Прочитав такое досье, вопрос об аресте можно ставить без колебания, а составителя досье — похвалить за «принципиальный» подход. И все это при том, что у диссидентов достаточно реальных грехов и нет необходимости изобретать искусственные.

В оперативной работе тоже нет особых хитростей: скрытые микрофоны позволяют без хлопот узнать очень многое. О диссидентах КГБ знал практически все, во всяком случае все, что хотел знать. Длительное скрытое существование функционирующей подпольной организации в наше время невозможно. Раскрывается такая

организация чаще всего через свои связи, которые она стремится установить с другими (уже инфильтрированными КГБ) организациями. А вот одиночка имеет все шансы не быть раскрытым.

И все-таки главное оружие КГБ — человеческие слабости, незнание человеком самого себя. Я часто поражался, насколько же люди сами себя не знают. Человек, занимающийся подпольной деятельностью, много раз продумывает то, что его ожидает. Он считает себя морально готовым к тюрьме, к допросу, к тому, чтобы проявить стойкость. Когда он узнает, что кто-то из его знакомых дал на допросе показания, он возмущается, с глубоким чувством заявляет, что он бы так не поступил. Но приходит его час, и он ведет себя еще более низко. Значит, люди полны иллюзий о самих себе, о морально-волевых качествах своей личности. Надо ли понимать это так, что никто не устоит? Нет, конечно. Но лишь исключительные люди доподлинно знают себя.

Иногда на допросе человек пытается обмануть КГБ. Рассчитывает он на то, что он умнее следователя. Я охотно допускаю, что это так и в обычной обстановке диссидент умнее следователя КГБ. Но в данном случае он обманывает самого себя. Он не учитывает воздействия эмоционального стресса на свой интеллект. Резкое снижение интеллекта в условиях ареста, допроса человеком совершенно не замечается. А со стороны это очень бросается в глаза. Поэтому единственный метод поведения на допросах — это отказ от дачи показаний, категорический отказ от общения со следователем.

Теперь немного о сексотах. За свою практику я распознал примерно десять человек. Это очень разная публика. И мотивы их, видимо, различны. Псевдоидейные, а точнее сказать — служебные мотивы есть только у кадровых офицеров, находящихся на агентурной работе. В зависимости от широты кругозора и характера, смысл собственной работы более или менее осознается ими. Не надо думать, что их идеей был коммунизм или патриотизм. Скорее — власть и корпоративная солидарность друг с другом. Часто КГБ принимает на работу старшекурсников вузов. И пока еще они заканчивают учебу, им поручают в качестве стажировки покрутиться в диссидентской среде.

Что же касается завербованных, внештатных сексотов, то я представляю себе мотивы только двух из них. Один полуписатель-полууголовник, он поддался на наивный обман, когда КГБ пригрозил посадить пожизненно в психушку его друга графомана, которого он считал гением. Он был склонен попадать под чужое влияние и, несмотря на свое негативное отношение к существующей власти, совершенно ис-

кренне воспринял от КГБ философию «Плетью обуха не перешибешь!» Другой — его полная противоположность. Парень из простой семьи, но с сильным и (живым умом, с хорошим образованием и сложной биографией). (Реальность он представлял себе очень ясно, но руководствовался философией Гегеля: «Все действительное — разумно»).

Я лично не считал КГБ верхом разумности. Учреждение это весьма тупое. Однако ему не откажешь в действенности. Это реальность нашего времени. Дело личного выбора, держаться ли от этой реальности подальше, принять ли принцип «неделания» или же взять на себя ответственность за все происходящее при твоей жизни.

То, что я написал, — это, конечно, лишь некоторые знания. Но я уверен, что эти знания практически бесполезные. Независимо от газетных статей люди поступают так, как они поступают. Сомневаюсь, удастся ли Вам «уберечь будущее», но сделать его более знающим стоит. Хотя совет ценен для того, кто советует, а не для того, кому советуют. Но думаю, что истина имеет некоторый смысл сама по себе, и потому должна быть высказана.

Что же я могу ответить на Ваш призыв исповедоваться? О своих отношениях с КГБ я рассказал. Выводы я сделаю не такие, каких Вы ждете. Призыв к покаянию я отвергаю. Методы секретных служб не могут быть невинными, потому они и секретные. Секретная работа принадлежит не моральной, а политической оценке. На смену одному КГБ пришло множество таких же КГБ, принадлежащих разным республикам и партиям. Неужели Вы думаете, что они захотят уступить в методах и средствах своим соперникам? Этого не случится. Я знаю что говорю, так как знаю лидеров партий. Партия, уступившая в средствах, проиграет. В отличие от западных стран у нас нет политического центра. Политические структуры поляризованы, и велика опасность столкновений. В России же не было народной революции. В борьбе институтов роль секретных служб весьма велика. Призывом к покаянию с тайной полицией не справиться.

Иллюзий у меня нет. Но Вы просили написать правду, и я ее написал.»

Сначала мне хотелось прокомментировать это письмо, но думал, думал, а что, в принципе, комментировать? Чужую жизнь? Другие убеждения?

Эта исповедь — еще один штрих, который характеризует наш странный и жестокий век.

## Часть вторая

### СУДЬБЫ

Однажды я сидел перед столом, заваленным письмами-исповедями. Работа с ними шла к концу. Книга складывалась. И все-таки я чувствовал, что чего-то в ней не хватает. Потом понял: недостает фактов из моей собственной жизни. Жизни журналиста, депутата Верховного Совета СССР, затем Государственной Думы России.

Сейчас мы слепили мозаику из воспоминаний секретных агентов. Кое-где я добавлял свой комментарий. Но ведь были еще и журналистские расследования, которыми я занимался, особенно в «Литературке» и «Новой газете». Они сводили меня с интереснейшими людьми, сталкивали с судьбами, щедро затронутыми ЗОНОЙ.

Думаю, это по теме. И это — интересно.

## **ПОРТРЕТЫ НА ФОНЕ ПЕЙЗАЖА: ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА «МАЛОЙ ЗЕМЛИ»**

Для меня эта история началась со случайной встречи.

Не окажись я в то утро в редакции, не пробился бы ко мне этот парень сквозь самое мощное, какое только можно придумать, оцепление — редакционных бабушек-вахтеров, готовых лечь даже перед танковым взводом Кантемировской дивизии. Не поверь я, наконец, в фантастическую историю, которую мне тогда пришлось услышать, сидя с этим парнем в редакционном буфете (а шанс на то, что я мог принять его за очередного сумасшедшего, которые, как птицы на постой, слетались обычно в редакции осенью и весной, то есть в период обычного обострения болезни, был велик, ох как велик!), — не ввязался бы я в это дело.

И тогда не поднял бы среди ночи своего товарища, киевского корреспондента «Литературной газеты» Сергея Киселева, не пришлось бы нам пережить с ним вместе череду замечательных приключений, не прятались бы мы с ним в глубине Карпат, не заметали бы как зайцы следы, то покупая, то сдавая билеты на разные рейсы в разные города. А еще не сидели бы целую ночь в его киевском корпункте, торопясь на бумаге зафиксировать то, что увидели и услышали, и до сих пор, наконец, не мучились бы над простеньким вопросом: как же ОНИ сумели проникнуть потом, уже в Москве, в гостиничный номер Сергея и заменить кассету.

То есть не случись той утренней нашей встречи, и жизнь лишилась бы одной своей частички, так необходимой для познания происходившего и происходящего.

Статья «Последняя жертва «Малой земли» в свое время наделала некоторый шум.

В своем архиве я нашел ее оригинал, и самое любопытное в нем — те вычеркивания редакционных начальников, в которых видно время. В этом времени многое уже «можно», но еще осталось «нельзя».

То есть шел 1990 год...

Ну ладно, к сути происшедшего с Виктором.

Итак, повторяю, шел 90-й, со всеми присущими тому году реалиями. Вернее, что существенно для этого повествования, год только начинался и пока еще никто не предполагал, как все может измениться после августа того же года.

А статья начиналась так:

«По московским приемным ходит парень. С Пушкинской улицы, из Прокуратуры СССР — на ул. Дзержинского, в КГБ, с проспекта Калинина, то есть из приемной Верховного Совета СССР, на Старую площадь, в ЦК КПСС... Один круг, второй, третий...

Подозреваем, что, увидев его, вновь, как от зубной боли, взывают хозяева кабинетов: «Опять ты! Но мы же тебе все объяснили! Чего же ты еще хочешь!»

Но парень все ходит и ходит, чувствуя себя как в чужом городе, как в чужой стране: кто-то идет следом? или показалось? что так пристально смотрит прохожий? или он смотрит мимо?

Уже полтора года тридцатилетний Виктор Идзьо живет в Москве, грубо нарушая паспортный режим. И если есть форма протеста в виде забастовки или голодовки, то он выбрал себе бездомье, решив, что, пока справедливость не будет восстановлена, домой, в Ивано-Франковск, он не вернется...

А как же все началось?

Пытаемся восстановить хронологию.

... Днем 13 августа 1986 года к отцу Виктора приехали с обыском, поводом для которого послужило анонимное заявление: в доме хранится ворованный технический спирт.

Спирт не нашли, но неожиданно из-под шкафа был извлечен пистолет марки «ТТ» и две обоймы к нему с шестью патронами.

Сотрудники милиции, решив на месте, что оружие не могло принадлежать ни отцу Виктора, ни его младшему брату, ни тем более матери, задержали Виктора, и тот уже к вечеру оказался в тюремной камере.

Следствие велось семь месяцев, из них четыре Идзьо находился под стражей, дважды суд направлял дело на следствие, трижды менялись следователи, пока, наконец, в марте 1987 года дело не прекратили за недоказанностью вины Виктора, и вслед за этим ему была выплачена денежная компенсация за незаконный арест. Больше того! Не остались безответными и обра-

щения самого Виктора в областные, республиканские и центральные органы власти.

В июне 1987 года заместитель прокурора Ивано-Франковской области сообщил ему: «За допущенные в процессе расследования нарушения, связанные с арестом и привлечением Вас к уголовной ответственности, к следователям Тысменицкого РОВД и прокурору района приняты меры реагирования».

В апреле 88-го прокурор Украинской ССР написал ему: «За необоснованное привлечение Вас к уголовной ответственности работники органов внутренних дел и прокуратуры привлечены к строгой дисциплинарной ответственности». А в феврале 89-го уже заместитель Генерального прокурора СССР уведомил его, что «к лицам, виновным в допущении нарушений, приняты меры».

Наконец, уже в июле 90-го года заместитель генерального прокурора подробно отчитался секретариату Верховного Совета о мерах, принятых в отношении лиц, виновных в незаконном аресте Виктора.

Помним, когда мы с Сергеем Киселевым просматривали кипу официальных ответов, то еще поразились настойчивости этого парня: до таких вершин власти дойти! Скольким людям судьбы поломать! И ведь нашли-то у него, в конце концов, не «стреляющего словом» Солженицына, а настоящий пистолет с патронами, которым можно человека не морально изувечить, а физически. И просидел-то всего — подумаешь! — четыре месяца. Что за срок при наших упорно повторяющихся судебных и следственных ошибках! И дело-то прекратили не за отсутствием состава преступления, а по хлипкому поводу — за недоказанностью! Ведь если честно — почти уже начали сочувствовать тем, кто устало писал Виктору: «Вновь сообщаем...» или «По другим вопросам Вам ранее давались ответы и разъяснения».

И мы даже понимали: тем, кто проверял дело Виктора, было отчего устать.

Ведь четыре года он упорно доказывает, что милиция и прокуратура — лишь исполнители операции, рожденной совсем не в милиции или в прокуратуре, а в недрах КГБ. И потому его не могли убедить ни заверения высших прокурорских чинов страны, ни многочасовые беседы с ним в разных приемных, ни три, повторяем, три (!) комиссии — две из КГБ Украины и одна из КГБ СССР, — которые с выездом, как у них говорят, «на место» проверяли доводы Виктора.

Более того! То ли от отчаяния, то ли от отчаянного озорства он подал на КГБ СССР заявление в суд.

Представляем себе изумление судей Дзержинского района Москвы, когда они получили заявление Идзьо! И опять — можно лишь поражаться настойчивости Виктора, когда с этим заявлением он дошел до Верховного суда России.

В январе 91-го начальник управления КГБ СССР написал ему: «Сообщаем, что служебное расследование, документальные материалы, предоставленные в ваше распоряжение органами прокуратуры, внутренних дел и другими организациями, а также беседы с названными Вами и другими лицами, располагающими необходимой информацией, убедительно свидетельствуют о непричастности органов КГБ к ущемлению Ваших законных прав и интересов».

Нет, нет и нет! — терпеливо, как ребенку, объясняли ему: КГБ не имеет отношения к увольнению вас с работы. Не КГБ, а милиция и прокуратура напортачили в вашем деле! Не подбрасывали мы вам пистолет! И уж тем более — не ведется за вами слежка на московских улицах! Очнитесь! Умойтесь холодной водой!

А он с таким же детским упорством твердил: да, да, да...

Вот что сам Виктор рассказал нам о том, что случилось 13 августа 1986 года:

«Утром я приехал из Одессы, побыл немного дома, в селе Угринове, мать попросила отвезти деду в Ивано-Франковск грибы. У деда я пробыл минут пятнадцать, когда раздался звонок в дверь. Дед открыл и сказал, что это ко мне... На пороге стояли трое. «Поедешь с нами», — сказал мне один из них.

«То есть, — уточняем мы, — тебя задержали не дома у родителей, а у деда?» — «Да... Я ничего не мог понять. На улице стояли две машины — «жигули» и «уазик». Двое работников милиции были в рубашках, а третий, показавший деду удостоверение КГБ, в пиджаке, хотя и было очень жарко. В машине я спросил, куда меня везут? Мне ответили: «Скоро сам все узнаешь».

Естественно, мы поинтересовались: «Тебе показали постановление об обыске и задержании?» — «Нет. Только когда мы подъехали к нашему сельсовету, мне сообщили, что есть анонимка, будто мой отец хранит дома спирт...» — «А ты-то при чем?» — «Я спросил то же самое... Когда приехали в село, они захватили двух понятых, председателя сельсовета и секретаря, и мы поехали в наш дом. Когда вошли в дом, они прочитали удивленным ро-

дителям анонимку и постановление об обыске, чтобы найти спирт (хотя мой отец не имеет никакого отношения к спирту — он работает таксистом). Но сразу же они начали искать спирт — на книжных полках... Они забрали несколько книг и мои стихи, а пока один человек прощупывал миноискателем стены, другой, тот самый, в пиджаке, вдруг обнаружил за шкафом пистолет». — «Миноискателем? — удивились мы. — Они что, приехали на обыск со спецтехникой?» — «Да... Когда тот, в пиджаке, вытащил из-под шкафа пистолет, мать начала кричать на него: она только что под шкафом убираала, и там не было никакого пистолета». — «А спирт-то нашли?» — «Нет. Да они его и не искали. Как только вынули пистолет, обыск был закончен». — «Но как они определили, что это твой пистолет? Может быть, его отец спрятал?» — «Спросите у них... Мне сказали, чтобы я взял еды на одни сутки, и увезли в тюрьму...»

Это — запись нашего с ним разговора в редакции. А вот что он написал, официально обращаясь в редакцию «Литгазеты»: «В камере номер 66 трижды судимый рецидивист под угрозой заточенной ложки и лезвия, которые он вытащил из каблука, выбил из меня «явку с повинной», сам ее куда-то отнес, и потом она была на суде единственным уличающим меня документом. Суд не поверил «явке», и был разыгран второй суд с ложными свидетелями... Однажды меня вызвал из камеры лейтенант — тюремный оперативник (личность его так и не установлена следствием), и предложил мне сотрудничать с КГБ, пообещав взамен, что поможет выбраться из тюрьмы. Когда я возвратился в камеру, там меня все дружно убеждали, что так и надо сделать... Я отказался и без каких бы то ни было причин попал в карцер на десять суток. Приходившие в карцер офицеры издевались надо мной. Один раз вечером меня завели в обитую войлоком комнату, где происходят всякие расправы над людьми, но бить не стали, хотя перед глазами маячили два здоровых детины... Потом по настоянию областного прокурора меня выпустили, взяв подписку о невыезде... Выйдя на свободу, я узнал, что слухи, распускаемые обо мне, превзошли все мои ожидания. Суть их сводилась к тому, что, оказывается, я был связан с американской и английской разведками, что у меня была изъята запрещенная литература, что накануне я ездил в Одессу на связь с резидентом, что у каких-то моих друзей изъяли радиостанцию, а лично у меня — доллары и семь штук американского оружия. Все это меня ошеломило, и я тут же

побежал в КГБ Ивано-Франковской области. Там меня принял сотрудник Егупов, который на мой вопрос, на каком основании органы КГБ распускают порочащие меня слухи, ответил так: «Советую тебе молчать, слухи утихнут, а КГБ твое дело прекратит».

Что за история? — подумал тогда я. Где Виктор Идзьо, выпускник исторического факультета Ивано-Франковского пединститута, человек, далекий от государственных тайн, и где мощная организация, призванная эти тайны охранять? Если допустить, что Виктор говорит правду, то могла ли быть такая правда в августе 86-го, ведь это уже не глухой «застой», а начало перестройки?

Трудно было поверить сразу же в истинность его истории, если бы не одно обстоятельство. Обыск проводили трое. Если фамилии двоих — начальника следственного отделения местной милиции и участкового — были внесены в протокол, то фамилия третьего, того, кто по его словам, был, несмотря на жару, в пиджаке, в протоколе отсутствовала.

Его исчезновение было неожиданно подтверждено и официальным документом, который показал мне Виктор:

«В процессе проверки Вашей жалобы принимались необходимые меры по установлению постороннего мужчины, присутствовавшего на обыске, который, в нарушение установленного законом порядка, не внесен в протокол. По объяснениям сотрудников Тысменицкого РОВД тт. Когута и Демича, проводивших обыск, им является практикант школы милиции или общественник, фамилия которого неизвестна. В уточняющих беседах с Вами, вашими родителями, бабушкой и дедушкой, сотрудниками милиции тт. Когутом и Демичем, а также понятыми тт. Вивчаренко и Рушаком, которые видели этого человека, получены противоречивые данные о нем, в том числе и о его внешности, в связи с чем установить его не представляется возможным».

Стоп-стоп, подумал я, прочитав этот, уникальный документ. Что это за фантом возник в доме Идзьо?

Нет, не так все просто в этой истории. Надо разбираться, а для этого — лететь туда, к месту действия...

Дело номер 45365 по обвинению Виктора в незаконном хранении оружия, вызвавшее столь большой шум, шквал проверок и реакцию высших в стране прокурорских чинов, уместилось всего лишь в один том — 366 страниц.

Сначала о том, что в деле есть. В протоколе обыска вслед за постановлением о поводе обыска: незаконно хранящемся техни-

ческом спирте, так и не найденном, и найденном пистолете — указаны главным образом предметы, упоминание которых далеко и от оружейных складов, и от процессов спиртоперегонки.

При обыске были обнаружены: украинская музыкальная энциклопедия, изданная в 30-е годы на Западной Украине, ежемесячник «Украинская музыка» на украинском, издававшаяся во Львове, за март-декабрь 1938 года, а также десяток переписанных от руки стихотворений. За первым протоколом обыска следует второй, проведенный вечером того же дня в Ивано-Франковске, в квартире, где живут бабушка и дедушка Идзьо. И если в квартире отца Виктора был найден пистолет, то что могла найти оперативная группа в квартире стариков? Естественно, гранату, правда, учебную. Прямо не семейка, а, учитывая место действия — Западная Украина, бандеровское подполье!

Нашли мы в деле и ту анонимку, с которой разгорелся весь сыр-бор. Удивило не только то, что в ней не указано, на чье имя она поступила, и не только то, что она напечатана на пишущей машинке (вот село какое! а могли бы и компьютер использовать!), но и то, что подобный клочок бумаги мог послужить сигналом к целой операции: обыск в двух домах, участие в обыске по такой ерунде начальника следственного отдела, применение спецсредств (дежурный по РОВД долго рылся в журнале выдачи спецсредств, да так и не смог найти, когда еще «на дело» брали миноискатель). Что еще? Еще появление (уже к концу следствия) нового свидетеля по фамилии Гора, который, по его словам, был случайным попутчиком Виктора в поезде, и тот ему, незнакомому человеку, похвастался пистолетом. Мы, конечно, не могли не поразиться умелым и оперативным действиям сотрудников милиции, разыскавших попутчика в поезде, тогда как они так и не смогли разыскать третьего, «стажера», участвовавшего в обыске и известного, как минимум, двум сотрудникам РОВД.

Но больше всего нас удивило не то, что в деле есть, а то, чего в нем нет.

В деле не сказано, кто же именно — человек с фамилией, должностью и званием — нашел пистолет. Не описано, где пистолет находился, не сфотографировано это место, не проверена пыль на нем, не взяты отпечатки пальцев. И ни слова о том, что и послужило поводом для обыска: так нашли ли в доме технический спирт или не нашли? Ни слова... Будто и не было этой анонимки... Наконец, из дела не видно, куда же в конце концов делся писто-

лет? Ни в одном из двух судов он так и не фигурировал в качестве вещественного доказательства, но еще больше удивило, когда в хозотделе областного УВД мы увидели лаконичную запись, что еще в 1987 году пистолет -куда бы вы думали делся?.. Отправлен на переплавку. Концы в воду, в воду. (Кстати, когда наконец-то спустя полгода решили проверить отпечатки пальцев на этом пистолете, эксперт Н. Двилюк проводил данную экспертизу... без пистолета. По крайней мере в ХОЗО УВД не значится, что оружие кто-нибудь затребовал в течение года до его уничтожения!).

И, естественно, мы не нашли в деле свидетельств участия сотрудников КГБ в деле Виктора Идзьо, на чем он так горячо настаивал (а потому понятна реакция многочисленных проверяющих из КГБ: «Мы-то при чем? Нет же нас в деле!») Впрочем, один след остался. Сразу же после обыска изъятые книги и рукопись были переданы районному отделу КГБ: «При этом направляю вам для изучения и для оперативного использования литературу, изъятую при обыске в хозяйстве Идзьо В.С. 13 августа с.г.» — написал в КГБ следователь милиции В. Бандура.

День, второй, третий листали мы это уголовное дело, пока, наконец, растерянно не отложили его в сторону. Спирт, пистолет, литература, граната...

Может быть, решили мы, хоть непосредственные очевидцы могут внести ясность в это странное уголовное дело?..

Коллеги называют В. Когута, проводившего обыск в доме у родителей Виктора, холериком. Возможно, это и так...

Прежде всего он потребовал наши документы и проверил, не включен ли диктофон. «Но если вы такой бдительный, Виктор Васильевич, как же вы допустили на обыск постороннего человека?» — удивились мы. В ответ он сослался на давность происшествия, стечение обстоятельств, спешку, суету и тому подобное.

— Почему вас заинтересовала книжная полка Виктора? Как вы определили, что украинская энциклопедия, музыкальный журнал и стихи имеют какое-то отношение к делу о спирте? Ведь согласно УПК, при обыске изымаются предметы, указанные в постановлении либо запрещенные к применению?

На это он ответил (ох, каким ветром на нас тут же подуло!), что сработало... революционное правосознание.

— Почему вы задержали Виктора в квартире деда? Ведь целью был поиск спирта в доме его отца?

— Что за ерунда! В квартире его деда мы вообще не были. Когда приехали на обыск в дом его отца, Виктор уже находился там.

— Почему же вы не указали в протоколе обыска, кто именно нашел пистолет?

— При обыске это не обязательно...

— Вы настаиваете на своих словах? Ведь они свидетельствуют о вашей полной юридической безграмотности?

— Я закончил высшую милицейскую школу с отличием...

Мы сообщили Когуту, что его-то, в принципе, нет и неизвестно, с кем мы разговариваем: ведь согласно ответу заместителя Генпрокурора СССР И. Абрамова в Секретариат Верховного Совета СССР (!), «начальник следственного отделения Тысменицкого РОВД из органов внутренних дел уволен». А этим начальником и был в 86-м году В. Когут!

— Первый раз слышу! — искренне удивился он.

А вот как описывает этот день мать Виктора, Мария Васильевна:

— Виктор приехал домой 13 августа. А за день до этого к нам пришел участковый, чужой, а с ним еще двое. (Одного из них она узнала — видела его в райотделе милиции.)

— Зачем они приходили к вам?

— Сказали, что проверяют нетрудовые доходы и паспортный режим. Они облазили весь дом и ушли.

— Виктор был дома, когда приехали с обыском?

— Нет, его привезли от деда, из Ивано-Франковска.

— Вы видели анонимку, которая послужила причиной обыска?

— Да, видела...

— Вот эту? — открываем мы 147-й лист уголовного дела, где в анонимном письме, отпечатанном на машинке, сказано не только о спирте, но и о том, что «хорош» был и сам Виктор: пьяница, дебошир, на Рождество стрелял из пистолета.

— Нет, та вроде была на белой бумаге, а эта — на зеленой. И в той о самом Викторе ни слова.

По словам Марии Васильевны, тот, третий на обыске, который не представился, тут же рванул к полкам с книгами и стал в них копаться. Потом именно он диктовал Когуту, что надо изъять и как это вписать в протокол.

— Вы видели, как нашли пистолет?

— Тот, третий, нагнул, и в руках у него оказался газетный сверток. Развернул — а там в кобуре пистолет.

А видели ли понятые, как нашли пистолет?

Понятая Раиса Ивановна Рушак рассказала нам:

— Днем 13 августа Когут зашел в сельсовет, попросил меня и секретаря сельсовета показать, где хозяйство Идзьо. На улице стояли две машины: «жигули» и «бобик». Нас посадили в «жигули», и когда мы подъехали к дому Идзьо, я увидела, как из «бобика» выводят Виктора. «Зачем же вы нас вызвали, если сам Виктор мог показать дорогу?» — помню, удивилась я.

— Но видели ли вы, как нашли пистолет?

— Нет. Когут нам велел сидеть в коридорчике...

— Вы видели саму анонимку? Вот эту? — показываем.

— Нет, эту не видела. В той, которую видела, говорилось только о спирте и об отце Виктора. Потому-то мы и думали, что горилку трусят...

Мы сидели с Раисой Ивановной, когда нам сообщили, что нас срочно ищет Когут.

Снова — в милицию.

— Вы хотите сообщить нам что-то новое?

Но тут дверь кабинета Когута открылась, и какой-то незнакомец позвал его в коридор.

Когда Виктор Васильевич вернулся, то тут же бросил:

— Да не искал я вас...

Ох, какая история! Не раз в Ивано-Франковске мы слышали от работников милиции то ироническое, то сочувствующее: «Ничего вы, мужики, не докажете»... И мы понимали: как сгинул в огне злополучный пистолет, принадлежность которого, несмотря на оставшийся номер, следствию так и не удалось установить, точно так же в томе следственного дела «потерялись» и реальные участники тех событий. Безымянными «общественниками», таинственными неизвестными, исчезнувшими вещдоками заполнены страницы уголовного дела. И хотя, казалось бы, справедливость восторжествовала, но само наказание виновных вызывает сомнение, несмотря на твердые уверения руководителей республики Украины и страны, СССР. Да, В. Когут был действительно уволен из органов внутренних дел: кадровики УВД подняли его личное дело, и мы нашли приказ об этом. Но тут же за ним — другой приказ, которым Когут в милиции восстановлен. А потом и но-

вая звездочка на погонах — капитанская. Да и следователь В. Бондура, которому, согласно все тем же официальным заверениям, было объявлено неполное служебное соответствие, резко пошел на повышение: из районного отдела — в областное управление.

Так что же все-таки произошло с Виктором? За что его так? Как и перед кем он оказался виновным?

— Неужели вы серьезно думаете, что кто-нибудь из наших офицеров мог подкинуть во время обыска пистолет? — удивился начальник Ивано-Франковского управления КГБ И. Левенко. — Право же, смешно...

Тогда мы поинтересовались судьбой книг и стихов, изъятых у Виктора при обыске. Мы-то, честно говоря, думали, что в управлении КГБ просто посмеялись над полуграмотным опером, пригласившим сюда на экспертизу не, допустим, «Архипелаг ГУЛАГ», а музыкальный журнал. Но, оказалось, нет. К этой ерунде здесь отнеслись со всей серьезностью.

Начальник областного КГБ распорядился показать нам экспертное заключение доцента Ивано-Франковского пединститута, кандидата педагогических наук В. Грицюка.

Цитируем: «Изучение указанных материалов дает основание утверждать, что часть из них носит враждебный, националистический и клеветнический по отношению к советской действительности характер. Статьи «Української загальної енциклопедії» с националистических позиций освещают историю Украины, в частности ее послереволюционный период. В этом смысле указанные статьи энциклопедии могут быть использованы для пропаганды идей украинского буржуазного национализма... В мартовском номере ежемесячника «Українаська музика» на странице 115 помещен гимн украинских националистов «Ще не вмерла України», название которого говорит само за себя... Из краткого анализа представленных материалов можно сделать вывод о том, что они по содержанию и идейной направленности являются националистическими и враждебными нашему социалистическому строю и коммунистической морали».

Что это? — удивленно перечитывали мы это «экспертное заключение». Сон или бред? Где враждебная агитация? В чем провинился гимн? За что арестовали стихи? Ведь дело-то происходило, повторяем, не в августе 37-го, а августе 86-го!

Но каково же было наше удивление, когда начальник областного управления КГБ сообщил нам, что именно это заключение послужило официальным поводом для «фронтальной проверки» Идзьо, который в то самое время, когда доцент института, который Виктор заканчивал, выводил строчки этого бредевого заключения, мерил шагами тюремную камеру.

Да, в то время, когда следователь милиции уныло спрашивал его про пистолет, в соседнем с УВД доме, в управлении КГБ, допоздна горел свет.

Заместитель начальника КГБ области В. Харченко предоставил в наше распоряжение один из двух томов другого, так сказать «параллельного», дела Виктора Идзьо.

Признаюсь честно: подобное я читал тогда впервые в жизни. И потому не могу не процитировать несколько документов из объемистого тома, не меньшего, а даже большего по объему, чем само уголовное дело. Оно называлось так, судя по надписи на обложке: «Приложение к делу номер 12 (официальные материалы на Идзьо В.С.).»

Итак, что же было в этом «параллельном» деле?

«По поводу заданных мне вопросов могу сообщить следующее. Летом 1983 года я был у Идзьо дома, он показал мне «Кобзарь» Шевченко и говорил, что там есть такие стихотворения, которые Советская власть запрещает печатать... В 1984 году, точной даты не помню, я был у Идзьо в селе Угринов. Он рассказал мне, что в настоящее время Компартия Украины не заботится об украинцах и о судьбе республики, идет на поводу у КПСС. По мнению Идзьо, руководители ЦК КПУ в своей практической деятельности не выражают настроений и чаяний украинского народа, а проводят политику под диктовку Москвы. Я не был согласен с мнением Идзьо».

Это — из объяснения однокурсника Виктора Идзьо по пединституту Н. Вечеша, который работал учителем в Закарпатской области.

«Общаясь с Идзьо, мне доводилось также слышать от него негативные высказывания и клеветнические измышления в адрес внутренней и внешней политики Советского государства. Идзьо в казарме высказывал мысль, что в нашей стране имеют место нарушения Конституции, граждане не располагают политическими правами свободы слова, печати, уличных демонстраций, в то время как во всех развитых странах эти права давно стали реаль-

ными. По мнению Идзьо, нарушения Конституции у нас в СССР особенно проявились в том, что в стране имеется большое количество политических заключенных».

Это уже — агроном из Житомирской области А. Павленко, с которым Виктор служил в армии.

А вот объяснение некоей Лилии Петровны Олейник из Ивано-Франковска, которая вместе с Виктором была в составе тургруппы в Одессе накануне его ареста:

«6 августа в городе Одессе я загорала с Назаровой Ольгой, Назаровым Геннадием. Примерно в 15 часов к нам подошел Идзьо с книгой в руках, завернутой в газету. Идзьо возле нас разделся и пошел купаться. Я раньше замечала во время отдыха в Одессе, что Идзьо постоянно носил с собой эту книгу, завернутую в газету, и никогда с ней не расставался. Когда Идзьо купался, я взяла его книгу и начала читать предисловие. Название книги прочитать не успела... Увидев, что я читаю эту книгу, Идзьо буквально через несколько минут прибежал, как мне показалось, испуганно отобрал у меня эту книгу... Всю эту историю видела Ольга Назарова».

Объяснение уголовника-рецидивиста (того самого, который, по словам Виктора, выбивал из него явку с повинной):

«Через неделю пребывания в камере Идзьо стал высказывать недовольство существующим в СССР порядком. Он критиковал нашу партию и правительство, заявляя о том, что в нашей стране нет демократии и свободы. Я пытался возражать ему, объясняя, что после XXVII съезда у нас в стране произошли большие перемены. Идзьо сказал, что все это ерунда и что опять будет, как раньше».

И еще один сокамерник — П. Радыш:

«За время совместного пребывания в одной камере Идзьо постоянно допускал высказывания клеветнического содержания в адрес партии и правительства... На второй день Идзьо рассказал нам о Древнем Риме... На следующий день нашего совместного пребывания в камере Григорчук начал разговор о трудностях с продуктами питания в нашей области. Идзьо начал поддерживать Григорчука и сказал, что продуктов питания нет и не будет».

Ну, хватит... Лист за листом, объяснение за объяснением.

Друзья, приятели, знакомые, малознакомые люди, которых Виктор случайно встречал на жизненных перекрестках.

Долго думали мы с Сергеем Киселевым, как обозначить жанр этих документов, с такой скрупулезностью и быстротой собран-

ных десятками следователей и оперативных работников КГБ в разных областях Украины? И не нашли другого слова, кроме одного: донос. Донос, морально выбиваемый авторитетом и нескончаемым страхом перед секретной службой.

Но что же за повод такой был, чтобы напускать на парня десяток офицеров КГБ, как борзых на зайца? Да, дело против Виктора Идзьо было чисто уголовным. Но согласитесь: как только нашли пистолет, тут же, будто не было у людей других дел, мгновенно заработали шестеренки этой машины: Ивано-Франковск, Закарпатье, Житомирщина. Всех! Кто лежал с ним на пляже, кто рядом сидел за партой, кто вместе служил в армии! А ведь разыскать всех этих людей было не легче, чем, допустим, выяснить личность того неизвестного, «третьего», незаконно участвовавшего в обыске в доме его родителей...

«Вы же понимаете, на Западной Украине особая ситуация», — сказал нам начальник Ивано-Франковского областного управления КГБ.

Ну нет уж, подумали мы тогда, «особая ситуация» здесь ни при чем. Такие же папки лежат в Калининне и Новосибирске, в Киве и Алма-Ате... Кто что сказал? Улыбался ли при этом или хмурился? И вот уже друг — не друг. Да и попутчик в купе — не просто так, не случайно... И кто знает, что там, в тайных архивах, есть о наших друзьях, коллегах, о нас самих? Кого попросили «помочь», вызвав в первый отдел? Кто согласился, а кто отказался, возмущившись, посчитав (уж простите за высокопарность) безнравственным копаться в личной жизни человека? Кого припугнули и заставили?

Эта часть нашей жизни — закрыта. Вся жизнь, сколько мы себя помнили, догадки тревожили наше воображение: есть ли, нет ли...

Отсюда — нескончаемый для многих страх перед теми, кто незвано проникнет в твои мысли, перед теми, кто эти знания может использовать против тебя. Как хочет и когда захочет.

И тогда, оказавшись в Ивано-Франковске и увидев эту папку, мы поняли, почему как от чумного прятались знакомые от Виктора Идзьо, когда по городу поползли слухи о резидентах и радиостанциях: скольких вызывали, скольких допрашивали... Что за тайны в маленьком городе! Но другое пытались понять: почему же три комиссии из КГБ Украины и страны с такой настойчивостью убеждали Виктора, что их ведомство не имеет никакого отношения к его

истории? И почему тот же заместитель Генерального прокурора СССР И. Абрамов с такой убежденностью сообщил Секретариату Верховного Совета СССР: «Факты, изложенные Идзьо В.С. в заявлении о его преследовании сотрудниками органов госбезопасности, подтверждения не нашли». Не оттого ли, что сам Абрамов до того, как стать заместителем генпрокурора, много лет возглавлял пятое, так называемое идеологическое управление КГБ — то самое, которое и выкапывало факты из жизни Виктора...

Когда мы листали эту папку, то ожидали, что сотрудники областного КГБ покроются краской стыда, скажут нам: «Вот какими дураками мы были тогда, какой ерундой занимались, какие силы отвлекали на никчемную историю. Со стыда сгораем, товарищи журналисты».

Но нет!.. Одно мы читали в их глазах: «Видите, какой фрукт этот Идзьо! А вы все про пистолет и спирт!»

И тогда мы поняли, что не было у нас оснований не верить Виктору, что именно в стенах областного КГБ его шантажировали той самой папкой, которую мы увидели. Шантажировали, чтобы заставить признать себя антисоветчиком, буржуазным националистом, «вынашивающим намерение создать нелегальную организацию с целью самостоятельности Украины». Шантажировали, когда после лопнувшего как мыльный пузырь дела о пистолете Виктор начал обивать пороги приемной КГБ в Москве.

Почему же, мучительно размышляли мы, жалобы Идзьо на КГБ направлялись туда же, в КГБ? Почему прокуратура — высший законодательный орган страны — не смогла заглянуть в папку с этими доносными документами...

Заместитель областного прокурора, когда мы с ним увиделись, лишь грустно улыбнулся, услышав наш вопрос, может ли прокурорский следователь вызывать на допрос сотрудника КГБ:

— Может, но не выше следователя, и то лишь по конкретному уголовному делу...

Наконец, еще об одном обстоятельстве этой истории.

— Можно нескромный вопрос, Владимир Константинович? — обратились мы к заместителю начальника Ивано-Франковского управления КГБ. — Был ли Виктор секретным агентом КГБ?

— Нет, он не был нашим агентом, — твердо заявил В. Харченко, но, подумав, добавил: — Правда, с ним проводились доверительные беседы.

— Начиная еще со студенческих лет? — уточнили мы.

— Да... Был сотрудник, который с ним встречался. Евгений Попов. Сейчас он работает в Киеве...

Ну что ж... Да, было, было...

Об этом сам Виктор Идзьо рассказал мне еще в Москве, когда впервые появился в моем редакционном кабинете.

— Примерно летом 1980 года далеко за городом я увидел костер из книг, — начал свой рассказ Виктор. — Несколько книг мне удалось вытащить: двухтомник «Історія України», второй том Герцена, том Хрущева и книжку о Малой земле. На всех книжках стоял штамп библиотеки Ивано-Франковского педагогического института.

Спрашиваю:

— А что это была за книжка о Малой земле?

— Я лишь помню, что она была выпущена в 1945 году, кажется, издательством «Мысль». На обложке стояли фамилии нескольких авторов. Фамилию Брежнева я нашел только один раз, на 167-й странице. Там было написано, что Брежнев приезжал на Малую землю лишь после боев, чтобы походить по окопам.

— Ты кому-нибудь рассказал об этой книге?

— В 1980 году я выступил на семинаре по обсуждению книги Брежнева «Малая земля» и сказал, что именно прочитал я в той найденной на свалке книге. Один преподаватель попросил меня дать ее почитать. Я дал. Потом ко мне подходили разные студенты и спрашивали, где я взял эту книгу, кому о ней рассказывал, и так далее... Примерно через месяц меня ждал в институте сотрудник КГБ. Он сказал мне, что надо встретиться и подробно поговорить. Меня привели на квартиру на улице Набережной. Там меня ждали три сотрудника КГБ. Одного я помню — майор Ковалюк.

— О чем тебя спрашивали?

— Разговор шел около двух часов. Спрашивали обо всем, в том числе и о книгах — они уже знали, что я собираю книги. Потом мне предложили сотрудничать, то есть рассказывать о настроениях преподавателей и студентов. Я отказался, объяснив, что занимаюсь историей средних веков. Мне сказали, что так не бывает, если они вызывают и беседуют, то доверяют...

— Эта встреча потом имела продолжение?

— Да... Десять или пятнадцать раз за время учебы. Однажды их сотрудник Попов рассказал мне про одного киевского писателя, который точно так же отказывался сотрудничать, а потом попал в психушку.

— И ты испугался?

— На меня посыпались двойки. Даже легкие предметы меня заставляли сдавать по три-четыре раза.

— И тогда ты сам их нашел?

— Да, я позвонил им по номеру, который они мне оставили. Меня привели на другую квартиру, на угол улиц Советской и Чекистов. Стали расспрашивать о студентах, сказали, им известно о том, что я занимаюсь в кружке по истории Украины.

Спросили, не создается ли там националистическая организация.

— Ты о ком-нибудь что-нибудь рассказывал?

— Нет, я никого не закладывал. Но я их боялся. Попов дал мне задание: ходить по городу и слушать, нет ли антисоветских высказываний.

— И ты чего?

— Тогда мне вдруг на каждом шагу стали попадаться люди, которые ругали Советскую власть. Я понял, что меня проверяют, но все равно ни о чем не стал сообщать.

— Были ли еще задания?

— Однажды меня попросили поехать в город Калуш и вступить в контакт с одной молодой диссиденткой.

— С какой целью?

Виктор замялся.

— Ну, переспать с ней... — И после паузы: — Я не справился с заданием...

— Встречались ли они с тобой после окончания института?

— Перед призывом в армию Попов предупредил меня, что там ко мне могут подойти. Если о чем-нибудь попросят, чтобы я не отказывал. Действительно, подошли месяца через два или три. Но я был в это время на полигоне и поэтому не мог быть им полезным. После армии я возвратился в Ивано-Франковск. Устроился на работу в управление профтехобразования, а через полгода меня попросили написать заявление об уходе.

— Почему?

— Не знаю... Начальство мне посоветовало выяснить все в КГБ.

— Это уже было лето 86-го?

— Да... Потом я поехал с тургруппой в Одессу. Возвратился в Ивано-Франковск 13 августа, когда меня и арестовали.

Вот таким был наш с ним разговор в Москве. Помню, когда я слушал его, мне хотелось что-то возразить ему, объяснить... О том, что нельзя не только доносить, но и принимать предложения о доносительстве — это не лучшая судьба для человека. И что-то еще такое, горячечно-красивое...

Но потом подумал, в чем упрекать парня, которому тогда, когда ОНИ с ним впервые увиделись, еще и двадцати не исполнилось.

Что там о его вине? Она куда меньше, да и есть ли вообще, чем вина тех, кто заставил его принять это предложение... Тем более и с заданиями он не справлялся...

В Западную Украину весна приходит быстрее, чем в Восточную. День был ярким, солнечным, почти уже летним...

Здание ивано-франковского института радовало своей изящной современной архитектурой, и на скамейке у входа в вуз будущие учительницы открыто писали шпаргалки. Мы поднялись на второй этаж и нашли кабинет декана факультета иностранных языков. Постучались в дверь деканского кабинета, представились...

— Вы помните, Богдан Антонович, как в августе 1986 года вам дали на рецензию стихи, музыкальные журналы и украинскую музыкальную энциклопедию? Помните вашего бывшего студента Виктора Идзьо? Тогда вы еще не были деканом.

Декан Б. Грицюк пожал плечами:

— У меня было много студентов... Да и рецензий я написал сотню...

— Но это была не совсем обычная просьба. Виктор Идзьо... Может быть, вспомните? Ну...

Он внимательно посмотрел на нас, вздохнул:

— Ну... Что-то припоминаю...

— Тогда почему, — спросили мы, — к вам, не филологу, не историку, не музыканту, а сотруднику кафедры педагогики и психологии обратилось управление КГБ с просьбой дать свое заключение на стихи и старые журналы, найденные у вашего студента?

— Откуда я знаю... Сам не мог понять...

— Богдан Антонович, был ведь уже 86-й год! Вы не могли не понимать, не могли не видеть, что ничего крамольного не было в этой литературе.

Он замолчал надолго, а может быть, нам так показалось, а потом горько усмехнулся:

— Но меня же попросили не с кафедры философии, а из КГБ. И я понимал, какую рецензию, какое заключение от меня ждут...

— Вы не жалеете о своем поступке?

— Ну жалею, жалею! — взорвался он. — Но вы бы знали мою жизнь! Вы бы знали!.. Нет, не надо ничего записывать, не надо!

Потом еще долго стояло передо мной его лицо, вдруг покрывшееся красными пятнами, дрожащие руки и отчаяние, мелькавшее в его глазах.

И мне стало его жалко. Очень жалко. Совсем жалко.

Когда Виктор Идзьо первый раз появился в редакции, и я, сначала недоверчиво, а потом все больше, больше и больше убеждался, что все, о чем он рассказывает, правда, может быть правдой; когда потом я позвонил в Киев Киселеву и сказал: «Сергея, выдвигайся в Ивано-Франковск»; когда потом мы там работали (и, кстати, во время той командировки пережили классные приключения — расскажу, обязательно расскажу!); когда статья была написана, опубликована и вызвала некоторое шевеление и в киевских, и в московских кабинетах, и бурю писем в газету, — шел, повторяю, 1990-й: туда, на Западную Украину, мы ездили поздней весной, опубликована статья «Последняя жертва «Малой земли» была в начале лета.

Да, шел 1990-й...

Начинаю отмечать в себе ранние признаки склероза.

А чем в принципе был примечателен 90-й? Что в нем было такого особенного, что непременно должно было оставить свой след?

Еще ничего не предвещало августа 91-го. И декабря 91-го. И то, что снесут Железного Феликса с площади его имени. И Горбачев послушно сдастся на радость победившему его Ельцину. И где эта Беловежская пушча — не знал никто, кроме жителей окрестных деревень. А что танки будут стрелять по Белому дому? Да и в голову никому не могло прийти на американский манер назвать несуразное здание Совмина РСФСР..

Шел 1990 год...

В октябрьском номере «ЛГ» именно за тот, 90-й год нашел свою старую статью, начало которой отражало, наверное, не только мое собственное настроение. Наверное, не одного меня. Скорее всего, не одного.

«Был один из мерзких дней дождливой московской осени. Оказавшись в центре, на бывшей улице Горького (а сегодняшней

Тверской), я с ужасом обнаружил, что мне все не нравится. Не нравится дождь, противное небо над головой, невыносимы очереди там, где хоть что-то дают, и их отсутствие там, где вообще ничего нет, жуткое чувство охватывает, когда проходишь сквозь строй озверелых «спикеров» возле «Московских новостей», устал от предчувствия будущего и от информации о прошлом, которое чудовищно все, куда ни ткнишь. Наконец, надоело напряжение вокруг и внутри тебя, которое почему-то не снимает ни перспектива 500 дней, ни ласковое прикосновение западных кредиторов.

Я понимал, конечно, что еще немного пройду от Пушкинской вниз, по Тверской, прикасаясь к воспоминаниям о чем-нибудь хорошем и бросая взгляд на дома своих друзей и знакомых, и это чувство безнадежности существования исчезнет — по крайней мере, надо жить дальше, и жить не в тумане только лишь политических страстей. Ведь что бы с нами ни происходило — это жизнь, жизнь... Возможно, в каком-нибудь будущем наши девяностые будут оценены не только как конец средневековья, но и как начало возрождения, и будущие наши потомки страшно позавидуют нам, что именно сейчас мы посетили этот мир...»

Да...

Ну ладно, значит, такой представлялся мне тогда 1990 год — все-таки иногда есть польза от того, что вдруг отыщешь старую газету, которая напомнит тебе и что происходило вокруг тебя самого, и как то, что происходило, отражалось в тебе самом. То, что и не вспомнилось бы вот так просто, без напряжения памяти...

Но по хорошему-то, думаю я сейчас, и не надо человеку, чтобы от каждого года его жизни оставалось толстенное досье (вот черт! как влез в эту книгу, так и слова лезут в голову совершенно специфические). Чем меньше событий, тем ярче из них каждое: ага! это какой был год? когда я познакомился?.. когда я был свидетелем того, как?.. когда я пережил такое, что?.. Ну и так далее.

Так не всегда получается, конечно. Не потому даже, что прожитый тобой год был слишком насыщен значимыми событиями: ведь и так бывает, что спустя всего лишь полгода, а то даже и месяц, ты и не вспомнишь какую-то ерунду, которую ты воспринимал тогда, когда она случилась, как поворотный миг в твоей жизни (это не только касается отдельно взятого человека, но и целого, так сказать, исторического периода. Попробуй вспомнить, что у нас происходило, допустим, когда Генсеком был Черненко? Что-то такое с одышкой, большего и не вспомнишь! От Андропова

хоть осталась охота за рабочим народом в банях и парикмахерских да сбитый южно-корейский самолет).

Но, повторяю, чаще всего все-таки каждый год прожитой нами жизни — масса всего, что может запомниться. И все потому, что в конце концов мы не в Швейцарии.

Ну ладно. Я не об этом. Я — о тихом и не очень, в принципе, запоминающемся 1990-м.

Так вот, история, которую я тогда узнал и о которой написал тогда вместе с Сергеем Киселевым, — и на самом деле единственно яркая, которая от 90-го осталась. Могу вспомнить детали, фрагменты, даже запахи, сопровождавшие нас в той поездке на Западную Украину.

Но сначала об одном неожиданном повороте в собственной судьбе, который произошел осенью 89-го, но в полной мере я почувствовал эти изменения начиная с 90-го (и в данной, ивано-франковской, истории мое новое, так сказать, положение сыграло свою некоторую роль, потому-то я вновь обращаюсь к приключениям собственной жизни, — уж, извините, так складывается эта странная книга).

Осенью 1989 года я был избран народным депутатом СССР. Всего-всего я ожидал в жизни, кроме этого.

Началось все с телефонного звонка в редакцию:

— Мы хотим выдвинуть вас с народные депутаты.

— А вы кто?

— Инженеры с Ворошиловградского завода имени Ленина.

— А где находится ваш город?

— От Москвы лететь час десять...

По-моему, таким был этот разговор.

Сейчас, вспоминая то время, я не могу отделаться от ощущения, со мной ли это было?

Сегодня мы уже привыкли говорить об избирательных технологиях — тогда и слов-то таких не было. Сегодня подсчитываются деньги, которые тратятся на выборы — тогда об этом не было и речи.

Тогда — была волна жизни, и я, наверное, просто попал в нее.

Когда меня привели в избирательную комиссию, помню иронический взгляд ее председателя: а ты-то парень куда лезешь? Чужак, москвич, один — против целой машины?

Сейчас я с благодарностью вспоминаю Ворошиловградский обком КПСС: именно он помог мне выйти во второй тур, а потом победить обкомовского кандидата, набрав более восьмидесяти процентов голосов.

Да, обком сделал все для моей победы.

Запрет на посещения заводов кончался тем, что рабочие выходили на улицу, и я выступал перед ними, стоя на грузовике. Публикации в местной партийной газете о том, что я хочу продать Курилы японцам, вызывали гомерический хохот в городе. Когда в недрах обкома рождалась идея вывесить плакаты «Кооператоры Ворошиловграда — за Юрия Щекочихина» (а рабочий город не очень-то жаловал кооператоров) — моей команде становилось известно об этом через час от ребят из штаба соперника. И даже то, что на самодельных листовках зачеркивали мою настоящую фамилию и писали над ней вымышленные, естественно «Гольдберг» и «Гинзбург» (может, хоть на это клюнут простые работяги), — и то срабатывало не против, а за: ну и что? а вроде наш парень... А апофеозом борьбы против меня стал самолет: Ан-2 должен был разбросать листовки в поддержку моего обкомовского соперника, но листовки упали на похоронную процессию, о чем, естественно, тут же стало известно всему городу.

Помню ночь победы...

Уже около 12 ночи стало ясно, что я выигрываю. Я сидел в гостинице со своими новыми товарищами, когда мне позвонил секретарь горкома партии, возглавлявший всю кампанию против меня, и радостно сказал: «Поздравляю! Я в этом не сомневался».

Дома у Пети Шевченко, замечательного журналиста и поэта, который возглавлял штаб кампании, собрались все. Когда я вышел из гостиницы, увидел толпу студентов — они чуть меня не закачали... Вот ведь какое было время! Господи!..

Вернулся в гостиницу на рассвете — телефонный звонок: «Кто победил-то?» — «Да вроде я!» — «Наливай, Вася!»

Разве такое забудешь?

А Петю Шевченко убили в 97-м, после серии его статей в «Киевских ведомостях» о работе украинских спецслужб. Его фотография висит над моей постелью. Я уже отплакался.

Да, ну а тогда началась эта моя новая жизнь, о которой я не мог предположить даже в самых страшных снах.

Не хочу писать о депутатстве — не тот повод.

Но в ту поездку в Ивано-Франковск я ехал с депутатским значком (обычно его никогда не надеваю, ни тогда, ни сейчас, когда избран в Госдуму). В депутатском зале познакомился с депутатом из Ивано-Франковска Василием Степановичем Ткачуком — замечательным дядькой, возглавлявшим огромную агрофирму. Уже в самолете, узнав, зачем и по какому поводу еду, он мне сказал: «Если нужна будет помощь — позвони».

А помощь, как потом оказалось, была на самом деле нужна.

Когда мы с Сергеем Киселевым пришли в местный КГБ, наконец, депутатство и депутатский значок сыграли свою роль: меня воспринимали как своего. И когда я сказал: «Да все-таки не очень-то я верю, что Идзьо — антисоветчик», — начальник областного управления КГБ, поразивший меня прежде всего своим париком, ответил: «Да ну что вы, конечно же, антисоветчик», нажал какую-то кнопку на селекторе и приказал принести оперативное дело Виктора, то есть те материалы, которые он не должен был показывать никому, а уж тем более журналисту.

Помню, помню, какая внутренняя дрожь охватила меня, когда я читал вслух (а Сергей писал все на диктофон) сообщения агентов. Они что, сошли с ума? — думал я. Они не могут, не имеют права показывать мне все это.

Потом мы простились, вышли на улицу, но не прошли даже сотню метров, как нас догнал помощник кагэбешного начальника: «Как-то неудобно... Гости, а мы вас так отпустили». Мы договорились увидеться вечером.

— Сергей, — сказал я Киселеву, — надо уматывать отсюда. Они, кажется, поняли, что наделали...

Из телефонной будки я позвонил Ткачуку:

— Василий Степанович, нужна помощь...

Он сказал, что машина будет через час возле гостиницы.

Час мы гуляли по городу. Потом подошли к гостинице. Помню, там увидел Сашу Бархатова (впоследствии он на какое-то время станет пресс-секретарем Лебеда и напишет правдивую и печальную книгу об этом генерале). Сергей поднялся, чтобы забрать наши сумки...

Несколько дней мы провели в Карпатах у Василия Степановича, думая, как лучше выбраться отсюда, и потом наконец решили: если будут ждать на московском рейсе, надо лететь не в Москву, а в Киев. (Уже позже я выяснил, что опасения наши были не напрасными: местные гэбешники сбились с ног, чтобы отыскать

нас. Дело было не в самом Викторе, а в том, что они сами нарушили святая святых: рассекретили агентуру.)

Статью мы писали в Киеве. Сергей приехал в Москву на день позже, чем я. Вот тогда-то вечером кто-то и побывал у него в гостинице, забрал кассету. Правда, совсем другую — та, настоящая, была у меня.

Вот вроде и все об этой истории.

Да, еще одно...

После выхода статьи я получил письмо от преподавателя из ивано-франковского института, в котором учился Виктор. Суть письма уже позабыл, но одно помню хорошо: «Не переживайте за декана Грицюка. Не было у него никаких мучений за то, что практически погубил парня. Такие, предавая, не мучаются».

Вот и сейчас, вспоминая все новые и новые истории из жизни стукачей, думаю, а может, я придумал все эти мучения? Может, никакие они не жертвы эпохи и предательство было для них естественной необходимостью?

Но нет. Все-таки нет.

И еще одна история — тому свидетельство.

## **ПОРТРЕТЫ НА ФОНЕ ПЕЙЗАЖА: ШОФЕР АНГЛИЙСКОГО ПОСЛА**

Да, еще одна судьба, еще один человек, и снова вопрос, на который так хочется найти ответ: кто же все-таки эти люди? Жертвы, попавшие под колеса этого нашего паровоза, который, казалось, летел вперед и вдруг — привез неизвестно куда? Или напротив, не время сделало их такими, а они сами, своими судьбами, своими поступками определили именно такое течение времени?

Ну ладно... Продолжаю.

Жил-был шофер...

Нет, не так.

Жили-были мы, и самое загадочное в нашей жизни — это странность пересечения судеб. Так, допустим, я в страшном сне

не мог бы себе представить, что однажды — да, в тот самый день, когда Москва удивленно и растерянно просыпалась под шум танковых моторов, — самым ценным из того, что я посчитаю нужным забрать с собой, в спешке покидая дом, окажутся три диктофонных кассеты, на которых была записана мучительная исповедь агента КГБ.

Да, это был август 1991 года.

Сейчас, вспоминая, что было тогда, в эти три дня: рассвет, ночь, день, снова ночь и снова рассвет, а все как будто одно мгновение, — думаешь не о потерянных возможностях той победы, а совсем о другом.

Потом, уже спустя месяцы и даже годы, я от многих, ставших участниками тех событий: в самом Белом доме (и, кстати, «Белым» он стал называться именно в эти дни), на баррикадах вокруг него, от студентов, политиков, журналистов, от людей мне близких и совсем незнакомых, — слышал слова, которые могу повторить и сам сегодня — когда и жизнь другая, и сам другой, — несколько не стесняясь тех, тогдашних моих чувств: да, это были самые яркие впечатления в уже почти прожитой жизни.

Помню, помню ночь с 21-го на 22-е августа. Близился рассвет.

Ждали Михаила Горбачева.

— Пойдем, — взял меня за локоть Володя Молчанов и, нагнувшись, шепнул: — Горбачев подъедет к тому подъезду...

По полутемной узкой лестнице с выщербленными ступенями мы сбежали вниз.

— Почему именно сюда? — спросил я парня из охраны.

— Всех этих ребят мы уже хорошо знаем. Они здесь уже три дня сутки...

А ребята стояли, намертво сцепившись за руки, образуя свободное пространство возле подъезда, порог которого должен был переступить Президент, чье форосское заточение стало последним мигом его славы как Президента.

Вышел Бурбулис и начал нервно прохаживаться, прислушиваясь к звуку гаишных сирен, доносящихся с Кутузовского проспекта... Появился Кобец, о чем-то тихо переговорил с каким-то незнакомым мне человеком с коротким автоматом, висящим через плечо. Прорвалась, узнав откуда-то о том, что будет происходить возле этого подъезда, еще одна, кроме молчановской, телегруппа. Кажется, французы...

Шла, длилась, как будто вечно, счастливая ночь с 21-го на 22-е августа.

«Гор-ба-чев...» — вдруг начала скандировать толпа. Но нет, это проехал кортеж Силаева.

«Пре-зи-дент...» — раздался тысячеголосый рокот, пробегающий, как морская волна, от подъезда к подъезду. Снова не он: мигая яркими фарами, подъехал «ЗИЛ» Руцкого.

Михаил Горбачев тогда так и не появился...

И потом, помню, аж сердце замерло, когда на широкий балкон Белого дома вышел Александр Руцкой и торжественно объявил — и микрофоны разнесли его голос на всю площадь и далеко от нее: «Президент Горбачев спасен! Злодей Крючков арестован!..»

Ох, где эта жизнь теперь...

У каждого, естественно, свои воспоминания о тех трех августовских днях: и у тех, кто был в Белом доме, и у тех, кто был далеко от него, в другом городе и даже в другой стране (совершенно трогательную историю я слышал в Бостоне: к дочке наших эмигрантов, которая и родилась-то в Америке, именно в этот день — да, когда была ночь в Москве, но уже победная ночь! — пришел весь ее школьный класс с букетами цветов).

Да, у каждого с этими днями связано свое, личное.

Это уже потом, после стали смеяться сами над собой, вспоминая скорее веселое, чем печальное.

Спустя года полтора после того августа Инна Волкова, работающая сейчас в российском посольстве в Вашингтоне, вспомнила, как, пробираясь через бетонные надолбы и картонные коробки, она услышала: «Девушка, осторожно! Вы сломали нашу баррикаду»...

Но все это — потом.

Уже как-то совсем недавно, ночью, голосуя на дороге и злясь на пронсящие мимо машины (или на водителей, заламывающих безумные цены), удивился, когда вдруг остановилась машина и парень за рулем, не спрашивая, куда и за сколько мне ехать, открыл дверцу и бросил: «Поехали». А потом, внимательно посмотрев на меня, спросил: «Не помнишь? Белый дом, ночь, увиделись в 20-м подъезде... Я еще был с российским флагом...»

Потом мы еще долго сидели у меня, пили кофе. Совершенно незнакомые люди. Будто родные.

Но возвращаясь к тем дням...

Нет, тогда была еще одна смешная история, и боюсь, больше не будет повода о ней вспомнить.

Рано утром 19 августа член комиссии по привилегиям Верховного Совета СССР Яков Безбах вместе со своим помощником остановился возле крепких ворот глухого, без единой щели забора. После долгого звонка дверь наконец-то открылась.

«Вышли два прапорщика, и когда я, показав депутатское удостоверение, объяснил, что мне надо осмотреть дачу и документы на нее, как-то странно на меня взглянули... Потом они, взяв мое удостоверение, исчезли, наглухо закрыв за собой дверь... Их не было минут двадцать, несмотря на мои звонки, ворота не открывались, и я уже начал волноваться, куда это они унесли мое удостоверение... Потом, наконец, вышли и сообщили, что на дачу они меня пустить не могут. Я им объяснил, что они нарушают закон о статусе народного депутата и нашей комиссии... Сначала они, помявшись, ответили, что должен приехать старший, потом — через несколько минут — что мы на эту дачу не пустим. «Кому вы подчиняетесь?» — спросил я. «Крючкову», — ответили они...»

Таким был рассказ Якова Безбаха, который мы слушали, падая от хохота, два дня спустя в осажденном Белом доме. Пикантность истории заключалась не только в том, что, ничего не зная ни о путче, ни о ГКЧП, он поехал проверять законность привилегий наших вождей. Главное, кого он выбрал объектом депутатской проверки — Г. Янаева, уже к этому раннему часу ставшего официальным лидером переворота.

Вот был бы цирк, если бы Яков Безбах, человек, ломавший своей бесшабашной энергией все на своем пути, застал Янаева на даче. Скорее всего, учитывая патологическую трусость Янаева, тот тут же бы с перепугу сдался, решив, что никакая это не комиссия по привилегиям, а под маской депутата скрывается какой-нибудь генерал-полковник. И не было бы ни ГКЧП, ни горбачевского Фороса, ни тех трех дней, потрясших всех нас, и ни того, что случится потом. Ведь могло бы и так случиться?..

Да, здорово мы тогда веселились, слушая рассказ Якова Безбаха и еще раз убеждаясь, из каких мелких и абсолютно случайных эпизодов плетется жизнь, которая потом становится — или, по крайней мере, могла бы стать — эпохой в жизни человека, людей, народа, страны...

Ну ладно, вернемся к тому, с чего начали — истории еще одного агента, сексота, стукача, с которым я впервые встретился

еще в той системе, которую, замерев на площади своего имени, охранял Железный Феликс, и тихий, молчаливый, как мышка, Крючков, наверное, ласково касался его своим взглядом, даже в страшном сне не представляя, что еще чуть-чуть, и все. Ни Феликса, ни площади его имени, ни КГБ, ни его самого, Председателя В. Крючкова.

Хотя нет, наверное, когда мы впервые увиделись с секретным агентом Константином, там, в главном здании КГБ СССР, уже предчувствовали, чем и как может кончиться их биография: Тбилиси, Баку, Вильнюс... Что дальше? Москва?

Да, уже стояла весна 1991 года. До августа оставалось всего ничего.

— Я работаю шофером посла Великобритании в СССР. — И после паузы: — Я — агент КГБ...

Так начался наш разговор.

Помню, как спустя несколько часов, когда уже кончились три кассеты на диктофоне, Константин сказал мне:

— Я только тебя прошу: если что-нибудь со мной случится, ты сегодня знаешь все. Все, что мог, я тебе рассказал...

Так мы тогда и расстались...

Я пообещал Константину, что ни в коем случае не буду использовать эти кассеты без его разрешения, да и вообще спрячу их подальше ото всяких любопытных глаз.

Так, в принципе, и сделал и вспомнил о них лишь на рассвете 19 августа, когда меня разбудил телефонный звонок:

— С вами говорит офицер Комитета госбезопасности. В Москве — военный переворот. Я бы посоветовал вам уйти из дома...

Сначала я подумал, что это чья-то не слишком удачная шутка. Но потом был звонок второй, третий, четвертый — уже от людей хорошо мне знакомых... Из дома я ушел тут же утром, нацепив на куртку депутатский значок, а в сумку бросил три кассеты с исповедью Константина, видимо, посчитав их тогда наиболее важным из того, что мне надо было сохранить.

И потом начались эти три дня и три ночи...

Только потом, спустя несколько недель, когда мы снова увиделись с Константином и он сказал мне: «Давай... Можно печатать», — я узнал, что и он целых три ночи провел на баррикадах возле Белого дома, чтобы утром, будто и не было этих бессонных

ночей, снова садиться за руль блестящего посольского «роллс-ройса»...

Вот то, чем хотел бы я предпослать наш с ним разговор, записанный на диктофон весной 91-го и опубликованный осенью того же 91-го в «Литературной газете».

Текст начинался так:

«Если следовать правилам игры, в которой заключается жизнь и которой жизнь является сама по себе, то шансов нам пересечься не было ни одного.

Хотя мы и выросли в одном городе — Москве.

И даже не потому, что Константин родился на одиннадцать лет раньше, чем я, — в 1939 году.

Как бы ни завертела его жизнь — он все равно был обречен на совершенно иной жизненный путь, чем я сам.

Я спрашиваю:

— Ты пошел на сотрудничество с КГБ по идейным соображениям? Или тебе пригрозили? Или купили?

— ... Наверное, все-таки правильнее начать с того, где я родился и где я прожил... Родился в 39-м, в самом его конце, когда начиналась финская кампания. Отец мой, работник НКВД с 37-го года, был тут же отправлен на фронт, а мать осталась со мной в Москве.

Про отца могу сказать одно: он сам родом из Узбекистана, как рассказывал, бежал из-под сабель душманов. Он попал в Москву, кое-как перебивался, потом поступил в институт, и с четвертого курса его как активного комсомольца направили в НКВД. Выбора у него не было — либо его выгоняют из комсомола и из института и ломается вся его судьба. Либо — «туда». Может быть, такой была судьба сталинских комсомольцев, которые привыкли подчиняться указательному пальцу ведущего.

Итак, он вынужден был уйти с дневного отделения металлургического отделения политеха. Потом познакомился с матерью, они поженились... Я родился уже в Москве, рос на первом этаже коммунальной квартиры дома НКВД на Преображенской улице. Большой был такой дом... Для них, как я сейчас понимаю, было счастьем получить эту квартиру... Жизнь семьи шла по восходящей, так как основой ее была служба моего отца в НКВД. Но его настоящая биография от меня тщательно скрывалась...

— Что именно?

— Уже намного позже я увидел фотографию: семья отца во время путешествия, при нем — гувернантка. И я понял, что отец был из очень состоятельной семьи.

— А твои детские воспоминания? Когда ты почувствовал: что-то особенное есть в твоей семье, в отце?

— Конечно, чувствовал! Мне года четыре. Я — один в доме. Закрыт в квартире... Из окна вижу, как из подъезда выходят дяденьки в шляпах и выводят — очень вежливо и корректно — человека. Но человек вдруг начинает вырываться, ему заламывают руки, вталкивают в автомобиль... Автомобиль уезжает... Плачет соседка по подъезду, плачет жена этого человека, но не пытается оторвать мужа от этих людей... И я удивляюсь... Вот так исчезали люди, которых я знал... Менялись соседи по подъезду... Я дружил с парнем, отец которого — тоже работник НКВД, застрелился на охоте в Ленинграде... Очевидно, это было «Ленинградское дело».

— А твой отец боялся аналогичной судьбы?

— Очень боялся! Я помню ночи, когда просыпался от шепота матери с отцом, и они, заметив, что я открыл глаза, тут же замолкали... Они боялись стен, боялись соседей, боялись самих себя. Дом окружала атмосфера дикого страха, но это я понимаю только сейчас.

Отец не рассказывал мне ни о чем. Он приезжал в 3-4 часа утра... Его привозила ночью машина... Я помню его только спящим. Как он уезжал, я не знал... Никогда он мне ни о чем не рассказывал. Но позже я узнал, что страх отца подогревался еще одним обстоятельством: один из больших военачальников Ленинграда, из «врагов народа», был его родственником. Его расстреляли...

Любой ценой родители хотели мне дать хорошее образование и были очень рады, когда устроили меня в спецшколу в Сокольниках. Это была весьма привилегированная школа — первая экспериментальная с изучением английского. В ней училась племянница Кагановича, сыновья Маленкова... Сейчас я начинаю узнавать обо всем и обо всех и понимаю, что в классе было всего лишь двое из «низшего сословия»: я и еще один парень. Остальные — сынки генералов, министров и так далее.

— И ты был для них чужим?

— Не совсем... Я тогда фанатично занимался спортом, и это заслуживало уважения и делало меня лидером в детской среде.

— А когда отец впервые сказал тебе, где он работает?

— Он всегда мне об этом говорил! Мы же, повторяю, жили в доме НКВД!

Я видел его военные формы: то у него была зеленая, потом вдруг стала черная, морская. То есть, как я понимал, он переходил из отдела в отдел. Но чем именно он занимался, мне было абсолютно не интересно. Помню, при нем всегда было оружие, и он сильно боялся, что я возьму его пистолет. И скандал помню: он куда-то дел патроны и у меня долго выпытывал, не я ли их украл. Я рос еще тем пареньком, что не пропустил бы возможности взять патроны, если бы их увидел...

Мать работала всю жизнь инженером, и только в прошлом году я узнал, что она родом из кулаков... Наверное, это тоже влияло, и очень сильно, на атмосферу в семье и почему родители так долго скрывали от меня свое происхождение... Сейчас я стараюсь изучить историю семьи, но даже до сих пор мать боится вспоминать о том месте, где она выросла, и долго не хотела, чтобы я поехал в ее деревню, чтобы снять там видеофильм... Я все-таки был там, снял фильм... Когда она смотрела его впервые, то плакала, второй раз — у нее началась истерика...

Они потеряли все на свете, потеряли веру во все, потому-то даже воспоминания о старом, о родных местах были для них в то время смертельными. И потому я выросал в атмосфере полной лжи.

— И до какого года отец работал в НКВД?

— До хрущевской оттепели... Я не могу назвать точной даты, когда он оттуда ушел, но ушел — не по своей воле. Помню, что уход оттуда стал для него душевной драмой. Хотя в зарплате он почти ничего не потерял... Сам я, кстати, никогда не интересовался финансовым состоянием семьи, так как всегда был сыт и одет, когда отец ушел оттуда — понял, что в семье что-то произошло...

Он был смещен, убран и начал работать в МВД каким-то инспектором... Но потом осуществилась его мечта, которую он лелеял всю жизнь... Когда он вынужденно стал пенсионером, то дошел до министра высшего образования и для него сделали исключение: после 25-летнего перерыва ему разрешили учиться в том же институте, откуда его однажды призвали в НКВД. Правда, уже на вечернем отделении... К этому времени он, конечно, позабыл не только алгебру и тригонометрию, но даже, по-моему, и таблицу умножения. Я уже был студентом и объяснял отцу элементарную математику... Он зубрил — и это было действительно так — даже таблицу умножения. Учился он честно и добросовест-

но и в конце концов получил диплом... Но инженером он успел поработать всего два-три года. Потом его здоровье полностью подорвалось...

— Как ты думаешь, твой отец был из палачей?

— Глубоко убежден: он был исполнителем, и причем самым добросовестным. Другого пути у таких людей, как он, просто не было... Но он — мой отец, и я никогда от него не откажусь... Но что мог делать на войне молодой капитан СМЕРШа? Он всегда был рядом с передовой, но никогда — на передовой... Я не слышал от него рассказов об атаках, ни о чем другом, о чем обычно рассказывают другие фронтовики... Он мне только рассказывал, как переходил из части в часть, тыл — передовая — снова тыл. Что мог он делать на войне? Что делали в СМЕРШе? Сам знаешь...

Отец — типичный патриот-исполнитель, истинно русский человек, живший в той извращенной системе, которая делала людей патриотами...

— Но давай о себе... Ты окончил школу...

— Окончил школу, поступил в МВТУ, но учился весьма своеобразно: в то время я фанатично занимался мотоспортом, гонками и даже в институт первый раз пришел на костылях, разбившись на соревнованиях... Но именно гонки привели к тому, что я успешно занимался... Я был человеком риска и всегда что-то себе ломал. И когда в очередной раз разбился, то начинал фанатично заниматься учебой, догоняя то, что пропустил...

— Отец хотел, чтобы ты стал таким, каким был он?

— Отец был человеком молчаливым, замкнутым... Замкнутость его тяготила, но для него это было единственно возможным состоянием, которое давало ему чувство самосохранения. Только однажды, когда я уже заканчивал институт...

Да, скорее всего он совершенно четко предвидел мой будущий путь, потому что какие-то весьма солидные граждане уже подходили ко мне, куда-то меня вызывали, начинали со мной беседы о моей дальнейшей жизни (очевидно, мне предназначался такой же путь, как и отцу)... Так вот, однажды отец что-то заподозрил, или, может быть, с ним провели беседу, но как-то утром, когда я уже собирался в институт, он мне сказал как бы невзначай, прячась от себя: «Не надевай погоны... Не повторяй моей ошибки... Только одно запомни, сын: этого не делай»... Это было его единственное откровение в жизни, единственный душевный порыв, которому я был свидетелем...

Но в то время я был настоящим советским патриотом и в погонах, в служении государству я видел истинное предназначение человека и его главный долг.

— А когда ты впервые лицом к лицу столкнулся с сотрудниками КГБ?

— Я учился на втором курсе... Был активным комсомольцем и как должное принимал то, что партия ведет нас к светлому будущему. Я горько плакал, когда умер Сталин, и эти слезы были совершенно искренними. Тем более, для меня они были слезами и покаяния: я не очень хороший и должен стать лучше. Смерть Сталина вдохновляла меня на какую-то лучшую жизнь... Правда, тогда мне было 14...

— Как я понимаю, НКВД, так же, как и КГБ, не оставлял своих людей после отставки и следил и за их судьбами, и за судьбами их детей?

— Да, это совершенно точно. Суди сам: студента, человека почти с улицы, неожиданно зовут на курсы «Интуриста», на которых готовили гидов-переводчиков. На этих курсах, кстати, я был единственным студентом технического вуза, все остальные — преподаватели различных вузов, в том числе и преподаватели английского языка. Я же пришел с полным незнанием английского: из-за своих гонок я часто пропускал занятия.

На месячных курсах я сделал то, что, может быть, не сделал бы и за несколько лет: начал серьезно заниматься английским.

А когда я летом стал работать в «Интуристе», то мне тут же дали американскую группу — понимали, что я свой парень.

— Так ты впервые начал работать на них?

— Меня прикрепили к американской семье, и тут-то началась моя первая обкатка как будущего агента.

— Как это происходило? Где?

— Администратор гостиницы сказал, что со мной хотят поговорить. В таком-то номере. Поднимаюсь на этаж, стучу в дверь номера. Меня уже ждут... И — начинается разговор. Делается это совершенно спокойно, естественно, очень педагогично, демократично... И я поверил: то, что мне предстоит делать, действительно необходимо. Ведь, в конце концов, среди американцев есть шпионы и кто угодно еще, и я ничуть не задумывался над тем, хорошо или плохо то, чем мне предстояло заниматься. Эту просьбу я воспринял совершенно естественно.

Атмосфера, в которой я рос, была и моей атмосферой. Я вырос с генами своего отца. Но отец-то был сломлен: он родился в другом обществе, в другой семье, и ему приходилось адаптироваться к такой жизни. Мне же не надо было никакой адаптации: я уже был воспитан в том, что то, что мне предлагают, — вершина человеческого долга.

Я гордился данным мне поручением и решил свято соблюдать все правила, в том числе и правило конспирации. Я знал, что никак не должен был выдавать себя.

— А приходилось выдавать?

— Да... Однажды мне сказали, что у Елоховской церкви будет крестный ход и мне надо туда пойти и постоять там, стараясь быть поближе к иностранцам... Мне сказали: «Поезжай в обычном виде» — то есть как разгильдяй-мотоциклист... Приехал, поставил в стороне мотоцикл и начал шастать по толпе... Уже наступала ночь. Больше становилось людей, и милиции — тоже больше... Вижу — идут молодые люди, песни поют... Но не особенно политические — такие-то вещи я научился отмечать для своих «новых друзей»... И вдруг наряд милиции во главе с низкорослым капитаном начал вытаскивать из толпы этих ребят и избивать. Я увидел, как они заломили пацана лет пятнадцати, зажали его и начали бить в пах, в живот... А он уже обмяк и не сопротивляется... А низенький капитан, как Наполеон, указывал пальцем, кого еще схватить.

— На тебя тоже указывал?

— Нет, я был постарше... Мне было легко и просто... Я стоял... Шарф, пропыленное лицо, по которому если проведешь пальцем — обязательно останется след. То есть обычный образ мотоциклиста... Но когда я все это увидел, то подошел к капитану и вежливо, даже изысканно (что, наверное, его особенно сильно покорило — чего я принципе и добивался) сказал ему, глядя сверху вниз: «Товарищ капитан, вы нарушаете социалистическую законность... Тем, что вы избиваете этого мальчишку, вы оскорбляете всех остальных граждан, которые все это видят»... Язык у меня был подвешен довольно хорошо: на политзанятиях в институте я выступал лучше всех.

— Ты подошел, чтобы на этом капитане испробовать свою тайную силу, которую наверняка ты уже начал чувствовать?

— Нет... Мне хотелось узнать — бьют в милиции или нет. Это любопытство распирало меня давно. Сам я никогда ничего не нарушал и был очень дисциплинированный... Не пил водку, потому

что занимался спортом... Был примерным студентом. Я просто высказывал капитану свое возмущение. Высказал и тут же получил удар в плечо. Я понял: они хотят, чтобы я начал драку, и потому плотно сжал руки у себя за спиной. Капитан толкнул меня еще раз, я еле удержался... Тогда он пнул меня сапогом. Со всей силы (потом у меня еще много лет болела кость). Капитан заорал: «Это — главарь!» Они расцепили мне руки... Я не защищался — дал себе задание терпеть... Меня завели за Елоховскую церковь, туда, где не горели фонари, и там били как следует. Потом затащили в автобус... Там уже били по-настоящему и сурово... Били двое. Я только сцепил руки на животе, потому что они старались бить по печени и по почкам (тогда, кстати, их и отбили первый раз).

— И ты им не крикнул, кто ты, откуда, чье выполняешь задание?

— Нет, нет... Я знал, что об этом нельзя говорить никому! Потом я упал как бы без сознания, но они продолжали и продолжали меня бить... Потом автобус поехал... Привезли в районное отделение милиции. Я попросил бумагу, чтобы написать заявление. Мне дали, и я все описал, что со мной делали... Меня в конце концов отпустили и сказали, что вызовут утром...

Но утром меня вызвали в КГБ...

— А как они узнали, что с тобой произошло?

— Я сам позвонил утром и объяснил, почему не был в условленном месте, на конспиративной квартире, где мне обычно назначали встречи...

— А что она из себя представляла?

— Обычная квартира... Приходишь, звонишь, там тебя встречают... Жилец обычно уходит в другую комнату, а с тобой начинают беседовать... Я пришел, рассказал, что со мной случилось, написал заявление... Сотрудник КГБ сказал, что меня обязательно вызовут на допрос в милицию...

— И вызвали?

— Да, на Петровку... Там я составил еще одну бумагу. Мне сказали, что вызовут в суд и этому гаду достанется... Но меня больше никуда не вызывали, и, как я понял, с «этим гадом» так ничего и не сделали.

Я этот случай запомнил надолго: да, в милиции бьют, но что бьют — никогда не докажешь.

— Скажи, а когда ты учился в институте, тебе не предлагали стучать на однокурсников?

— Было и это... Было... Я, повторяю, был активным комсомольцем, но когда мне предложили это, впервые родилось какое-то небольшое сомнение, ощущение неловкости от самого такого предложения. Но люди из КГБ, которые со мной встречались, — прекрасные педагоги, и они сразу почувствовали, что подобное предложение может меня озлобить. Я все-таки рос чистым парнем, и ради своих товарищей был готов на все. Хотя и верил, что «обострение классовой борьбы» — это действительно серьезно и что за чистоту идеалов надо бороться и их отстаивать...

Но это были годы хрущевской оттепели. Наступало время прозрения...

Однажды девушка, с которой я тогда встречался, позвала меня с собой на площадь Маяковского. И я там с увлечением слушал стихи. Мне нравилась смелость поэтов, эти стихи щекотали нервы точно так же, как когда я слушал «Голос Америки». А потом появились молодые люди с повязками дружинников, и они вместе с милицией всех разогнали... Меня не задержали, но каким-то образом узнали, кто я и где учусь, — в райкоме комсомола. Я честно рассказал, как я попал на площадь Маяковского и что именно я слышал. Я не привык врать, но потом у меня долго щемило в душе из-за того, что я назвал имя девушки, которая меня позвала... Да и сейчас гложет совесть — ведь я практически донес на свою подругу.

Об этом я рассказываю первый раз в жизни. Это — черная тень, которая лежит на моей совести...

— Ладно. Понял... Но ты начал рассказывать о том, как тебя использовали для работы с иностранцами...

— Я работал с иностранцами, потому что был человеком, который хотя бы знает правила движения: девочки из «Интуриста» не знали даже, как заправить машину в нашем отечественном автосервисе... В Москве я бывал три-четыре дня в неделю, дежурные экскурсии по городу: Кремль, Третьяковка, метро... Иностранцы помогали мне учить язык. Они относились ко мне очень тепло: я был разбитным малым. Уже тогда я привык к двуличности, даже к триличности, в которой привычно жил...

Мне было стыдно дорог, по которым мы ехали, и этот стыд был настоящим стыдом патриота своей страны. Стыдно было полуразрушенных домов, непригодных для жилья... Хотя для меня эти картинки были естественными и привычными, а то, о чем мне рассказывали туристы, я считал обыкновенной пропагандой... Я

не задумывался, почему мы живем в такой убогости. Гены, которые мне были переданы самой атмосферой, в которой я вырос — с самого детства, не допускали никакой критичности по отношению к своей стране.

— Ты наблюдал за иностранцами, а они за тобой — наблюдали?

— Я ощущал их внимание всегда, везде и всюду. Но я понимал, что это необходимо. Я верил, что это надо, и я гордился сотрудничеством с КГБ.

У меня были различные интуристы. Но одни, очень пожилые, запомнились мне на всю жизнь. Это была американская пара, которая наняла советскую «волгу» с финским водителем. У меня не было прав, но я очень хорошо ездил, и я возил их сначала по Москве, все показывал, а они внимательно слушали и обо всем расспрашивали. Меня это покорило, я старался им показать Союз как можно лучше, и они со мной подружились. Безмолвный финский водитель сидел всегда сзади. Мы проехали по всей стране — от Москвы до Одессы. Через Умань. А потом оказалось, что в Умани нельзя останавливаться и въезжать туда. Потом меня вызвали: сначала поговорили со мной в «Интуристе», потом — более серьезные люди, очевидно, из КГБ.

Но из-за уманского случая меня больше не приглашали в «Интурист». Я обиделся, но когда позвонил в КГБ, мне дали адрес, по которому я должен был прийти... Это оказался «Спутник». Передо мной разложили, как карточный пасьянс, туры... Зарплата точно такая же — иди, работай...

И я начал работать в «Спутнике», зная не только о том, что за мной — серьезная поддержка КГБ, но и то, что КГБ знает о моем каждом шаге.

Первыми мне достались в «Спутнике» выпускники «Корпуса мира», которым в качестве подарка был дан тур в Советский Союз на три месяца. Я ездил с ними по всей стране.

Это были очень интересные молодые люди, очень эрудированные и весьма грамотные каждый в своей области. Один парень отлично знал работы Маркса и Ленина, обильно цитировал их и, ссылаясь на конкретный том, доказывал мне, что Ленин бандит и преступник... Это, конечно, резало мне слух. Но он очень толково, очень доходчиво раскладывал нашу историю так, как ее видел нормальный человек и как мы воспринимаем ее сегодня. Но тогда для меня эти слова были первым абсурдом, казались оскорблением и меня самого, и моей страны. Ведь каким я был тог-

да? Ленин свят и марксизм свят. А он говорил как враг, самый страшный враг нашей родины, один из тех, против которых я и должен был работать.

Среди этой группы молодых людей была девушка, в которую я, в общем, влюбился. Ко мне она тоже хорошо относилась. Все это было романтично и интересно... И я ей написал потом, через год, одно-два письма... Она мне ответила. Но потом переписка закончилась, потому что я знал и в это свято верил: плохо, преступно переписываться с человеком из-за границы.

Потом меня перевели на секретную специальность, общаться с иностранцами стало невозможно, и лишь изредка поддерживали со мной связь сотрудники КГБ.

— Ты выходил с ними на связь или они с тобой?

— Я знал телефон (начинаются все эти телефоны на «224», в то время «Б-4»), но чаще, раз в два или три месяца, раздавался звонок от них.

После института я начал работать на довольно секретном предприятии. Свой дипломный проект я защитил с отличием. Стал инженером, получал на 10 рублей больше других и думал, что светлое будущее мне гарантировано. Но кроме того я был гонщиком, и именно в этом была моя раздвоенность. Инженер, сотрудничаю с КГБ и вместе с тем — грязные гаражи и фанатичные занятия мотогонками. И однажды я решил все бросить, резко изменить свою судьбу и отправился работать на ракетный полигон.

— И сильно изменилась судьба?

— Я жил в гостинице космонавтов, вместе с испытателями и инженерами. Что больше всего запомнилось? На полигоне царил дух тюрьмы и зоны. У нас, инженеров-испытателей по системам заправки, всегда был спирт, что давало нам огромные привилегии... Пьянство процветало со страшной силой, на спирт можно было выменять боевую гранату. Спирт не доходил до ракет, трубы им мы не мыли... Я восстал против этой системы, но тех, кто противился, — просто избивали... Один наш парень восстал против главара. Его напоили и со страшной силой избили... Полуживого я нашел его в степи...

Тогда я собрал пять человек и из гостиницы космонавтов переехал к «черной кости», к монтажникам.

Это был одноэтажный барак: грязь, сырость, холод... Но жили мы дружно. У нас тоже был спирт, но на него мы меняли мясо. Я сам готовил и кормил ребят, а они просто хотели бросить пить.

Там многие спивались. Мне приходилось отправлять людей домой с белой горячкой. Когда человек жрет мыло, убегает в степь... Ловишь его в степи, изо рта пена... Жестоко и тяжело...

Там, на Байконуре, работали в основном изломанные люди. Одни просто мечтали заработать: кто на квартиру, кто на машину... Другие — сбежали туда оттого, что дома не сложилось.

Я там всегда ходил с ножом... Готов был убить любого, кто поднял бы на меня руку. Но на меня не замахивались...

Мы должны были уехать в Москву, для переоформления командировки. Мой товарищ (из тех, кто ушел вместе со мной из гостиницы) должен был забрать в гостинице свой паспорт. Пошел туда и не вернулся. Я долго ждал его у подъезда, но понял — там снова пьют. Я поднялся и попытался его увести. Но мой начальник, огромный такой дядька, совершенно пьяный, сказал: «Ты чего! У меня день рождения! Пей!» — «Я не пью». «Ты что, брезгуешь!?» — пьяно спросил он меня. Я ответил: «Если ты думаешь, что это так, то да, брезгую...» И вдруг — молниеносный удар в челюсть такой силы, что челюсть выскочила из сустава. На мне нависли трое. Меня крутили, а я смотрел на стол. Что я хотел найти там? Нож, вилку, все что угодно... Я понял, что должен его убить. Но ни ножа, ни вилки не было — на столе стоял только толстенный графин, обмотанный изоляционной лентой, чтобы не было видно, сколько там спирта. И тогда я вырвался, схватил графин, перепрыгнул через плечи тех, кто стоял у стола, и ударил графином своего начальника. Я разбил ему череп, повредил какие-то артерии — на два метра вверх брызнула струя крови. Я попятился назад и выставил осколки разбитого графина. Но закон тюрьмы был там известен — все опустили руки.

Мне уже не хотелось убивать своего начальника — я переживал за него. Я подошел к столу, опустил на стол разбитый графин и сказал: «Теперь ваша очередь»... На меня накинулись с криками: «Его надо выбросить из окна!» (а это был четвертый этаж!). Подтащили к окну, кто-то уже открывал его, но тут начальник закричал: «Не трогать!».

Ну а потом... Потом был приведен военный врач и за две бутылки спирта наложил начальнику швы. Потом мы с моей жертвой сели за стол. Все остальные, помню, куда-то попрятались... Начальник сказал мне: «Ты меня чуть не убил...». Мы долго разговаривали.

Оказалось, что он совершенно одинокий человек. С женой в разводе. Дома осталась одна мать, которой он писал письма... Меня потрясло его отношение к матери... Мы с ним начали пить этот спирт.

Для него это было привычным делом, для меня же — нет. Я пил его как воду, не чувствуя, что пью... Я не помню, как меня донесли до моего барака... Помню только, как там убирал за собой блевотину...

Через несколько дней мне позвонили из Москвы: «Ты где!? Мы купили тебе мотоцикл, единственный на всю команду, а ты почему-то исчез». Мне сказали, что я должен готовиться к чемпионату Союза. Я быстро рассчитался и уехал в Москву.

— Константин, как я понял, там, на Байконуре, ты потерял контакты с КГБ. Ты их не искал, и они тебя не трогали?

— Да, все снова началось в Москве... Вернулся, с той работы уволился, устроился на другую, в научно-исследовательский институт автомобильной промышленности. Это была одна из тех бумажных контор, которыми как трутнями была обвешана страна: там не платили хороших денег, но никто особенно не заставлял работать.

Там я проработал семь лет, и с меня наконец-то сняли секретность.

— Для тебя это было так важно тогда?

— Конечно... Я стал ездить со сборной, добился хороших результатов в мотогонках на льду и впервые увидел другие страны. Но тогда я был слеп, и увидев их — я не увидел ничего...

В моей голове был только спорт, только гонки...

Я жертвовал собой, перед каждым заездом я прощался сам с собой...

Однажды на соревновании мне сказали: «Ты не должен пропустить его вперед». А это был бывший чемпион мира, знаменитый чех Антон Шваб... Я сказал: «Нет, он не придет первым».

Я не смог выиграть у него старт, но каждый мой поворот угрожал его жизни. Он это понял... Четыре или пять виражей он держался, а потом остановился...

— Так испугался тебя?

— Он встал, чтобы его остановили судьи... Он понимал, что я мог его убить... Но я не нарушал правил! Я приехал на финиш первым — он не приехал вообще и потерял шанс стать чемпионом.

Мне сказали, что такое было первый раз в истории мотогонки. Я вернулся домой на коне...

А через несколько месяцев разбился... И меня все бросили, никто из команды так и не пришел ко мне в больницу. Мне даже не на что было купить еду. Жена ждала второго ребенка, а я был брошен всеми...

Тогда-то я позвонил по телефону, который всегда помнил. Объяснил, меня попросили перезвонить... Звонил несколько раз, пока мне не сказали, что есть одно место: работа с иностранцами... Помню, я потом очень долго звонил по телефону, который мне дали. Мне регулярно отвечали: подожди, подожди...

Звонил я из больницы, тщательно скрывая, что у меня начала отниматься рука и не проходили головные боли...

Я прошел тогда четыре больницы. Я не хотел идти на инвалидность...

Когда я наконец-то уже вышел из больницы, мне сказали по телефону: можешь прийти по такому-то адресу... Там оказалось УПДК — Управление по делам дипломатического корпуса.

— Там знали о том, кто за тобой стоит?

— Конечно... Я же шел по проторенной ими дороге, и меня приняли как своего... И — пошла плотная работа с КГБ.

— Тебе тут же начали давать задания?

— Я хотел бы сказать о другом... Когда я впервые отправлялся на соревнование в капиталистическую страну (до этого я был только в Болгарии), меня вызвали в ЦК. Весьма уважаемый дядя очень учтиво и серьезно разговаривал и вдруг спросил: «А вот вам из Америки писали?» А ведь прошло уже много лет, когда я переписывался с той американской девушкой... А он мне все твердил: «И вам писали, и вы писали...» Я понял: там ничего не забывается! Это стало еще одним подтверждением, что обо мне знают и помнят. И я понял, что ничего не должен делать того, что не положено...

Это, повторю, было перед первым моим выездом на Запад.

Там я все время чувствовал, что за мной следят... Скорее всего я ошибался. Но это было заложено в каждом советском человеке, попавшем за границу: казалось, что все спецслужбы нацелены на тебя.

Это сидело в тебе, и ты даже не хотел от этого избавиться: само собой подразумевалось...

— Ладно, и что в УПДК? Тебе сразу же предложили английское посольство?

— Да, и сразу же — шофером к послу. Я принял это как большое доверие и великую честь для себя... Тем более что тогда я имел лишь третий шоферский класс...

На подобную работу принимали только коммунистов. Я же не был членом партии, но на это не обратили внимания. Я шел как по маслу...

— Естественно, что ты шел как по маслу... Но не один же ты такой был в УПДК? Как я знаю, вся эта система была пронизана духом КГБ?

— Не только в КГБ дело. Это — еще та система. Я никогда не приносил подарки начальникам, но знал, что другие-то ташут. Но от меня никто не требовал — все было тихо.

— То есть твоя связь с КГБ спасала тебя от поборов?

— Конечно... Только однажды (это было несколько лет назад), когда сотрудники УПДК стали часто ездить за границу, у нас появился новый большой начальник, заместитель по режиму, то есть человек, от чьей подписи зависел выезд... И он стал просить: «У меня — плохая резина. Ты ничего не придумаешь?» Да, в посольском гараже можно было кое-что достать, как, в принципе, и в самом посольстве. Короче, комплект резины я ему достал. И вот — очередной выезд — он не подписывает документы. Почему, не могу понять. Пошел к нему. Он закрывает кабинет, спрашивает, что я буду пить? А в сейфе — виски, коньяк, водка... Я отказываюсь: «За рулем». — «Да ладно, вас не трогают...» Посидели — и он мне сказал, какого размера ему нужны джинсы...

Я вернулся в посольство и сказал, что ни в какую за границу я не поеду.

— Сказал англичанам?

— Нет, советскому администратору. Я ему сказал: «Добивайтесь сами моего заграничного паспорта. Я должен только прийти к вам и его забрать — с визой и со всем, что надо. А с этим из УПДК я не хочу иметь ничего общего».

— И что?

— Буквально через две-три недели тот большой чин из УПДК был уволен. Как понял, его высчитали, хотя я и не называл его фамилии. Скорее всего, с таким же предложением он обратился еще к кому-нибудь...

Кстати, тот же генерал предлагал мне за большие деньги чинить автомобили: у него было два гаража, и он, очевидно, налаживал свое производство, предвидя перестройку...

— Но, как я понимаю, ты был направлен в английское посольство не для того, чтобы разоблачать взяточников из УПДК?

— Ну да... Кстати, англичане меня приняли великолепно, не зная, что я двулик — в буквальном смысле этого слова... Я, допустим, отношусь к человеку хорошо и преданно, но тем же вечером я встречаюсь с другим человеком...

— Из КГБ?

— Да... И все рассказываю об этом человеке из посольства.

— Где вы обычно встречались?

— К тому времени у меня самого уже появился автомобиль. Это было очень удобно для наших встреч... Хотя время от времени мы встречались на конспиративных квартирах...

— Часто происходили такие встречи?

— Были постоянные телефонные звонки. Часто встречались, если предстояла какая-нибудь важная акция.

— Что подразумевалось под словом «акция»?

— Это означало, что я должен был уделять человеку особое внимание... Мне просто говорили, что этот сотрудник посольства представляет особый интерес. Меня не интересовало, для чего и как.

— И все-таки, что именно интересовало?

— Бабник ли этот сотрудник посольства, стяжатель ли и так далее. То есть для них были интересны его пороки... Для того чтобы лучше узнать человека, я придумывал с ним всякие игры. Вплоть до валютных... Хотя в принципе на валютные меня не очень тянуло... По натуре я был другим человеком.

— И каким же образом ты старался проникнуть в души англичан?

— Через автомобили. Я за незначительные суммы чинил их машины, начинал с ними дружить, приглашал к себе домой... В доме — обычно застолье, пьянство... Иногда они проговаривались о своих делах... Тех, что меня интересовали. Вернее, не меня. ИХ! Я считал, что посольства имеют свои спецслужбы, в задачи которых входило вредить моему государству и получать информацию, которая может нам повредить. Да, такие службы должны, конечно, быть, и они есть. Но то, что я наблюдал, все больше и больше подталкивало меня к выводу: масштабы КГБ несоизмеримы с аналогичными западными службами.

У меня на памяти множество сотрудников КГБ, с которыми я общался. Были среди них и те, которых я вспоминаю нормально... От одного из таких, нормальных, я как-то услышал: если прикажут — он не остановится ни перед чем, каким бы плохим, нечеловеческим ни было его задание. И сказал мне это в принципе человек хороший. Но он — плохой, потому что он делает несправедное дело и организация его несправедная. И она не должна быть такой.

— А от общения с иностранцами у тебя тоже начиналось какое-то прозрение?

— Однажды я работал над одним «объектом» из посольства. Как я понимал, он был из спецслужбы... Эти люди обычно мало общаются с русскими и очень серьезно относятся к своей секретности, и потому этот человек был мало кому доступен из русских... Но мне повезло.

— И чем же ты его взял?

— У него была дорогая машина, а ее помяли... И на этой почве мы сблизились. Он стал бывать у меня в гостях, и все было нормально, то есть это были нормальные человеческие отношения, но ОНИ узнали об этом. Оперативник КГБ Володя, с которым я тогда общался, был человеком весьма тупым, твердолобым и без творческой замашки — стал толкать англичанина на откровенное предательство. И тогда я понял, что родина — это не только коммунизм, Ленин и Советский Союз. Для англичанина родина — Англия, такая же, как для меня — СССР. Тот англичанин оказался достойным патриотом своей родины, и это вызвало уважение. И я сказал: «Володя — не надо его трогать. Он же мне поверил, что я подружился с ним просто так». Володя посмотрел на меня как на идиота...

А потом мы вместе попали в аварию. Мы ехали ко мне домой, маленький сын баловался в машине с дверцей. Я сделал резкий поворот, и сын вывалился из машины. Англичанин ехал за мной, и он прикрыл сына своей машиной — не дал транспортному потоку раздавить его. Вот так это было...

И я повторил своему куратору: «Не трогай его! Он — патриот своей страны, и для нас хорошо, что он не пойдет на предательство... Хотя бы идеологически нужно. Они должны понять, что среди нас тоже есть хорошие люди...»

— И чем закончилась эта история? Удалось твоему куратору завербовать этого англичанина?

— Он удивительно быстро уехал из Союза... Произошло это так. В моем доме я познакомил его с Володей. Между ними на кухне произошел какой-то нехороший разговор. Очевидно, тот склонял его на какую-то грязь...

— Ты переживал из-за этого?

— У меня начали открываться глаза...

— Скажи, в УПДК, как мне известно, следили не только за иностранцами, но и друг за другом? Ведь вся эта Система была пронизана стукачами...

— Меня и на это склоняли... Я пришел в УПДК довольно зрелым человеком. В студенческие годы сознание мое еще было не оформлено, но я уже серьезно относился к людям и к морали. Хотя, конечно, что это была за мораль... Отношение к общечеловеческой морали было испорчено еще в детстве. Мораль была коммунистической, главное в которой: если ты защищаешь ленинские идеи — то для этого хороши все средства. Так нас воспитывали...

Когда я только пришел на работу в английское посольство, мне было предложено сообщать об атмосфере, царившей там среди русского персонала, о людях, об их привычках... Я отделивался общими фразами и не хотел называть фамилии. А потом в открытую сказал, что это мне не подходит. От меня отстали... Правда, раза три-четыре снова подступали, но весьма и весьма осторожно, зная мой характер.

Однако я совершенно убежден, что если не все, то абсолютное большинство русских, работающих в посольствах, стучат друг на друга...

— То есть ты был в Системе, но не считал себя выше, чище Системы?

— Не совсем так... Я ИМ что-то сообщал, и получал за это разные льготы и послабления. Мне прощалось все на свете, даже если я что-то делал не так. Я опаздывал на работу — на это закрывали глаза. Я совершал аварию — мне ее прощали... Но я работал на НИХ очень самоотверженно, потому что, повторяю, видел в англичанах и других западниках врагов.

— Да, трудно, Костя, тебе пришлось...

— Ну что «да»? Все это было, было... Но потом все чаще и чаще я стал думать: если они враги, то почему с такой болью относятся к тому, что у нас происходит? И я стал все реже и реже ходить на встречи со своими кураторами.

— Ну а они? Как они сейчас?

— Милиция, которая охраняет посольство, тоже из этой же Системы. И вот один из милиционеров сказал мне недавно в большом подпитии: «Костя, остановись! Что ты делаешь! Я видел твоё дело в 5-м управлении... Тебя уже под расстрел можно... На тебя там столько нарисовано — страшно стало!» И я понял, что уже давно у них под колпаком.

— Они сейчас пытаются на тебя воздействовать?

— Я ни от кого не скрываю, что со мной происходит... Свои взгляды, свои сомнения... Они знали, что когда-нибудь я скажу всю правду, какой бы страшной она ни была... Со мной сначала терпеливо, часа по два-три беседовали... Они поняли, что это бесполезно. Я стал уже не тем, что раньше... Им это очень не нравится...»

Исповедь Константина Д., шофера английского посла, была опубликована в двух номерах «Литературной газеты». Теперь о том, что не было напечатано, да и не могло быть напечатанным тогда.

Когда вышла первая часть нашего диалога, разразился колоссальный скандал, и прежде всего — в Англии.

Я это почувствовал и сам, когда, приехав утром в редакцию, застал на пороге своего кабинета целую толпу английских коллег с микрофонами, блокнотами и телекамерами.

— Что он еще сказал? Что будет напечатано на следующей неделе? Возил ли он Маргарет Тэтчер? Какие сведения он передавал на следующей неделе? — посыпались на меня вопросы.

— Стоп, ребята! — оборвал я своих коллег. — Дождитесь следующей недели, все узнаете!

— Ну, а мне ты можешь показать текст? — отозвал меня в сторону Питер Прингл, корреспондент «Индепендента», с которым мы были знакомы уже давно и успели подружиться.

— Питер, обещаю тебе! Ты увидишь полосу до того, как ее увидят все, то есть на день раньше. Сейчас — не могу...

Тогда же, помню, Питер рассказал, что утром целая толпа журналистов — и не только англичан, американцев, канадцев, — приехала в английское посольство на Софийской набережной в надежде встретиться с самим Константином, но дальше ворот никого не пустили: у посольства была выставлена усиленная охрана.

Я волновался: что там с самим Константином, где он, как? Но связаться в тот день с ним не было никакой возможности.

Он позвонил мне сам поздно вечером и рассказал, что его целый день прятали от журналистов в дальних комнатах посольства.

— Посол очень расстроен, — сказал Константин. — Он мне сказал: «Ну был агентом и оставался бы им! Зачем же поднимать скандал вокруг этого!»

После публикации второй части его исповеди (а как я и обещал Питеру, он прочитал ее раньше своих коллег, и «Индепендент» опередила на один день другие британские газеты), мы решили провести в редакции пресс-конференцию.

В нашем зале было темно от многочисленных телекамер, и наших, и не наших.

Я, честно, сам удивился тому, что вдруг эта публикация стала сенсацией для западников: неужели они не понимали, что все русские, от секретарш до горничных, так или иначе связаны с КГБ?! Потом понял, в чем дело: знали-то знали, но он-то впервые признался в этом открыто! И то, что для журналистов стало сенсацией, для него-то самого было поступком, личным, нравственным выбором, который должен был резко переменить его жизнь! Ведь как-никак долгая работа в посольстве делала его жизнь куда более обеспеченной, чем у многих и многих жителей страны!

Я вел эту пресс-конференцию, и у меня осталась ее стенограмма.

Сначала Константин сам попросил слова, чтобы сказать:

— Меня волнует, как мы просыпаемся. Много уже было потрясений, изменений... Многие узнают себя в этих статьях. Я не собираюсь указывать, кто есть кто. И из меня не надо делать Джеймса Бонда. Я — та самая масса, которая и сделала КГБ монстром... Мы должны проснуться и понять, что мы живем в цивилизованном мире: с коммунизмом, с «Лениным в балде», как говорил Маяковский, мы никуда не придем. Если мы сами не изменимся, если сами не будем презирать тех, кем мы сами были, то ничего у нас не изменится.

Его спросили, насколько эффективной была его работа для КГБ в качестве шофера английского посла?

Он ответил:

— Моя работа была эффективной в том плане, что я добросовестно выполнял работу шофера посла Великобритании. Что касается той моей другой работы, то никакой особой эффективности я в ней не видел, и я не раз говорил об этом своим кураторам, кото-

рые меня передавали из рук в руки. Все это для галочки, для отчетов, для изображения большой работы в борьбе с империализмом.

Его спросили, боится ли он сейчас, после публикаций, за свою жизнь?

Он ответил:

— Сейчас я боюсь значительно меньше, хотя идиотов у нас много. Мы еще страна Зазеркалья.

Спросили и о том, как сам посол отнесся к его поступку?

— Уверен, что радости все это не доставило, и я хочу извиниться перед послом, перед сотрудниками посольства, но я не видел другого пути.

Спросили его и о том, как он видит свою собственную судьбу.

Он ответил:

— Мне сейчас, конечно, работать очень тяжело, но английские дипломаты понимают, как мне тяжело, и не задают бестактных вопросов. Посольство не против, чтобы я продолжал работать. Но мне вообще-то можно заняться и другими делами...

Пресс-конференция закончилась поздно, а потом еще — по просьбе одной популярной телепрограммы — мы делали с ним круг за кругом на его еще посольском автомобиле, и он еще и еще раз говорил о своей странной судьбе.

Еще несколько дней пошумели об этой истории — и у нас, и на Западе, — а потом она, естественно, стала постепенно забываться. А сам Константин продолжал жить, нелегко жить: от безвестности — к славе, от славы — снова в безвестность.

Нелегкое это состояние.

Помню, перед самой публикацией я его спросил:

— Еще раз подумай, стоит ли? Может, не надо?

Он тогда ответил:

— Я уже обо всем подумал.

Спустя несколько лет он мне скажет, что из-за меня пошла кувирком вся его жизнь.

Да, через какое-то время из посольства он ушел. Зарабатывал себе на жизнь тем, что делал видеоролики с разных свадеб и юбилеев. Думаю, что неплохо зарабатывал.

Но как мало этого было для его взрывной кипучей натуры!

Время от времени мы виделись, и он, человек старше меня на десятилетие, просил меня дать ему какое-нибудь настоящее, рискованное дело. Но что я мог ему предложить...

В 1993 году во время известных событий он снимал всю эту заваруху из всех горячих точек. Потом, помню, носился с солдатом, которого осудили за убийство офицера: ездил, снимал, осаждал суды.

Ему было мало обычной, обыкновенной жизни.

В 1995 году мне предложили баллотироваться в Госдуму от «Яблока», возглавляя московский список. Я попросил Константина побыть месяц моим водителем («Яблоко» даже выделило мне на это тысячу долларов: кстати, это были единственные деньги, которые нашлись на мою избирательную кампанию, и когда слышу о том, что человек потратил на выборы сто тысяч долларов, миллион, шесть миллионов, до сих пор не могу понять, на кой такие деньги? У нас же все-таки не Америка).

Константин работал с энтузиазмом революционера, которого позвали на баррикады, и мне все время приходилось успокаивать его, что за мной никто не следит, не собирается устраивать провокаций и уж тем более — не собирается покушаться на мою жизнь.

Но я понимал, что без этого, без такого — жизнь для него и не жизнь.

Ну а потом была Чечня. Война.

Константин попросил, чтобы я взял его с собой в одну из поездок (а тогда я впервые ехал как депутат Госдумы, пригласив с собой группу журналистов, наших и американских).

Кажется, это был февраль 96-го, примерно за неделю, до штурма Новогрозненского.

Все было как всегда — здесь, в прифронтовой полосе.

Мы сидели в гостинице на берегу Каспия и ждали, ждали, ждали: не было человека, который должен стать нашим проводником туда, на войну; он появится вот-вот, он появится завтра; будет машина, не будет машины, а если будет — то сколько.

Впервые я поехал на эту войну не один — группа журналистов, несколько телекамер. И еще — Константин со своей любительской камерой.

Наконец, все. Пора ехать. Понимаю, что один человек — лишний. Понимаю, что лишний — это Константин: он не из газеты, не из радиостанции, не из телекомпании. И он понимает это. Смотрит на меня умоляющими глазами. Ладно, как-нибудь уместимся, решаю я.

Потом — дорога...

Приведу страничку из чеченского дневника, в котором зафиксирована именно эта поездка.

«Я был здесь год назад, в начале, этой идиотской войны. Тогда брали Грозный, поднимая над бывшим зданием обкома партии российский флаг. Тогда хотя бы было понятно, где проходит линия фронта — того фронта, который мы сами провели на территории России. Сегодня уже совсем ничего непонятно. Едешь километр — федеральный блокпост. Еще километр — блокпост дудаевских боевиков. Посмотришь направо из окна машины — поле, грязь, землянки, танки, бэтээры, пацаны в солдатской форме, уныло глядящие нам вслед. Въезжаешь в село — такие же ребята с автоматами. Но уже не те, другие. Противники тех, кто сидит в грязи. Наш провожатый подсаживает в машину человека в камуфляже. Протягивает руку: «Я замкомандира полка по хозяйственной части». И тут же поправляется: «Ополченческого полка». То есть не нашего. Вражеского. Того, другого, с кем воюют измученные от бессмысленности этой войны федеральные войска.

Здесь нет линии фронта. Здесь — шоссе между Ростовом и Баку, на нем вперемежку стоят то блокпосты федеральных войск, то посты войск, состоящих из людей, старых и молодых, которые совсем еще недавно прошли ту же самую, что и их враги, школу Советской Армии...

У въезда в Новогрозненское — рынок. Бегают дети. Толпа, женщины. В киосках — почти московских — «сникерсы» и пепси. Здесь — мир. Всего в полукилометре от войны.

Новогрозненское — селение между двумя блокпостами, где еще за несколько дней до нашего приезда, до того, как их перевезли в горы, находились новосибирские омоновцы, плененные под Первомайском.

Обычный поселок, в котором ничто не напоминает о войне. Кроме одного: именно здесь намечена встреча и переговоры о судьбе пленных с Асланом Масхадовым.

Я думал увидеть окопы, посты, вооруженных до зубов боевиков, услышать: «Стой, руки вверх! Стрелять буду!» — рассчитывал испытать наконец-то чувство опасности прикосновения к происходящему. Да ничего подобного! Поселок как поселок, люди как люди, дороги как дороги, машины как машины, жизнь как жизнь. Только встречи неожиданные.

Бывший зоотехник, а ныне полевой командир Насир Хаджи представляет парня:

— Это Ибрагим. Он провел операцию по разблокированию Первомайска. Расскажи, Ибрагим... — И тут же мне: — Он у нас парень скромный. Не любит говорить...

То, что я видел тогда — Константин снимал на свою камеру. Снимал страстно, нервно, пытаясь зафиксировать то, что видели мы: и эти окопы, и рынок с мирно бегающими детьми, и вертолеты, низко баражирующие над нашей маленькой колонной, и полевых командиров, и Аслана Масхадова... А я понимал: вот то, о чем он мечтал все последнее время — и риск, и действие, и собственная нужность.

Но потом я краем уха услышал его разговор с чеченцами:

— Кем я был! Я был уродом! Я был агентом КГБ! Я жил в Зазеркалье! Я был подонком!

И — похолодел.

Я знал, что означают эти слова — «агент», «КГБ» для чеченцев, которые в каждом, кто бы ни проникал к ним, в расположение главного штаба, видел агента КГБ. Я знал, чем для каждого из нас это может кончиться. Включая и наших дагестанских провожатых.

Тогда я ему ничего не сказал. Что-то буркнул, проходя мимо.

Но уже по возвращении в Махачкалу, когда я оставался в гостинице, а он с несколькими журналистами пошел к кому-то в гости, помню, как поздно вечером раздался стук в дверь и кто-то из ребят, приехавших со мной, сказал:

— Д. остался там. Он всем рассказывает, что был агентом КГБ. Он кается там... Его надо остановить...

Я тогда страшно разозлился на Костю. Злость осталась и по сей день: невозможно же быть постоянно кающимся, находя в этом свое жизненное предназначение.

Но сейчас думаю: прав ли я был тогда, прав ли сейчас, перестав встречаться с ним.

Думаю, нет.

Человек, однажды попавший в эту ЗОНУ, не может выйти из нее. Здесь — не кончается срок.

Можно говорить о тех несчастьях, которые принесли агенты, сексоты, стукачи тысячам и миллионам людей на протяжении нашего странного века.

Но им-то самим как найти слова оправдания?

Как им-то жить?

И об этом эта книга.

## **ПОРТРЕТЫ НА ФОНЕ ПЕЙЗАЖА: «ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО» ОБРАЗЦА 1980-ГО**

Статьи именно с таким названием в «Литгазете», в которой я тогда работал, не было. Из названия исчезло слово «ленинградское», наверное, потому, что тогдашний главный редактор, Юрий Воронов (ныне уже, увы, умерший), сам был родом из Ленинграда. Но это — самое маленькое приключение, случившееся с этой статьей.

Ох эта жизнь! Как часто я проклинал ее, радуясь каждому ее мгновению. Почему так, а не иначе, почему эта страна, а не другая, почему это время, а не какое-нибудь полегче... Но так я думал больше в собственной журналистской юности, а уже потом привык, притерся и даже начал считать, что именно в этих бесконечных приключениях и есть ее смысл, а вместе с тем — и само объяснение самого факта моего в ней присутствия.

О самой этой истории я узнал куда позже, чем она началась.

Хотя в Ленинграде (так назывался раньше Санкт-Петербург — так и тянется рука к исторической сноске) о ней знали многие — особенно те, кого с легкой руки агитпропа называли творческой интеллигенцией. Но то ли потому, что суд над Константином Азадовским — формально, по крайней мере, — был не политическим, а, так сказать, чисто уголовным (и потому не вызвал такого резонанса, которого он заслуживал, не только в Ленинграде, но в Москве и других крупных центрах СССР), то ли по причине моего собственного отчуждения от Ленинграда как от города, куда хочется приезжать, — я бы пропустил мимо себя эту историю, если бы не одно обстоятельство: услышал я ее впервые не от кого-нибудь, а от Натана Эйдельмана.

По-моему, я даже помню, когда он рассказал о ней впервые.

Это был один из тех московских вечеров, воспоминания о которых впоследствии не теряют своей яркости, ты и сейчас, спустя много лет, ясно различаешь и лица за столом, и разбираешь сказанные тогда слова и даже слышишь то нарастающий, то

смолкающий гул за окном (а за окном Натана располагалась знаменитая Бутырка, притом та ее сторона, куда выходили окна камер, и каждый вечер начиналась звонкая переключка арестантов). Наверное, тот вечер крепко отложился в памяти еще и потому, что было это 19 октября, то есть пушкинский, лицейский день, и мы даже решили тогда собираться в этот день каждый год, но так ничего и не получилось: то ли кто-то куда-то уехал, потом еще какие-то приключения у каждого, а потом Натан умер...

Да... Ну вот, а тогда, в паузе между новой поэмой Фазиля Искандера и старой, гимновой песней Юлия Кима, Натан и рассказал мне впервые историю Константина Азадовского. А спустя несколько дней, Натан пришел ко мне домой и спросил, не попробует ли газета размотать этот, сплетенный КГБ, клубок. Потом уже началась обычная работа, которую, я помню, писал, заперевшись на несколько дней в одном, ближайшем от Москвы, Доме творчества.

Получилось у меня вот что (не меняю ни интонации статьи, ни того настроения, которое было у меня тогда, и ощущения времени, в котором она писалась).

Мы распахнули окно в будущее: эй, что там на горизонте! — но прошлое все рвется и рвется в наши двери, заставляя нас тревожно и мучительно думать: все ли уроки усвоены нами? Не крадется ли оно по пятам, чтобы, выждав момент, зловеще улыбнуться: «Попались, голубчики!» Не придется ли нам вновь изучать прошлое не по учебникам, а по дням собственной жизни?

Ведь как бы далек ни был год 37-й от 80-го, какое бы огромное расстояние ни отделяло 80-й от 88-го, легкомысленно было бы восклицать: «Все, все! Хватит о вчерашнем! У нас все по-новому!..»

Да нет, рано, рано...

И потому-то историю, случившуюся в декабре 1980-го, я начинаю рассказывать с позднего лета 1988-го.

... Сколько еще ждать!? Полчаса, еще полчаса... Уже заканчивается рабочий день, и мимо, весело щебеча, пробегают две девушки (судебные секретари? делопроизводители из канцелярии?), тяжело спускается по лестнице усталая женщина с хозяйственными сумками (посетитель? судья из соседнего зала?)... Что же происходит там, за закрытыми дверями совещательной комнаты? Почему же так долго?

В течение двух дней зал был полон, и сейчас вижу: никто, почти никто не ушел домой.

Многие знакомы друг с другом уже давно, кто-то познакомился здесь, в зале суда. Незнакомый человек предлагает бутерброд. Женщина вытащила из сумки термос — предлагает всем по глотку горячего кофе.

Напротив зала судебного заседания — лестница: не главная, парадная, а узкая, грязная, с выщербленными ступенями.

По этой лестнице его и вели почти восемь лет назад.

Возвращаюсь в зал, утыкаюсь в книжку. Читаю про события медленного восемнадцатого века. Ох, сколько времени прошло тогда от издания приказа до его исполнения! Как долго мчались курьеры, предлагая кому-то печальную судьбу в запечатанном сургучом конверте!..

Читаю и сначала не могу разобраться, что же отвлекает от чтения, кроме напряженного ожидания? Потом — понимаю, но, понимая, не удивляюсь: телефонные звонки там, за плотно закрытыми дверьми совещательной комнаты, где и телефона-то быть не должно. И чувствую (хотя знаю, что никогда не смогу доказать это!), что в таком же томительном ожидании находится и судья — немногословный человек со всепонимающим взглядом и два заседателя — растерянные женщины, похожие на тех, кого можно видеть в любой конторе.

Дело, которое начиналось не здесь, в здании Куйбышевского районного суда города Ленинграда, должно и закончиться тоже не здесь, в зале суда... На одно сейчас надеюсь: те, кто называет сейчас в «изолированную» совещательную комнату, поднимут головы от бумаг и, зацепившись взглядом за календарь, вспомнят, как бы им этого не хотелось, что сейчас не восьмидесятый, а 1988 год!

... Для меня и тех, кто помогал мне, эта история началась куда позже, чем для ее участников.

Осенью 1987 года Константин Азадовский принес в редакцию вот такое письмо:

«Я — историк литературы, критик и переводчик; в течение 25 лет занимаюсь литературной работой, имею более 100 публикаций, статей и книг, напечатанных как в СССР, так и за рубежом. До ареста работал заведующим кафедрой иностранных языков Высшего художественно-промышленного училища имени В.И. Мухомовой.

В конце 1980 г. ленинградскими органами КГБ и МВД было сфабриковано против меня уголовное дело: во время обыска в моей квартире мне был подброшен пакет с анашой. Обыск проводился с вопиющими нарушениями УПК; достаточно сказать, что в нем участвовали сотрудники КГБ, назвавшиеся сотрудниками милиции и не занесенные в протокол обыска. Но именно по результатам этого противозаконного обыска я был осужден в марте 1981 года к двум годам лишения свободы за «незаконное хранение наркотиков без цели сбыта».

За день до обыска на улице была задержана «по подозрению» моя знакомая (ныне моя жена) Светлана Лепилина. За несколько минут до ее задержания малоизвестный ей человек, оказавшийся провокатором, вручил ей под видом лекарства пакет с анашой. Задержание моей знакомой послужило поводом для обыска в моей (именно в моей, а не ее!) квартире. В феврале 1981 года она также была осуждена к полутора годам лишения свободы по той же статье...

Вопрос о наркотиках был лишь камуфляжем, прикрытием. В действительности дело носило политический характер. Его вели и направляли сотрудники КГБ (фамилии их известны). Они вызывали наших знакомых, склоняли их к даче ложных, порочащих нас показаний, оказывали давление на следователя, которому было поручено вести дело, и т.д.; во всех инстанциях г. Ленинграда про меня и мою жену распространялись клеветнические сведения о том, что мы якобы «враги», «антисоветчики», хранили «антисоветскую литературу» и т.д. Могло ли при таких условиях происходить объективное судебное разбирательство?

Сразу же хочу уточнить: никаких оснований для подобных обвинений в наш адрес у сотрудников ленинградского КГБ не было и не могло быть. Ни я, ни моя жена никогда не совершали действий, которые бы даже отдаленно носили политический характер. Мои встречи с иностранными гражданами всегда стимулировались моими профессиональными интересами (я занимаюсь связями русской и западноевропейской литератур, перевожу с западных языков, печатаюсь — через ВААП — на Западе). Смехотворно и упоминание в деле о «хранении антисоветской литературы». Во время обыска у меня были изъяты и переданы сотрудниками КГБ на экспертизу в горлит одна фотография и девять книг. Фотография представляет собой воспроизведение известной картины советского художника Ильи Глазунова «XX век» —

заключении Облгорлита она названа «неизвестной картиной вредного содержания». Книга «Шедевры искусства» (на итальянском языке) была квалифицирована... как порнографическая. Остальные книги: фотоальбом «Марина Цветаева», «Перед восходом солнца» Зощенко, роман Замятина «Мы» (на немецком языке), отрывки из романа Б. Пильняка «Соляной амбар», проспекты двух западногерманских издательств и т.п. — объявлены «антисоветскими» на том лишь основании, что изданы за рубежом. Впоследствии эти книги были уничтожены (я сам, собственными глазами видел акт об их сожжении).

Все это звучит настолько неправдоподобно, что может появиться мысль, что я, как человек пострадавший, сильно преувеличиваю. Увы! Стремясь сказать главное, я не имею возможности описать здесь все то, что в действительности совершалось в отношении нас: избивание в следственном изоляторе, издевательства над моей женой, камеры с «подсадными» и — как венец всему — этапирование меня через всю страну в Магаданскую область. Для чего отправлять осужденного на два года (общий режим!) в Магаданскую область?

С первых же дней, как только я оказался под стражей, я протестовал как мог против каждой незаконной акции: количество моих жалоб, ходатайств, написанных за эти годы, давно уже превысило число моих научных и литературных работ. Куда я только не обращался! Но все мои бумаги оказываются в конце концов в прокуратуре, откуда я неизменно получаю отписки в несколько строк: моя вина «полностью доказана». Ни один из моих аргументов еще ни разу не был рассмотрен по существу. Как же мне добиться правды?

С этим вопросом я обращаюсь в редакцию. У меня создалось впечатление, что дела, к которым причастны сотрудники КГБ, до сих пор находятся как бы вне закона...»

Когда читал письмо, а потом слушал рассказ самого К.М. Азадовского, помню, мелькнуло спасительное: да это же по закону восьмидесятого! Какой судья сейчас, в 1988 году, отправил бы на Колыму за «пять граммов анаши без цели сбыта»? И статьи-то такой нет в Уголовном кодексе, есть нарушение, за которое и наказывают-то не в уголовном, а в административном порядке: в худшем случае, штрафом. Но потом подумалось о другом: а по закону не восьмидесятого, допустим, а 49-го или 37-го? Да за одного Замятина на немецком языке тут же вкатили бы 25 лет с вечным клеймом пуэрто-риканского шпиона.

Но нет, ни при чем здесь анаша, ни при чем здесь Замятин! Они и были связаны между собой только потому, что ранние гости сразу же, с порога кинулись искать наркотики не в домашней аптечке, не на кухне, не в карманах пиджаков и пальто, а на книжных полках — не самом, согласитесь, подходящем месте для хранения подобного товара.

Тогда-то редакция решила командировать в Ленинград нашего консультанта, бывшего генерал-майора милиции Ивана Матвеевича Минаева, чтобы он там, на месте, взял из архива уже старое и, наверное, пожелтевшее от времени дело, изучил его и представил редакции подробную юридическую разработку. Может быть, не дело, а хотя бы редакционный анализ дела найдут возможность прочитать вечно занятые работники надзорных инстанций прокуратуры.

На следующий день звонок И.М. Минаева из Ленинграда:

— Дела здесь уже нет!

— Так где же оно?

— На днях затребовано Москвой...

Нигде, ни в одном документе (кроме, естественно, писем самого К.М. Азадовского) не было зафиксировано, что сотрудники ленинградского КГБ вообще участвовали в этой истории, но именно их участие заставляло множество людей, способных изменить его судьбу, испуганно откладывать это дело в сторону.

Ох как зловеще сильна историческая память!.. Какая магия заключена в аббревиатуре одного из множеств, если разобраться, министерств и ведомств, которых вон сколько создано в нашей стране! Но ведь должна же когда-нибудь рассеяться эта магия! Почему не сейчас, когда перестройка ежедневно изменяет наши представления, которые; казалось бы, навсегда останутся неизблемыми? Ведь должен же восторжествовать закон, а не шепот, намеки, тихие указания по телефону?..

Именно на это рассчитывали мы, когда в октябре 1987-го направляли письмо из редакции заместителю Генерального прокурора СССР О.В. Сороке, ответственному в высшей надзорной инстанции за правильность судебных приговоров, с просьбой тщательно разобраться в этом затянувшемся деле.

Шло время. Прокуратура Союза молчала. Справились по телефону, дошло ли письмо? «Да, дошло...» — «Ну и что?» — «О результатах вам сообщат». Обычный чиновничий ответ... Неужели

снова, как было уже десятки раз, вновь прочитают предыдущие ответы и, переписав их на новом бланке, кинут в почтовый ящик?

Итак, первая удача. Впервые за все эти годы дело отправилось наконец-то в Москву, в Прокуратуру СССР, но и наш консультант съездил, как оказалось, в Ленинград не напрасно.

«Я изучил гражданское дело по иску Азадовского К.М. к Куйбышевскому районному управлению внутренних дел о взыскании с РУВД стоимости утерянных следователем вещей, изъятых при обыске. И там обнаружил материалы проверки, в которых, в частности, сказано: «При проведении обыска у Азадовского 19.12.80 г. присутствовали сотрудники УКГБ Архипов, Шлемин и др.», — сообщил И.М. Минаев.

Вот так дела! Неужели за все эти годы работники различных надзорных прокурорских инстанций не могли заглянуть в материалы служебных проверок, чтобы убедиться в том, что утверждение К.М. Азадовского об участии в его деле сотрудников ленинградского КГБ — не свидетельство воспаленного воображения обиженного человека, а официально зарегистрированный факт? Но боюсь, что не из-за незнания документа, который обнаружил И.М. Минаев, шли к Азадовскому стандартные ответы, что при «обыске присутствовали лишь работники милиции».

Напротив — знали! И — потому-то ввали.

Наш консультант вернулся в Москву, и, с изложением новых фактов, уже новое письмо ушло из редакции в Генпрокуратуру. Тому же заместителю генпрока О. Сороке.

И — снова молчание. «Получили наше письмо?» — «Что вы нам все время звоните?!» — раздраженный ответ в телефонной трубке. День, еще день, неделя, еще неделя...

Да, Прокуратура Союза молчала, но из Ленинграда, от Константина Марковича, пошли тревожные вести: его начали неожиданно приглашать в милицию для разговоров о преступлениях, совершенных в городе. Один, другой, третий... Пока, наконец, не сказали прямо: «Может быть, вам лучше эмигрировать?».

Заканчивался 1987 год. Генпрокуратура молчала. Пришел январь 88-го — молчание. Февраль — молчание. Наши просьбы и напоминания оставались без ответа. И мы понимали почему...

Решили разыграть шахматную игру. Пришел новый первый заместитель генпрока — А.Я. Сухарев. В марте мы направили ему письмо уже с жалобой на молчание заместителя — Сороки, кото-

рый в течение пяти месяцев так ничего и не ответил. И вдруг в бюрократической машине наконец-то произошел сбой.

Спустя полтора месяца А.Я. Сухарев сообщил, что (цитирую) «в президиум Ленинградского городского суда принесен протест, в котором поставлен вопрос об отмене судебных решений в отношении Азадовского ввиду неполноты судебного разбирательства и направлении дела на новое судебное разбирательство».

К.М. Азадовский спустя восемь лет после своего ареста и спустя шесть лет после возвращения с Колымы должен был предстать перед тем же Куйбышевским районным судом Ленинграда. Подняться на тот же самый этаж (правда, без конвоя), сесть на скамью подсудимых (неужели все-таки на скамью?) и слушать обращенные к себе слова: «Подсудимый, встаньте...»

Три часа понадобилось суду в том, 1980-м, чтобы приговорить его к двум годам Колымы. По тому же самому делу, но спустя восемь лет, суд растянулся на три месяца.

На первые заседания я приехать не мог. В Ленинград выехал наш консультант.

Вот что он сообщил:

«Процесс начался 19.07.88 г. с того, что К.М. Азадовский попросил вызвать в качестве свидетелей сотрудников ленинградского КГБ Архипова и Шлемина. Прокурор Якубович возразил, мотивируя это тем, что к «предъявленному Азадовскому обвинению они отношения не имеют». Обращают на себя внимание ответы сотрудника милиции Арцебушева, старшего при производстве обыска у Азадовского в 1980 году. Он сказал, что задание провести обыск он получил примерно в 22 часа 18 декабря 1980 года, а за санкцией на обыск приехал к прокурору примерно в час ночи. В чем была причина такой спешки, он объяснить не мог... На обыск, по его словам, приехали четверо: он, сотрудник милиции Хлюпин и еще два сотрудника, которых он не знал (как объяснил суду, думал, что это его коллеги из другого отдела милиции, и суд не задал никаких вопросов в связи со столь смехотворными заявлениями). По словам Арцебушева, как только он увидел Азадовского, то тут же понял, что он — «не наркоман... и что наркотики ему подложили». На вопрос суда — кто, он ответил: «Враги».

Второй сотрудник милиции, Хлюпин, тоже сказал, что он уверен — Азадовский не наркоман.

В беседе со мной адвокат Смирнова, которая изучала дело не только Азадовского, но и его жены Светланы Лепилиной, ска-

зала, что очень странное впечатление производит само задержание Лепилиной. Два члена комсомольско-оперативного отряда прямо заявили, что они были заранее сориентированы на задержание Лепилиной. По делу ничего не сделано для того, чтобы обнаружить иностранца по имени Хасан (он за несколько минут до ареста передал Лепилиной пакет), хотя сделать это было бы довольно легко. Также адвоката насторожил тот факт, что 5 граммов анаши, которые обнаружили и у Азадовского, и у Лепилиной, были завернуты в одинаковую фольгу...»

Вот таким было сообщение нашего консультанта, сделанного в начале судебного разбирательства. На очередное заседание, которое и должно было быть решающим, я уже приехал сам...

Коротко о том, что сам увидел и услышал в течение двух заключительных дней суда.

За время двухмесячного перерыва К.М. Азадовский все-таки добился, чтобы в суд, в качестве свидетелей, вызвали работников ленинградского КГБ Архипова и Шлемина, один из которых при обыске представился тогда, в декабре 1980-го, сотрудником милиции Быстровым.

Но на суд они не явились.

Судья Н.А. Цветков зачитал два документа, присланных в суд.

Заместитель начальника управления кадров ГУВД Лебедев сообщил, что, «по данным управления кадров ГУВД, Быстров Виктор Иванович на 19 декабря 1980 года не служил и в настоящее время не служит». То есть удостоверение было фальшивым.

А из КГБ пришло письмо, что «в настоящее время тт. Архипов В.И. и Шлемин В.В. находятся в очередных отпусках вне пределов Ленинграда, в связи с чем их явку в суд в качестве свидетелей не представляется возможным обеспечить».

Из других запомнившихся событий — допрос некоего Константинова, который тогда, в декабре 1980-го, был понятым при обыске. Привожу стенограмму:

Вопрос к Константинову. Как вы оказались понятым?

Ответ. При выходе из метро «Площадь Восстания» ко мне подошел работник милиции и попросил помочь.

Вопрос. Где вы живете?

Ответ. На Васильевском острове.

Вопрос. Как вы оказались в такой ранний час на площади Восстания, то есть в другой части города?

Ответ. (Пауза). С целью пройтись...

Вопрос. Какой общественной работой вы занимались в 1980 году?

Ответ. Я был руководителем комсомольского отряда у себя на предприятии.

Вопрос. Вы продолжаете утверждать, что оказались понятым при обыске случайно?

Ответ. (Пауза). Да...

Вопрос к сотруднику милиции Арцебушеву. Случайно ли вы подошли к Константинову?

Ответ. Еще вечером было договорено, что ребята из комсомольского оперативного отряда поедут с нами в качестве понятых на обыск. Мы договорились встретиться возле станции метро «Площадь Восстания».

Вопрос к Константинову. Когда вы пришли домой к Азадовскому, вас не удивило, почему у него собираются делать обыск?

Ответ. Я обратил внимание, что у него в доме очень много книг на иностранных языках.

Ну ладно, хватит...

Не в качестве еще одного доказательства фальсификации дела против К.М. Азадовского я привел эту стенограмму. «Понятой» Константинов свидетельствовал лжегражданство — чувство, приобретенное советским человеком в самые печальные периоды отечественной истории, когда исполнение самого бессовестного приказа оправдывалось «государственной необходимостью», когда предательство отца, брата, друга, товарища по работе объявлялось гражданской доблестью.

И Константинов — человек, моложе того страшного времени на целое поколение, не заставший ни ночного ожидания звонка в дверь (к тебе? не к тебе?), ни грозящих гибелью нечаянно сказанных слов («Сказать или не сказать, что я не верю, что он враг народа?»), — он все-таки сын того времени. И потому не так уж далек был образец 37-го от образца 80-го, да и сейчас, спустя уже восемь лет, когда он в зале суда говорил заведомую ложь, несмотря на всю смелость, которую прибавили всем эти прожитые годы, — Константинов все в том же, том же плену... И потому, когда я слышу: «Опять Сталин! Ну сколько можно!» — я знаю, что отвечать: да, опять! Пока не будет выжжен в себе, в детях тот страх, превращающий человека, личность в обыкновенный винтик государственной машины.

Ну, что еще о суде?..

Поднялся государственный обвинитель А.Е. Якубович и, не глядя ни на судью, ни в зал, ни на обвиняемого (нет, не на скамье подсудимых сидел К.М. Азадовский — рядом, на стуле), заявил ходатайство: отправить дело на доследование, чтобы... чтобы следственным путем установить, могли подложить наркотики Азадовскому кто-нибудь из знакомых, посещавших его дом в конце 80-го.

— Так не у знакомых надо спрашивать, а у тех, кому они, подложив, донесли об этом! Это же должно быть зафиксировано в архивах? — повис в воздухе недоуменный вопрос адвоката Н.Б. Смирновой.

И суд удалился на совещание...

... И вот тянутся, тянутся томительные часы ожидания. Давно опустело здание суда, заперты двери, уборщица прошла с пустым ведром (какая-то примета, кажется, плохая?), и только мы заполняем коридор, лестницы, застывший в ожидании зал суда. И — телефонные звонки из-за дверей совещательной комнаты.

Привык ли я к таким ожиданиям? Привык, привык... И — понимаю, и готов понимать. И — не готов.

И, наконец, по лестнице, по коридору: «Идут, идут...»

Суд идет...

По коридору, не глядя по сторонам, идет, переваливаясь с боку на бок, прокурор Якубович.

Едва он занимает свое место за столом — мгновенно распахивается дверь совещательной комнаты... Но не успевает еще секретарь суда воскликнуть: «Встать! Суд идет!» — в зал суда даже не входит, а впархивает молодой человек, садится почему-то рядом с обвинителем на соседний стул и с каким-то насмешливым любопытством начинает рассматривать нас, сидящих в зале.

Чтение определения суда занимает минуты две, не больше: «Без проверки возможности появления наркотических веществ в квартире Азадовского с помощью других лиц нельзя сделать вывод о виновности или невиновности Азадовского по предъявленному ему обвинению...»

Дело направляется на доследование, чтобы потом (тихо, без шума, в тиши кабинетов) закрыть его.

В этом никто из присутствующих и не сомневался.

Гул в зале...

Судья быстро исчезает в совещательной комнате...

Я уже собираюсь уходить, как дорожку мне загораживает молодой человек, тот самый:

— Ну, как вам работается?

Я, помню, удивленно посмотрел на него. Он:

— Пойдемте, попьем чайку... Поговорим... Я всегда вас читаю с бо-ольшим интересом...

Отвечаю, что очень занят.

Кем был этот незнакомец, впорхнувший в зал в последние минуты судебного заседания? О чем он хотел спросить меня? Или — от чего предостеречь? Или — намекнуть?

Могу лишь предположить.

О чем я тогда подумал? Да вот о чем. Что за срок — восемь лет! Еще в полном расцвете сил и здоровья находятся те, кто начал фабриковать дело Азадковского, да и таблички на многих кабинетах — те же самые. А те, кто даже ушел на пенсию, тоже вряд ли сменили свой привычный образ жизни...

Ну, а что было потом, после судебного заседания?

Помню, поздно вечером после суда я сидел дома у Константина и Светланы, дожидаясь, когда наступит мой час отправляться в аэропорт. Светлана плакала. Я, как мог, утешал ее...

Потом улетел в Москву.

Что потом, после суда?

Что, что...

Десятки писем и телеграмм, возмущенных итогом этого процесса (среди них — и академика Д.С. Лихачева). Сам Константин Азадковский в письме к председателю КГБ Крючкову написал:

«Несмотря на всю очевидность добытых судом доказательств, суд трусливо уклонился от принятия решения. Вместо того, чтобы оправдать меня, поручил отправить дело на следствие и обязать следственные органы выявить лиц, которые, якобы относясь ко мне враждебно, могли подложить мне наркотики. Для какой же цели предпринимается теперь, спустя восемь лет, попытка найти «предполагаемых преступников»? Для того, чтобы вывести из дела реальных виновников, ваших подчиненных, которые незаконно явились ко мне на обыск...»

Что еще потом?

Ни один из знакомых К.М. Азадковского, как и предполагалось, никакой повестки ни от какого следователя так и не получил, и в конце 1988 года его уголовное дело было прекращено «за недоказанностью преступления».

Но из КГБ К.М. Азадовскому ответ все-таки пришел. Некий сотрудник КГБ В.П. Попов (так и было подписано: «сотрудник») написал: «... установлен факт неправомерного участия двух сотрудников УКГБ СССР по Ленинградской области в проведении милицией обыска у Вас в квартире. В связи с этим по изложенным Вами в жалобах фактам проводится служебное расследование...»

Но что, что все-таки произошло на самом деле?

Каждый участник этой истории действовал будто актер, которому дали роль из одного спектакля, а вышел на сцену — и сюжет другой, и костюмы не те, и время какое-то иное. Это, на самом деле, как в неправильной пьесе: один актер спрашивает, как пройти на электричку, а другой отвечает: «Дворецкий свечи зажег, не волнуйтесь...»

Да, да... Так и было.

Помню, как, заканчивая тогда статью, я написал:

«И это все было не в 1937 году — в восьмидесятые. На памяти поколений, которые сегодня дышат, дышат и все еще не могут надышаться воздухом перестройки».

«Воздух перестройки...» Да...

Эта статья была опубликована, повторяю, в августе 1989 года. В среду, 9-го... Накануне, в воскресенье, ко мне приехала из Ленинграда съемочная группа телепрограммы (тогда очень популярной) «Пятое колесо». Я давал интервью с уже сверстанной газетной полосой и, рассказывая историю Константина Азадовского, несколько раз повторил: «Если эта статья не выйдет, то кто в этом виноват — известно: КГБ СССР».

И казался себе ужасно смелым. Да...

Но шел-то 1989 год.

Именно в этом году была отменена цензура, а еще за год до этого, рассказывая злоключения одесского капитана Малышева, отсидевшего в камере КГБ, саму аббревиатуру этого слова нельзя было употреблять в отрицательном смысле («Его пригласил уполномоченный» — было написано у меня. Чего уполномоченный? Милиции? Пожарной охраны? Господа Бога? «Но, — предупредил меня уже либеральный тогда цензор, — вставишь слово «КГБ», придется, как написано в наших инструкциях, получить в КГБ визу, и плакала твоя статья»).

Теперь о том, что тогда не вошло в статью.

Дело-то в том, что статья эта должна была выйти не в августе 1989-го, а в сентябре 1988-го.

Уже висела сверстанная полоса на стенах редакционного начальства, уже я позвонил в Ленинград Косте и Светлане: «Все, наконец-то!», уже я представлял, какая реакция будет на следующий после выхода газеты со статьей день.

И вдруг вечером, буквально за два дня до выхода номера в печать, статья исчезает из планов газеты и оказывается на столе у председателя КГБ В.А. Крючкова.

— Зачем? Что вы наделали? — помню, чуть не плача спрашиваю у тогдашнего главного редактора Ю.П. Воронова.

— Ну, они проверят, разберутся, — смущенно отвечал главный, человек с порядочной биографией, но давно уже сломленной жизнью.

— Да что уж тут разбираться? Газета уже полтора года разбирается! Прокуратура разбиралась! Суд уже был!

— Да что вы так волнуетесь! Ведь Крючков — не Чебриков. Крючков — из разведки. Да, из разведки, из разведки... — И главный почему-то открыл лежавший на столе правительственный справочник и стал настойчиво тыкать пальцем в столбик «В.А. Крючков», под которым была изложена биография этого нашего Зорге.

Потом, помню, я долго не мог идти из редакции, сидел, смотрел в зимнее ночное окно и никак не мог решиться набрать ленинградский номер...

Ох как тяжело было в тот момент! Казалось бы, давно нужно было к такому привыкнуть: сколько раз в жизни моих друзей и в собственной жизни случалось подобное... То цензура, то перепуганный редактор, то вообще какие-то неведомые силы, но каждое новое происшествие ломало тебя, как будто все это случилось с тобой впервые.

Каким был для меня тот вечер? Забыл, не помню... Скорее всего, купил бутылку водки, пошел к кому-нибудь из друзей... Помню только одно: в тот вечер я так и не решился позвонить в Ленинград. Позвонил только в понедельник, когда уже твердо решил сам для себя: нет, этот номер так не пройдет, пусть зубами, но обязательно вырву статью из пасти Крючкова.

Чем было славно наше редакционное начальство, так это тем, что оставляло журналиста один на один с властью, государством, целой вселенной.

Но что я мог тогда сделать?

И потянулись дни, недели, месяцы.

Время от времени я заглядывал в наши командирские кабинеты. Начальники пожимали плечами: «Ну сам знаешь, где статья...» А один наш тогдашний заместитель главного, человек достаточно циничный, чтобы всерьез воспринимать судьбы всяких там газетных героев, откровенно сказал: «Да это же никогда не будет напечатано, ты уж мне поверь. Я никогда не ошибаюсь».

Крючков молчал, а мои начальники без его позволения не хотели и слышать о том, чтобы рискнуть опубликовать статью даже при уже ликвидированной цензуре.

Наверное, в мае или в начале июня меня вызвал тогдашний первый заместитель главного редактора Ю. Изюмов и протянул мне текст.

— Что это? — спросил я его.

— Звонили из КГБ. Передали свои замечания. Я их записал.

Чудом этот лист бумаги, написанный рукой Изюмова, сохранился в моем архиве:

«1. Некая предвзятость в подходе к мат-лу. Автор настраивает читателя на восприятие дела Азадовского как политического, якобы инспирированного КГБ. Пытается провести параллель с массовыми процессами 1937 г. Оснований для этого нет (там — внесудебное, пытки и т.д.). Здесь — нарушение УПК, работники КГБ не внесены в протокол, за это наказаны (об этом не сказано).

2. Недостаточная объективность в изложении. Следствием и на суде вопрос о полит. нарушениях не поднимался, только о наркотиках. Не ставится автором под сомнение версия Азадовского о причастности сотрудников КГБ к обнаружению наркотиков, а прокуратура это не подтвердила.

3. Автор сообщает о письме прокурора Л-да Азадовскому, но не говорит об отказе в возбуждении уг. дела в отношении раб-ков МВД и КГБ за отсутствием состава преступления (т.е. подлог с наркотиками судом не признан, как же можно им оперировать).»

Помню, меня тогда удивило, что КГБ хотя бы признал нарушение УПК.

Все же остальное в этой «телефонограмме» было ложью.

И тогда я сделал то, что никогда не делал до этого: при всей моей ненависти к писанию писем — написал письмо Крючкову, а копию — Горбачеву.

Письмо получилось длинным — пять с половиной страниц.

Заканчивал я его так:

«Не хочу больше вдаваться в подробности этого дела.

Другое меня беспокоит, честно, возмущает.

Ваши сотрудники могли бы дать ответ газете после ее выступления (за, против — неважно). Могли бы опровергнуть меня. Могли бы подать в суд на автора, обвинив его в клевете. Ведь так делается в правовом государстве, создать которое мы так стремимся! Нет — все тем же старым, проверенным способом: запретом, телефонным звонком, шепотом! Пользуясь сложившимися привилегиями КГБ СССР.

Лично мне это напоминает действия небезызвестного Чурбанова, который, используя родственные связи, добился того, что газетам указаниями Главлита было запрещено критиковать МВД СССР.

Не знаю, дойдет ли до Вас мое письмо, не утонет ли в канцелярии. Но в любом случае история с запретом статьи «Ленинградское дело 1980 года» для меня сегодня — удар по гласности, которую партия провозгласила основой перестройки. Потому-то копию письма к Вам я направил М.С. Горбачеву. Сообщаю также, что об истории запрещенной статьи я сообщил (кому устно, кому письменно) некоторым писателям — народным депутатам».

Число, подпись...

В этом письме — вижу я сегодня — отразились наши настроения той поры, счастливого времени надежд, когда можно было еще с гордостью за собственную страну произносить слово «перестройка» и дарить своим западным друзьям майки с надписями на них «Гласность», «Горбачев». Да и не только западным...

Оказавшись в Болгарии за несколько месяцев до крушения Живкова, помню, как мой друг замечательный болгарский поэт Румен Леонидов специально нацепил подаренную нами майку с «Горбачевым», и как только он появился на сцене, в зале тут же вспыхнули аплодисменты... И как я сам, выступая в Пловдиве, запнулся перед тем как ответить на вопрос из зала: «Почему вы нам не помогаете? Когда же, наконец, Горбачев снимет Живкова?!» Я промямлил в ответ какие-то необязательные слова, испугавшись обвинений во вмешательстве во внутренние дела чужого государства (и почувствовал, как были разочарованы люди моим ответом), но, может быть, ни до ни после я не чувствовал такой гордости — пусть наивной, детской! — но гордости за собственную страну.

Помню, как тогда же вечером, при возвращении из Пловдива в Софию, нас остановили для проверки документов, и потом ка-

кая-то машина всю дорогу тащи́лась за нами, а утром, завтракая в доме еще одного нашего друга, тоже поэта, Георгия Борисова, мы увидели человека с кинокамерой в окне дома напротив.

Да, все это было, было... Не только разочарования выпали на наш век.

И потому, хотя в письме на самый верх шла речь о судьбе конкретного человека и конкретной статьи, но за одной историей стояли тысячи, миллионы других и было то, на что мы тогда надеялись: не может одна организация десятилетиями ломать и гнуть миллионы судеб, не может быть такой официальной государственной политики, при которой человек — песчинка, никто, ничто, не должна же страна так ненавидеть своих граждан!

Да, ну а дальше, дальше что... Писал еще кому-то письма, ждал ответов, иногда звонил Косте и Светлане, не зная, чем их утешить...

И вдруг — вечер, звонок домой, Галина Старовойтова (а к ней я тоже обращался с письмом): «Мы прижали Крючкова к стенке! Он сказал, что публиковать статью — дело редакции, а не КГБ».

Прошел год со времени как заварилась вся эта каша.

Да, это то, о чем я тогда не мог написать. Но в 1989-м я и не мог предположить, что спустя пять (пять!) лет у меня окажутся документы, которые наконец-то поставят точку в этой истории.

Это уже был октябрь 1994 года, когда я увидел документы из секретных архивов КГБ.

«Секретно.

Экз. 1.

Тов. Чебрикову В.М.

Дано согласие — Иванков.

Доложено 28.09.88 г.

«По результатам проверки жалобы Азадовского К.М.» — так значится на первой странице подробной докладной своему шефу от московской комиссии, выезжавшей тогда по всем нашим жалобам в Ленинград.

После биографических данных К. Азадовского, весьма, думаю, неожиданных для него самого: оказывается, КГБ пытался сделать из него агента еще в 1967-м, когда ему было 19 лет, но тот отказался (тоже еще пример, как дорого потом обошелся человеку этот отказ: «В 1969 году он был профилактингован через общественность и исключен из аспирантуры»). Ох уж это их «профилактингование»! Сколько же людей попало под эти колеса!)

Итак, сначала — биография. А потом, уже все ближе, ближе к дню его неожиданного ареста.

«В сентябре 1978 года в отношении Азадовского было заведено дело ДОР «Азеф» с окраской «антисоветская агитация и пропаганда с высказываниями ревизионистского характера».

«Азеф» — это, естественно, сам К. Азадовский, слово «ДОР» — это «дело оперативной разработки», которое, по словам бывшего генерала КГБ Олега Калугина, — последний звонок перед арестом (первым является другое слово — «ДОП», «дело оперативного предупреждения»).

«В материале этого дела, — читал я дальше, — имеются данные о том, что Азадовский являлся автором ряда идеологически ущербных литературных материалов, распространял в своем окружении устные измышления, порочащие основателей и руководителей Советского государства, поддерживал связи с иностранцами, в беседах с ними компрометировал проводимые Советским правительством внутривнутриполитические мероприятия...»

Казалось бы — все! Если из «ближайшего окружения», то есть внедренной к нему агентуры, шла подобная информация, то, казалось бы, чего же больше? Плакала по нему знаменитая тогда политическая статья.

Но оказалось — нет, мало.

Читаю дальше:

«В процессе работы по ДОР легализованных (!?) материалов о проведении Азадовским враждебной и иной противоправной деятельности получить не представилось возможным. Руководством 5-й службы УКГБ в октябре 1980 г. было принято решение о реализации этого дела путем привлечения объекта к уголовной ответственности за совершение общеуголовного преступления. Тогда же УКГБ проинформировало Куйбышевский РУВД г. Ленинграда о том, что Азадовский и Лепилина занимаются приобретением, хранением и употреблением наркотических веществ, хотя данных об этом в материалах ДОР не имелось».

Вот когда и началась операция, которая обстоятельно и цинично описывалась в этой справке:

«Как выяснилось в ходе настоящей проверки, привлечению Азадовского и Лепилиной предшествовали провокационные действия агента-иностранца «Берита» из 5-й службы, который в ноябре-декабре 1980 года был подставлен Лепилиной».

Могла ли предполагать Светлана, человек наивный, как и многие, многие люди, что все: и приглашение на встречу с «испанским студентом» в кафе неподалеку от дома, где жил Константин, и джинсы, которые он ей подарил, и «горная трава», которую он ей дал под видом лекарства от головной боли, да и сам этот «испанский студент» — все, все было частью спланированной операции КГБ, целью которой становилось создать повод для того, чтобы провести обыск в квартире Константина Азадовского.

И сами участники этой провокации, офицеры 5-го, идеологического отдела КГБ тоже обстоятельно и с такой же долей цинизма описывают свою деятельность московскому начальству:

«В середине октября 1980 года по указанию руководства отделения и отдела мне бывшим заместителем начальника отделения тов. Безверхим Ю.А. было передано в производство дело оперативной проверки на «Азефа», заведенное в октябре-ноябре 1978 года... Мною был подготовлен план агентурно-следственных мероприятий по ДОР.

В работе по делу «Азефа» были привлечены другие сотрудники отделения, каждому из которых было поручено определенное направление в работе по объекту и его связям. Мною в работе по делу на «Азефа» использовались агенты «Юнга» и «Рахманинов», которые практически близких контактов не имели, а поддерживали дружеские связи с его сожительницей Лепилиной.

План агентурно-оперативных мероприятий по делу с целью выяснения характера контактов «Азефа» с иностранцами допускал подставу объекту через Лепилину агента-иностранца, находившегося на связи у тов. Ятколенко И.В. Организация работы с агентом-иностранцем была поручена сотруднику отделения тов. Федоровичу А.М. При организации подставы на меня была возложена обязанность вывода Лепилиной через агента «Юнгу» в ресторане гостиницы «Ленинград», что было мною выполнено. С агентом-иностранцем «Беритом» я не встречался...

Начальник 7-го направления  
5-й службы УКГБ ЛО майор Кузнецов.»

И еще одно объяснение:

«Осенью 1980 года руководством 1-го отдела 5-й службы УКГБ ЛО было принято решение использовать агента-иностранца «Берита» из числа обучавшихся в Ленинграде граждан Колумбии в разработке объекта ДОР «Азефа»...

В соответствии с отработанной ему линией поведения агент-иностранец выступал перед Лепилиной в роли гражданина Испании...

Насколько мне известно, в декабре 1980 г. руководством отдела 5-й службы УКГБ ЛО была разработана агентурно-оперативная комбинация, направленная на возможное задержание Лепилиной с поличным. Накануне «Берит» условился о встрече с ней в кафе на улице Восстания... Учитывая, что сам «Берит» ранее употреблял наркотики и имел дома небольшой запас анаши, ему тов. Федоровичем было разрешено принести наркотики на встречу с Лепилиной.

Кроме того, тов. Федорович передал «Бериту» импортные джинсы, которые тот также должен был передать Лепилиной.

18 декабря 1980 г. «Берит» встретился с Лепилиной в кафе на ул. Восстания, где передал ей для реализации джинсы и пакет с наркотиками... Контроль за ее действиями осуществлялся службой НН (наружного наблюдения). Сам я в момент мероприятия находился в помещении кафе на ул. Восстания на случай непредвиденной ситуации.

Офицер действующего резерва КГБ СССР  
подполковник Ятколенко И.В.»

И еще одно:

«По указанию Николаева Ю.А. и тов. Алейникова В.П. я был подключен к оперативной группе милиции с целью проведения обыска на квартире Азадковского К.М. под прикрытием удостоверения работника милиции Быстрова Виктора Ивановича».

Ст. оперуполномоченный 1-го направления  
5-й службы УКГБ ЛО майор Архипов.»

Это — непосредственные участники. А это о том, что самими участниками не сказано. Сказано же участниками московской комиссии КГБ, делавшими эту строго секретную записку для Чебрикова:

«Из имеющейся в материалах ДОР сводки мероприятия «С» видно, что накануне обыска Азадковского (после задержания Лепилиной) его квартиру посетил агент 5-й службы УКГБ «Рахманинов». Однако никаких документальных данных о целях и результатах посещения им Азадковского в ДОР не имеется. Сотрудник Кузнецов А.В., у которого источник находился на связи, в беседе пояснил, что «Рахманинов» направлялся домой к Азадковскому по

его заданию с целью выяснения обстановки в квартире, хотя это не вызывалось оперативной необходимостью, так как в августе 1980 г. в его жилище проводилось мероприятие «Д»...

Мероприятие «С» — прослушивание телефонов. Мероприятие «Д» — негласный обыск.

Агент «Юнга» — свела с липовым испанцем «Беритом». Агент «Берит» всучил под видом лекарства пять граммов анаши. Агент «Рахманинов» — скорее всего, тот самый человек, который и подложил злополучные пять граммов анаши на книжную полку.

Тогда, в 1980-м, их шефы из КГБ получили награды и благодарности за успешную операцию.

А Константин Азадовский и Светлана Лепилина — тюрьмы и лагеря.

Пятнадцать лет все мы пытались установить правду.

Установили... хотел сказать слишком поздно. Потом подумал, нет, для правды нет слова «поздно».

Тогда в 1994-м, когда все эти документы были обнаружены, Светлана наконец-то была полностью реабилитирована. Все действующие участники этой истории, даже покинув официальные должности в КГБ, чувствуют себя превосходно. Агенты, как я знаю, тоже. Единственно, след колумбийца «Берита» потерялся где-то на Кубе...

Вот такая история. 80-е, 90-е...

Но хотя она опять о том же, в чем мне хочется разобраться на протяжении всей этой книжки, — для меня она о другом.

Нет, не только о том, как машина власти накатывается на человека: его жизнь, судьбу, любовь человеческую; и не о методике провокаций и роли в них агентов, сексотов и стукачей.

Нет, не только о том! Она еще и о мужестве сопротивления истинного интеллигента.

Повторяю, не был Константин Азадовский ни диссидентом, ни правозащитником, ни отказником.

Он просто боролся за честь и достоинство. И свое, и любимого им человека. Можно согнуть интеллигенцию (сколько сгибали!) — сломать невозможно.

И нечего говорить, что все это прошло, кончилось, погребло в нашем очередном переходном мире, где так быстро сменились все ценности. Не надо! Все есть, все осталось в крови, все в окружающем воздухе!

И эта история, решил я, — еще одно тому свидетельство.

Но потом подумал-подумал и решил: да нет! Скорее, о другом эта история. О любви.

Да, о любви.

Жили-были ОН и ОНА. Для того, чтобы арестовать ЕГО, нужно было арестовать ЕЕ.

На следствии ОНА оговорила себя, что ЕЕ пакет с пятью граммами анаши был найден на ЕГО книжной полке, думая, бедная, что этим ОНА спасет ЕГО, не подозревая тогда, что ИМ-то был нужен именно ОН...

«Мой бесконечно родной, мой добрый и несчастный. Я ежедневно и ежечасно думаю о тебе. Сколько бы лет мы ни получили, где бы мы ни были, я всегда с тобой. Если освобожусь, сразу же найду тебя. Держись, роднуля».

Эту записку Константин написал Светлане из камеры в камеру. Записку перехватили в ленинградских «Крестах».

Вот вроде и все, о чем я хотел рассказать...

Все, да не все.

Не забуду, до сих пор не могу забыть еще одного человека, в этой истории не последнего: Ивана Матвеевича Минаева.

В первой моей статье о «Ленинградском деле» его фамилия упомянута мельком:

«Тогда-то редакция решила командировать в Ленинград нашего консультанта, бывшего генерал-майора милиции Ивана Матвеевича Минаева...»

Да, упомянул мельком, но след в моей жизни этот человек оставил очень большой.

Иван Матвеевич появился в газете случайно.

В то время в редакции «Литературной газеты» существовала практика, очень, как мне кажется, правильная и полезная: перед тем, как спецкор начинал расследование, историей занимался «разработчик». Эти люди скрупулезно копались в документах, подсказывали, где дело шито белыми нитками, узнавали, кто и как мог давить на следствие, какие вожди и начальники были заинтересованы в том, чтобы других вождей и начальников выводили из игры. Ох как помогали нам эти «разработчики», чаще всего ушедшие в отставку прокуроры, большинство, кстати, почему-то военные! Для них работа в редакции становилась продолжением той их профессиональной жизни, по которой они, выйдя на пенсию или в отставку, страшно скучали.

Вот так однажды в редакции появился Иван Матвеевич Минаев. Уже сейчас не помню, кто мне позвонил по его поводу, по-моему, кто-то из МУРа, но он мне сразу понравился, как только перешагнул редакционный порог.

Занимал он до этого довольно большой пост — был заместителем начальника московской милиции, курировавшим два важных и горячих направления — следствие и ОБХСС.

Он ушел в отставку со строгим партийным выговором, который всадили ему на бюро гришинского горкома партии, и с замечательной репутацией человека честного и справедливого.

Как-то раз, уже много позже первого знакомства, я спросил его, за что же обрушилась на него московская партийная верхушка? Он долго не хотел рассказывать, как человек, привыкший к дисциплине и по складу характера больше напоминавший толстовского капитана Тушина, чем толстокожих его коллег — милицмейских генералов. Но однажды сказал, выматерившись: «Пошли они... Это они, они спросили меня на бюро, почему я не занимался Соколовым...»

Соколов был человеком в Москве известным: директором знаменитого Елисеевского магазина. Соколов был человеком сильным: в его подвальной комнате всегда был накрыт стол для Чурбанова — зятя Брежнева и первого заместителя министра МВД, и для всякого начальственного люда. Не только рядовому милиционеру — от лейтенантов до полковников, но и даже генералу Ивану Матвеевичу Минаеву был заказан вход для проверки «Елисеевского». И вдруг что-то сломалось в этой отлаженной машине: Соколова арестовывает КГБ. У городского начальства началась паника, и, чтобы как-то обезопасить себя, они в качестве жертвы избрали И.М. Минаева.

Он рассказывал мне, что больше всего возмущалась на бюро секретарь горкома партии Дементьева, которая как раз и курировала и торговлю, и милицию. И то, что именно она, сама же запрещающая милиции заниматься Соколовым, больше всех нападала на Минаева, особенно возмущало Ивана Матвеевича. После этого бюро он и кинул на стол начальству заявление об отставке, и даже потом, спустя несколько лет, когда Гришин вместе со своими приспешниками ушел, он, несмотря на просьбы нового министра МВД, в милицию так и не вернулся.

Помню, как где-то месяц просидев над письмами, которые к нам приходили (а почта эта была страшная — сплошь о наруше-

ниях прав человека), он сказал печально: «Неужели и я поступал точно так же?»

Не от него — от других людей (он был человеком исключительно скромным) я все больше и больше узнавал об этом странном генерале. Помню одну историю.

Ему было поручено разогнать делегацию крымских татар, которые пришли в приемную Верховного Совета СССР. Как человек дисциплинированный, он туда приехал, но как человек совестливый — выполнять приказ отказался.

И вот именно Иван Матвеевич больше всех переживал за исход дела Константина Азадовского: он-то как никто знал, на что способны «соседи» (как называют в милиции людей из КГБ).

А потом он заболел, тяжело заболел. И я помню его еле слышный, запинаящийся голос по телефону накануне того дня, когда материал должен был выйти в первый раз, до снятия статьи главным редактором: «Печатаешь?» — «Да-да, в среду», — радостно ответил я, еще не подозревая, сколько приключений еще будет с этой статьей. — «Это хорошо...», — выдохнул он, и это были последние слова, которые я от него услышал: ночью он умер.

Государство может распоряжаться судьбой человека — многие истории, которые я привел, тому свидетельство. Но и сам человек, несмотря на усилия государственной машины смять человека, раздавить его, уничтожить в нем человеческое, может найти в себе силы для сопротивления этим ударам.

## Часть третья

# ТОТ, КОТОРЫЙ НЕ СТРЕЛЯЛ...

Предмет моего исследования — это прежде всего предательство, возведенное государством в правило, а иногда — и в доблесть.

Но чем дальше я размышляю, почему же так, отчего, за что нам такое? — тем больше убеждаюсь: да нет, не все так просто!

Не каждого согнешь, не каждого испугаешь, не каждого задавишь навязанным сверху несправедным приказом, законом и правилом.

Да, много было тех, кто предавал, доносил, не смог отказать ИМ. Но в этой книге я, разбивая, может быть, логику повествования, не могу не сказать, умолчать о тех, кто оказался силен духом, кто восстал против правил Системы, кого ОНИ не сломали.

Вот почему мне так дороги судьбы трех человек, с которыми свела меня журналистская работа.

## **ПОРТРЕТЫ НА ФОНЕ ПЕЙЗАЖА: ГЕНЕРАЛ МАТВЕЙ ШАПОШНИКОВ**

В середине декабря 1988 года он получил письмо, которого ожидал более двадцати лет:

«Матвей Кузьмич!

Ваше обращение о принятии мер к Вашей реабилитации Главной военной прокуратурой рассмотрено и разрешено положительно. Постановление начальника следственного отдела УКГБ СССР по Ростовской области от 6 декабря 1967 года о прекращении против Вас уголовного дела по нереабилитирующим основаниям отменено, и производство по Вашему делу прекращено за отсутствием в Вашем деле состава преступления... Работниками отдела УКГБ СССР по Ростовской области при расследовании по Вашему делу нарушений законности не допущено, все процессуальные действия проведены в соответствии с требованиями УПК. Совершенные Вами деяния в 60-х годах служили достаточным основанием для обвинения Вас в антисоветской пропаганде. Лишь в условиях перестройки, демократизации всех сторон жизни советского общества стало возможным признать Вас невиновным.

1-й заместитель  
Главного военного прокурора Л.М. Заика».

Спустя неделю Матвей Кузьмич Шапошников направил письмо Главному военному прокурору Б.С. Попову:

«... Искренне благодарю Ваш аппарат за внимательное отношение и за определенную объективность, проявленные при рассмотрении моего материала, который был передан Вам из Верховного суда СССР. Вместе с тем и в силу необходимости вынужден обратиться к Вам с просьбой разъяснить мне некоторые положения. Так, в указанном документе говорится: «совершенные Вами деяния...» Должен Вам сказать, что этот «литературный прием» настораживает, и вот почему.

Дело в том, что эта фраза как бы опровергает все, о чем говорится вначале, где указывается отсутствие в моих действиях состава преступления. И еще: когда я внимательно, очень внимательно вчитывался в те две строчки, где речь идет о моих «деяниях» в шестидесятих годах, то у меня невольно возникала и такая мысль, что автор — или авторы — указанных документов пытаются в силу каких-то причин взять под защиту тогдашних, шестидесятих годов личностей, по вине которых была совершена в Новороссийске кровавая акция...»

В очередном ответе из Главной военной прокуратуры, полученном Матвеем Кузьмичом в январе 1989 года, уже не говорилось ни о «перестройке и демократизации», ни о «деяниях», когда-то им совершенных. Его лишь лаконично информировали, что он «полностью реабилитирован» и имеет право ставить перед соответствующими органами вопрос о восстановлении всех своих прав.

Что это за переписка? Что за обвинения были предъявлены человеку в шестидесятих и отменены в конце восьмидесятих? На какую, наконец, «новочеркасскую кровавую акцию» указывает в своем письме адресант Главной военной прокуратуры?

Когда весной 1989 года мы — я и собкор «Литгазеты» по Северному Кавказу — начали раскапывать эту историю, о ней в стране знали лишь те, кто непосредственно в ней участвовал, или те, кто был ее свидетелем.

И, конечно, сам Матвей Кузьмич Шапошников.

Судьба Героя Советского Союза генерал-лейтенанта танковых войск М.К. Шапошникова — в начале шестидесятих первого заместителя командующего Северо-Кавказским военным округом, а уже в середине шестидесятих — подследственного, в 1967 году исключенного из КПСС и только в мае 1989-го восстановленного в партии, — связана с одной кровавой страницей советской истории, о которой даже после 1985 года стыдливо умалчивали, относя политические репрессии к сталинскому — и только сталинскому времени.

Что же произошло в Новочеркасске в начале июня 1962 года?

Казалось бы, легче всего было бы узнать об этом из газет того времени. Мы добросовестно просмотрели июньские подшивки областной газеты «Молот» и новочеркасской городской «Знамя коммуны». 1 июня 1962 года на первых страницах обеих газет (как,

безусловно, и всех остальных в стране) обращение ЦК к народу в связи с повышением цен на мясо и масло: «это мера временная. Партия уверена, что советский народ успешно осуществит меры, намеченные мартовским Пленумом ЦК КПСС, в области сельского хозяйства... что даст возможность в недалеком будущем снижать цены на продукцию сельского хозяйства». 2 июня, «Молот»: «Н.С. Хрущев присутствовал на торжественном открытии Дворца пионеров и школьников в Москве, совершил поездку на автопоезде по территории парка...». 3 июня, «Молот»: «Временное повышение цен на продукты в городах обернется скоро улучшением снабжения трудящихся и в конце концов приведет к снижению цен...». 5 июня, «Знамя коммуны»: «... трудящиеся Новочеркаска одобряют меры, принятые партией и правительством для быстрого роста производства животноводческой продукции».

Шестого июня, седьмого, восьмого, девятого, десятого... Ничего.

Отложив газеты, идем к начальнику Ростовского областного УВД А.Н. Коновалову. Может быть, здесь, в архиве милиции, остался хоть какой-нибудь документ, проливающий свет на трагедию в Новочеркасске? Справка, отчет, сводка? «Увы, — разводит руками генерал. — Сам интересовался. Ничего не осталось...»

Тогда, может быть, что-то сохранилось в архиве областного КГБ? Хотя бы фотография, пусть одна-единственная? «Ничего нет, — отвечают нам. — Сами для себя хотели бы посмотреть, но, к сожалению, ничего не нашли...»

Наконец, в желтой, потемневшей от времени папке в партархиве Ростовского обкома партии находим протокол собрания городского партийного актива, состоявшегося 4 июня 1962 года, с длинным, витиеватым заголовком: «О фактах беспорядков и нарушений нормальной жизни города и задачи партийной организации по мобилизации трудящихся города на успешное выполнение планов коммунистического строительства».

Читаем:

«...Присутствуют члены Президиума ЦК КПСС тов. Козлов Ф.Р., тов. Микоян А.И., тов. Полянский Д.С., секретарь ЦК ВЛКСМ тов. Павлов С.П.»

Повестка дня. Доклад Козлова. Что он сказал — неизвестно. Текста в папке нет. Дальше:

«Вьюненко, секретарь цеховой партийной организации электродного завода: «Мы никогда так хорошо не жили в таких усло-

виях, как сейчас. Позорное явление — это типичные хулиганские выходки, и очень обидно, что эти оголтелые хулиганы воздействовали на молодых рабочих... Рабочие электродного завода требуют к таким лицам — я не знаю их фамилии — такие меры: выслать в тунейдский край, чтобы они работали. (*Смех в зале*).

Поводов, профессор инженерно-мелиоративного института: «Я выражу такое пожелание, что те операции, которые подготовлены и о которых говорил Фрол Романович Козлов в своем докладе по отношению к провокаторам, были бы выполнены и возможно в быстрейший срок». (*Аплодисменты*).

Ядринцев, член бригады коммунистического труда завода синтетических продуктов: «Позорная кучка бунтовщиков элетро-возостроительного завода...»

Предложение с места: «Партийным организациям города усилить шефскую работу с частями подразделений Советской Армии, находящимися в гарнизоне, ибо часть товарищей не совсем правильно поняла поведение армейских подразделений». Козлов: «Это записать постановлением». Председательствующий: «Разрешите собрание городского партийного актива объявить закрытым». (*Бурные аплодисменты*). Тов. Козлов: «Желаем вам успехов, товарищи». (*Бурные аплодисменты*).

И смех, и бурные аплодисменты, и руководящие указания высокого гостя из Москвы...

Но и этот единственно доступный документ молчит о главном: чему же аплодировал актив?

Получается, из прошлого вырваны целые страницы, а те, что остались, отредактированы, переписаны, как в романе Оруэла «Год 1984», который именно в девяностых стал доступен нашим читателям...

Кандидат психологических наук Виктор Васильевич Кондрашев пришел к нам в ростовскую гостиницу.

Весной 1962 года он закончил пятый класс. 2 июня была суббота.

— Мать послала меня в центр города за маргарином. Перед площадью Революции автобус остановился: по проспекту Ленина, тогдашней улице Московской, шла демонстрация с красными знаменами и транспарантами... Я выскочил из автобуса. В сквере перед горкомом партии стояла толпа людей... Двери горкома были распахнуты. Мне стало очень интересно...

— Вы тогда поняли, что происходит?

— Нет, мне было просто интересно. Я никогда не был в этом здании и поэтому тут же пошел туда.

— Что вы там увидели?

— Около дверей на первом этаже стояли четыре солдата и никого не пускали... Я все-таки проскользнул, поднялся на второй этаж — огромный зал с паркетным полом. По залу ходили люди... Вышел на балкон. Услышал крики: «Как дальше жить? И так жрать нечего!», но меня эти крики не удивили, так как подобные разговоры я слышал каждый день с утра до вечера...

— Здание горкома было разгромлено?

— Никакого погрома мы не заметили. Только в зале на полу валялось несколько листов бумаги. И люди открывали двери пустых кабинетов, так как (но это я уже узнал значительно позже) все его работники сбежали.

— Долго ли вы были в здании?

— Нет. Я увидел, как с боковой улицы подъехал танк, и солдаты построились в каре, оттеснив толпу от здания горкома партии. Мне, конечно, стало интересно, и я побежал вниз. Протиснулся сквозь строй и встал сбоку от них. Все солдаты были с автоматами. На балкон вышел офицер в шлемофоне и за ним солдат с рацией за спиной. Офицер что-то крикнул, перегнувшись через балкон, потом повернулся к солдату и что-то сказал. Мне все еще было интересно: толпа, флаги, солдаты, автоматы. Солдат произнес что-то в микрофон, и тут же раздался залп. Потом второй. Люди шарахнулись. Площадь быстро опустела. Я увидел людей, оставшихся лежать на площади. Потом женщину в слезах. Потом мужчину, который бежал, неся на руках женщину с окровавленной головой. Я медленно пошел от площади и увидел, что по улице Ленина курсируют танки. Во дворе перед аптекой лежали раненые.

На следующий день утром им объявили в школе: «Вчера враги народа, шпионы, пытались устроить провокацию».

В.В. Коновалов был свидетелем последнего момента кровавой трагедии...

О том, что ей предшествовало, нам рассказал Петр Петрович Сигуда.

Мы сидим в его маленькой комнатке в Новочеркасске. На полу, на столе, на полках, в шкафах — кипы бумаг. Полгода назад он ушел с Новочеркасского электровозостроительного завода, чтобы целиком посвятить себя восстановлению истории новочер-

касских событий, которую так старательно пытались вырвать из хроники нашего времени.

— Еще в пятидесятом году, когда я был в детском доме, мы с ребятами горячо спорили, кто сколько лет своей жизни отдаст за день жизни любимого Сталина. Я рос в детдоме и до четырнадцати лет не знал, что мать моя находится в лагере, а отец репрессирован.

Отец Петра Сигуды, умерший в тюрьме, был членом партии с 1903 года, хорошо знал Сталина, Ворошилова, Микояна, и в 1962 году сам факт знакомства погибшего отца с Микояном спасет жизнь сыну.

В 1962 году Петру было 25 лет. Его арестовали 1 июня, за день до того, как солдаты вскинули автоматы. Обстоятельства его дела помогают сегодня восстановить саму картину новочеркасских событий.

В приговоре по делу П.П. Сигуды сказано:

«1–3 июня 1962 года в Новочеркасске Ростовской области и на отдельных предприятиях города уголовно-хулиганствующими элементами были спровоцированы массовые беспорядки, сопровождающиеся погромами, избиениями советских работников и представителей общественности, дезорганизацией работы промышленных предприятий, железнодорожного транспорта и другими бесчинствами... Сигуда П.П. днем 1 июня 1962 года приехал на завод и примкнул к бесчинствующим, взобрался в кузов стоявшей около заводоуправления грузовой автомашины, откуда задал главному инженеру завода Елкину С.Н. вопрос провокационного характера, подстрекающий толпу к продолжению массовых беспорядков. Находясь на полотне железной дороги, не пропускал дальше остановленный бесчинствующими элементами пассажирский поезд и вступил в спор с заводскими активистами, прибывшими для наведения порядка и восстановления движения железнодорожного транспорта. Вечером в тот же день Сигуда выступил с козырька тоннеля перед собравшейся толпой с призывом не приступать к работе, идти к горкому КПСС с провокационными требованиями, предлагал послать «делегатов» на другие заводы, ожидая прекращения на них работы. При появлении прибывших на завод работников милиции противодействовал им в установлении ими общественного порядка, требуя их удаления».

Так отражены действия П.П. Сигуды в приговоре суда. Не убил, не ударил, не взорвал, не оскорбил, и в итоге — 12 лет в колонии усиленного режима.

А вот что рассказал об этих событиях он сам:

— С января 1962 года на Новочеркасском элетровозостроительном заводе в очередной раз снизили расценки на 20-30 процентов. Последними понизили расценки рабочим сталелитейного цеха. Это было в мае. А 1 июня по Центральному радио было объявлено о повышении цен на мясо и масло. Но не только повышение цен привело к забастовке. На заводе не решалась жилищная проблема, а плата за частные квартиры составляла в ту пору 20-30 рублей в месяц, то есть 20-30 процентов месячной зарплаты рабочего... В магазинах практически не было мясных продуктов, а на рынке все стоило очень дорого... 1 числа по дороге на работу люди возмущались повышением цен. В стальцехе рабочие собирались кучками. В цех пришел директор завода Курочкин и сказал рабочим, что, конечно, всех возмутило: «Не хватает денег на мясо и колбасу — ешьте пирожки с ливером». Эти слова и стали той искрой, которая привела к трагедии. Рабочие включили заводской гудок. К заводу стали стекаться рабочие из 2-й и 3-й смен. Началась забастовка... Появились плакаты: «Дайте мясо, масло», «Нам нужны квартиры»... На тепловозе остановленного поезда кто-то написал: «Хрущева — на мясо».

— А что делали вы сами?

— Я не хотел выступать на митинге, который стихийно начался на заводской площади, но меня беспокоили разговоры о захвате власти в городе. Я хорошо помнил рассказы участников событий в Венгрии и Грузии. Поэтому я выступил с призывом соблюдать твердость, выдержку, организованность. Я призывал на следующее утро всем идти в город, выработать общие требования и передать их властям.

— Были ли факты насилия по отношению к власти?

— И следствие, и суд не смогли обнаружить подобные факты, кроме двух незначительных случаев. Главного инженера завода Елкина затащили в кузов грузовой машины, но его не били. Вторым случаем — одному из «активистов» дали его же подчиненные несколько затрещин... Уже поздно вечером рабочие сорвали с фасада заводоуправления портрет Хрущева. Его же портреты изъяли изо всех кабинетов, свалили в кучу и сожгли на площади... Того, что случилось на следующий день, второго июня, я не видел, так как уже был арестован...

За участие в июньских новочеркасских событиях были, по словам П.П. Сигуды, осуждены 105 человек. Семеро были приговорены

ны к расстрелу (в том числе и одна женщина). Приговоры были приведены в исполнение. Мать Петра пробилась к Микояну, и потому он не пошел по самому страшному, «расстрельному» процессу. Из 12 лет П. Сигуда отбыл в лагере четыре с половиной года.

Спрашиваем, обращался ли он с просьбой о собственной реабилитации? «Нет, — отвечает. — Для меня важнее реабилитация всех участников забастовки и восстановление исторической справедливости».

Потому-то он и посвятил свою жизнь созданию собственного архива тех событий. Другого архива, как известно, нет.

...Идем по шоссе от завода к центру города. Путь неблизкий, примерно километров десять-двенадцать.

Тогда, 2 июня, именно по этой дороге шла семитысячная толпа рабочих. С красными знаменами и портретом Ленина. Дорога узкая. Речка Тузлов. Мост через речку. На мосту стояли танки. Толпа перевалила через них, но танки не сделали ни одного выстрела...

Теперь мы знаем почему.

В середине мая 1962 года первый заместитель командующего Северо-Кавказским военным округом генерал-лейтенант Матвей Кузьмич Шапошников проводил на Кубани сборы комсостава округа. В двадцатых числах командующий СКВД И.А. Плиев получил шифровку, в которой было сказано: поднять войска по боевой тревоге и сосредоточить их в районе Новочеркаска.

— В конце мая, то есть еще до первого июня? — переспрашиваем мы у Матвея Кузьмича.

Он отвечает, что да, он точно помнит. Шифровка, как он понял, шла от Хрущева через Малиновского, бывшего в те годы министром обороны СССР.

— Для меня, военного человека, когда говорят, что надо поднять войска по боевой тревоге, то есть с оружием и боеприпасами, стало ясно — это не для борьбы со стихийными бедствиями. Значит, там что-то случилось. Плиев уехал раньше, а я, завершив сборы, поехал в Новочеркасск, по дороге заскочив домой в Ростов, переодеться.

Спрашиваем генерала, каким он увидел Новочеркасск. По его словам, в городе было все спокойно, он только обратил внимание на военные патрули. Плиев сообщил: необходимо выехать в район электровозостроительного завода и принять командование над прибывающими туда частями. Перед тем как ехать на за-

вод командующий приказал Шапошникову доложиться Козлову и Микояну.

— То есть, — снова переспрашиваем мы, — два члена Президиума ЦК находились в Новочеркасске еще до первого июня?

— Да, — подтверждает он. — Я их нашел в медпункте танковой дивизии, где им отвели резиденцию. Когда я вошел на территорию военного городка, обратил внимание, что он внутри по всему периметру окружен танками и автоматчиками, и не мог не удивиться — от кого так охраняют высоких гостей из Москвы?

Представившись Козлову и Микояну, я тут же высказал опасение: войска вышли с боеприпасами, причем не только стрелки, но и танкисты. Может произойти великая беда. Микоян промолчал, а Козлов грубо оборвал меня: «Командующий Плиев получил все необходимые указания! Выполняйте приказ!» Я был убежден, что совершается ошибка, и потому предложил Плиеву, члену Военного Совета округа Иващенко, всем нам вместе написать шифровку на имя Хрущева с просьбой, чтобы у войск, сосредоточенных в районе Новочеркасска, изъять хотя бы боеприпасы. Генерал Плиев поднял вверх указательный палец: «Над нами члены Президиума ЦК КПСС».

Генерал М.К. Шапошников прибыл к заводу, вокруг которого уже сосредотачивались войска, и своей властью приказал: «Автоматы и карабины разрядить, боеприпасы сдать под ответственность командиров рот». То же самое относилось и к танковым боеприпасам.

Спрашиваем, что он тогда увидел на заводе?

— Рабочие бурлили по цехам, — отвечает генерал, — но митингов еще не было. Разговоры шли только о снижении расценок, постановление о повышении цен еще не было опубликовано.

— Приезжали ли местные руководители поговорить с рабочими?

— Они вели себя как трусливые зайцы... Двое приехали, но когда рабочие рванулись к ним, чтобы высказать свои претензии, они удрали через чердаки... Для того, чтобы обратить на себя внимание, рабочие остановили движение на железной дороге.

— Для того, чтобы Москва знала обо всем, что происходит здесь?

— Да... Не подозревая о том, что два члена Президиума ЦК находятся от них всего в нескольких километрах под охраной танков и автоматчиков.

Первого числа, по словам генерала Шапошникова, рабочие вышли из цехов и заполнили заводскую площадь. Они хотели встретиться с заводским начальством, но двери заводоуправления были забаррикадированы. Митинг продолжался целый день...

А потом наступило второе июня.

— Около одиннадцати часов утра распахнулись заводские ворота, и толпа в восемь тысяч человек с красными знаменами направилась в сторону Новочеркасска. Я подошел к рабочим и спросил: «Куда вы идете?» Один из них ответил: «Товарищ генерал, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе». По радиации я доложил генералу Плиеву о том, что рабочие идут в центр города. «Задержать, не допускать!» — услышал голос Плиева. «У меня не хватит сил задержать семь-восемь тысяч человек!» — ответил я. «Я высылаю в ваше распоряжение танки. Атакуйте!» — последовала команда Плиева. Я ответил: «Товарищ командующий, я не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками». Плиев раздраженно бросил микрофон. Предчувствуя недоброе, я попытался на своем «газике» перегнать колонну. Навстречу мне попался генерал Пароваткин, которого я посылал раньше за устными указаниями Плиева. «Командующий приказал применить оружие», — сказал он мне. «Не может быть!» — воскликнул я. Тогда Пароваткин протянул мне блокнот, развернул его, и я увидел: «Применить оружие». Мы с Пароваткиным быстро вскочили в «газик», чтобы успеть обогнать толпу и не допустить кровавой акции. Но не доехав метров четырехста до площади перед горкомом партии, услышали массированный огонь из автоматов.

— Матвей Кузьмич, сколько людей, по вашему мнению, было убито?

— Двадцать четыре человека, из них один школьник, тридцать было ранено. Я, помню, сказал генералу Пароваткину: «Знаешь что, давай сейчас поедем к Козлову и Микояну и потребуем как очевидцы, чтобы на площади судили всех тех, кто применил оружие». «Опомнитесь, Матвей Кузьмич, — ответил Пароваткин, — там же нас не поймут».

Мы спросили генерала, что было бы, если бы он подчинился приказу, и танки, стоявшие на мосту через реку Тузлов, атаковали толпу. Он ответил: «Погибли бы тысячи».

Когда он ехал на завод, то в его «газик» полетел булыжник. Попал в плечо, сорвал левый погон. Генерал высунулся из маши-

ны и крикнул тому, кто кидал булыжник: «Дурак ты!» И поехал дальше...

Вечером член Военного Совета округа Иващенко сообщил ему, что, по приказу областного начальства, трупы собрали, увезли и свалили в какую-то заброшенную шахту.

— Когда я узнал, что собирается городской партийный актив, то решил на нем выступить и сообщил об этом члену Военного Совета. Я хотел сказать, что мы не должны этого делать. Я хотел напомнить всем, что даже в Программе нашей партии написано: для внутренних нужд СССР в армии не нуждается. Доказать всем, что это беззаконие и нарушение всех человеческих норм. Спросить руководителей КГБ и МВД, почему, если мы были в военной форме, то они переодели своих людей в грязные комбинезоны? Я хотел сказать о многом, но на актив меня не пригласили. Тогда я решил написать письмо и попросил адъютанта найти мне тома Ленина, в которых он дает оценку Ленскому расстрелу и Кровавому воскресенью.

— Кому письмо-то, Матвей Кузьмич? В ЦК? Хрущеву?

— В том-то и дело... Я понял, что писать некому, по крайней мере по этим адресам...

...Через некоторое время в Москву, в Союз писателей СССР, на улицу Воровского начали приходить письма со странным адресом на конверте: «советским писателям» и с не менее странной подписью: «Неистовый Виссарион».

«Партия превращена в машину, которой управляет плохой шофер, часто спяну нарушающий правила уличного движения. Давно пора у этого шофера отобрать права и таким образом предотвратить катастрофу...»

«...Для нас сейчас чрезвычайно важно, чтобы трудящиеся и производственная интеллигенция разобрались в существе политического режима, в условиях которого мы живем. Они должны понять, что мы находимся под властью худшей формы самодержавия, опирающегося на бюрократическую и военную силу.»

«Нам необходимо, чтобы люди начали мыслить вместо того, чтобы иметь слепую веру, превращающую людей в живые машины. Наш народ, если сказать коротко, превращен в бесправного международного батрака, каким он никогда не был.»

Письма в СП СССР приходили одно за другим, и можно только представить ту реакцию — нет, не у писателей, а у чиновных писательских руководителей, которые исправно переправляли письма в КГБ.

На что надеялся Герой Советского Союза генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Северо-Кавказским военным округом (а ему еще полгода пробыть и. о. командующего округом), то есть человек, стоящий на высших ступенях советской военной иерархии, занимаясь совсем не свойственным генералу делом — писать письма писателям под псевдонимом почти из школьного сочинения? Что заставляло его день ото дня заполнять личные дневники, размышляя не столько о военном искусстве, сколько о трудной науке гражданственности (кстати, дневники, как и письма, не все, правда, были возвращены генералу только в 1988-м).

Что заставляло? Наверное, наверняка одно: ненависть к духовному рабству, которое он осознал, сама Система, которая лишила человека человеческого.

Ну, а на что он надеялся?..

Да и могло ли все это долго продолжаться?

«Постепенно я начал сталкиваться с некоторыми странностями, — вспоминает Матвей Кузьмич. — Письма, которые приходили ко мне, как правило, приходили в поврежденных конвертах, и мои адресаты начали жаловаться мне на то, что в таких же поврежденных конвертах приходят и мои письма к ним. Помню, я пригласил к себе начальника особого отдела округа и попросил разобраться, кому понадобилось следить за моей перепиской. Начальник особого отдела смутился и через несколько дней сообщил мне, что конверты повреждены из-за неаккуратности почтовых работников.»

В июне 1966 года генерала Шапошникова в расцвете сил неожиданно увольняют в запас. В те дни он записал в дневнике: «Сегодня получил ответ на свое письмо Малиновскому Р.Я., которое я писал 08.06.66 года. Вот его резолюция на письме: «Тов. Шапошников М.К. Не смогли устроить Вас со службой, поэтому и состоялось Ваше увольнение. Большого чего-либо сделать не могу. Малиновский.»

В конце августа 1966 года М.К. Шапошников вместе с женой возвращался на своем «запорожце» из Подмосковья в Ростов. При выезде из Москвы машину остановили. «В чем дело?» — удивился генерал. — «Что я нарушил?» Офицер ГАИ ответил: «Ничего. Мы только проверим документы». Рядом с офицером ГАИ стояли несколько чему-то ухмыляющихся людей в штатском.

— Обычно-то мы едем через Харьков, а в этот раз я решил ехать через Воронеж, чтобы срезать 150 километров. Не успел выехать из Воронежа, как дорогу перекрыли несколько машин с мигалками. «Товарищ генерал, вы откуда и куда?» (а я всегда ежу в форме и со звездочкой Героя). Я снова удивился. Проверили документы и отпустили. Но перед Ростовом снова тормозят. «Опять будете спрашивать, откуда и куда еду? Надоели!» Молодой офицер ГАИ смутился и опустил глаза.

Въезжаю в свой двор, но арка, через которую я всегда ежу, перекрыта, зачем-то вырыта яма. И тут только замечаю, что не только дом, но и квартал оцеплен. Первый, кого я вижу во дворе, — начальник особого отдела округа и с ним еще человек двенадцать в форме и в штатском. Подходит ко мне: «Здравствуйте, Матвей Кузьмич, машину ставьте вот сюда и вылезайте». Только мы с женой вылезли, машину начали обыскивать, возможно, в надежде найти какую-нибудь подпольную типографию. Поднимаемся по лестнице, и над моей квартирой, и под моей на площадках стоят странного вида молодые люди. Один из замков оказался уже сломанным... Еле вошли в квартиру. Мне предъявляют ордер на обыск. Спрашиваю начальника особого отдела: откуда начнете искать? Тот мгновенно указывает на кабинет, садится за мой стол и открывает именно тот ящик, где лежит мой личный архив, в том числе — на самом верху рукописи писем «неистового Виссариона».

— Плохой же вы конспиратор, Матвей Кузьмич, — говорим мы.

— А я ничего и не собирался прятать. Я человек очень аккуратный, и, бросив взгляд в ящик стола, понимаю, что его уже внимательно осматривали: все бумаги перевернуты. Там же находилось и воззвание по поводу июньских новочеркасских событий — оно попало ко мне еще в 1962 году. Объяснили, что арестовывать меня не будут, взяли подписку о невыезде. После их ухода жена подняла ковер в нашей спальне и увидела, что под ним просверлено два отверстия в стене, и в них вставлены трубочки. Техника у них тогда еще, видимо, была никудышная...

М.К. Шапошникову было предъявлено обвинение по статье 70 УК РСФСР — за антисоветскую агитацию и пропаганду. Лишь после обращения его к Андропову дело было прекращено, но не по реабилитирующим основаниям. И потому все материалы были переданы в партийную комиссию при Ростовском обкоме пар-

тии. 26 января 1967 года тогдашний первый секретарь Ростовского обкома партии отобрал у генерала Шапошникова партийный билет.

Конечно, Матвей Кузьмич тогда писал и писал. В ЦК, в прокуратуру, съездам партии. Он рассказывал о своей судьбе рабочего паренька, ставшего военным, ходившего в танковые атаки, получившего Героя в тяжелые фронтовые годы. Он писал про трагедию в Новочеркасске. Он не напоминал свои собственные слова: «Я не вижу перед собой такого противника, которого бы следовало атаковать танками». Наоборот, он писал, обращаясь уже к XXVII съезду партии: «Что же касается меня самого, то я и тогда, и ныне продолжаю себя казнить за то, что в июне 1962 года не сумел помешать кровавой акции».

...В мае 1967 года генерал Шапошников записал в своем дневнике:

«Лично я далек от того, чтобы таить обиды или злобу на носителей неограниченного произвола. Я только сожалею о том, что не сумел по-настоящему бороться с этим злом. В схватке с произволом и самодурством у меня не хватило умения вести смертельный бой. В борьбе с распространенным и укоренившимся в армейских условиях злом, каковым является произвол самодуров, подлость и лицемерие, у меня не оказалось достаточно эффективного оружия, кроме иллюзорной веры в то, что правда, вот так, сама по себе, победит и справедливость восторжествует».

Когда мы с ним повстречались, Матвею Кузьмичу Шапошникову шел уж 83-й год.

Мы не заметили в нем старости жизни. Он ничего не забыл. Он ничего не хочет забывать...

«Система может оказаться сильнее народа, но сильнее одного человека она может и не стать», — такими словами мы закончили эту статью тогда, весной 1989 года.

Этот последний абзац ведущий редактор номера газеты почему-то вычеркнул.

Что бы еще хотелось добавить к тому, о чем написал?

Работали мы вместе с Владимиром Фоминым, корреспондентом «ЛГ» по Северному Кавказу.

Писали быстро, взхлеб на Володиной пишущей машинке, которую он притащил из дома в гостиницу «Ростов».

Помню, не покидало чувство опасности, даже сам не знаю почему: ведь кажется — это прошлое? Кому оно может помешать

тогда, когда уже самые черные страницы прошлого открывались чуть ли не ежедневно?

Даже помню, как знакомые ребята из милиции довели меня прямо до трапа самолета, узнав, какой груз везу я в редакцию: ведь до этого о новочеркасской трагедии не было сказано ни слова.

Конечно, долетел я нормально, и статья спустя неделю была опубликована.

Но не напрасными были тогда эти предчувствия: спустя полгода, когда все больше свидетельств той трагедии становились известными (включая место тайного захоронения жертв того расстрела), Петр Сигуда, собравший уникальные свидетельства новочеркасской бойни и требовавший наказать виновных, был убит.

Помню, как поздно ночью позвонили мне из Ростова и сообщили об этом. Еще одному человеку, с которым столкнула судьба, суждено с тех пор оставаться только лишь в памяти.

Генерал Матвей Кузьмич Шапошников прожил еще несколько лет. Прожил в славе — стал почетным председателем союза «Щит». Прожил в ненависти черных полковников и генералов. Мне тоже тогда досталось. Генерал Филатов в своем черносотенном «Военно-историческом журнале» написал: «Еще один борец за честь и достоинство — Щекочихин. А этот сколько ушатов грязи вылил на армию в связи с событиями в Новочеркасске!».

«Этот» не стал с ним спорить.

## ***ПОРТРЕТЫ НА ФОНЕ ПЕЙЗАЖА: ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЙ МИХАИЛ РИВКИН***

История писем Михаила Ривкина, которые очутились у меня, такова. В середине 1987 года в редакцию пришла его мама: «Вряд ли в ваших силах помочь моему сыну, но я хочу, чтобы вы знали об этом деле». И оставила мне папку с документами.

Суть дела оказалась в следующем.

В 1982 году шесть молодых научных сотрудников начали издавать сборник «Варианты». Издавать так, как тогда только и возможно было издавать самим: перепечатывая статьи на машинке

в нескольких экземплярах, то, что называлось тогда замечательным российским словом «самиздат».

Летом того же 82-го вся шестерка была арестована КГБ по привычному тогда обвинению — в антисоветской агитации и пропаганде.

Скорее всего, смерть Брежнева в ноябре того же года остановила очередной громкий политический процесс. Авторам этого самиздатовского сборника предложили написать прошение о помиловании. Пятеро написали. Шестой, Михаил Ривкин, отказался, так как не считал свои статьи (а одна из них была написана, когда он еще учился в десятом классе) антисоветскими, и был отправлен в суд и за строптивость получил на всю катушку: «семь лет лагерей и пять — ссылки».

Вот что я прочитал в приговоре, думаю, последнем такого рода до отмены зловещей 70-й статьи:

«Подсудимый Ривкин виновен в проведении в целях подрыва Советской власти и пропаганды путем изготовления и распространения литературы, содержащей клеветнические измышления, порочащие советский государственный строй, в пропаганде в тех же целях антисоветских идей и установок, в совершении иных враждебных действий, выражающих стремление вызвать у окружающих намерение активно бороться с Советской властью».

Выступая на суде, один из его товарищей, написавших прошение о помиловании, сказал: «Я считаю несправедливым, что на скамье подсудимых оказался человек, причастность которого к делу гораздо менее причастности тех, которых нашли возможность помиловать. По моему глубокому убеждению, он для государства перестал быть социально опасным еще тогда, когда добровольно вышел из дела за определенное время до ареста. Кроме того, я ощущаю тяжелую моральную ответственность за судьбу человека, вовлеченного мною в деятельность, о полном масштабе и характере которой он не имел объективного представления...»

А другой, тоже написавший прошение о помиловании, добавил: «Я понимаю, что у Ривкина есть основания утратить уважение ко мне, но мое уважение к нему остается прежним. Это исключительно порядочный и честный человек, лучший из тех, кто рождается в нашем обществе...»

В своем последнем слове Михаил сказал:

«Я, конечно, живой человек, и мне очень тяжело, что своим поведением я наношу глубокую рану своим близким. Но поступить

иначе я не мог. Я сознательно пошел на эту жертву во имя социального прогресса и демократии в нашей стране. Я считаю, что без жертв ничего добиться нельзя. Я так же мог быть сейчас на свободе, как мои товарищи, но счел для себя это невозможным и надеюсь, что моя жертва не будет бесполезной для истории. Как бы мы ни хотели — колесо истории повернуть вспять невозможно. Я очень хотел бы, чтобы после этого суда каждый человек, который был здесь и видел, что здесь происходило, оставшись наедине со своей совестью, спросил бы себя, как ему жить дальше. Я хочу еще раз сказать, что совсем не жалею о той внешней свободе, которую сохранили мои товарищи, подписав бумагу о помиловании. Для меня главное — это внутренняя свобода, в каких бы условиях я ни находился. Любые условия не изменят моих взглядов...»

И текст последнего слова Михаила лежал в папке, которую принесла в редакцию его мама. За ним — стандартные ответы со стандартным: «оснований для пересмотра дела нет» или «для постановки вопроса о смягчении наказания оснований не имеется». И, наконец, письма Михаила к матери и деду.

Дела такого рода находились тогда в спецхране, и потому, как я ни старался, не смог ознакомиться с написанными им статьями «Письмо о ступенях падения человеческой личности», «На перекрестке» и «Этапы исторического развития», но убежден, что в них сказана лишь малая часть того, о чем спустя всего лишь несколько лет после того процесса стало говориться во всеуслышание и публиковаться многомиллионными тиражами.

После визита его мамы в редакцию я направил письмо в Прокуратуру СССР с просьбой пересмотреть дело Михаила. Не знаю, сыграло ли какую-то роль мое письмо (всегда хочется надеяться, что не даром ешь хлеб), или в связи с тем, что уже начало меняться отношение к инакомыслящим, — но Михаил Ривкин был амнистирован...

Об этом мне сказала однажды, уже некоторое время спустя после визита его мамы в редакцию, какая-то незнакомая женщина, которая подошла ко мне, если не ошибаюсь, в Доме композиторов. Но о дальнейшей судьбе Миши она ничего не знала. Тогда я решил опубликовать его письма из лагеря и тюрьмы. Письма к маме и дедушке.

«Пишу вам на второй день по прибытии к месту назначения, которое станет для меня постоянным пристанищем на пять с половиной лет...

Этапировали меня в условиях полной изоляции, в вагоне я ехал в отдельном купе, в машине — в отдельном боксе, а в Потьме меня держали в отдельной камере... Вчера утром я выехал из Потьмы, а через несколько часов меня уже стригли и брили в моем новом жилище, которое оказалось намного лучше, чем я предполагал. Помещение здесь было очень просторное и уютное, койки стоят в один ярус. Я получил в распоряжение отличную койку с панцирной сеткой, на которой отдыхаю после лефортовского железного лежака. Мне выдали полный комплект лагерной одежды и белья, шапку, пару сапог и все постельные принадлежности — того имущества, которое я привез с собой, вкуче с полученным на месте, мне вполне хватит до конца срока.

Здесь уже установилась настоящая зимняя погода (в Москве, вероятно, тоже): сегодня целый день шел снег, и потому вся наша территория выглядит очень приятно и свежо...

Барашево, 20–25.11.1983 г.»

«...Никаких серьезных проблем у меня нет. Баня каждую неделю, каждый день есть возможность смотреть телевизор, питание в целом не сильно уступает лефортовскому. Я уже начал работать в швейной мастерской (пока успехи мои весьма скромные); по вечерам отдыхаю за чтением и разговорами — благо наконец-то собеседников больше чем достаточно. Настроение как нельзя более бодрое и спокойное. Не сомневаюсь, что пять с половиной лет пройдут для меня без больших потерь.

Никаких особых новостей я не могу сообщить по причине чрезвычайной монотонности и регулярности нашей жизни. Единственное событие за последние десять дней — оттепель и совершенно не ноябрьский, очень теплый дождь, который льет вторые сутки без перерыва. Сегодня отоварился в ларьке на 5 рублей, взял чай, повидло, подсолнечное масло, консервы, животный жир, тетради и конверты (писчей бумагой и всем необходимым для отправки писем я вполне обеспечен).

Барашево, 29.11.1983 г.»

«...Какие-либо изменения в моем положении до 1989 года практически невозможны. Я понимаю, как тяжело вам это читать, но надеюсь, что правильный психологический настрой поможет

вам сохранить силы в течение этих всех лет. Что касается меня, то моих сил, как вы сами могли видеть, на пять с половиной лет хватит с избытком.

24.12.1983 г.»

«... Чем ближе я знакомлюсь с моими новыми друзьями, тем яснее осознаю, насколько необходим был для меня визит в «места не столь отдаленные». Без здешних знакомств я навсегда сохранил бы об окружающем мире и о людях, которые в этом мире живут, неверное и одностороннее представление. Со 2 января я вышел на работу в швейный цех. Против всех моих опасений, я довольно быстро нашел «общий язык» со швейной машиной. Я уже сдаю каждый день по пятьдесят рукавиц, причем шью сравнительно неплохо, брака почти нет. Я оформлен как ученик швей-моториста... Срок ученичества подойдет к концу через три дня. После этого я должен буду ежедневно выполнять норму — 92 пары рукавиц в смену. Учитывая, что с каждым днем я работаю все быстрее и уже сейчас без особого напряжения шью 50 пар в день, надеюсь через пару месяцев добиться выполнения нормы...

Буквально накануне получения вашего письма закончил читать последний том «Былого и дум» Герцена. На первой же странице увидел фразу, которая лучше пространных описаний дает представление о теперешнем моем состоянии: «Были тяжелые минуты, и не раз слеза скатывалась по щеке, но были другие, не радостные, но мужественные, я чувствовал в себе силу и не надеялся ни на кого больше, но надежда крепчала, я становился независимым ото всех». Я в течение этого года не раз испытывал подобное. Действительно, в окружающем меня мире не осталось, пожалуй, никого и ничего, с кем (или с чем) я мог бы связывать какие-либо надежды. Моя судьба определена на ближайшее десятилетие с непреложностью, не оставляющей малейшей отдушины. И именно эта неопределенность заставляет меня искать опору и надежду не во внешнем мире, который уже ничего дать мне не может, а в своей душе. Настойчивый духовный поиск по самой своей природе не может остаться без результата. Речь идет сейчас лишь о форме, которую примет этот результат. Это могут быть те или иные надличностные ценности, но силы для служения этим идеалам человек может найти только в своей душе. Именно поэтому я решил использовать источник духовной силы человека таким, какой он есть, обратился за помощью непосредственно к своему «я» и нашел там достаточно сил, чтобы там

выстоять. Правда, в какие-то минуты вся вселенная сужалась до размеров своего «я» и порою утрачивалось ощущение реальности окружающего мира, он сохранял смысл только как воплощение моих нравственных принципов, которые стали для меня единственной (и абсолютной) ценностью в этом царстве абсурда...

Тебе, дедушка, я хочу написать несколько слов о твоём письме в ЦК. Если ты действительно по ознакомлению с материалами дела пришел к выводу, что я в чем-то преступил закон, твоё безусловное право об этом говорить и писать. Но если ты пишешь о моей «вине» исключительно в надежде на снисхождение, то унижаешься ты совершенно напрасно, поскольку абсолютно никаких шансов на смягчение наказания нет и быть не может.

Барашево, 21.01.1984 г.»

«...Описание моего дня рождения прочел с огромным удовольствием. Коллекция коньяка, собранная в течение десятилетия, не каждому попадает в руки — известно, что коньяк хранить труднее, чем самые скоропортящиеся продукты.

Интерес к Петру I мне также понятен. Эпоха петровских реформ — одна из редких в истории «развилки», то есть таких периодов, когда общество, разумеется, неосознанно и стихийно выбирает свою судьбу, когда оба варианта развития достаточно реальны и сравнительно малозначимые факторы определяют, по какому именно пути пойдет страна. От одной такой развилки до другой лежат, как правило, века однозначно детерминированного эволюционного развития. Хочу просить, коль скоро речь зашла об истории, навести справку о В. Розанове, в каком городе он родился, где жил в молодости и когда работал над трактатом «О понимании».

Барашево, 01.04.1984 г.»

«Единственно достойная внимания новость за последнее время — это ремонт в нашем бараке. Красили заново пол и стены, белили потолки. Кровати пришлось из барака вынести на три дня. Старики разместились на это время в помещении столовой, а мы блаженствовали три ночи на свежем воздухе. Погода установилась по-настоящему летняя, даже жаркая, ночью на улице очень тепло (в бараке, к сожалению, душновато). Я невольно вспомнил бесконечно далекие счастливые дни, когда я в последний раз ночевал на свежем воздухе, в саду, и тех людей, которые были со мной тогда. Думаю, что они тоже не забыли того времени. Верю, что все это вернется, хотя прекрасно понимаю, что бес-

конечность, отделяющая меня от человеческого будущего, не в пример шире той, что пролегла между моим человеческим прошлым и этими тремя днями воспоминаний — воспоминаний не столько интеллектуальных, сколько чувственных. Звезды над головой, легкое дуновение ночного, на грани тепла и прохлады, ветерка, даже составление планов эвакуации на случай ночного дождя — за каждой мелочью тянется пленительно-горькая цепочка воспоминаний.

Очень тронут тем, что 8 июня друзья навестили вас. Казалось, странный повод для торжества, но ведь это не только день моего ареста, но и день моего грядущего освобождения. Кроме того, это повод не только для меня еще раз подумать, правильно ли выбран путь и хватит ли сил пройти его до конца. На оба этих вопроса отвечаю: «Да!!!» (число восклицательных знаков с годами растет). Что касается опасений относительно увеличения срока, то они совершенно неосновательны. Однако если уж речь у нас об этом зашла, хочу еще раз объяснить: моя позиция в том или ином вопросе, мое поведение в той или иной конкретной ситуации определялись до сих пор и, смею надеяться, будут определяться и в будущем исключительно принципиальными соображениями. Конъюнктуру я твердо намерен игнорировать.

Барашево, 30.07.1984 г.»

«...Не может быть у вас каких-либо оснований для того, чтобы чувствовать себя неловко, вспоминая обо мне. Самое главное преимущество — здоровье тридцатилетнего мужика — с лихвой перевешивает те искусственные блага, которые цивилизация может предложить вам, да и кому бы то ни было, говоря по чести, я каждый раз просто на целый день выхожу из привычного для меня бодрого состояния духа, когда вспоминаю, какие вас ожидают испытания по пути в Барашево.

Барашево, 26.10.1984 г.»

«По исходным данным письма вы уже поняли, что пишу я вам из тюрьмы в г. Чистополе. Я прибыл сюда 8 февраля с.г. и теперь еще раз могу, основываясь на опыте последних трех недель, подтвердить: не так страшен черт, как его малюют...

Вчера начал перечитывать «Братьев Карамазовых». За шесть лет, прошедших с тех пор, как я прочел этот роман, я приобрел тот минимум жизненного опыта и, не сочтите за хвастовство, ту особенность понимания истинных мотивов поступков окружающих

меня людей, которые помогают мне ныне преодолеть примитивнейшую и вместе с тем убедительную интерпретацию образов романа, усиленно навязанную критикой. Не могу удержаться от желания напомнить слова автора об Алеше из первой книги романа: «Прибавьте, что он был юноша отчасти уже нашего, последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всю силою души своей, с неперменным желанием хотя бы во всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью. Хотя, к несчастью, не понимают эти юноши, что жертва жизни есть, может быть, самая легкая из всех жертв во множестве таких случаев и что пожертвовать, например, из своей кипучей юностью жизни пять-шесть лет на трудное, тяжелое учение, на науку хотя бы, для того только, чтобы удесятерить в себе силы для служения той же правде и тому же подвигу, который излюбил и который предложил себе совершить, — такая жертва сплошь да рядом для многих из них почти совсем не по силам». Только здесь можно понять всю точность, точность провидческую этих строк.

Чистополь, 28.01.85 г.»

«...К здешнему распорядку дня и правилам я полностью приспособился, они мне подходят куда больше, чем те, что были в колонии. Здесь нет тех отвлекающих факторов, которые возникают в любом достаточно крупном коллективе, и поэтому у меня остается куда больше времени для чтения и иных полезных занятий. Безусловно, я буду стараться выполнить норму, но не знаю, как скоро мне удастся добиться нужной ловкости и сноровки.

Ты, мама, правильно пишешь о том, что длительная болезнь или заточение помогают человеку взглянуть на себя другими глазами. Я убеждаюсь в этом с каждым днем все сильнее. Я часто вспоминаю, как пренебрегал тем, чего теперь совершенно лишен, и горько об этом сожалею. Речь идет не о материальных благах, к которым я теперь более равнодушен, чем когда-либо ранее, а о добром отношении со стороны окружающих, прежде всего — о вашей родительской заботе и любви. Очень переживаю, когда вспоминаю, как часто вымещал свое плохое настроение на вас, пользуясь тем, что вы меня любите и терпите все мои выходки.

Как вам совершенно точно ответил на ваш вопрос начальник тюрьмы, я в настоящее время не имею права на свидание с род-

ственниками. В следующем, июньском письме я напишу, когда вы можете приехать с реальными шансами на успех...»

Чистополь, 12.03.1985 г.»

«Вот и закончилась моя первая лагерная весна, а вместе с ней и третий год моего заключения. Он был очень беспокойным для вас. Надеюсь, что начинающийся на днях четвертый будет спокойней. Жизнь моя течет по-старому, чувствую себя хорошо, ничем не болею. Не только жизнь на воле, но и пребывание в колонии стало для меня очень далеким прошлым, в тюрьме я окончательно освоился...

Чистополь, 04.06.1985 г.»

«Ни в Лефортове, ни тем более в Барашеве я никогда бы не смог себе позволить тратить столько времени на занятия спортом в камере. Теперь же мой распорядок дня достаточно регулярен и, главное, не настолько напряжен, как раньше. Теперь я изучаю два языка одновременно — английский и польский. Языки эти настолько различны, что никак не путаются между собой, и параллельное их изучение — задача вполне реальная, хотя и непростая.

Я, как и все, кто не лишен способности мыслить и чувствовать, не могу вновь и вновь не пытаться найти свое единственное доказательство теоремы под названием «жизнь». Однако это вовсе не означает, мои дорогие, что я и в дальнейшем буду для вас источником тревог и огорчений. Я понял, что представлявшееся мне несколько месяцев назад самым важным, таковым не является; напротив, оно отвлекает от проблем истинно глубоких и вечных, то есть от того, над чем я стал задумываться в последнее время. Так что мое «доказательство» носит теперь характер интенсивный, более внутренний, чем внешний, демонстративный. В этом отношении я очень отстал в своем развитии, и теперь мне приходится наверстывать упущенное, благо условия для духовной концентрации здесь весьма благоприятные.

Я прекрасно понимаю, что никаких реальных шансов добиться изменения режима отбывания наказания у меня нет...

Чистополь, 30.06.1985 г.»

«Единственной новостью в июле было лишение меня свидания. Поскольку я имею право на два краткосрочных свидания в год, то следующее я получу не раньше чем через 6 месяцев, то есть начиная с 14 января 1986 года. Однако за предстоящие пол-

года могут произойти всякие непредвиденные события, которые еще больше отдалят эту дату.

Дорогой дедушка! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе обрести на восьмидесятом году жизни полное спокойствие и уверенность в том, что Пангос был абсолютно прав: все к лучшему в этом лучшем из миров. Я, со своей стороны, все более в этом убеждаюсь. Даже испытания, которые нам посланы, идут во благо, поскольку помогают укрепить если не плоть (чувствую я себя пока очень хорошо), то по крайней мере дух. Твои бодрые и остроумные письма меня убедили, что твой оптимистический настрой ни в малой степени не поколеблен печальными событиями последнего времени и что ты по-прежнему относишься к своим невзгодам и болезням с юмором. Лучшего настроения в праздничный день и представить себе нельзя. Надеюсь, ты сохранишь это замечательное присутствие духа до того дня, когда мы с тобой увидимся. Это то качество, которому стараюсь у тебя учиться...

Чистополь, 31.07.1985 г.»

«...Идея выделить специально некоторое время для мыслительной работы выглядит довольно комично не только потому, что мой режим дня слишком плотен, чтобы я мог найти в нем брешь, но, самое главное, потому, что я привык постоянно (во время работы, на прогулке и т.п.) «обдумывать что-нибудь». «Флорентийские ночи» Цветаевой прочел не без труда. Очевидно, что я слишком рациональный человек и мне, видимо, недоступны душевные движения поэта (тем более поэтессы!). Так или иначе, возникло желание прочесть те стихи, которые были написаны ею в последние годы жизни, а последние ее дни — близ того места, где я сейчас нахожусь, — Чистополь и Елабуга очень близкие соседи. Прочел очень интересные исторические заметки Волгина о Достоевском, всем почитателям Ф.М. Достоевского настоятельно рекомендую: поднять богатейший материал архивов, да и традиционные источники (мемуары А.Г. Сниткиной, дневники Е.А. Штакеншнейдер) получают порой довольно неожиданную интерпретацию.

Ты спрашиваешь, мама, как можно подсчитать срок очередной бандероли. Сделать это довольно сложно. В тюрьме общего режима действительно я имею право получать две бандероли в год. Однако в тюрьме строгого режима, куда меня могут перевести, о чем вы подробно прочтете в НТК, я вообще не имею право на получение бандероли, равно как и на свидание. Срок моего

пребывания на строгом режиме автоматически отодвигает момент получения очередной бандероли и свидания. Как видите, арифметика довольно сложная, так что я постараюсь вас от нее избавить. Я согласен с вами в отношении предполагаемого срока свидания: раньше чем будущим летом оно вряд ли состоится.

Чистополь, 01.10.1985 г.»

«Вот и закончился 1985 год, первый год моего пребывания в тюрьме. Он не принес мне никаких радостей, но не доставил и особых огорчений, прошел именно так, как я и ожидал год назад. Я буду очень рад, если два оставшихся года пройдут не хуже, так же быстро и незаметно. Конечно, вспомнил в эти минуты вас, мои дорогие, любимые. Очень остро почувствовал, как для вас должен быть печален этот праздник: сидите вы вдвоем у телевизора, слушаете праздничную музыку, а сами, наверное, только о том и думаете, каково в этот миг приходится мне. Я действительно очень мучаюсь и переживаю, что доставил вам столько огорчений и неприятностей и что вынужден буду и в дальнейшем подвергать вас таким испытаниям. С другой стороны, и это самое главное, все, что уже случилось со мной, и все, что случится в будущем, происходит не по моей вине и не по воле каких-то других людей, а по велянию свыше. И никто тут не в силах ничего изменить...

Дело тут вовсе не в том, что я не могу поступаться человеческим достоинством, как предполагает О.С. Что касается моего личного достоинства, то я еще в детстве вызывал удивление и даже презрение многих своих друзей своим полным безразличием и полным равнодушием к этим чрезвычайно важным для всякого подростка вещам. Тем менее волнуют меня эти проблемы сейчас. Нет такой уступки, на которую я бы не был готов пойти, коль скоро идет речь обо мне лично. Но коль скоро дело касается других людей или тем паче высших ценностей, моя позиция, естественно, меняется со всеми вытекающими последствиями.

Недавно в нашей тюремной жизни произошло событие огромной важности. С первого января повышены максимальные пределы тюремных сумм, которые можно тратить на приобретение продуктов в ларьке. Это, пожалуй, самое серьезное улучшение в положении осужденных за последние четверть века. Хотя эта мера затронула всех, кто отбывает наказание в колониях и тюрьмах, особенно чувствительно это увеличение для тех, кто живет наиболее скромно.

Передайте огромную признательность, пожелайте счастья и удачи в новом году всем тем, чьи письма и поздравления я не получил. Их «любовь и дружество» и вправду дошли до меня «сквозь тяжкие затворы», и в минуту встречи Нового года я видел вокруг себя лица всех моих преданных друзей, всех, кто меня помнит и любит. Я никогда не думал, что их так много, но сердце подсказывало мне все новые и новые имена, и я уверен, что ни одно поздравление, которое было мне адресовано, не миновало меня в ту пору.

Чистополь, 14.01.1986 г.»

«Дорогой дедушка! Насколько я понял из твоего письма, тебе вручили орден Отечественной войны. Поздравляю тебя от всего сердца, крепко обнимаю и еще раз хочу сказать, что ты для меня всегда будешь образцом настоящего, непоказного мужества, которое не покидало тебя на протяжении всей жизни и не покинет, надеюсь, и впредь. Напиши подробней, как и при каких обстоятельствах тебе вручили орден.

Чистополь, 2 марта 1986 г.»

«Приятно начать письмо с доброй вести. Начиная с сегодняшнего дня я вновь на общем режиме. Это едва ли не первое изменение к лучшему в моем статусе за последние четыре года. Тенденция эта меня весьма радует. Кроме того, пользуюсь теперь некоторыми благами, от которых успел отвыкнуть. Во-первых, ежемесячное письмо. Это не только радость для вас, но и большое удобство для меня. Очень тяжело отвечать на письма, накопившиеся за два месяца. Во-вторых, часовая прогулка. Это очень существенно именно сейчас, когда в наших краях установилась теплая, солнечная погода. Весна в разгаре, а по утрам птичье пение будит меня задолго до подъема. Воздух на улице такой чистый, какой бывает только в лесу, да и то на достаточном удалении от человеческого жилья. Так что «кислородный паек» получаю полностью. В-третьих, я теперь имею право покупать продукты на 5 рублей в месяц. Я даже в колонии имел в распоряжении 5-7 руб. в месяц, так что подобное богатство обрушилось на меня, как миллионное наследство на нищего.

...Думаю об идее превращения Арбата в музей под открытым небом. Не думаю, что живая многолюдная магистраль выиграет от насильственной мумификации. Впрочем, трудно судить на расстоянии. Напишите, как вам понравились перемены на Арбате?

Дорогая мама! Ты пишешь, что никак не можешь понять, почему люди, которые верят в бессмертие души, так боятся смерти. Это один из самых сложных и деликатных вопросов, связанных с религией. Ведь что ни говори, а самая главная загадка нашего бытия — это та граница, которая отделяет существование от несуществования. Даже самые великие люди не избавлены от трагического противоречия между плотскими чувствами, из которых инстинкт самосохранения — самое сильное и всеподчиняющее, и высокими духовными устремлениями. Это противоречие в той или иной степени составляет трагедию каждого истинно верующего человека. Два разнородных полярных начала всегда живут в его душе — высокое духовное и низкое телесное, причем квинтэссенцией последнего наряду с инстинктом продолжения рода является именно страх смерти, от которого не могут полностью избавиться даже величайшие аскеты, сумевшие подчинить своей воле все плотские инстинкты и полностью их контролировать и направлять.

Что касается меня, то я вовсе не считаю, что мое «я», моя личность, осознающая свое индивидуальное существование, не сходная с любой другой личностью, должна сохраниться после телесной смерти. Я уверен, что это невозможно. Уверенность моя базируется не только на данных естественных наук, но и на самых общих философских посылах.

Как бы ни стремился Федоров доказать реальность телесного воскрешения всех ранее живших людей, он никогда не убедит меня не только в возможности, но и в высшей целесообразности такого воскрешения. Дело в том, что в момент гибели нашего бренного тела гибнут и наши пороки, наши изъяны духовные и телесные, все то преходящее и суетное, что составляет неповторимый индивидуальный колорит нашей личности. Сохраняется навеки лишь то великое, чистое и светлое, что каждый из нас получает, являясь в этот грешный мир на краткий миг, что никогда не погибнет, даже после гибели последнего человека на этой планете, да и после гибели последнего разумного существа во вселенной.

Именно это извечное светлое начало, не принадлежащее по отдельности никому из нас, абсолютно свободное от наших индивидуальных пороков и недостатков, в силу этого не несущее и не должное нести несмываемый отпечаток нашего «я», и является, в моем понимании, человеческой душой. Я могу сказать совершенно искренне, что верую в бессмертие души, то есть в бессмертие самого чистого, самого лучшего, что есть в каждом из нас. Именно

вера в такое бессмертие души и составляет основное содержание моего теперешнего мировоззрения, именно она лежит в основе моих теперешних религиозных взглядов. Это дает мне силы воспринимать грядущую физическую смерть как нечто совершенно неизбежное и вполне естественное. Дело не в том, что я смог преодолеть страх перед смертью. Не думаю, чтобы это кому-нибудь удалось до конца. Дело в том, что этот страх не мешает мне жить.

Очень признателен всем, кто был у меня на дне рождения, и всем, кто поздравил меня письменно или телеграфом. О таких роскошных подарках я не мог даже мечтать! Видно, что ребята очень хотели меня порадовать. Я сам встретил этот день так же, как и всегда, — скорее с грустью, чем с радостью: ведь навсегда ушел еще один год, который ничем не заменишь и никогда не наверстаешь.

Чистополь, 2 мая 1986 г.»

Я не смог напечатать в газете письма Михаила Ривкина тогда же, когда они оказались у меня на столе. Не виню в этом тогдашнее редакционное начальство, которое, помню, лениво отмахивалось от всех моих попыток обнародовать их.

Кого винить? Не их же, винтиков той государственной машины...

Потом, если честно, позабыл, что они у меня лежат в одной из многочисленных папок с постоянно накапливавшимися архивами.

Вспомнил после той случайной встречи в Доме композиторов.

Шел, повторяю, уже 1990-й.

Письма эти заняли целую газетную страницу. В качестве послесловия к ним я опубликовал собственное письмо к Михаилу Ривкину:

«Здравствуйте, Михаил!

В Москве — весна, которая пришла в этот раз совсем незаметно, потому что и зимы-то мы не почувствовали. Уже можно пробежать на улицу без куртки, перейти дорогу и усесться на скамейку на соседнем с редакцией Сретенском бульваре. У нас все так же. Остальные наши новости Вы наверняка знаете из газет (скорее всего на английском?), которые пишут обо всех наших событиях много и часто.

Читатели уже, наверное, догадались, почему я обращаюсь к вам с письмом. Ну, а Вам самому можно, наверное, только уди-

виться, что Вас вспомнили на страницах советской газеты. А мне, мне остается надеяться, что этот газетный номер попадет к Вам в руки: мир не такой уж большой.

Когда я начал Вас искать, чтобы попросить сегодня прокомментировать те лагерные и тюремные письма, то в первую очередь позвонил Вам на работу: «Он здесь давно не работает. Где? Понятия не имеем». Потом несколько раз звонил Вам домой: и днем, и вечером, и даже однажды на рассвете, прилетев из командировки. Телефон молчал. Потом наконец моему товарищу удалось разыскать одного из тех, кто вместе с Вами публиковался в том самиздатовском журнале тогда, в 1982-м. От него и стало известно, что Вы эмигрировали. Где вы сейчас, на каком континенте, в какой стране — выяснить так и не удалось, как ни старался.

Когда я вижу огромные очереди у американского посольства в Москве, когда в Шереметьеве встречаю людей, собравшихся навсегда улететь из страны, когда в разных западных столицах сижу в гостях у своих знакомых или знакомых своих знакомых, давно или недавно сменивших советскую прописку, что я чувствую? Да стыд из-за того, что из нашей страны хочется уехать. Не на месяц или год — навсегда.

И думаю, как все-таки чертовски легко мы расстаемся с людьми! И как часто оказывается, что именно тех людей, с которыми так легко расстались, не хватает сегодня.

У каждого свои причины для эмиграции. Что касается Вас, то хотел бы я взглянуть в глаза человеку, который осмелится бросить в Вас камень!

Но каждый раз убеждаюсь в том, чего у нас нет. Почему же так все у нас?! Почему тем, кто мог бы стать гордостью, совестью нашей страны, хотя бы на прощание не сказать: «Ну подожди... Как же мы здесь без тебя!» Уважение к каждому своему гражданину — вот тот основной признак государства, о котором я мечтаю. Не только ностальгия по родине, но и ностальгия родины по своему гражданину — вот оно истинно цивилизованное общество.

Потому-то я хочу, чтобы Вы, Михаил, взяли в руки этот номер газеты. И досказали то, чего не успели сказать своим бывшим согражданам. И тем, кто Вас знал и любил, и тем, кто с Вами познакомился сегодня.

Надеюсь, что Вы ответите.

Юрий Щекочихин».

Когда я писал статью, в газете я не назвал фамилию Михаила: просто — «Михаил Р.»

Но уже наутро у меня на столе оказалось — принесли на вахту — следующее письмо:

«Юрий Петрович!

Я хочу поблагодарить Вас за публикацию писем «Михаила Р.» Они — капля правды, жизненно необходимой нашему изолгавшемуся, ныне добываемому лицемерной «гласностью» обществу. Вполне в духе этого выношенного в андроповском ведомстве феномена Вы, как конвоирами, обложили письма лукавым предисловием и оскорбительным «открытым письмом» к «Р». Михаил Ривкин мой друг, а Ваша гипотеза, что он прочитает Вашу статью, на мой взгляд, весьма сомнительна. Поэтому считаю нужным написать Вам.

По Вашим словам, подельники Михаила были освобождены, возможно, из-за смерти Брежнева. То есть вследствие того, что власть перешла от «застойного» орденоносца к оберпалачу? Зачем Вы поддерживаете абсурдную версию западных социалистов и их расколотившихся в Лефортовской (вполне интеллигентной) тюрьме единомышленников?

Вы сами знаете: подельники «Михаила Р.» предали всех и все что возможно. Предали свои идеалы (впрочем, не собираюсь вмешиваться в нравственные проблемы левых); выдали тех, кто хоть как-то был с ними связан, — вплоть до машинисток. «Надо спасать не технику, а годы жизни», — заявил один. Были, говорят, и какие-то нюансы в их поведении. Но хорошо известно главное: при помощи одной лишь слезницы, без весьма существенных к ней добавок, в это время освободиться из Лефортово было абсолютно невозможно. Называю имена — это полезно.

(Далее, выделенным крупным шрифтом, список из пяти фамилий. — Ю. Щ.)

Родина должна знать своих героев...

Всякий, кто прочтет письма Михаила, поймет: «помиловку» он никогда бы писать не стал. «Помилование» таких людей, как Ривкин, обернулось позором для государства, а об этом говорить Ваша гласность, по-видимому, пока не позволяет.

Главная же причина, вынудившая меня обратиться к Вам, — Ваше открытое письмо эмигранту «Р.». «Вы, наверное, и не выдержали, и не простили, и хотел бы я посмотреть в глаза тому человеку, который осмелился бросить в Вас камень!»

Выдержал Михаил все — я этому свидетель. А выдерживать ему — было что!

И прощать ему было некого. Он — Еврей (пишу это слово с большой буквой, как в Библии), глубоко верующий иудей. «Мне отмщение, и Аз воздам», «Милости хочу, а не жертвы» — перед человеком, воспитанным на таких заповедях, вопрос о прощении причиненного ему (лично ему) не стоит.

Игра с библейскими образами — пример непонимания и дурного вкуса, «...кто из вас без греха, первым брось на нее камень», — сказал Спаситель. Он обращался к толпе, намеревавшейся наказать блудницу за грех. Михаила, без сомнения, очень развеселило бы Ваше великодушное желание простить ему грех эмиграции.

Вы проявляете в лучшем случае незнание того, о чем пишете. Михаил уехал не «из», а «в». Ничто не мешало ему получить статус политэмигранта в США. Но он уехал на Родину своих предков. В маленькую небогатую страну, ведущую войну за выживание.

Михаилу мучительно больно было расставаться с Россией. Но он сделал выбор. Он сказал мне на прощание: «И дети мои будут еще тосковать по этой стране. Ну, а внуки — уже нет».

Побольше бы нам таких граждан. И таких эмигрантов».

Дата, подпись...

Почти все имена «подельников» Михаила, выделенные крупным, прописным шрифтом, были мне хорошо знакомы: я видел их на многочисленных тогда московских митингах, читал их статьи, слушал их пламенные речи.

Я понимал, чего хотел мой адресант: обнародовать эти имена, разоблачить, пригвоздить к позорному столбу.

Потому-то письмо, потому-то заглавными буквами...

Я понимал, чего же хотел он.

Я знал: чего не хочу я.

Помню, однажды, на одном из первых заседаний «Мемориала», когда один за одним люди, уже дедушки, отсидевшие в сталинских лагерях, требовали начать процессы против таких же дедушек, которые сажали их и пытали, встал Андрей Дмитриевич Сахаров:

— Не надо... Не надо... Не надо снова по этому кругу...

Потому-то я специально не называю ни одного настоящего имени секретного агента: не надо, не надо...

Мечь — не очищает. Мечь не спасает. Мечь порождает мечь.

Мы так никогда не вырвемся из круга, по которому идем, идем, идем почти что с начала века.

И вообще-то, думаю я, разве дело в том, кто давал подписку, а кто не давал ее?

Может быть, совсем все в другом? В том: в чем заключена сущность, суть любого человека? Предаст? Не предаст? Выдержит? Не выдержит? Донесет? Не донесет?

Может быть, все дело в том, из каких частичек души отдельных людей складывается душа всех — нации, страны, человечества? Что перетянет? Что было, есть и будет более востребованно?

Мечь? Прощение? Кара? Любовь?

Я не знаю, как ответить на эти вопросы.

Я знаю, что должен рассказать еще об одном человеке. О его истории, совсем уже не относящейся к тому, о чем эта книга.

Или относящаяся? Или тоже оттуда?

## **ПОРТРЕТЫ НА ФОНЕ ПЕЙЗАЖА: ШКОЛЬНИК САША ПРОКАЗИН**

Да, я долго думал, прикидывал, сомневался, а эта-то история — сюда? отсюда?

Судьба таганрогского паренька — как она-то вписывается в ту череду судеб, сломанных — или выживших — в нашем, «волкодавистом» веке?

А потом решил: да нет, все об этом, об этом. О чем думаю все время, и из-за чего и начал заниматься книгой.

Приведу этот текст таким же, как он был написан однажды ночью после командировки в Таганрог, и каким он появился в газете в середине восьмидесятых. Ни корректировать ничего не хочю, исходя из реалий сегодняшнего времени, ни улучшать, учитывая приобретенный за это время опыт постоянно пишущего человека.

Четырнадцатилетний Саша Проказин остался-то в том времени. Он был рожден для благородных и человечески справедливых поступков и потому встал для меня в один ряд с людьми, более зрелыми и преодолевшими в своей жизни ой какие испытания.

У него оно было только одно-единственное. Больше он просто не успел. Но оно, одно-единственное, стоило ему жизни, и он не увидел, что произойдет в жизни после его гибели, и мы не увидели, чтобы с ним стало дальше.

Ну, ладно...

Вспомним, как это было.

«Что же происходит с нами? Свое — видим, чужое — не замечаем. Горло готовы перегрызть за обиду, нанесенную собственному ребенку, обиды чужих детей пропускаем мимо своего сердца» — вот так тогда я начал свою статью, хотя чем дальше и дальше, понимаю: она не об этом, совсем не об этом, почти не об этом...

Тогда, вернувшись из командировки поздно вечером, я, помню, ночью сел за машинку, чтобы успеть как можно быстрее зафиксировать на бумаге то, о чем только что узнал и что увидел своими глазами.

... Осматривая двор, в котором началась эта история, я старался запомнить все, чтобы самому представить, что же тогда было перед глазами ребят.

Беседка. Стол доминошников. Узорная решетка детского сада. Гаражи, вплотную примыкающие к пятиэтажкам: один, второй, третий, пятый, одиннадцатый... — сбиваюсь со счета. Лужа возле асфальтовой дорожки. В ней — смятая пачка сигарет «Наша марка» и кукла без головы и рук. Наконец, качели. Те самые.

Думал, заскочу сюда, в Западный поселок Таганрога, на Большую Бульварную, на пять минут, окину взглядом место события — и назад. Что рассматривать-то? Дома как дома, гаражи как гаражи, качели как качели. Но вот уже почти час, подняв повыше воротник куртки от пронзительного ветра, брожу между домами, чувствуя на себе взгляды из окон. Меряю шагами двор, вспоминая, что рассказывал пятнадцатилетний Андрей: «Бежали от угла соседнего дома, камень ударился здесь, возле качелей»; что было написано в уголовном деле: «Свидетель Л. смотрел из окна третьего этажа, свидетельница Н. наблюдала с подоконника вто-

рого...» И чувствую: еще секунда, еще мгновение, еще шаг — и все пойму, все станет объяснимым и ясным, как простая арифметическая задачка.

Да неужели все так просто? Неужели и правда — обыкновенная арифметика?

События на Большой Бульварной начались с путаницы: пятнадцатилетнего Андрея приняли за десятилетнего Сашу.

В начале октября на закате теплого субботнего дня, примерно (как сейчас установлено) в 17 часов 30 минут, шестиклассница Лена прибежала домой в слезах и рассказала маме, что ее согнал с качелей четвероклассник Саша. Мама Лены, Вера Егоровна, воспитывала дочь одна и потому болезненно воспринимала все ее неприятности, даже такого не бог весть какого масштаба. И она как была в халате, сбежала по лестнице, выскочила из подъезда и увидела, как мимо качелей бегут трое мальчишек. Схватив первое, что попало под руку (а под руку попался камень), Вера Егоровна швырнула его в ребят. Камень угодил в ногу одного из пацанов, и тот остановился. «Ты за что избил мою дочь!?» — закричала Вера Егоровна и, подбежав, схватила мальчишку за плечи и начала трясти его как какую-нибудь грушу. «Да это не он, мама!» — запрыгала вокруг нее Лена. Но Вера Егоровна или не слышала слов дочери, или в этот момент все обидчики и ее самой, и ее дочери представлялись на одно лицо.

Мальчишкой, которого «перепутали», оказался Андрей Макашов. И хотя ростом он был невысок, сложением хрупок, а лицом совсем ребенок (это, очевидно, и ввело в заблуждение Веру Егоровну), было ему уже пятнадцать, он закончил восемь классов и учился в техникуме.

Не думаю, что таким уж сильным был бросок Веры Егоровны или велик камень, который попал в ногу Андрею. Дело не в этом! Окажись на его месте парнишка помладше, завопил бы он: «Мама!», вырвался из рук тетки и убежал, забыв обо всем через минуту. Но Андрей уже был не в том возрасте, когда подзатыльник считают мелкой неприятностью.

Кажется, что за разница в четыре года! Но это у нас, когда чем старше, тем больше у тебя обнаруживается ровесников. От десяти же до пятнадцати пропасть: там — детство, здесь — отрочество. Объемнее делается мир вокруг, острее его восприятие, болезненнее любое проявление несправедливости.

Вот почему, когда Андрей (а он и два его приятеля, Толя и Сережа, оказались в этом дворе совершенно случайно: бежали откуда-то куда-то) попал в такую заваруху, то не завопил, как маленький, но и не сказал спокойно, как взрослый: «Гражданка, убедите руки, вы меня с кем-то спутали». Он начал вырываться горячо, громко, с обидой: «Не трогал я вашу дочь!» А потом крикнул: «Что ты ко мне пристала!» Он, подросток, ей, взрослой женщине, крикнул «ты».

Повторяю, была суббота, стоял теплый вечер южной осени. И потому свидетелей этой сцены оказалось много. В окнах, на лавочках возле подъезда, наконец, в беседке, прямо возле качелей.

Само по себе нападение Веры Егоровны на ребят, ей незнакомых, явно из чужих домов, не было особенным событием, а наоборот — привычным. Кто же, как не матери, вылетают во двор на защиту собственных детей! И потому свидетели смотрели равнодушно. Встрепенулись, когда из уст сопляка, подростка услышали «ты», брошенное в лицо взрослому.

Мужчины мигом высыпали из беседки, и самый представительный из них и на вид солидный, Владимир Трофимович Опошнян, схватил Андрея за ухо: «Ты что хамишь! Она тебе в матери годится!». Ухо крутил он «по-отцовски». Андрей вырывался и говорил сердито, зло, что он никого не бил. Кругом закричали, что хулиганы вообще надоели и надо звать милицию. Кто-то толкнул Сергея, кто-то слегка ударил ногой пониже спины Толю. Андрей вдруг крикнул, указывая на Владимира Трофимовича: «Вы же пьяный! Вас самого надо в милицию!» Какой-то мужчина тут же вытащил из кармана удостоверение дружинника: «Вот сейчас и пойдем туда!» Но другие, наоборот, слова про милицию пропустили, зато возмутились другим и загудели: «А ты ему не наливал!».

Андрей действительно не «наливал» ни Владимиру Трофимовичу, ни его товарищам по борьбе с хулиганствующими подростками. Как потом выяснилось, наливали другие. В тот день в доме 10 (двери подъезда — прямо к качелям) играли свадьбу, Владимир Трофимович, как владелец единственной во дворе новенькой «волги», организовал свадебный кортеж, ну а потом, ему, естественно, по-соседски налили.

Мальчишки стояли, окруженные толпой разгневанных взрослых, можно сказать, «матерями» и «отцами». Правда, чужими.

Между взрослыми вертелась шестиклассница Лена, дергая за рукав то одного, то второго, доказывая с детской жадой справедливости, что ее согнал с качелей совсем другой мальчик. Андрей что-то пытался объяснить, может быть, слишком нервно и громко.

И тогда Владимир Трофимович наотмашь ударил его по лицу. Сильно — так, что из носа потекла кровь.

Так в этой истории пролились первые капли крови...

Ребята вырвались из гневной толпы и побежали из этого чужого двора на улицу.

...Уже впоследствии, листая уголовное дело, я пытался найти в показаниях свидетелей — а их вон сколько было! — хотя бы одно слово в защиту Андрея и его товарищей. Кто-то ведь должен был сказать, уже одумавшись: «Да стоило ли так, товарищи!», спросить у самих себя, с чего начался сыр-бор? Представить, наконец, себя, взрослого, в ситуации напраслины. Ну, что ближе... Хотя бы в магазине самообслуживания — когда тебя незаслуженно подозревают в краже пачки лаврового листа? Ну?

Нет. «Вели себя вызывающе...», «грубили», «огрызались», «оскорбляли»... Даже те свидетели, кто за всем происходящим наблюдал издали или «свысока», с третьего, пятого этажа, и те оказались единодушными, распределяя роли. Подросткам — хулиганов. Взрослым — если уж не потерпевших, не жертв, так защитников от «хулиганья». Слишком знакома подобная ситуация, слишком ожидаема, слишком легко ложится на сердце. Это как пьеса, по первым репликам которой становится тут же ясно, кто герой, а кто злодей...

Ведь как часто собственный житейский опыт, постепенно становящийся монолитом, мешает нам принять иной расклад событий...

Итак, куда же направился Андрей с двумя своими товарищами, потерпев сокрушительное поражение у качелей в чужом дворе? Думаю, будь они в самом деле десятилетними, побежали бы к мамам, подняли бы их в атаку от кухонь и телевизоров. Или обиделись бы до слез, но забыли бы обиды с новыми впечатлениями утра.

Но в пятнадцать лет нарождается, проклевывается еще одно чувство, куда более высокое, чем обида, — чувство собственного, человеческого, гражданского достоинства. Не у каждого, ко-

нечно, в этом возрасте (в понятие «социальный инфантилизм» входит, наверное, кроме всего прочего, и неуважение к себе как к личности, как к гражданину), но у многих, у большинства, я уверен.

Андрей и его товарищи это чувство в себе уже услышали, ощутили его горькую сладость и будто поняли, что зарастет обида, заживет разбитый нос, но такой шрамище может остаться на сердце надолго.

Вряд ли ребятам было знакомо слово, которым любят щеголять юристы: «правосознание», но в том, что они были уверены, что уже обладают правом на защиту своего достоинства, — в этом можно не сомневаться.

Они пошли искать защиты в милицию.

Перешли широкую улицу. Там в двух шагах от их домов находился пункт охраны общественного порядка. Дернули дверь — закрыто. Постучались — никто не отозвался. Заглянули в окна — темно и тихо.

Кто-то из ребят вспомнил, что рядом находится медвытрезвитель — тоже, кажется, милиция. Нашли, где это. Открыли дверь. Увидели человека в милицейской форме с повязкой на рукаве: «Дежурный». Кажется, то что надо.

По медвытрезвителю дежурил в тот вечер В.С. Тимченко.

Потом, когда уже все случится, он вспомнит: да, примерно в 18.00 пришли подростки и один из них спросил: «Меня побил дяденька. Куда можно обратиться?» Тимченко объяснил, что здесь почти медицинское учреждение, на его попечении много разного народа, который в силу особенностей состояния нельзя оставить без присмотра. И — позвонил в отделение. Там сказали, или — как говорит он сегодня — послышалось, что сказали: посылай ребят к нам. Он и послал.

1-е отделение милиции, куда Тимченко направил ребят, находилось не возле их домов, а куда дальше, в нескольких остановках на автобусе. Дождались автобуса. Проехали. Нашли вывеску, уже светящуюся огнями: на город уже опускались сумерки.

По отделению в тот вечер дежурил капитан Н.Н. Комаров. И он тоже хорошо запомнил визит мальчишек: «Один парнишка — у него рубашка была в крови — сказал, что «его избил дяденька». Я спросил, знает ли он этого «дяденьку». Ответил, что знает только двор. Я сказал ребятам, чтобы они сходили за родителями и вместе с ними пришли в отделение».

Позже на вопрос, почему он даже не записал фамилии ребят, не зарегистрировал происшествие, Комаров объяснит, что ребята ему показались «еще маленькими, лет по 12». Потому и отослал их: подумаешь, взрослый «проучил пацана», врезал разок...

Андрей потом вспомнит, что дежурный сказал им на прощание: «А что же вы этого «дяденьку» с собой не привели?»

Это была, видимо, не самая удачная шутка капитана милиции.

Ребята снова оказались на улице. Автобуса ждать не стали — пошли пешком. Завернули за угол и увидели Сашу Проказина. Он стоял, облокотившись о подмостки сцены, какие обычно бывают в парках, будто давно ждал своих товарищей...

Я шел их маршрутом. Вот так же обогнул дом и увидел на пустыре между пятиэтажками эту сценическую площадку, оставшуюся, видимо, от каких-то давних праздников или митингов, когда еще здесь не было района сплошной застройки. Теперь дома ее окружали плотным кольцом и смотрели на нее окнами, будто молча ждали начала следующего спектакля...

Дождь пошел сильнее. Ветер был противный, зимний, и сцена, иссеченная нескончаемыми дождями, показалась мне нереальной, фантастической, будто нарочно придуманной.

Как и вся эта история, хотелось добавить мне.

Но мы уже почти подходим к ее финалу.

Ребята сразу же и в лицах рассказали Саше про те полтора часа жизни, пока они не виделись. Разговаривая, бродили по лестенке на сцену (просто так), стояли все вместе, о чем-то споря, будто и вправду играли пьесу перед окнами домов. И Саша Проказин сказал решительные слова, что именно надо сейчас делать. И делать прямо сейчас.

Но еще больше, чем об этой символической сцене, думал я тогда о другом: почему именно Саша, а никто иной, попался ребятам по их дороге? Ведь они могли пройти мимо десятью минутами раньше, а Саша — выскочить из дома на полчаса позже... Почему же случай играет такую роль в жизни?

Саша оказался там и тогда, где ему положено было быть по смыслу его небольшой еще жизни. Такая выпала ему роль в мальчишеской компании.

В свои четырнадцать лет он успел удивительно многое: завоевывал разные спортивные призы — от футбола до стрельбы из

электронного пистолета, закончил школу бального танца, имел удостоверение юного водителя, поступил, как и Андрей, в техникум, был душой подросткового клуба «Мечта» (вход в подвал, где клуб, — прямо напротив качелей).

Но в Саше ребят притягивало и другое: он всегда знал что делать, всегда защищал слабого, не выносил несправедливости. Это качество его характера или, точнее, состояние его души, подчёркивали все, с кем нам пришлось беседовать.

Мы грубо ошибаемся, полагая, что лидером среди подростков всегда становится самый сильный, или самый жестокий, или самый агрессивный. Эта ленивая мысль держит нас в шорах. Мы просто не хотим вспомнить себя. Не даем себе труда подумать, что большинство-то ребят — обыкновенные, нормальные. Обостренное чувство справедливости, правды — вот что часто, очень часто выдвигает лидера в команде.

Потому-то, думаю, — пусть даже так распорядился случай, — Саша Проказин оказался в то время и в том месте, где он и должен был быть.

Саша сказал Андрею: «Этот человек должен извиниться перед тобой»...

Жизнь может круто изменить профессию, о которой мечтал в детстве, заставить забыть, чему учили и чему учился, насмешливо отвернет от прежних увлечений. Но чувство справедливости — самое невычисляемое и самое дефицитное, — если оно появляется сильно в детстве или юности, так и остается с человеком на всю его жизнь, грузом тяжелым и не всегда благодарным. Я знаю таких людей, мне повезло на встречи с ними: уже взрослые, седые, вдруг скажут вольное детское слово в разгар осторожной беседы и поставят все на свои места или удивят в суете освежающим, жестким поступком.

Такие «детские» люди всегда берут все на себя, как громоотводы...

Шел восьмой час вечера, когда Саша появился с ребятами в том самом дворе. Из окон дома №10 слышны были музыка и крики «горько!» Свадьба, начавшаяся утром, еще катилась. Ребята стояли и осматривались, у кого бы спросить. Увидели человека, нетвердо идущего по двору, «дядю Тураева», как позже выяснилось. «Он меня ногой саданул», — сказал Толя.

Саша подошел к этому человеку: «За что вы били этих ребят?»

Дядя оглядел компанию мутным взглядом, увидел кровь на рубашке Андрея: «Не, этого я не трогал. Того, — указал он на Толю, — было дело. А этого Володька Опошнян побил». И указал на дверь подъезда.

Ребята вошли в подъезд, позвонили наугад в шестую квартиру. Дорошенко, сосед Опошняна по подъезду, вспомнит потом: да, действительно, звонили. Открыла его жена. Увидела ребят и на всякий случай ответила, что где живет Опошнян — не знает.

Поднялись еще на этаж, нажали кнопку десятой квартиры. Из-за двери спросили: «Чего нужно?». «Здесь живет дядя Вова?» За дверью помолчали немного, потом бросили: «Нету таких! Идите отсюда!»

Спустились снова вниз, на улицу, встали около подъезда. Спросили у женщин на скамейке, где можно найти «дядю Вову». Женщины поинтересовались зачем. Объяснили: надо, чтобы он извинился, и рассказали, в чем дело. Женщины поохали, но квартиру так и не назвали. В это время подошла Л.И. Душаткина, руководитель клуба «Мечта», в совет которого входил Саша Проказин. Остановилась, потому что в толпе ребят заметила и своего сына (к этому времени к троице друзей еще прибилось человек пять). Ребята наперебой начали рассказывать ей, как и за что побили Андрея. Она посоветовала не горячиться и отложить разбирательство до утра. Ей показалось, что ребята прислушались к ее доводам. Пошла дальше, но что-то, — может быть, это и есть предчувствие? — остановило ее. Вернулась к подъезду, но там уже никого не нашла.

Ах, если бы поверила она своему предчувствию! Если бы попался на их пути хоть один взрослый — а вот сколько их было: кто встречал их в дверях своих квартир, кто провожал их глазами на ступеньках лестницы, кто смотрел из окон домов, когда они что-то горячо обсуждали, — если бы хоть один из них, один-единственный, догадался вместе с ребятами разобраться, что у них случилось, кто виноват, чем им помочь! Но никто, никто... Понимаете, никто!..

Ребята дошли до пятого этажа, позвонили. Открыла Вера Егоровна Зенина, та самая, из-за дочери которой и разгорелся весь этот сыр-бор возле качелей. «Уходите по-хорошему, а то сейчас милицию вызову!» — крикнула она. «Вызовите, пожалуйста! — ответил Саша, — мы и сами хотим разобраться».

Но Вера Егоровна хлопнула дверь и уже из-за двери крикнула: «Идите в десятую квартиру, там и разбирайтесь».

Итак, у дверей десятой квартиры оказалось трое ребят: Андрей, Саша и Володя Ершов. Остальным Саша велел спуститься вниз, чтобы не шумели и не базарили. Андрей нажал кнопку звонка.

Вот и подошли мы к последнему мгновению этой истории...

Неделю заняла у меня эта командировка. До меня — тоже неделю, был в Таганроге эксперт «Литгазеты», опытный юрист Иван Матвеевич Минаев (о нем я уже рассказывал).

Вот сколько времени понадобилось, чтобы исследовать ход события, которое заняло всего ничего — часа два от начала до конца. Но чем внимательнее прослеживали мы маршрут ребят, как они метались от одного взрослого к другому, тем больше убеждались: а ведь похоже! Ведь так бывает и у нас, взрослых, когда незаслуженная обида гонит на поиск справедливости, и мы стоим у закрытых дверей или ищем сочувствия в равнодушных глазах, и даже цель у нас та же: «Пусть хоть извинится...» Похоже, очень похоже! Только у ребят все происходит быстрее, скоротечнее, иногда — со стремительностью пламени бикфордова шнура. Все как и у нас, взрослых. Только ярче, открытее. Да, конечно, узнаваемо. Только у них чаще трагичный финал. Оттого, наверное, что слишком стремительно, и оттого что ярче. И оттого, наконец, что они куда беззащитнее, чем мы.

Итак, Андрей нажал кнопку звонка. Зазвенели цепочки, загромыхали запоры. Дверь открыла женщина. «Можно позвать вашего мужа?» — попросил Андрей Макшаков.

— Ну, проходите, — сказала женщина и закрыла за ними дверь на цепочку.

И через минуту раздался выстрел.

Распахнулась дверь, и выбежал Андрей. Он был в носках, без туфель.

— Сашу убили... — прошептал Андрей. И тут же раздался второй выстрел.

Андрей опустился на ступеньку, заплакал, и у него носом пошла кровь.

При первом, через несколько часов, допросе Опошнян Владимир Трофимович показал: «...Через полтора-два часа (после конфликта с ребятами во дворе. — Ю.Щ.) я собрался идти в га-

раж. В коридоре на лестнице встретилась эта Вера Зенина с дочерью и говорит, чтобы я не ходил, так как у дома целая шайка. Я повернул домой... Потом в дверь позвонили и спросили меня. Жена сказала, что такой не проживает. Затем снова позвонили. Я сказал жене, чтобы она их впустила, а я загоню их в туалет или на балкон и вызову милицию. Зная о том, что они наверняка пришли не с пустыми руками, то есть с оружием, я взял ружье и приказал жене открыть дверь. Вошли трое. Я приказал им идти на балкон. Они не идут, тогда я приказал идти в ванную: там, думаю, они ничего не выкинут, если у них есть оружие. Они нагло идут на меня...»

Все сказанное было ложью.

Ребята вошли в квартиру, дверь за их спиной заперли. Они сняли обувь, как принято здесь, в носках вошли в большую комнату («залу» — как скажет Андрей) и увидели направленную на них бельгийскую двухстволку. «Ну что, достукались?!» — злобно спросила жена хозяина. Саша Проказин развел руками (была у него такая привычка в любом разговоре), но успел только сказать: «Давайте разберемся...» И тут хозяин выстрелил. Саша как-то странно улыбнулся и упал. Смерть его наступила мгновенно...

«Я выстрелил в потолок, — показал далее Опошнян, — чтобы напугать их. Но двое, большой и самый маленький, бросились на меня. Большой толкнул меня на диван, и в это время каким-то образом обрез выстрелил, пуля попала в того, что в куртке. Тот упал, а большой стал душить меня на диване...»

Вопрос следователя: «Каким по счету выстрелом вы убили Проказина?»

Ответ: «Первый выстрел я произвел в потолок, а второй во время схватки, когда они на меня накинлись. Я в Проказина не целился...»

И это была ложь. Саша был убит первым выстрелом, в упор. Затем Опошнян торопливо вынул из ствола стреляную гильзу и зарядил новую. Как на охоте. В потолок пришелся второй выстрел, и лишь потому, что Володя Ершов успел схватить за ствол ружья и повернуть его наверх.

Впоследствии Опошнян будет утверждать, что курок спустился, так сказать, самопроизвольно. Но и это будет ложью. Эксперты определят: с курком было все в порядке.

Но не для того, чтобы отделить ложь от правды, вчитывался я в уголовное дело. А для того, чтобы разобраться: да почему же Владимир Трофимович стал убийцей? В собственной квартире, устланной коврами и уставленной полированной мебелью (не то что пуля попадет — оцарапать жалко)? В присутствии жены и внучки? В ребят стрелял, которых все принимали за 10-13-летних? Ну, если испугался, то не открывал бы, крикнул бы в окно, вызвал бы милицию? Что же так, специально, что же засаду-то устраивать, что же расстреливать-то?

Читаю его автобиографию в уголовном деле. Все обычно: жил, работал шофером. По характеристике с последнего места работы — автобазы рыбзавода, трудился достойно, и наставником молодежи был, и на доску почета заносился. В пьянстве замечен не был, и те, по его словам 120 граммов, принятых на свадьбе, явились для него скорее исключением, чем правилом. В домино — и то не играл с мужиками. Был хозяйственным, семейным, домашним...

Правда, десять лет назад был осужден на исправработы: за хищение цемента. Но есть ли связь между тем мешком цемента и выстрелом, между тем, как жил и обставлял свое гнездо, и убийством? Не знаю... По бумагам, анкетам, документам — не видно...

Что же все-таки заставило его спустить курок?

Когда мы с ним встретились в следственном изоляторе и я впервые увидел его: высокого роста, но не грузный, лицом, несмотря на свои почти шестьдесят, румяный и моложавый, в движениях и разговоре спокоен, — и тогда я никак не мог ответить себе на вопрос: что же за феномен такой передо мной? И хотя некоторые рассуждения Опошняна меня резанули: следы крови на рубашке Андрея он, допустим, приписывал не своему кулаку, а тому, что они, ребята, наверняка после этого еще «кошку убили (почему кошку?) и специально кровью себя измазали», — но в общем говорил он складно. Сам, например, вспомнил старую газетную статью о владельце дачи, который застрелил мальчишку из-за черешни. Сказал при этом: «Вот какие бывают люди!» Свою историю сравнил со «случайным наездом на улице». Да, конечно, ему жалко, что так произошло, но не специально же он! Ведь если бы хотел убить, объяснил он мне, то убил бы того, нахального, в клетчатой рубашке, которому еще во дворе врезал по носу. Надо было, считает он сейчас, сделать по-другому: позвать соседей — есть там два здоровых

парня, посадить их в ванной в засаду (он так и выразился — «в засаду») и захватить скопом всех, как он сказал, хулиганов. Вместо всякой стрельбы.

И в самом деле, зачем же было такому человеку идти на убийство? Да еще на такое? И даже стало жаль его, когда в конце нашей беседы на глазах его показались слезы: «Вот ведь получилось... Жил-жил, и такое перед старостью! Выйду оттуда — ведь совсем стариком буду».

И в последний день командировки я все бродил, бродил между пятиэтажками на Большой Бульварной: беседка, стол для доминошников, узорная решетка детского сада, гаражи, лужа, кукла без головы и рук, качели, те самые. И возле них я, кажется, понял, в чем дело. Понял! Но неужели причина всей случившейся трагедии настолько проста? Как формула?

Вот что, мне кажется, опустило его палец на курок — ненависть, смешанная со страхом. А это — самый взрывчатый сплав в мире. Не лично Сашу Проказина ненавидел В.Т. Опоян и боялся его — он и не знал его, и в глаза не видел раньше... А хотя бы и знал!.. Достоинства детской, юношеской души — даже не потемки, а какие-то черные дыры для человека, пусть и умудренного опытом. Слишком слабый след от собственной юности остается у него в памяти, да и то, что остается, не бережет он, а часто и не хочет сберечь. Что Владимиру Трофимовичу было до понятий мальчишки о добре и зле и его собственном участии в вечном их противоборстве?! Точно так же не мог быть его личным врагом пятнадцатилетний Андрей, знакомство с которым состоялось на два часа раньше трагедии. Да больше того! Я выпытывал у Владимира Трофимовича, может, когда-нибудь раньше была у него стычка с подростками, напугавшая его и внушившая ненависть к этой возрастной группе населения? То есть, может, Саша Проказин расплатился жизнью за поступок каких-то своих ровесников? Да нет... Сколько ни вспоминал Владимир Трофимович, к нему лично никогда не подходили на улице подвыпившие юнцы, не требовали закурить, не смеялись в спину... Да и наблюдать-то подобные сцены ему не приходилось. И самое интересное (будто специально смоделирована ситуация), что район, где все это случилось, — сравнительно тихий. Среди множества подростков, населяющих микрорайон, за последние четыре года ни один — повторяю: ни один! — не совершил преступления, а

все юные участники этой истории были на редкость благополучные (по воспитательно-юридической оценке) и порядочные (по общей, вневозрастной) ребята.

Кого же он боялся и ненавидел? В кого стрелял?

Может быть, в тот созданный его страхом и ненавистью образ, который в решающую секунду принял вид паренька с удивленно разведенными руками и с незаконченной фразой «Давайте разберемся...»?

Давайте, давайте разберемся! Давайте разбираться!

Последнее время меня до боли пугает неприязнь, открытое и агрессивное непонимание и даже страх, доходящий до ненависти в отношении подростков, о которых пишут в редакцию некоторые читатели. Я знаю об этом из разговоров и споров в разных аудиториях и даже из некоторых газетных публикаций. Начинают с мелочей: не то поют, не то танцуют, не так одеваются, а кончают принципом: живут вообще не так, (в подтексте: негодяи; смысл: что-то надо срочно делать...)

Я пишу судебные очерки, и мне приходится нередко изучать проступки, даже преступления несовершеннолетних. Я знаю, что такое слепая сила подростковой стаи. Я сидел — глаза в глаза — напротив маленьких убийц, говорил с ними. Видел и слышал в них такую душевную, духовную нищету, такое убожище интересов, такое пренебрежение к другому человеку, что потом долго не мог прийти в себя.

Но я понимал, это — те подростки — преступники. И среда их развития была аномальна, и поступки, совершенные ими, не укладывались в общественную норму. Но разве не такое же ощущение оставалось после бесед с такими же «аномальными взрослыми»? Несмотря на их возраст и жизненный опыт, точно так же ошарашивала и их духовная нищета, и убожество интересов, и их пренебрежение к другому человеку. Значит, дело-то вовсе не в возрасте. Есть разные подростки и есть разные взрослые. Но не закидываем ли мы камнями самих себя, когда именно на подростков проецируем все наши взрослые проблемы?

Мы как на детских качелях: от неистовой любви к собственному чаду до ненависти к его ровесникам — и обратно.

Давайте сойдем на землю. Давайте взглянемся в ребят и увидим, как они справедливы и активны, как хотят докопаться до от-

ветов на главные вопросы жизни, как жаждут уважения к себе и как доверчиво отвечают на малейшее к ним внимание...

Упрекая их всех скопом, чаще всего незаслуженно, за какие-то мелочи, говоря, что они живут «не так», мы порой забываем одну-единственную мелочь: они — это мы. Только моложе.

За что отдал жизнь Саша Проказин? Странное словосочетание «отдал жизнь» — по отношению к случайной жертве случайного преступления. Понятно, предотвратил бы ценой жизни крушение поезда — другое дело. А так?..

Но чем дальше я думаю о трагическом происшествии в Таганроге, тем больше убеждаюсь: да нет, все-таки отдал жизнь.

Перед глазами часто, даже когда не хочется, те подмостки сцены во дворе, и паренек, застывший на ней. Минута, другая — и вот он сойдет по ступенькам и скажет, с надеждой и верой: давайте разберемся.

И все-таки, почему решил я вставить в эту книгу историю прерванной юношеской жизни таганрогского школьника?

Ладно, Матвей Кузьмич Шапошников — отказался выполнять преступный приказ и пережил потом всю мощь обрушившейся на него государственной машины. Ладно, Михаил Ривкин — обрек себя на тюрьму, не захотев пойти на предательство самого себя.

Но этот-то пацан? Какая государственная машина? Какой КГБ? Пытаюсь найти в себе те слова, которыми бы мог объяснить, почему же именно его трагическая судьба, его «давайте разберемся», тот двор и те качели — вдруг заставили меня, нарушая всю видимую логику повествования, не только вспомнить сейчас Сашу Проказина, но и поставить его абсолютно не политическую трагедию рядышком с трагедиями, вызванными жесточайшей государственной машиной?

Не знаю... Это не из области видимой логики, а из куда более для меня серьезного — из тоненького мира чувств.

История с Сашей о том же, о том же... О странных законах нашего не самого гуманного, а может быть, самого негуманного века, где и выдерживает-то тот, кто говорит: «Давайте разберемся», а тот, кто разбираться не хочет, кто боится разбираться в том, что, как, зачем и за что — неминуемо становится жертвой.

Тенью зоны, а не человеком в ней.

Давайте, давайте разберемся.

Во времени, в веке, закат которого уже вот-вот наступит, в самих себе.

Неправда, что все отдельно.

Все вместе: и время, и век, и сами мы, и сам ты. И — ЗОНА.

Ну ладно, пора, наверное, завершать.

Хочется вернуться к тому, с чего начал: к истории стукачества.

Для чего же вся эта чертовщина была придумана, чтобы на протяжении почти что целого столетия: вон откуда шел наш первый путник, еще с 1918-го! помните? — сделать предательство государственной религией, в которой оставаться людьми могли только еретики?

**Вместо заключения**

## **МЫШИНАЯ РАБОТА**

**Господи! Чем они занимались! Чем они только не занимались!**

**Когда осенью 1991 года были рассекречены архивы КГБ, то перед теми, кто обнаруживал донесения секретных агентов, представала фантасмагорическая картина.**

Из донесений и отчетов за 1983 год:

«В НРБ на юбилейные торжества, посвященные юбилею патриаршества православной церкви Болгарии, выехала делегация РПЦ во главе с патриархом Пименом. В состав делегации включены агенты органов КГБ «Островский», «Никольский», «Огнев», «Сергеев» и оперработник действующего резерва под соответствующим прикрытием сотрудника патриархии».

«От «ЛВН» получена информация о некоторых негативных высказываниях члена СП СССР Ю. Корякина во время лекции о творчестве Достоевского в Литинституте».

«В Финляндию в составе команды баскетболистов направлен агент «Яковлев».

А это — год 1984-й:

«В соответствии с планом, утвержденным руководством КГБ СССР, проведена работа по включению в состав олимпийской делегации СССР, выезжающей в Сараево, 16 агентов органов КГБ для выполнения поставленных задач».

«От агента «Синягин» получено 2 сообщения, характеризующих обстановку в семье Шестоковичей».

«Завербован в качестве агента КГБ СССР «Алик» — зав. отделом ИНИОН АН СССР».

«В связи с окончанием аспирантуры ИМРД АН СССР в УКГБ СССР по Кировской области направлено личное дело агента «Наташи» с целью восстановления с ней связи».

«В связи с проявлением в последнее время интересов со стороны некоторых антиобщественных элементов к философским трудам художника Н. Рериха от агента «Сергеевой» получены аналитические материалы, раскрывающие истинный характер мировоззрения художника и показывающие ошибочность его взглядов».

«В Финляндию в составе команды баскетболистов направлен агент «Яковлев».

И на икону молились, и под баскетбольным щитом стояли...

Однажды на какой-то московской вечеринке ко мне подошел один из гостей хозяина дома, в который я пришел, и, отозвав в сторону, сказал:

— Давно хотел познакомиться и честно вам сказать, какой непоправимый урон борьбе с преступностью вы нанесли.

— Чем же это? — искренне удивился я.

— Да тем, что пытаетесь ликвидировать секретную агентуру! А как, по-вашему, можно еще бороться с бандитами! Девяносто процентов раскрываемых преступлений — заслуга агентов! — наставительно произнес этот человек, представившийся полковником ФСБ.

Да не о том я! Не о тех! При чем здесь разбойники и бандиты!? И те, кто внедряется в банды и группировки, рискуя собственной головой, и те, чья информация помогает найти убийцу — не об этом я, не о этих.

О других, о другом!

Вспоминаю, как Ярослав Васильевич Карпович, первый из сотрудников КГБ, открыто заявивший о том, какой фантазмагорической ерундой приходилось заниматься ему в собственном ведомстве, рассказывал:

— Только Брежнев выступит с очередной исторической речью, нам тут же приказ: «снимать» реакцию советского народа. Обычно все придумывали все из головы: инженер К. в восторге, слесарь Л. плакал от счастья, а в конце отчета припишешь какую-нибудь неграмотную старушку, которая, как обычно, недовольна ценами. А агентура в такие дни на ушах стояла! Черт знает чем занимались!

Не скрывали того, что «черт знает чем занимались» и другие сотрудники пятого, идеологического управления. Так, один из них, подполковник Д., говорил мне еще в 1990-м:

— Каждому оперработнику сбрасывают план: за год привлечь к сотрудничеству семерых — у нас же тоже плановое хозяйство! Ну, находишь, уговариваешь — или заставляешь — дать подписку о сотрудничестве. А что дальше? Регулярно встречаешься со своими агентами: тебе их не о чем спрашивать, а им — не о чем рассказывать. Встретишься, попьешь кофе, поболтаешь о том о сем, последние анекдоты друг другу расскажем, а потом возвращаешься к себе и пишешь отчет о «проделанной работе», который, никому не нужный, будет пылиться на полках...

Да, вот так все было, вот так...

Вот потому-то, встречаясь с агентами ГБ, читая их исповеди, просиживая дни и вечера в архивах, пытаюсь понять, кто, как, зачем и почему, — ни на секунду не чувствовал я собственной вины за то, что разрушаю сложившуюся систему борьбы с преступностью.

Уж нет, не надо...

Ведь понятно же, о чем я.

«Как правило, информацию о происходящих процессах в обществе КГБ дает на основании доносов сексотов. Из практики многолетней работы в органах ГБ знаю, что многие сексоты, завербованные на компрах или добровольно изъявившие желание стать стукачом-информатором, привыкают к иудиным деньгам. Угождая оперработнику, дают такую информацию, которая ему нужна, подчас явную липу. Карьерист-оперработник, чтобы расти по служебной лестнице и держаться на плаву, принимает эту липу. Создается своего рода симбиоз, при котором они взаимно привлекают пользу друг от друга», — написал мне И.Я. Присяжнюк, сам, как понимаю, бывший сотрудник ГБ.

Мой адресант из Екатеринбурга, подписавшийся своим первым оперативным псевдонимом — «Бутурлин», был завербован в агентурный аппарат КГБ будучи молодым преподавателем вуза, как он сам пишет, на так называемой «идейно-патриотической» основе:

«Мною двигали высокие помыслы о патриотизме, высоком долге и об обеспечении государственной безопасности. Спустя некоторое время я сам стал кадровым оперативным работником. И все время — и в качестве агента, и в качестве кадрового офицера — я занимался политическим сыском по линии пятого, идеологического отдела КГБ.

Тогда агентура массированно внедрялась в среду студенческой и неформальной молодежи (хиппи, панков и т.д.) и в круги творческой интеллигенции. И весь этот агентурный кулак нацеливался на выявление лиц, распространяющих самиздат. Кто же считался врагом? Произведения Солженицына, Сахарова, Бродского...

Стыдно сейчас об этом вспоминать. Стыдно, но необходимо в поучение другим юношам, «обдумывающим житье». И больно вспоминать, сколько судеб испорчено молодым людям, студентам, творческим работникам, которые читали самиздат и уже тогда понимали всю гнилость эпохи застоя.

Тогда весь чекистский аппарат страны был запрограммирован на одну цель — поддержку Брежнева и его клики».

Это — взгляд изнутри Системы. И — еще один — целый сюжет для трагической мелодрамы.

В конце шестидесятых годов Олег П. служил командиром взвода в Группе советских войск в Германии. Служил нормально,

ладил и с начальством, и с подчиненными, и не мог предположить, как резко и вдруг изменится его судьба.

Началось все с того, что однажды его вызвал оперуполномоченный особого отдела:

«Из этого нашего разговора я понял, что он знает обо мне все. Даже то, что я предпочитаю читать приключенческую литературу, особенно — книги про разведчиков. Он порекомендовал мне вступить в КПСС».

Через несколько дней Олегу П. сообщили, что КГБ решил направить его на учебу в специальную школу КГБ. Он с радостью согласился, уверенный в том, что сумеет внести вклад в борьбу со шпионами и особенно с проникновением БНД (западногерманской разведки) на территорию ГДР.

Но в ГДР его не вернули. После окончания минской спецшколы направили в Брест. Благословляя его, начальник особого отдела округа сказал: «Учитывая твои отличные знания и дисциплинированность, направляем тебя в один из самых престижных гарнизонов». Олег П. был доволен назначением, ведь Брест, город, в котором много военных объектов и много иностранцев, — идеальное место службы для человека, мечтающего переловить шпионов.

И он выехал к новому месту службы.

«Начальником отдела был подполковник Румянцев, пришедший в органы безопасности еще в 1939 году. Он меня проинструктировал, сказав, что главная моя задача — вербовка новых негласных сотрудников, с помощью которых можно прикрыть важные объекты от шпионов и диверсантов. Но в первую очередь диверсантов идеологических.

Сначала начальник меня натаскивал, вербовал людей в моем присутствии, но он только завершал вербовку — ставил последнюю точку, а всю подготовку к вербовке проводил я сам.

Я удивлялся его мастерству: казалось, что кандидат в агенты уже готов сказать: «Нет», — но шеф так оборачивал весь разговор, что вместо слова «нет» кандидат брал ручку и бумагу, послушно писал подписку о согласии на сотрудничество и выбирал себе псевдоним, то есть становился сексотом».

Скоро и сам Олег П. почувствовал себя мастером вербовки. Только однажды лейтенант, который был призван в армию на два года после окончания МВТУ им. Баумана, при первом намеке на сотрудничество с особым отделом посмотрел на него с презрением. И тогда-то, по признанию Олега П., он впервые задумался

о целях своей работы: вместо борьбы со шпионами он занимался совсем другой работой.

Сексоты, завербованные им, сначала давали два-три сообщения о том, кто из сослуживцев слушает западные голоса, что кто-то не комсомолец и не собирается им становиться, что кто-то после службы собирается выехать из страны, — но потом старались его избегать. Возможно, считал он, их начинала мучить совесть.

«Если я утром не приносил начальнику хотя бы одного сообщения, он выходил из себя, смотрел на меня зверем и стучал кулаком по столу: наш отдел был на хорошем счету, а я своей бездеятельностью портил радужную картину и подрывал авторитет своего шефа. А шеф очень держался за свое место. Зачем ему уходить на пенсию в 160 рублей, тогда как на службе он имел приличный оклад, персональную машину, которая ежедневно возила его если не на рыбалку, то в специальные магазины.

Утром часа за два он принимал у себя по очереди всех оперработников, давал им нахлобучку, подписывал бумаги и удалялся на «волге» неизвестно куда. Возвращался он только к концу рабочего дня, чтобы проверить, все ли на месте».

Какие же задания получал Олег П. от своего шефа? Выявить все лица из числа рабочих и служащих Советской Армии, ранее судимые за участие в бандах Бандеры, и принудить командиров частей найти повод для их увольнения; ни в коем случае не выпускать в Польшу к родственникам закройщицу военного ателье, так как она еврейка, и прочую, по мнению Олега П., такую же чушь.

«Были и задания другого рода. Например, старшина-сверхсрочник наехал на мотоцикле на старуху и сломал ей руку. Я должен был сделать так, чтобы старшина оказался невиновным (этот случай помешал бы командиру части — приятелю моего шефа — продвинуться по службе). Кроме того, я должен был обеспечивать отдых руководителей, проверяющих работу отдела, то есть организовывать им рыбалку, уху, баню...»

Чем дальше шла служба, тем больше Олега П. охватывали сомнения в правильности того, чем он занимается. Разве о такой работе он мечтал, согласившись уйти в госбезопасность? Да и какое отношение имела такая работа к безопасности государства?

А потом разразился скандал, который инициировал сам молодой особист.

«Однажды я принес сообщение на одного офицера — о его сомнительных связях и делах. Но начальник, прочитав это сооб-

щение, сказал мне назидательно: «Мы дали тебе возможность служить в областном центре, получить квартиру в центре города, а ты чем занимаешься? Черт те чем! Что ты мне принес? На кого? Ведь этот офицер — зам. секретаря парткома части, член парткомиссии политотдела! Мы же орган партии, как же мы можем трогать партийные кадры?»

Но Олег, несмотря на запрет, продолжал наблюдение за этим офицером и все собранные документы прятал в своем сейфе, под пистолетом. И — однажды шеф их обнаружил.

«Что я после этого перенес! Сначала в меня вцепился шеф, после этого жена неожиданно написала заявление в партбюро о том, что я прихожу домой поздно и с запахом алкоголя. Меня вызвали на ковер и для начала объявили выговор. Начинаю выяснять, почему вдруг испортились мои отношения с женой? Оказывается, что она действовала по поручению секретаря нашего партбюро.

Потом жена написала второе заявление о том, что я не только запил, но еще и имею любовницу, которую содержу... Началось партийное расследование, которое закончилось гауптвахтой. А потом я действительно запил».

Увольняя Олега П. из КГБ, шеф сказал ему на прощание: «А теперь попробуй найти себе работу. Наплачешься»...

Только через полтора года его приняли чернорабочим на шахту.

Вот такая грустная история. Прямо капитан Копейкин какой-то.

Я знаю его фамилию и его сегодняшний адрес. Но Олег просил оставить все это в тайне: он до сих пор убежден, что «у КГБ длинные руки». Как бы не переименовывали эту организацию.

Но что особенно интересовало меня — как сами агенты относились к тем, кто неожиданно ворвался в их судьбу и сломал ее.

«Моего шефа звали Михаил Александрович, — вспоминает В.В. Ширмахер. — Иногда он приходил с похмелья и от него несло перегаром. Я так и не узнал, в каком чине был этот уже немолодой человек. Сначала он просил, а потом уже требовал более полных отчетов, а когда материала не хватало, то делал его весомым сам, подсказывая мне, что и как надо исправить. В одну из встреч на конспиративной квартире он попросил меня написать о моих близких родственниках: фамилия, место работы, адрес. Тут я стал протестовать. «Так надо!» — сказал он и добавил, что им ничего не угрожает. Я чувствовал, что запутался, что делаю подлое дело, но выпутаться уже никак не мог... Встречи назначались

то в парке, то у автобусных остановок... Мне казалось, что шеф знает обо мне больше чем надо. Значит, кто-то следил и за мной. Это было ужасно...»

Мнение агента «Арканова»:

«Встречи с кураторами были нерегулярными. Когда не было конкретных дел, шли обычные разговоры, ознакомление с ориентировками по розыску и т.д., никогда не было вопросов о моих друзьях. Иногда спрашивали о сослуживцах, но я всегда давал на них только положительные характеристики, что в основном соответствовало действительности. Только раз я сорвался, о чем потом очень долго жалел: в ответ на очень скверный выпад в мою сторону я сообщил о том, что этот человек рассказал антисоветский анекдот. Но, к счастью, мой донос не имел никаких последствий».

«Алик» из Хабаровска по роду своей работы часто выезжал в краткосрочные командировки за границу по внешнеторговой линии и, по его словам, стал лакомым кусочком для вербовки КГБ. Вот как он оценивает своих кураторов:

«Они любят и похвалить, и польстить. Я их насквозь вижу, но все равно мне это не нравится. Кто они? Писать не буду, так как подло со стороны сексотов разоблачать своих вербовщиков: чем виноваты два славных парня, капитан и майор, с которыми я имею дело? Они честно отработывают свою зарплату, не они придумали систему сыска, а я по мере сил приношу им ощутимую пользу.

Деньги я беру с удовольствием: в наше время это прибавка к зарплате.

Кстати, совет другим агентам: ни в коем случае не работайте бесплатно; эти ребята любят устраиваться на халяву. А если хотите с ними порвать, то заплатите им крупную сумму — я уверяю вас, что у них плохо с финансами.

Время от времени подкалываю их: мол, мало платят, я перейду к другим службам. На что они сильно обижаются: у них смешная и потрясающая конкуренция между различными службами одного ведомства».

Агент «Валентин» прислал мне целый манифест:

«Знайте, оперативники, что 95 процентов завербованных вами агентов — я уверен — ненавидят вас и мстят, как могут... «Гонят дезу», и все. Вы обучаете: снимая информацию, обращайте внимание, выразителем каких идей является объект, кого он представляет. Так я вам скажу, что могу придумать сколько захочу «спонсоров» объекта, включая президента США! И вы все это

проглотите, потому что сами боитесь, что ваши же шефы вас отчитают за плохую работу с агентурой. Ведь главное, чтобы были бумажки с донесениями, все равно с какими...

На тонкую работу они и вовсе не способны. Труссы, подлецы, сплетники, нытики — за эти годы сколько разных типов через меня прошло! Один плачет, что за границу его не посылают, а начальник его сектора почти через год ездит на сессии ООН. Другой помешан на выискивании смутьянов и пытается постичь тайны диссидентской психологии. Третий — выходец из комсомольских аппаратчиков, даже в контрразведке пытается играть роль рубахи-парня, заводилы-песенника. Четвертый, «лом», советует: «Ты его («разрабатываемого») только заведи куда-нибудь, а мы его квартиру обыщем. Четвертый — «элита» — весь в импорте, холерный, лоснящийся, ездит на Запад и рассуждает о причинах наших кризисов. Театр абсурда — да и только».

У «Валентина», по его словам, способов четыреста, как «гнать дезу» своим шефам: «Почему многие сексоты гонят дезу? Да потому, что только младенец не видит, что вся работа их шефов — сплошной блеф, тоже своего рода деза, имитация работы. Штаты у них огромные, а что прикажешь делать сотням, тысячам откормленных, натренированных, оболваненных молодцов?! Они, поверьте мне, только и делают, что переписывают всю ту чепуху, что мы им даем, переправляют все из кабинета в кабинет — с нулевым эффектом.

А как они «работают» международные конгрессы! Знайте, иностранцы, что на всех конгрессах, в гостиницах рядом с вашими учеными живут наши оперативники, которые охотятся за потенциальными источниками информации и вербовки, смотрят за тем (по крайней мере, так было еще в конце восьмидесятых), чтобы не общались с иностранцами. А там, где происходят заседания, всегда есть закрытая комната, куда, озираясь, заходят наследники Железного Феликса, куда они водят сексотов, снимая с них, пока те не позабыли, впечатления о предметах их разработки, их портреты и приметы. И самое смешное, что дают установки и на наших участников. И на таких вот бредовых затеях строится вся их работа — хаотическая и бессмысленная».

Особый мой интерес — те задания, которые получали агенты.

Агент «Арманов» специализировался исключительно на иностранной части:

«Я дружил с иностранными специалистами и эмигрантами. Одного из спецов пытался склонить к передаче технических сек-

ретов, но безуспешно. Под надуманным предлогом и с неизвестной мне целью я посетил одно из иностранных посольств. Была идея подбросить меня в качестве агента-двойника для одной из иностранных разведок, но из этого тоже ничего не получилось. Количество подобных операций было невелико — чуть больше числа пальцев на одной руке».

Андрей Филимонов, учитель из Татарии, в 1988 году ходил в клуб им. Бухарина — о, какие это были первые открытия перестройки! Сотрудник КГБ, который пытался его завербовать, сказал, что «поскольку КГБ заинтересован в успехе перестройки, а «бухаринцы» бывают за границей и встречаются с иностранными предпринимателями, то не смог бы он рассказывать об этих встречах, тем самым способствуя развитию... кооперации в СССР».

В.В. Ширмахера, завербованного в 1956 году, сначала попросили показать все письма, которые он получал из-за границы. Потом указывали на нескольких коллег, просили узнать, с кем они общаются, и спросить об их отношении к власти, к колхозам и т.д.

«Только я никак не мог разглядеть в этих людях врагов, — вспоминает он. — «Ух, как они маскируются», — говорил мне мой шеф из КГБ и ухватывался за какую-то неведомую ниточку, советовал мне тщательно наблюдать за человеком».

Однажды его направили в турпоездку в Германию. Ему дали задание — следить за группой студентов и докладывать одному товарищу по имени Миша — он официально ехал как рабочий какого-то завода. «Он всегда собирал вокруг себя туристов и рассказывал всякие веселые вещи (как потом оказалось, это был кадровый офицер КГБ). По возвращении из поездки мне надо было написать отчет. Написал — и получил большую взбучку, так как не написал про всех: кто куда ходил и с кем разговаривал. За мной, понял я, кто-то тоже тщательно следил».

Одессита Михаила выводили на определенных людей, к которым, не отталкивая их от себя, нужно было войти в доверие, а потом при встрече описать кураторам содержание разговоров. «Но эту организацию захлестнула волна бюрократизма, — считает Михаил. — Когда я понял, что ошибся, то стал успокаивать себя тем, что лучше я, чем другой, может быть, менее порядочный человек».

Уже упоминавшийся агент «Алик» из Хабаровска рассказывает о своем методе доносов:

«Информацию я поставляю довольно полезную, делаю это, начитавшись шпионских романов, почти профессионально, но

иногда люблю пошалить: выдумываю несуществующие персонажи грозного шпионского вида, рассказываю о якобы имевших место попытках меня спойть или подложить проститутку. ОНИ такие истории обожают и читают их взахлеб: почему же не доставить людям такое удовольствие?»

С него взяли письменное обязательство не разглашать подробности его сотрудничества. Он смог только написать мне, что «КГБ путем внедрения агентов в различные неформальные организации следит за их работой и в меру сил ведет дело к их подрыву». На Украине это прежде всего было движение «Рух».

А вот какие задания пытались — правда, по его словам, безуспешно, — взвалить на Сергея Петровского из Санкт-Петербурга, когда он служил в армии:

«Встреча с оперуполномоченным особого отдела капитаном Н. произошла у меня 24 декабря 1974 года в Москве. В армии я вел дневник и не мог не зафиксировать в нем это событие. Фамилию этого капитана я не помню: в полку он был известен по прозвищу «Молчи-молчи».

Его кабинет находился на нашем этаже, в конце коридора. Я постучал и вошел. Офицер предложил мне сесть и «расслабиться». Затем он уточнил некоторые детали моей биографии.

Я в это время был активным комсомольцем, с 6-го класса проводил политинформации и был на сто процентов оболванен коммунистической пропагандой.

Особист вдруг спросил: «Знаете ли вы, чем занимаются сотрудники особых отделов?» Я шутливо ответил: «Ловят шпионов». Капитан начал терпеливо объяснять мне, что главная задача особых отделов — выявлять и обезвреживать своих, «внутренних врагов Советской власти».

Нашего особиста интересовали:

1. Те, кто высказывал критику в адрес КПСС и правительства СССР.
2. Те, кто слушал западные «голоса».
3. Те, кто имеет контакты с иностранцами.
4. Те, кто читает книги и брошюры, изданные за рубежом или нелегально в СССР (например, «Архипелаг ГУЛАГ»)...»

Но были и задания другого рода. Вот — еще один аспект работы на КГБ, о котором сообщил мне доктор геолого-минералогических наук В.Ю. Забродин, который считает себя не сексотом, а добровольным помощником КГБ.

В 1981–83 годах он руководил геолого-минералогическим музеем в Хабаровске, который очень часто посещали иностранцы. Куратор из КГБ просил его после этих посещений писать отчеты, чем интересовались иностранные посетители, какие вопросы задавали. Он в этих просьбах не видел ничего особенного, так как этим занимались и его предшественники. Да и все, наверное.

Но в 1993 году куратор обратился к нему с просьбой об оказании более серьезной помощи: речь зашла об экономике.

Наступала эра Андропова и борьбы с коррупцией.

«Из разговоров с друзьями, — пишет В.Ю. Забродин, — мне стало известно, что сотрудники КГБ сыграли решающую роль в борьбе с мафией в Краснодаре и других местах.»

Его куратор рассказал ему, что в КГБ создан специальный отдел по борьбе с экономическими преступлениями: милиция оказалась сильно коррумпированной.

«Я спросил у него, а чем бы я сам мог помочь в этой борьбе? Он ответил: «Мы хотели бы получить от вас независимое экспертное заключение — в форме изложения вашего личного мнения — по тем или иным интересующим нас вопросам». Как водится, он обратился к моему гражданскому долгу, к сознательности и т.п. Я не видел особых причин отказываться от такой формы сотрудничества и дал соответствующую подписку, выбрав себе, как у них принято, конспиративную фамилию».

Согласился, дал подписку, выбрал себе псевдоним, но дальше?

«Меня начали грызть сомнения: не будут ли от меня добиваться сведений о людях, представляющих интерес для КГБ? Недоверие к этой организации (по крайней мере к той ее части, которая выполняет функции политической полиции) у большинства из нас в крови, а у меня к тому же был репрессирован дед. Поэтому я не исключал, что в случае отказа поставлять КГБ интересующие их сведения, они специально будут распространять обо мне сведения, что я — стукач, а это, естественно, повлекло бы разрыв отношений со многими из моих друзей, особенно из тех, кто был близок к диссидентским кругам».

Что же он сделал, услышав подобное предложение? То, что только и можно сделать в подобной ситуации — он поставил в известность об этом предложении всех своих друзей не только у себя в городе, но и в разных городах страны:

«Конечно, я нарушил условия, оговоренные в подписке о сотрудничестве, но другого выхода я не видел. Мои друзья приняли все это к сведению».

Ну, а что дальше?

Два или три раза от В.Ю. Забродина КГБ пытался получить сведения о людях, ему близких, но он категорически отказывался говорить на эти темы. И эти личные темы его кураторы перестали затрагивать.

«Что же от меня реально получил КГБ? Во-первых, меня попросили написать, какие виды материального сырья Дальнего Востока могли бы представлять интерес для соседних государств — Китая, Японии, Кореи. Когда я сказал, что не являюсь специалистом по экономике минерального сырья, мне заявили, что это не имеет значения, так как такого рода оценки даются несколькими не связанными друг с другом экспертами, а лишь только потом они сводятся вместе и докладываются руководству.

Вряд ли в этом вопросе я оказал существенную помощь государству и КГБ в его контрразведывательной работе.

Второй круг вопросов был связан с получаемыми мною материалами из-за границы. Я — действительный член Международной ассоциации планетологии, и поэтому много лет получаю из Института лунных и планетных исследований (США) 3-4 раза в год специализированный журнал и разного рода информацию. Меня попросили написать заключение, стоит или нет их переводить и издавать на русском языке. По правде сказать, ни одной работы, изданной по-русски, я так и не увидел, несмотря на то что мои отзывы о них были положительными.

Наконец, третий круг вопросов лично для меня представлял большой интерес. Он включал мои соображения о состоянии науки в стране и, в частности, на Дальнем Востоке. На составление записок по этим вопросам я потратил много времени, так как надеялся, что если мои соображения поступят к руководству страны по линии КГБ, то к ним прислушаются. Но все оказалось глухо: мои записки никакого воздействия не оказали.

У меня крепло убеждение, что мое сотрудничество нужно было КГБ только для галочки, и мои записки, в лучшем случае, хранятся в каких-нибудь покрытых пылью папках, поскольку ни в организации научной работы, ни в организации геологической службы улучшений так и не произошло».

И хочу процитировать последние строчки письма Владимира Юрьевича Забродина:

«Мне 54 года. Я убежденный беспартийный в отношении всех существующих в стране партий. Сотрудничество с КГБ не при-

несло мне никаких выгод. Денег или подарков мне не предлагали. Правда, трижды куратор уговаривал меня принять участие в международных симпозиумах у нас и за рубежом, но я, по понятным причинам, отказывался.

Безусловно, это в какой-то мере отрицательно сказалось на моей научной работе, но я рассматриваю этот отрицательный результат как плату за мое сотрудничество с КГБ и виню в этом только себя».

Я понимаю чувства Владимира Юрьевича.

Нет, он не делал ничего плохого, и совесть его чиста. Но почему, почему же даже сейчас, когда уже прошло время и он может открыто рассказать о своем безобидном, в принципе, сотрудничестве с КГБ, такой горький осадок остался в его душе?

И опять я о том же, о том же...

Нет, все-таки не об истории стукачества в России пишу я.

Да, когда копался в архивах, когда читал письма от них, когда наконец-то встречался со стукачами с глазу на глаз, — думал: да, книга будет об этом, и только об этом.

Но чем дальше писалось, тем больше и больше осознал: да нет, брат, не в подписках дело и даже не в КГБ. ЗОНА — понятие более широкое, чем та или иная профессиональная деятельность. ЗОНА проходит где-то посерединке человеческой души, и даже не от времени зависит — переступит человек эту тоненькую границу, гордо откажется переступать или испуганно замрет на границе.

Приведу два документа из двух разных времен: того, страшного, когда и поступать-то иначе было для многих непривычно, и нашего, сегодняшнего, когда ты сам — и только сам — решаешь для себя: можно? нельзя?

Первый документ я нашел в США, в Гуверском архиве.

25 февраля 1937 года некий Левенцов пишет заявление в Сталинский райком партии:

«...Вечером указанного числа 17 февраля Карпов, зайдя в гостиницу в номер, где я находился исключительно один, завел со мной такой разговор: «У меня, и не только у меня и еще у одного товарища Бояринова есть интересная книга самого Сталина под названием «Об оппозиции», там интересно написано — даже написаны все завещания тов. Ленина в отношении тов. Сталина. Ленин там: «Сталин груб», что о генсекретаре ЦКП пленума нужно обсудить и в этой книге сам об этом тов. Сталин говорит. Ты читал эту книгу обращаясь ко мне Левенцову, я ему Карпову на это ответил что этого я не читал и

что такого порядка суждения есть нечто иное как троцкистская клевета давно исходящая из уст фашиста Троцкого, Зиновьева, Каменева и других сволочей докатившихся до контрреволюции и они эти подлые шпионы получили нам известно по заслугам. Дополнительно он Карпов сказал «В книге написано, что Ленин профессиональный эксплуататор». Я после этого ему ответил, что теперь я убежден что ты троцкист, и если ты Карпов сейчас это так понимаешь и неуместные нам сейчас приводишь цитаты то это пахнет у тебя Карпов нездоровые рассуждения, рассуждения неприсущие большевику. Карпов ответил на это я не защищаю троцкистов, я тебе говорю о книге Сталина а в ней это записано, зайти и прочитай.

Карпова я знаю давно по работе в Севске на квартире никогда у него не был, но по указанному делу я 24 сего февраля возвратился из командировки 21 февраля — зашел к Карпову с тем чтобы книгу у его эту взять, однако он мне ее только показал, но не дал, такая же книга он еще раз мне подтвердил что есть у Бояринова. Книга «Сталин об оппозиции статьи и речи 1921-1927 года. Государственное издательство.

О вышеизложенном считаю необходимым сообщить райкому ВКП(б).

Кроме изложенного считаю своим долгом со всей большевистской искренностью заявить райкому ВКП(б) о своем меньшевистском поступке в следующем деле. Вечером 17 февраля после работы МТМ часов 12 ночи в буфете станции Спасдеминск в присутствии члена партии товарища Литвинова, я взял для себя ужин так как все столовые в городе были закрыты и взял одну четвертую вина (портвей) выпил я полстакана и угостил вошедшего ко мне Карпова. К сему...»

Подпись, дата...

Да, неважно было у Левенцова с грамматикой (ничего не менял я в этом тексте и принципиально не расставлял знаки препинания — что я, учитель, что ли?), да и выпить был, видно, не дурак.

Но уж такое было время — к поголовной грамотности еще только переходили.

Но что-то родное, знакомое донеслось до меня совсем недавно, в 1997 году, то есть спустя аж шестьдесят лет, из уст человека, в грамотности и культуре которого вряд ли можно усомниться.

На вокзалах в Пятигорске и Минводах прогремели взрывы. Официальная Чечня официально заявила, что никто из чеченцев к этим взрывам не имеет никакого отношения. «И Радуев?» —

спросил я у Руслана Кутаева, бывшего вице-премьера Чечни. — «И Радуев», — ответил он.

Тогда я попросил Руслана, чтобы Радуев связался со мной и сам подтвердил это.

Была суббота. Я сидел на даче и ждал радуевского звонка. Кто-то мне все время перезванивал: «Радуева ищут...», «К нему везут спутниковый телефон», «Скоро его найдут...»

Шло время, он не звонил.

Я сказал своим товарищам в «Новой газете», чтобы все равно держали место (а именно в субботу у нас подписывается номер в печать), — вдруг все-таки позвонит.

Радуев позвонил мне около четырех дня.

Это был трудный и тяжкий разговор, который продолжался минут сорок.

Радуев взял на себя ответственность за эти взрывы, но самое главное — он заявил: планируются взрывы на вокзалах Воронежа и Санкт-Петербурга.

И весь наш разговор был только об одном, вернее, только об одном я просил этого террориста: не взрывай, не взрывай...

В понедельник вышла газета, в которой я привел фрагменты нашего разговора, которые считал наиболее важными.

Да, газета вышла в понедельник. А уже на следующий день председатель Комитета Госдумы РФ, уважаемый кинорежиссер Станислав Говорухин провел пресс-конференцию, на которой зачитал стенограмму моего частного разговора с Радуевым, который я вел со своего частного домашнего телефона, то есть озвучил незаконную «прослушку» (выражаясь профессиональным языком), сделанную одной из спецслужб. Получилось, одному депутату Госдумы дали прослушать разговор другого депутата Госдумы, и тот, не испытывая ни тени сомнения, огласил его на пресс-конференции, проведенной им в здании Госдумы.

Спустя несколько дней, взяв официальную стенограмму выступления С. Говорухина, я тут же вспомнил заявление Левенцова, найденное мною в Гуверском архиве.

Что уж там время? Никакое для нас не время — те шестьдесят лет, отделяющие нас от 37-го года. Чтобы поставить С. Говорухина в равные условия с неведомым мне Левенцовым, я тоже решил не заниматься, как школьный учитель, исправлением ошибок и расставлением запятых.

«Я отдельные выдержки. «Я предупреждал, еще неделю подождите, еще два вокзала взлетят на воздух» — «Салман, вы сейчас меня убили. У меня сейчас совсем другое мнение о тебе» — «Мнение не надо делать. Перед миром сделаешь мнение. Мы мир поставим на колени» — ну, и так далее.

Похож он на сумасшедшего, Радуев?

«— Вот скоро Воронеж будет. Вот тогда опомнится Россия. Весь город сотрем с лица земли.»

Так, дальше.

«— Я ни с кем не встречался и не беседовал. Последний месяц я был на лечении за рубежом после покушения 8 апреля. Я ни от чего не отказываюсь. Это они просто от себя выдают. Я сейчас говорю и готов перед всем миром и перед Аллахом взять на себя ответственность за тех, кто погиб. Я очень рад, что выполняются мои приказы. С одной стороны, я сожалею, что много жертв. Я выразил свое соболезнование тем, кто погиб. И выражаю свое соболезнование тем, кто погибнет еще. Так что это война. Война без жертв не бывает... Почему мы должны уступать? Россия должна уступать нам. Ельцин должен встать на колени. Попросить у чеченской нации помилования за покушение на Дудаева. Я солдат Дудаева и всю оставшуюся жизнь буду мстить за него.

— А если я, как депутат Государственной Думы, попрошу прощения вместо Президента?

— Не надо! Давайте вы, как депутат Государственной Думы, вы хорошо там выступаете, давайте нам Ельцина, Черномырдина, премьер-министра. Они преступники. Куликова, этого подонка, который на чеченской крови дорос до министра и стал генералом. Поверьте, мы еще этим «Куликовым» покажем.

— Я с этим полностью согласен. Но ты говоришь, что скоро будет взрыв в Воронеже. Там же дети, женщины.

— Пусть уходят немедленно. Я предупреждаю. Эвакуирую всех женщин и детей. В случае чего может быть применено химическое оружие. Все идет по воле Аллаха. Мы только маленькие люди, которые выполняют его волю. Аллах нам велит: надо добить эту русскую империю.

— Прости брат... (тут перерыв какой-то в записи). Ты сейчас сделал рискованное заявление...»

Вот судя из этого разговора я вижу, как журналист Щекочихин, там случай, ну искренний вопрос, немножко ошарашен признанием Радуева. Он растерян, видно, что он раньше как-то думал по-друго-

му. Но вот 5-го числа появляется статья Щекочихина в этой же газете (в «Новой газете». — Ю. Щ.), где он говорит, что это спецслужбы готовят все эти теракты (да не говорил я этого в статье — мнение Руслана Идигова приводил в газете. — Ю. Щ.). Но если бы это произошло после разговора с Радуевым, то есть до разговора с Радуевым, я понимаю, у него было такое мнение, но тут я вижу, как он искренне поражен, как он болеет за Россию, за тех, которые в скором времени погибнут, и самое главное, что эта статья напечатана после того, как он поговорил с Радуевым. Мы бы в этой же газете, как я вам уже сказал, печатается отрывок из разговора с Радуевым, правда, фальсификация этого разговора. Но вы можете взять газету и прочитать. Ничего похожего в том, что там читал, здесь нет.

Что же это такое? Но я прекрасно понимаю. Я готов простить ему то, что он обращается к террористу: брат. В конце концов, Щекочихин занимается тем, что вывозит пленных наших солдат и это уже дело его совести, его тактики, обращаться к террористу, к бандиту, к убийце, — это его дело. Но в принципе, я не понимаю, значит, если он после этого разговора пишет о том, что все равно это готовили спецслужбы российские («Ну вот, опять» — хотел я, читая эту стенограмму, снова возмутиться, но потом сам себя поймал на том, что будто я перед тройкой оправдываюсь! Вот ведь гены, вот ведь ЗОНА! — Ю. Щ.), — значит, он связывает им руки и не дает возможности готовиться им для того, чтобы предотвратить следующие теракты...»

Могу только предположить, что стало тогда, в 37-м, с этим беднягой Карповым, который сказал некоему Левенцову о заведении Ленина. Спустя 60 лет я-то уже не чувствую никакого страха, да и какие могли быть последствия? Об этой пресс-конференции Говорухина сообщил только «МК», да и то удивившись: откуда у председателя Комитета по культуре оказался документ, к культуре имеющий весьма специфическое отношение?

Но чем дольше я думал, тем больше и больше понимал — дело-то совсем не в тех или иных аналогиях.

Нет, в чем-то куда более существенном.

Начиная это исследование, я думал, что писать мне придется больше об истории и странных ее гримасах, о людях, ставших жертвами исторического процесса, о том параллельном ГУЛАГе, в котором томились миллионы и миллионы душ. Потом понял: нет, нет — этого мало. В душе проходит ЗОНА, в самом человеке, в вечном противоборстве между добром и злом, между верностью и предательством. Но потом — еще дальше, дальше... Да, машина КГБ, занимав-

шаяся черт знает чем на протяжении многих десятилетий и превращавшая людей в рабов Системы, сломлена (по крайней мере, хоть сейчас контролируют не мысли, а пытаются заниматься делом, которым и должна заниматься любая спецслужба в любой стране).

Но все больше и больше убеждаюсь: да нет, все осталось! Все так же! Все, как и тогда! Только вместо одной громадины десятки: от семи спецслужб до бесчисленных служб безопасности банков и фирм.

ЗОНА продолжает затягивать в себя все новых и новых людей, все продолжая и продолжая ту историческую эпоху, от которой нам пока еще никуда не деться.

В середине 1998 года при обыске в одной крупной санкт-петербургской фирме, которой мне и моим товарищам по газете пришлось заниматься последнее время, было найдено подробное досье на меня самого: мои привычки, привязанности, друзья, женщины, болевые точки. И там же — методы воздействия, приемы компрометации и — даже преискурант: оплата журналистов, которые напишут статьи против меня.

О, Господи, подумал я тогда! Значит, кого-то подвели поближе, с кем-то сидел за одним столом, а кто-то, может, и приезжал ко мне в гости.

Я тут же поймал себя на том, что мне хочется узнать, кто? Ну, кто? Как когда-то в юности, как когда-то совсем в другой эпохе и в другом времени...

Потом подумал-подумал и решил: да не хочу я знать об этом! Не хочу и не буду.

Все равно ведь кто-то отказался. Наверняка, отказался.

Из отчета за 1994 год:

«От агента «Алексеева» получен сигнал о том, что поэт А. Еременко передал рукопись в издательство «Советский писатель» для возможного опубликования».

«В связи с избранием в партийные органы исключен из агентурной сети агент «Мишин». Личное и рабочее дело уничтожены».

Из отчета за 1985 год:

«От агента «Кларина» получена информация об идейно незрелых моментах в творчестве эстрадных драматургов М. Жванецкого и А. Городницкого. Материалы направлены в 5-ю службу УКГБ по Москве и Московской области».

«От агента «Саши» получена информация о пребывании по линии Союза писателей СССР в США совместно с объектом заинтересованности УКГБ по Иркутской области писателем В. Распутиным».

«От агента «Кларина» получена рецензия на расшифрованную запись неофициального концерта политически незрелого содержания М. Задорнова. Материалы используются в подготовке профилактики М. Задорнова».

«Закончены подготовительные материалы по советской делегации на 13-й Международный конгресс политических наук (Париж, 1986, 16-20 июля). Приняты на связь и проинструктированы в контрразведывательном плане 11 агентов и 7 доверенных лиц. Те, в отношении которых имелись к/м, от поездки за границу заблаговременно отведены».

«В ходе подготовки к работе творческой мастерской литераторов XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов... в состав мастерской введены агенты: «Беликов», «Зорге», «Сомов», «Соловьев», «Крейуер» и 4 источника, принятые на связь местных органов».

«От агента «Наумова» КГБ СССР по Кемеровской области получена информация с характеризующими данными в отношении гл. дирижера Большого театра Ю. Симонова, являющегося объектом нашей оперативной заинтересованности».

«В отношении профилированного Московской писательской организацией по нашим материалам в связи с провозом идейно вредной литературы члена СП СССР Б. Окуджавы проведены мероприятия по его изучению в период пребывания в загранкомандировке в Италии. Изучение проводилось через возможность резидентуры и через агента «Александрова», выезжавшего вместе с Б. Окуджавой в качестве сопровождающего. По нашей просьбе УКГБ БССР по Брестской области организован тщательный таможенный досмотр Б. О. Результаты указанных мероприятий учтены в дальнейшей проверке».

Из отчета за 1986 год:

«В Канаду в составе сборной команды СССР по хоккею с шайбой направлены агенты «Климов» и «Ремизов» с заданием по контрразведывательному обеспечению указанного коллектива. Получены данные о враждебных устремлениях противника по отношению к отдельным советским хоккеистам, по попыткам склонить их к невозвращению на родину».

«От агентов «Московского», «Федорова», «Алфимова» получена дополнительная информация о нездоровой в идеологическом плане обстановке в секторе проблем идеологической борьбы и критики немарксистских теорий ИМПД АН СССР».

«В связи с предстоящим V съездом кинематографистов СССР от агентов «Москва», «Нора», «Николаев», «Полянский», «Степанов», «Езерский» получены сообщения о положении в среде кинематографистов и некоторых негативных проявлениях во время отчетно-выборных собраний в московских секциях. Сообщения доложены руководству управления».

«От агента «Соловьева» получен сигнал об утечке служебной информации из Совета по делам религий при СМ СССР».

Из отчета за 1987 год:

«От доверенного лица «ГАИ» получена информация о контактах гл. балетмейстера ГАБТ СССР Ю. Григоровича с отщепенцами Барышниковым и Макаровой с целью пригласить их для участия в Международном форуме деятелей культуры».

«От агента «Светлова» получено сообщение о попытках режиссера и актера Театра сатиры А. Миронова спроецировать события в спектакле «Тени» по пьесе Салтыкова-Щедрина на события сегодняшней действительности. Информация доложена руководству».

«От агента «Светлова» получена информация о негативном поведении и высказываниях драматурга и секретаря СТД СССР М. Шатрова. Информация доложена руководству КГБ».

Из отчета за 1988 год:

«Через агента «Александрова» проводятся мероприятия по склонению члена СП СССР Ю. Мориц, находящейся в составе делегации советских писателей в США, к выступлению в советской печати с критическими отзывами о жизни и деятельности отщепенцев на Западе».

«В качестве агента органов КГБ СССР завербована актриса театра «Современник 2» — «Евгения Рюмина», а также искусствовед, сотрудник Художественного фонда СССР «Понамарева».

«Агент введен в Московский комитет по Карабаху».

«От доверенного лица «САГ» получена и доложена руководству управления информация о настроениях, планах и намерениях академика Д.С. Лихачева».

«Через агента «Рязанского» подготовлено письмо от имени верующих с осуждением поведения объекта. Письмо распространено в окружении Якунина Г.».

«На основе анализа оперативной обстановки в среде научной интеллигенции руководству Управления доложены справкой предложения об имеющихся возможностях по компрометации отдельных лиц из числа т.н. «лидеров перестройки в обществен-

ных науках». На этой основе агентом «Историком» подготовлен критический материал на публикацию Ю.Н. Афанасьева в «Литературной газете» от 17.06.88 г.»

Из отчета за 1989 год:

«От агента «Андрея» получена магнитофонная запись выступлений лидеров т.н. «Московской трибуны», имеющих антиобщественную направленность. Запись передана в 9-й отдел Управления для учета в работе по возможности оперативного использования».

«Через агента «Родина» в ж-ле «Наш современник» №5 опубликован материал о писателе-эмигранте Л. Копелеве (объект «Каналья»), разоблачающий его связи с антисоветскими центрами Запада».

А из отчета за 90-й? 91-й? 92-й? 93-й? 94-й? 95-й? 96-й? 97-й? 98-й?

И что, когда-нибудь обнародуются отчеты за 99-й?

И что? За двухтысячный?..

«СЕЙЧАС, НА ПОСЛЕДНЕЙ СТУПЕНИ ЖИЗНИ, ВСПОМИНАЮ ВЕСНУ 35-ГО И НАСМЕШЛИВОГО ПРОФЕССОРА, КОТОРЫЙ У СЕБЯ НА КВАРТИРЕ, В СВОЕМ ЗАСТОЛЬЕ, СРЕДИ СВОИХ, СКАЗАЛ: «ХАЙЛЬ, ГИТЛЕР!». ПОДНЯЛ БОКАЛ И РАССМЕЯЛСЯ.

Я ДОНЕСЛА. И КТО-ТО ЕЩЕ.

ВСПОМИНАЮ ЭТО, КАК В ТЯЖЕЛОМ СНЕ.

ПРАВА? НЕ ПРАВА?

НЕСУ ПОКАЯНИЕ».

Женщина, приславшая мне это короткое письмо, поставила свою подпись: «Чернышова, пенсионер, Днепропетровск».

Не смею менять ее имя.

Заканчиваю эту рукопись в начале 1999 года, последнего года двадцатого века.

Вот мы и прощаемся.

Да, хотел бы я чувствовать себя сыном девятнадцатого века.

Но чувствую себя сыном двадцатого.

Когда-то давно, в юности, XXI век представлялся мне чем-то удивительно далеким и каким-то фантастическим временем. Как там будет? Что? Доживу ли?

Но поезда идут с курьерской скоростью.

И вот уже — порог.

Да, уходя, на пороге оглядываются.

Вот и я оглянулся.

**ЖИЗНЬ  
ПОСЛЕ**

**ПОВЕСТЬ**



# ЖИЗНЬ ВПЕРЕД, или ЗИГЗАГИ И РИТМ ЮРИЯ ЩЕКОЧИХИНА

Лично знаю его лет десять (заочно — лет на пять дольше).

Сразу же стал удивлять непредсказуемостью своей судьбы и работы (а это у него почти слитно). И не то чтобы на год — на неделю, а то и на день. Но только сначала стал удивлять, а потом быстро приучил ожидать непредсказуемости, неожиданности.

Сценарии, пьесы, репортажи, публицистика, и вдруг — многократный депутат, а еще вдруг — исследование, очень серьезное, о КГБ. То дотошно занимается коррупцией, то Чечней. То здесь, то там — никогда не поймаешь. Какой-то Фигаро, столь же талантливый, сколь и рисковый. А еще и «трудоголик». И это при его-то «образе жизни»...

И вот новый сюрприз: повесть эта.

Я сейчас не о качестве, а просто о факте: писалась всего-навсего в августе 1993 в Бостоне, а потом дописывалась в январе 1997 в Переделкино;. Откуда только время берет? Ведь сам за себя пишет, а не кто-то за него. (Зюганов и прочитав столько не успел, сколько «написал».)

Ему — на двадцать меньше, чем мне.

Но почему — без натуги — близки?

Почему так внимательно слушаем, выслушиваем, читаем, вычитываем друг друга? Почему не дожидаемся ревниво своей очереди монологизировать, вещать, оценивать?

Почему вообще — не знаю. Но точно знаю, что векового конфликта «стариков» и «молодых», «отцов» и «детей» — нет. Правда. Не знаю, какие «мы» для него учителя, но он для меня — один из учителей, из молодых.

Какой-то безвразжий переход от вечного прежнего к небывалому, тоже вечному.

Кажется, мы без всякого напряжения понимаемся, глядясь друг в друга, как в зеркала, узнавая — себя.

Правда, наши зигзаги — подлиннее, да и ритмы — помедленнее. Наверное, это — и вообще — закон истории?

По-моему, нас сближает зависть (которая, по Пушкину, кроме прочего, еще и «сестра соревнования»). Мы завидуем их лихости, безоглядности, бесстрашию, свободе (но не безответственности). Они нам?.. Но не нам же говорить об этом.

Главное: взаимообогащающая, взаимостимулирующая «белая» зависть: не взять больше, а — отдать. Кто больше не «отхватит», кто больше «отрежет». Еще посоревнуемся, если Бог даст...

Повесть эта — о самом главном нашем старом, но — по-новому. Мне кажется, что если б я даже и не знал, кто ее написал, то догадался бы: он.

Путь, на который он встал, потруднее всех предыдущих. И путь этот он начинает почти в свои 50.

Кто-то сказал: лучше помиловать преступника, чем осудить невиновного.

Я бы добавил: лучше поверить в новый талант, чем обрезать ему крылья.

Гойя написал свою «черную живопись» в 50. А кто бы и как помнил его как творца, умри он раньше?

Еще одно. Мистика какая-то: образ яблок в повести (задолго до «Яблока»),

Повторюсь: лучше ошибиться в вере, чем в безверии,

Я очень-очень верю в его «непривычность», в его «прислушивание к новому для себя состоянию».

*Юрий КАРЯКИН*

Однажды среди ночи раздался телефонный звонок. Как показалось мне сначала, звучащий совсем не оттуда, где, по моим предположениям, должен был лежать телефон, накрытый, как кот, кипой совершенно ненужных мне и не известно как попавших сюда подшивок журналов «Крестьянка» за 1983 год и «Пограничник» за 1972-й. Я тупо смотрел в лицо Нонны Мордюковой, судя по пуховому платку, в котором ее сфотографировали для обложки, это скорее был зимний, чем летний номер, понимая, что если это на самом деле телефонный звонок, то звонить должны были оттуда, из-под нее, но уж никак не из кухни, где и телефона-то никакого не было и не могло быть. Но тем не менее я не мог обмануться: да, это был телефонный звонок и раздавался он именно из-за стены, по всем законам географии квартиры, которую я с трудом снял из-за ее относительной дешевизны: всего-то сто тысяч в месяц! Вы можете себе представить такое сейчас, когда за сто тысяч, что ты и можешь сделать, это купить три бутылки пива да триста грамм бывшей колбасы за 2 руб. 20 коп., которая — по крайней мере вчера, когда я покупал ее, — стоила 27 тысяч! Такая везуха, которая в последнее время выпадает мне нечасто, объяснялась не только тем, что, по словам Розы Исааковны, ей запомнилось мое пламенное выступление против строительства зоопарка в Битцево (хотя клянусь, что я в жизни не был в Битцево и даже не подозревал, что там собирались строить зоопарк), но и тем, что я чем-то напоминал ей сына Доика, который лет двенадцать назад уехал в Израиль. Но сколько я ни рассматривал его фотографию, которая так и осталась висеть над пустой книжной полкой, я никак не мог сообразить, чем же я напоминал этого упитанного молодого человека с ранними залысинами и самодовольно сдвинутыми губами. Да и национальности у нас разные, хотя, с другой стороны, я не столько придаю этому значение, сколько сам иногда задумываюсь с сомнением: а может, я англичанин?

Но дело не в этом, а в том, что телефон все-таки звонил и звонил не оттуда, то есть не из-под Мордюковой, а совсем из не-

знакомому мне места уже почти обжитой мною квартиры на втором этаже блочного дома — откуда-то из кухни.

Да, на кухню я заходил редко. Возвращаясь ночами, я старательно обходил ее стороной, как обходишь на всякий случай толпу коротко стриженных подростков, распевающих в каком-то невымыслимом, военно-маршевом варианте довольно милую песню «Подмосковные вечера». Господи, как они надоели!

Я насчитал уже семнадцать звонков, и когда наконец-то они смолкли и наступила оглушающая тишина, я переменял позу, то есть переложил теперь уже левую ногу на правую, а руки положил на подоконник. И продолжал смотреть в окно, стараясь не опускать глаза вниз, где возле киоска «Торгуем всегда» бывшая путанка Серегина Алла пыталась выпросить у бывшего рэкетира Леки Гаврилюка бутылку «Жигулевского». Хотя, может быть, они носили совсем другие имена: Алла Гаврилюк и Леня Серегин.

Нет, я наблюдал за мирозданием, то есть за зданием мира, присутствовавшим перед моими глазами в 3 часа 25 минут ночи; естественно, глянул на часы, подаренные мне однажды абсолютно пьяным шведом в обмен на мое обещание — отдать Швеции, когда я стану президентом, ткацкий город Орехо-Зуево, оставивший в размякшей шведской душе воспоминания о многочисленных женских общежитиях, зовущих скандинавоподобного специалиста по компьютеризации ткацких станков сотнями тысяч разинутых окон.

Человек, который утверждает, что в половине четвертого утра он наблюдает за мирозданием, — не обязательно сумасшедший. И дело даже не в том, что в нашей стране, кстати, самой свободной в мире, как я снова прочитал вчера в газете «Новая Правда», каждый может делать все, что ему заблагорассудится, если это, естественно, не противоречит высшим государственным интересам. Вопрос в другом: что понимать под мирозданием.

С некоторых пор меня перестал интересовать смысл жизни как собственной, так и окружающих. О, я помню, как когда-то давно, возможно, это было в юности — когда же еще! — всякие такие, как сейчас понимаю, никчемные вопросы терзали тебя до боли в левом плече, и ты почему-то полагал, что если ты оказался на этом свете, то, значит, не просто так. То есть, как кто-то писал (забыл кто, возможно, какой-то поэт, возможно, что даже классик, которого вталкивали в твою голову в школе), что «уж если тебя зажгли, то это кому-нибудь нужно». Но как давно это было, да и со мной ли? Но сейчас меня это не интересует абсолютно, и если

мне скажут сейчас, пора, мой друг, пора и прочие, приличествующие уходу слова, то я нисколько не удивлюсь, а только гляну напоследок в окно, чтобы убедиться в том, что мироздание не зависит от твоего прихода и ухода, а существует само по себе вне всякой зависимости от твоего существования. Мир не мыслит — значит, он существует.

Существуют дождь, дерево, холм, река, гроза в начале мая и осень в сосновом бору, существует шторм на море и смерч над городом, поляна, освещенная солнцем, и черный мрак, когда нет ни одного огня на протяжении десятилетий. Дорога, тропинка, тропа в горах, след от моторки на реке — они тоже существуют. Некоторые книги. Возможно, птицы (этот вопрос я все еще оставляю для себя открытым, так как меня смущает поведение гусей, когда они сбиваются в стаю). Наконец, небо со звездами и луной, как сейчас, за три часа до рассвета. Небо, которое падает вон там, в конце пустыря, и луна в виде своей половины, которая на моих глазах выплывает из облака.

Естественно, я не всегда наблюдаю за мирозданием. Иногда, а это случается все чаще и чаще, я погружаюсь в спасительное алкогольное забытие, и потому никак не могу решить для себя, является ли алкоголь частью мироздания или ключом к его открытию? Убедившись однажды, что алкоголь склеивает расколотый мир, я открыл для себя, что оставшийся от мироздания мир бывает не так плох, как представляется он тебе утром, когда, открыв глаза, ты видишь перед собой расплывшееся пятно на обоях и пятна на потолке, возможно, оставшиеся еще с той поры, когда отдавали последний салют Додику, провожая его на землю обетованную, Шампанское, Новый год, елка, родители, подарок под подушкой — никогда, никогда не будет больше этого, и, возможно, потому и память входит в мое понятие мироздания как явление неодушевленное, а потому вечное.

Проснувшись сегодня близко к полуночи, я обнаружил себя одетым, но без ботинок, из чего сделал вывод, скорее всего справедливый, что хотя и влил в себя накануне много, но ресурсы организма исчерпаны были не полностью, потому что при полностью исчерпанных ресурсах рука вряд ли различит шнурки на тяжелых армейских ботинках, которые я почти задаром, всего за пятьдесят тысяч, купил на барахолке, которая еще месяц назад, до указа о запрещении барахолок, мирно шумела в левом углу Тишинского рынка.

Где я вчера закончил свое путешествие — давно уже вылетело из головы, как событие совершенно незначительное. Погрузившись в город, я, естественно, не помнил, по каким улицам шел, перед какими светофорами останавливался и на каких скамейках сидел. Кажется, дважды меня останавливал казачий патруль, один раз, по-моему, конный. Воспоминание о какой-то лошади шевелится в голове, а так как не могу себя представить в зоопарке (да и есть ли там сейчас лошади?) или тем более — на ипподроме, то, скорее всего, это был гнедой задумчивый конь, чье горячее ласковое дыхание до сих пор чувствуется на моей левой щеке. Точно так же, как каким-нибудь хмурым осенним днем — давно, тогда, когда вдруг налетит на тебя ветер с Коктебельского залива, а на губах почувствуешь горечь степной полыни. И ты, разумом понимая, что нет в Москве, в этом грязном, идиотском, таком любимом и ненавидимом городе ни залива, ни полыни, не сможешь никому объяснить, что это сейчас к тебе прикоснулось, и только мечтательная улыбка выдаст тебя так, что даже хмурый сосед, сидящий напротив тебя в метро между «Новослободской» и «Проспектом Мира», подозрительно уставится на тебя и на всякий случай крепче прижмет к груди полиэтиленовый пакет, из которого торчит ножка курицы.

Где ты, Коктебель? Жесткий прищур глаз спецназовца — вот твое лицо сегодня. Это не молнии в ночном небе, а следы трассирующих пуль. И когда тебя спросят, за кого ты? За президента Николая Борисовича, или за президента Матвея Леонидовича, или вообще за какого-то неведомого хана Абдурахмана Сабирова-Когана, то вместо ответа ты с удовольствием пошлешь их к черту и заорешь, сам пугаясь своего голоса: «Я за Тихую бухту и за Сердоликовую бухту! Я за Сурюк-Ая, Чертов палец и за чисто выбеленный домик — в двух шагах от автостанции, в окно которого ты однажды постучал в два часа ночи. Я за мироздание, кретины!»

Ничего ты им не скажешь даже по одной-единственной причине, что тебя туда просто не пустят, и я не знаю ни одного человека, который бы вдруг решился выписать тебе туда пропуск, рискуя потерять хлебное место в районной комендатуре. И у тебя остался один выход — поселить Коктебель в собственной памяти, где мирно уживаются песчаная коса на Бугазе и остановка на берегу океана по пути из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, день рождения в Переделкино и рассвет на окраине Петербурга, где люди, вечера, бульвары, канат, выброшенный за борт яхты, сухая

«Лидия», сын на мотоцикле, взгляд девочки, скользнувший по тебе двадцать семь лет назад, вкус холодного апельсинового сока, ночь, ночь, ночь, шепот: «Не уходи!..», старая крепость на Днестре, бухта в Неаполе, скамейка на Патриарших, гитара на стене дома, которого уже сейчас нет, — все, все, все, что никто у тебя не отнимет. Даже казаки...

Та половина, которая еще оставалась от луны, исчезла под облаком. До четырех не хватало еще одиннадцати минут. Рука затекла, и пришлось больно ущипнуть ее другой, незатекшей рукой. Резко зацокали копыта, и я на всякий случай прижал ладони к лицу, жест совершенно детский и ненужный, хотя надо было бы на всякий случай плотно занавесить шторы, чтобы взгляд патрульного нечаянно не наткнулся на мой взгляд, и патрульный казак, почувствовав в моих глазах ненависть и страх, стал бы удивленно озираться вокруг, пока, наконец, не догадавшись про мое окно, повернул бы своего гнедого за угол, во двор, к подъезду, на лестницу, в квартиру...

Но что-то из событий уже канувшего в небытие вечера начало проступать в памяти: окрик «Стой!», фигура, возвышающаяся над мной, горячее дыхание коня... Да, да, да! Конь все-таки был... И конь, и человек на коне, и рядом такой же конь и такой же человек — все-таки присутствовали в том моем путешествии. Нет-нет! Не зря, не просто так, даже еще сейчас, когда минуло уже много часов, я чувствую на своей щеке его дыхание. Может быть, он даже меня лизнул? Хотя я никак не могу вспомнить, но наверняка что-то об этом говорилось в школе, умеют ли или нет лизать кони, то есть принадлежат ли они к замечательному классу собак, которые занимают свое место в мироздании не по благу, как коты, а по праву существ, многое испытавших из-за своей преданности?

Я, как ни странно, люблю это состояние — нет, естественно, не то тяжелое, пыточное похмелье, когда даже воспоминания о прошедшем тебе неприятны, как непоправимая ошибка юности, а вот такое, когда уже забытые тобой впечатления начинают проявляться в памяти. Да, слишком расплывчато, слишком нечетко, как фотография из времен зари этого странного изобретения, заставившего фиксировать не мироздание, а мебель, расположенную в нем. Но и на том спасибо тому изобретателю, имя которого я тоже, естественно, позабыл, возможно, и этот урок пропустив в школе. Да, что-то такое было. Вечер, казак, конь... Я, конечно, услышав окрик, остановился, поднял руки, дал себя обыскать, но

этого нет на этой фотографии. Это я уже привык делать автоматически, хотя, конечно, впервые оказавшись в подобном положении, чувствовал себя несколько стесненно, будто кто-то силой распахнул двери ванной и с любопытством начал тебя рассматривать. Но это когда было! Год назад, когда, помню, возвращаясь от одной девушки, кажется, это был рассвет, метро еще не работало, а на такси уже не было денег, я наткнулся на что-то лоснящееся и темно-коричневое, оказавшееся прямо перед моими глазами.

Что было самое удивительное, так это то, что я шел не по улице — этого я себе даже не позволяю в состоянии, когда кажется, что ты лишился ног и летишь вперед одним туловищем, — а по тротуару. И вдруг, такой сюрприз. Да, это — лошадь, сказал я сам себе, но так как на улице Чехова — на тротуаре улицы Чехова! — присутствие лошадей раньше никак не было обозначено, то это могло означать лишь одно-единственное. О, подумал я, сегодня — лошади, завтра — слоны, послезавтра — летающие крокодилы... Да, пора брать антракт и, по крайней мере, начиная с водки — не кончать вином, может быть, лучше попробовать наоборот? Сначала вино, а потом — водка? Из-за странности ситуации я почувствовал в себе какой-то сентиментальный порыв и, обращаясь к воображаемой, как я полагал в этот момент, лошади, произнес, к тому времени уже приблизившись к своей теории преимущественности бытия мироздания перед ничемным существованием человека: «Что, брат-лошадь... И тебе хочется стать камнем?..» Но не успев услышать ее воображаемый ответ, я почувствовал ожог на шее от удара плеткой и услышал голос, доносившийся сверху, который никак не мог принадлежать лошади, даже придуманной в бреду: «Стой смирно, падаль! Руки, бля, вверх!».

Самое удивительное заключалось в том, что я замечательно быстро смирился с тем, что лошадь и человек на лошади, лица которого я не видел, но признал его право на казачество из-за позвякивающих где-то в вышине медалей, могут перегораживать тротуар на улице Чехова, в самом его начале, где раньше был театр Ленкома, переименованный сегодня во Второй малый академический имени не то Говорухина, не то петербургского Горбачева (будто у них там мало своих театров!), заставляя человека поднимать вверх руки, выворачивать карманы и по приказу: «А теперь, падаль, беги!» — на самом деле бежать, как тот малый из пушкинского «Медного всадника», чувствуя за спиной цоканье копыт. Кстати, именно тогда я стал с уважением относиться к гне-

дой породе лошадей, потому что, как ни быстро я бежал, лошадь при старании — да и даже без старания — могла бы меня догнать еще до того, как я успел вскочить в третий номер троллейбуса.

Но это было давно, и с тех пор при виде казачьего патруля я уже автоматически поднимаю вверх руки и изображаю на лице мягкую, стеснительную улыбку, краснея при этом и думая с горечью о том, как все дальше я отхожу от мироздания. Но с другой стороны — правда, это настолько глубоко, тайно, — борясь с накипающей волной гнева на тех, кто посмел прервать дорогу, которая вела меня, независимо ни от этой, налитой свинцом казачьей хари, ни от сентиментальной улыбки на прекрасном лошадином лице.

Да, но в той вечерней встрече было что-то другое, что отличало ее от множества предыдущих. Что-то непривычное, не укладывающееся в ту схему, к которой тебя подключили...

Пытаясь вспомнить, что же меня так поразило, я начал с начала. Нет, естественно, ни с того, как встал, кому позвонил (да, да! Несмотря на многочисленные предупреждения моих знакомых, я все еще пользуюсь телефоном, назначая редкие встречи), куда пошел вначале, куда — потом, почему первой была «Имбирная», а потом какая-то гадость без наклейки, возможно, азербайджанский портвейн. Это все еще было прелюдией к путешествию, когда я еще находился в твердой памяти и даже помню, что вместе с толпой зевак с интересом наблюдал, как на Сухаревской площади двое работяг под наблюдением казачьего капитана (а может быть, есаула — черт их разберет) сбивали вывеску «Shop» с бывшего кооперативного магазина, а потом, спустившись вниз, на Цветной, оказался в другой толпе, которая с жадным любопытством прислушивалась к треску, шуму, тонким гортанным крикам, доносившимся из глубины Центрального рынка. «А чего народ собрался?» — спросил я соседа с лицом типичного российского интеллигента, чем-то даже напоминающим чеховское, правда, естественно, без пенсне. «Черножопых гоняют», — лучезарно улыбнулся он в ответ. «А... — кивнул я. — Как же, как же...»

Потом, помню, широкие двери — да вы знаете их, конечно, — распахнулись, как от ветра, и море яблок полилось нам под ноги. Это были не те сморщенные и гнилые плоды, напоминающие лица, изуродованные старостью, вид которых в наших овощных всегда заставлял задумываться о мимолетности жизни. Это были Яблоки с большой буквы: огромные, чистые, живые, покрытые юношеским румянцем.

Яблоки плыли и плыли, заполняя узкое пространство улицы, проскальзывая под колеса машин, прижатых к решетке бульвара, переливаясь через решетку и теряясь в траве между деревьями.

Толпа, частью которой оказался и я сам, хотя по старой своей привычке все-таки стоял с самого ее края, мгновенно затихла — так что даже слышен стал звук милицейской сирены, который шел откуда-то издалека: с Неглинки, а может быть, еще дальше — с Петровки или даже с улицы Горького.

«Яблоки...» — выдохнул кто-то за моей спиной, и, оглянувшись, я поразился лицу женщины — некрасивой, немолодой, с немолодыми и некрасивыми руками, прижатыми к груди. Она молодела прямо на моих глазах! Расправлялись морщины, глаже становилась кожа, исчезала седина, будто время пошло в обратную сторону, и, казалось, еще мгновение и она закричит, задыхаясь от восторга открытия: «Мама! Мама! Это и есть снег!?»

Но не только она! Я вел глазами по лицам и уже видел не серую массу толпы, не эту бездонную пропасть, которая поглотит, стоит тебе подойти близко к краю и наклониться вниз, чтобы самому убедиться в существовании бесконечности. Я вдруг увидел просыпающееся человечество — здесь, на этом грязном пятачке возле Центрального рынка. Я знаю, когда оно просыпается, потому что знаю, когда просыпаюсь я сам: при соприкосновении с мирозданием, когда вот так, совершенно неожиданно обрушится на тебя жизнь, переходящая в вечность. Но жизнь не жестокая, не обманчивая в своей простоте, не давящая на тебя тысячами вопросов, на которые ты никогда не найдешь ответов, не ломающая тебя, не пригибающая тебя к асфальту, не швыряющая тебя на колени. Нет, жизнь — как вечный сад! Как забытое воспоминание об еще пустынной земле, покрытой полями из яблок...

Правда, длилось это недолго — пять секунд, а может быть, десять, да и разве такое может длиться долго? Я почувствовал резкий удар локтем в спину, и, оттолкнув меня, моего соседа, старуху с удивленно открытым ртом, женщина, лицо которой снова стало немолодым и некрасивым, а в глазах вдруг вспыхнул совсем нечеловеческий огонь, бросилась на колени перед кучей яблок и, бесстыдно задрав подол, стала сваливать в него яблоки.

И тут же — как по сигналу стартового пистолета — начали щелкать замки портфелей, чемоданов, сумок... Звуки разрываемых молний, хруст на зубах, злобное сопенье, сдавленный крик боли и, естественно, неповторимые и могучие слова русского ма-

та, повторяемые в разных, самых неожиданных комбинациях, голосами мужскими, женскими, детскими, старческими, младенческими, тонкими, как весенний ручеек, и грозными, как зимний обвал в горах.

Мы с моим соседом отскочили в сторону: я — скорее всего от лени и нелюбопытства, а он, видимо, из-за двойственности натуры типичного российского интеллигента. Свалка, надо сказать, вышла знатная... Как обычно случается в наших революциях, больше потоптали и попортили, чем унесли. По крайней мере, меня поразила яблочная дуэль, которую затеяли между собой — видимо, что-то не поделив, — воин-десантник (судя по тельняшке в прорези рубашки) и воин-пограничник (о чем свидетельствовала фуражка с зеленым верхом на давно не стриженной и невытой голове). Они так лихо пуляли друг в друга яблоками — а это, повторяю, не какой-нибудь гнилой продукт из овощного, а полноценный плод, весом доходящий до килограмма, а может быть, и больше! — что уже через минуту у десантника был фингал под левым глазом, а у пограничника — под правым.

— Я бы поставил на пограничника... Он — трезвее, — задумчиво произнес я, обращаясь к соседу с чеховской бородкой, но увидел, что его взгляд прикован совсем к другому: из-под мужчин, женщин, детей, стариков, саквояжей, дипломатов, кошелок, лукошек, кастрюль, баков для белья, чемоданов наших, отечественных, и тех, какие я видел только в одном магазине — на углу Бродвея и 80-й West, — прямо к нам медленно катились два яблока. К нам, которые и пальцем не пошевелили, чтобы вступить на очарованный берег, к нам, бездельникам и лентяям, если что и умеющим — так это строить воздушные замки на местности, погруженной в болото, к нам, вечным пропагандистам несбыточного и организаторам поражений! Они катились по взмокшему от напряжения асфальту как два бильярдных шара по зеленому сукну — большие, спелые, с румяной позолотой, прекрасные в своей законченности формы!

И не докатившись до нас сантиметров тридцать, стукнулись друг о друга — и разошлись: одно очутилось между моими, как вы помните, по случаю купленными армейскими башмаками, непонятно какой страны производства, другое прижалось к коричневой кожи туфлям моего соседа.

Я мог поклясться, что сосед не нагибался за яблоком: по крайней мере, я все время чувствовал на себе его взгляд, — но его ру-

ка уже нащупала яблоко между туфлями, уже поднесла его к карману твидового пиджака, и в кармане образовалась выпуклость, которая в похмельных глазах какого-нибудь пешего казака вполне могла представиться боевым оружием пехоты — гранатой.

И тогда только сосед посмотрел вниз: на яблоко, которое лежало возле моих ног. А потом поднял глаза на меня.

В его взгляде я прочел все: беззащитность вечной жертвы юных хулиганов не только вечером, но даже утром; и презрительную гордость одиночки — «не надо мне ваших подачек!»; слепое мужество прапрадеда-народовольца, роющего подкоп под железнодорожным полотном, и парализующий страх деда-корректора перед нечаянной ошибкой в передовой; буйные фантазии юности на вечерней кухне и заискивающая улыбка пьяному соседу по лестничной площадке — токарю-наладчику с «Серпа и Молота».

И я сделал то, что только и мог сделать для него: осторожно, чтобы не помять хрупкую кожуру, я подтолкнул свое яблоко к его ногам...

«Нет... Что вы...» — предостерегающе поднял он руку. «Да что уж там, берите», — прошептал я. «Вы меня обижаете...» — отрицательно замотал он головой. «Да уж берите, берите», — повторил я. Он вдруг обиженно посмотрел на меня, не глядя на яблоко, опустил руку на землю, к подошвам своих ботинок, схватил его и, не оборачиваясь, смешался с толпой.

А потом с людьми смешались кони.

Нет, конечно же, сначала воздух взорвал пронзительный вой сирены. Это не были привычные городские сирены «скорой», милиции, пожарных, звук которых составлял часть шумового пейзажа большого города, точно так же, как позвякивание трамвая на Чистых прудах, беззлобная ругань грузчиков у соседней булочной, плач ребенка, карканье голодных ворон в вышине деревьев на Тверском. Нет, звук этой сирены — а обычно, я как-то определил путем хитроумных расчетов, если гудело на Остоженке, то отзывалось на Сретенке, — обручем сжимал голову, заставлял трепетно сжиматься сердце и оглядываться на прожитую жизнь с тоской несовершенного и непрожитого.

Говорили, что придумал ее какой-то сумасшедший чуть ли еще не при Сталине, но тогда, да и позже никто не придавал значения этому изобретению, и обшарпанную фигуру изобретателя десятилетиями видели в приемных министерств — от обороны до просвещения, в редакциях газет и — сначала у Боровицких ворот,

а потом на подходе к Белому дому, где он молчаливо дергал за рукав людей с депутатскими значками, независимо от политических течений, которые они представляли, и пытался им всучить канцелярскую папку с желтыми разводами, то ли от времени, то ли от слез. Видимо, все-таки всучил. Скорее всего, даже наверняка всучил. Потому что рассказывали, как разбитый параличом, уже в полубеспамятстве, он еще успел насладиться плодом своей жизни (а у жизни, если говорить серьезно, в отличие от той же яблони, может быть только один плод, если, конечно, считать жизнь низшей ступенью мироздания, не признающего вещественных результатов, достигнутых хитроумным человеческим умом) и будто бы, услышав звук сирены, неожиданно ворвавшейся в его коммуналку недалеко от Павелецкого вокзала, он вдруг вскочил (что само по себе является медицинским феноменом!), стал нервно бегать по комнате — это парализованный-то! — и только потом рухнул замертво со счастливой улыбкой на устах, с которой только и пристало уходить человеку. Таким улыбающимся его и похоронили, хотя его — уже сама пожилая — дочь, которую соседи вызвали из Омска, потом еще долго размышляла, ели ли это был отец, а если все-таки ее, то не прибрали ли соседи под шумок какие-нибудь его сбережения, так как человеку безденежному и по существу бесквартирному нет никакого смысла лыбиться перед смертью.

Но черт с ним, с этим изобретателем! Если бы встретил его тогда, когда он еще ошивался по редакциям, то задушил бы его собственными руками.

Да, ну а при звуках сирены, приближавшейся с какой-то невероятной скоростью, этот ревуший, царапающийся, кусающийся, изрыгающий проклятия, матерящийся клубок тел мгновенно распался, и люди не только приобрели человеческие очертания, то есть встали на ноги, но и снова начали проявлять свои человеческие качества: так, еще до того мгновения, как на освободившийся пяточок возле дверей Центрального рынка влетел, издавая этот чарующий и чудовищный звук, открытый военный «уазик» с улыбающимся казачьим полковником, группа добровольцев — сами, без приказа — бросилась поднимать грузное мужское тело, оставшееся на месте клубка других мужских и женских тел.

Как тут же выяснилось, ко всеобщему облегчению, это была не жертва людской жестокости, а завсегдатай соседнего магазина «Вино».

Кто-то даже вспомнил, что звали его, естественно, Профессором, видимо, из-за того, что когда-то давно он преподавал на кафедре марксизма-ленинизма в МИИТе, но докатился до пяточка возле Центрального рынка не потому, что его переехало колесо истории, а по извечному стремлению российского человека к самоусовершенствованию. Больше того! Он — и тут же тому нашлось множество свидетелей! — оказался на пороге рынка еще задолго до яблочного пришествия, и потому утром, скорее всего борясь с подступающей к горлу похмельной тошнотой, вдруг как сладкий сон вспомнит запах яблок, бьющий в нос, и теплоту человеческого общения...

Ну, а вслед за «уазиком» на Цветной бульвар со стороны Трубной площади на рысях входила казачья сотня специального назначения. Всадники как один светловолосые, голубоглазые, с заломленными набок фуражками, с трехцветными шевронами на рукавах гимнастерок, а кони, естественно, гнедые, с печально насупленными мордами от резко бьющих в ноздри запахов центра города: бензина, мусора, горелого хлеба и очередей. В мгновение ока казаки образовали лошадиный коридор перед дверьми Центрального рынка, но, надо сказать, делали они это аккуратно и даже деликатно, а если и задевали кого, то по вине самих задеваемых: из лишнего любопытства и стремления оказаться как можно ближе к эпицентру событий те вовремя не отскочили в сторону, не прижались к решетке бульвара и будто нарочно путались под ногами лошадей, наткаясь на длинные, со свинцом на конце казачьи дубинки.

Правда, никто и не обижался!

Больше того! На моих глазах парень с чистым и светлым лицом, длинноволосый, как хиппи моего поколения, с зажигательным восторгом в глазах поднял своего малыша на уровень казачьей груди, и тот протянул казаку большое, хрупкое, с румянцем яблоко, притом и малыш, и казак — оба покраснели и долго не могли оторвать глаза друг от друга, один, видимо, мечтая стать казаком, а другой — превратиться в малыша. Хотя, конечно, это были мои досужие домыслы, исходящие из стремления наложить на мир еще какую-нибудь новую краску — из тех, что переполняли меня изнутри всегда, когда я уже отрывался от существующего мира, но мир еще продолжал существовать для меня...

Конечно, как вы поняли, я — о казаке, а не о малыше.

А женщина, та самая, которая поразила меня вдруг на мгновение возникшей красотой некрасивого лица, та пошла, вернее подпрыгнула, еще дальше. Она, кстати, оказалась шустрее всех и по-

средством своего подола натаскала столько яблок — притом уж, действительно, отборных, из отборных — отборные! — что открыла яблочную торговлю на бульварной скамейке. Тут же и какой-то ей отыскался помощник, магазинный хмырь, из тех, которые вечно шакалят возле пивных ларьков, и он уже кричал на весь бульвар: «Ябло-о-ки кавказской породы! Налетай, шестьсот рублей отдавай, яблоки, по-о-купай!», одновременно поглаживая ее чуть — подчеркиваю — ниже спины. Так вот, эта женщина подпрыгнула — я, кстати, такого прыжка никогда и не видел! — и, повиснув на шее у казака — совсем еще мальчишки с пэтэушным блеском в глазах, трижды крест на крест поцеловала его прямо в губы, как когда-то давно наши вожди целовали вождей из когда-то социалистических стран.

Ну, а потом двери рынка распахнулись. Сначала вышли несколько казаков, судя по помятости на лицах и небрежности в одежде, пеших, из тех, кто только и способен клеить девочек в бескудниковских общежитиях. Потом появился — весь в крестах — казачий полковник, тот самый, кто ворвался первым на «уазике» с открытым верхом. Полковник сделал несколько шагов в сторону, и по коридору, образованному казачьими лошадьми, пошли в направлении к Самотеке (куда точно, я не смог разглядеть из-за обилия народа кругом и загораживающих обзор лошадей) горбоносые мужчины в каракулевых папахах, стройные юноши с еле пробивающимися усами, женщины с прикрытыми темными платками волосами, старики в цветастых халатах, дети в черкесках, старухи в паранджах. Они шли, стараясь не смотреть по сторонам, то и дело натываясь на лошадиные морды и казачьи сапоги, а стоявший близко от меня старичок в очках и жилете словоохотливо объяснял всем желающим: «Тех, которые грузины, армяне, абхазцы, ингуши, азербайджанцы, осетины, чечены, карачаевцы, черкесы, мингрелы, — тех, значит, на Курский вокзал. А те, которые узбеки, киргизы, таджики, каракалпаки, туркмены, казахи, бухарские евреи, горнобадахшанцы, уйгуры, — тех, понятно, на Казанский...».

Помню, перед моими глазами трепетно билась жилка на шее гнедой кобылы. Время от времени я ласково прикасался к ней, и тогда гнедая кобылка вздрагивала и косила глазом в мою сторону. И мне казалось, что она проникает в мои мысли и даже сочувствует им. Больше того, в ее подернутом печалью взгляде я читал надежду на то, что и я пойму, как тяжело дышать, когда в ноздри бьют резкие запахи пряностей, сигаретного дыма, горелого хлеба, бензина, очередей. «Да, брат-человек, фигово мне... Воли хочется, покоя,

сладкого запаха сена», — говорил мне ее взгляд, и тогда я нежно проводил пальцами по ее трепещущей жилке и мне хотелось уткнуться головой в ее шею и плакать, захлебываясь в рыданиях, как, наверное, — уже забыл! — случилось в детстве, когда непонятная тревога подступала к твоему маленькому сердцу и ты ужасался собственной беспомощности перед лицом сурового и грозного мира.

Но я снова и снова заставлял себя поднимать глаза и смотреть, смотреть, смотреть на, казалось, бесконечную колонну, вытекающую из дверей Центрального рынка.

Зачем, господа, за что?

Как хорошо было на открытой веранде ресторанчика на берегу маленькой горной речушки!.. Как ударял пряностями, так, что начинала кружиться голова, Батумский порт!.. Как светили низкие звезды где-то посередине Каршинской степи! Полутемный винный подвал в старом Тбилиси, горы дынь на ташкентском рынке, тишина в скупых армянских предгорьях!..

Месяц, примерно, назад, а может, чуть больше... Да, кажется, еще была весна, точно, точно весна. Комендантский час хотя и не был еще отменен, но уже пешие казаки не приставали, дыша перегаром, к запозднившимся прохожим, преимущественно к молодым женщинам с требованием личного обыска, желательно в ближайшем подъезде... Правда, говорили, что однажды они на этом подзалетели, случайно прихватив последнюю жену вице-мэра, когда та, перебрав на презентации то ли фонда «Демократия за порядок», то ли «Порядок за демократию», стукнула мужа зонтиком по голове, выскочила из машины и, как лошадь в стойло, пошла привычным маршрутом в направлении гостиницы «Космос», не доходя до которой и была перехвачена пешими казаками, которые тоже двигались в том же направлении. Разразился колоссальный скандал. Казаков, естественно, выпороли, притом право первого удара передали последней жене вице-мэра, но нравы после этого смягчились, и если останавливали на улицах, то больше людей уж совсем подозрительных, типа меня в том последнем состоянии, в котором я нахожусь уже последние полгода, да и то на всякий случай спрашивая, не имею ли я родственников среди городских начальников. Хотя это я, пожалуй, загнул. Но тем не менее по вечерам на улицах стало не так опасно, что еще раз подтверждает старую истину, что даже от последней жены вице-мэра, при стечении соответствующих обстоятельств, может быть какая-то польза для человечества.

Да, была весна, вечер, уже переходящий в ночь, и тогда я это увидел впервые.

Накануне днем в длинной трубе под Манежной площадью, где еще недавно молодые, неизвестно откуда взявшиеся барды пели свои печальные songs, а теперь ежевечерне наяривал духовой оркестр Московского военного округа (и было больно смотреть на их мокрые от подземной духоты лица и злобно сжатые губы пожилого трубача, которому — сколько я ни проходил мимо — все время приходилось выводить одну и ту же мелодию — «Прощание славянки») — так вот, именно там я столкнулся лицом к лицу с женщиной, имя которой для моего повествования не имеет особенного значения.

Я-то узнал ее сразу, так как за те двенадцать лет, пока мы не виделись, она нисколько не изменилась, возможно, благодаря своей тонкой фигуре, острому (и сейчас, спустя двенадцать лет) подбородку и, главное, взгляду, обращенному в себя, внутрь, туда, куда я не смог проникнуть ни в ту первую ночь, которую мы провели вместе в воронежской гостинице, ни в пять последующих, когда она то собиралась навсегда уехать со мной в Москву, то бормотала во сне: «Мы никогда больше не увидимся»...

Но что я ее узнал — это, повторяю, было совсем неудивительно. Удивительно было то, что и она узнала меня, притом — издалека, когда между мной и ею было еще порядочное расстояние. И сквозь опостылые маршевые звуки, усталое дыхание прохожих, старавшихся не смотреть по сторонам, опасаясь наткнуться на подозрительный взгляд молодого казачьего есаула или еще хуже — на злобный оскал карликовой лошади, выведенной специально каким-то очередным мичуринцем для патрулирования подземных переходов и станций метро (до сих пор не могу понять, как их научили спускаться по эскалаторам! Но научили, чем окончательно испортили их характер, в отличие от моих любимцев — великорослых уличных гнедых), — сквозь все это тупое великолепие новых перемен я поймал ее ответный взгляд и прочитал в них не муку узнавания, а искреннюю, как мне показалось, радость нечаянной встречи с человеком, которого она уже отчаялась встретить.

Правда, после первых ненужных и бессмысленных слов, которыми все равно не передать, что с нами было и что случилось, выяснилось, что она на самом деле искала меня в Москве и уже отчаялась найти, так как по рабочему телефону ей что-то неразборчиво буркнули, а по домашнему, на поиск которого она потратила целую неделю,

злобно бросили, что такой-то здесь больше не живет. Но и искала она меня не просто так, чтобы вдруг, спустя двенадцать лет, под наплывом воспоминаний провести своей ладонью по моей щеке. Нет, она надеялась, что я ей помогу продвинуть очередь на телефонный разговор с Варшавой, так как сейчас она записана под номером 2354, а это — только лишь декабрь, а, может быть, даже и январь.

«Зачем тебе Варшава?» — спросил я ее. Она ответила, никак не заботясь о моей реакции: «Там Кшистоф...» Я удивился и спросил, неужели она не знает, что произошло, и со мной в том числе? Она удивилась: «А что произошло? Я знаю, что-то с телефоном, но и раньше так было, я же помню...»

Я ей тут же начал объяснять — но это когда мы уже поднялись на улицу Горького, миновали магазин «Подарки», по которому сновали фигуры иностранцев, которые после полугодового перерыва снова начали наводнять Москву, потом свернули в арку и оказались в пустынном дворе на скамейке. Да, я ей начал объяснять (сам удивляясь, что это приходится объяснять), что же произошло за последнее время, но по отсутствующему выражению ее лица понимал, что то ли я непонятно объясняю, то ли вообще непонятно, что же у нас произошло. Она только сказала: «Ты знаешь, я газет не читаю, телевизор сломался полгода назад, и нет денег починить, да и вообще замоталась...» — и потом, помолчав, добавила: «Значит, с Варшавой не сможешь помочь?» — И, почувствовав, наверное, обиду в моем молчании, ласково провела по моей ладони: «Бедненький, у тебя неприятности?...»

Но как бы там ни было, уже через час мы оказались у нее в номере — в когда-то новом корпусе гостиницы «Заря» (это, если помните, близко от ВДНХ, где, кстати, снова раздается горделивое мычание племенных быков и дети резвятся возле последних моделей ракетных истребителей).

Хотя то, что произошло между нами, ничуть не напоминало то, что было тогда, давно, когда, казалось, это мгновение неостанавливаемо и, если даже сейчас начнется война или землетрясение, ничто не разъединит нас и будет плавно качать время, как детей в колыбели: долго, долго, долго, долго — пока, наконец, кто-то другой, через сто, двести, триста лет окажется здесь, в тесном номере гостиницы в центре Воронежа, и так же, как и мы, будет жадно ловить дыхание друг друга...

Мы скорее напоминали мастеровых, мудрящих над сооружением пирамиды — усталых от жизни и делающих свою работу

только лишь потому, что надо куда-то девать отпущенное богом время. И я даже помню, пожалел о том, что по пути не захватил чего-нибудь выпить, так как ничто быстрее, чем стакан доброго старого «Агдама», не возвращает тебя к чарующим дням прошедшего, ставшего — в отличие от настоящего и будущего — частью мироздания.

Но потом, то ли потому, что уже давно я не спал с женщиной, то ли потому, что именно эта женщина, вернувшаяся ко мне через двенадцать лет в подземном переходе под Манежем, напомнила о времени более понятном и спокойном и о собственной жизни, куда более понятной и спокойной, я на мгновение почувствовал прилив такого счастья и восторга перед жизнью, что казалось — все красивые птицы, которые еще остались в этом городе, слетелись к нашему изголовью.

А потом я мгновенно провалился в сон. Мне показалось, что я спал вечность, и потому, проснувшись от каких-то мешающих сну звуков, сначала с ужасом взглянул на часы, так как нет ничего хуже, чем выйти из гостиницы, в которой ты не живешь, после одиннадцати — спокойно можешь провести остаток ночи в отделении милиции или, что еще хуже, в районной комендатуре под храп казаков и лошадиные стоны.

Но часы показывали всего лишь десять минут одиннадцатого. Шум же, который меня разбудил, доносился из гостиничного коридора.

— Грузины, — сквозь сон пробормотала женщина, голова которой покоилась на моем плече. — Прохода не дают... Всю гостиницу заполонили... Выйдешь — черным-черно...

Но коридорный шум был совершенно другого рода — в нем была какая-то законченность: голоса то поднимались, то вдруг смолкали, как подрезанные, и после хлопанья дверей снова шли вверх, чтобы потом вновь наступила мертвая тишина, длящаяся долгие, какие-то звенящие секунды. И самое главное — и сквозь хлопанье дверей, и сквозь голоса, и даже сквозь бросающие в холодную дрожь секунды тишины, — я слышал то, что уже ни с чем не мог перепутать: размеренный, спокойный, сопровождаемый мелодичным перезвоном шпор, звук шагов.

Я уже высунул ноги из-под одеяла и начал шарить в темноте, ища штаны, как дверь номера с шумом распахнулась (хотя, естественно, после того, как мы вошли в номер, я запер замок на два оборота и еще накиннул щеколду) и меня ослепил свет фонарика,

направленный прямо в лицо. Я инстинктивно поднес ладонь к глазам, а когда опустил, то уже смог различить в светлом дверном проеме две застывшие фигуры: немолодого человека с усталым, изможденным лицом, с погонами не то полковника, не то подполковника, и за его спиной — совсем еще мальчишку с большой челкой, выбивающейся из-под приплюснутой казачьей фуражки...

— Русские? — спросил полковник (или подполковник). — Россияне? — тут же поправил он сам себя, не отрывая фонарика от моего лица.

— Да, россияне, россияне, — глотая слюну, выдавил я из себя и просительно добавил: — Фонарем... В глаза... Не надо...

Мне показалось, что фонарик на моем лице задерживается целую вечность, и страх быть узнанным подступил прямо к горлу, но старший конный казак (судя по нагайке, переkreщенной с седлом на его петлице) равнодушно скользнул по моему лицу и перевел фонарик на женщину, забытое воспоминание о которой даже сейчас, когда я пишу эти строки, шевелит уже затухающее сердце.

— А ваша супруга? — спросил он.

Но не дав мне возможность что-то пробормотать в ответ, она вдруг выпрямилась на кровати так, что одеяло соскользнуло с ее плеч, и с вызовом, напугавшим меня, сказала, не жмурясь от направленного на нее света:

— Из Воронежа! Вы, надеюсь, знаете, где находится Воронеж?

Фонарик тут же погас, и на лице полковника (или подполковника) вдруг появилась мягкая, стеснительная улыбка. Он снял фуражку, тыльной стороной ладони вытер капли пота, выступившие на лбу, и, обернувшись к своему молодому напарнику, сказал: «Видишь, Павлушка, наши, воронежские. А им жить спокойно не дают». — И уже закрывая дверь, сказал, обращаясь в темноту, откуда сейчас слышалось только наше учащенное дыхание: «Извините за беспокойство... Если что, мы рядом... В Останкинской комендатуре. Телефон есть у дежурной».

Потом, уже одетые и снова отчужденные, мы стояли, прислонившись к оконному стеклу. А за окном, несмотря на поздний час, кипела жизнь, к которой я тогда только-только начинал привыкать.

Сквозь строй казаков — вперемежку конных с пешими — в обычные городские автобусы (даже номера почему-то запомнил: 120-й и 196-й) залезали, втаскивая сумки и чемоданы, мужчины: черноголовые, носатые, большинство — с усами, то закрученны-

ми лихо вверх, то нерешительно опущенными вниз, старые и молодые; гордые, нарядно одетые женщины, старухи, закутанные в длинные, тяжелые платки и беззвучно рыдающие дети.

— Куда их теперь? — спросила она, прикоснувшись к моей руке своей, теплой и влажной.

— Откуда я знаю, — ответил я, отдергивая руку.

— Не так уж они и шумели... — нерешительно сказала она. А потом мы расстались, чтобы, скорее всего, больше никогда не увидеться в жизни...

И тогда, когда я наблюдал за подобной сценой впервые из гостиницы «Заря», прижавшись щекой к холодному оконному стеклу, и несколько часов назад, в тот вечер, события которого я сейчас мучительно восстанавливаю в памяти, я пытался в себе самом возбудить такие же чувства, которые двигали моими соотечественниками, заставляя беззлобных, в принципе, людей верить в эти дурацкие басни правительства о «кавказо-азиатской» опасности и засос целовать потные казачьи лица. Ведь невозможно же за какой-то год — какой год, меньше! — одурманить целый город так, что даже ребятишки во дворах играли в «наших» и «черных»! Значит, все непросто, значит, что-то за всем этим есть — неразгаданное или непонятое мной. Но как ни старался, спасительная ясность не приходила, а, напротив, все больше и больше охватывало тупое отчаяние.

Я вспомнил, как там, возле Центрального рынка, в ответ на звонкий крик подростка: «Кацо, кушай говнецо», — не только раздался одобрителный рев толпы, так что даже гнедая дернулась, больно прижав меня к бульварной решетке, но и я сам выдавил на своем лице какое-то подобие улыбки.

И именно в ту секунду меня обжег взгляд проходящего сквозь лошадиный коридор смуглого, усатого человека в серой сванской шапке. В нем было столько холодного презрения, что я понял, если мы когда-нибудь вдруг столкнемся лицом к лицу на узкой тропинке между Гульрипшами и Агудзерой, он, не задумываясь, воткнет в мое горло длинный нож с бороздками для стека крови и, не оглядываясь, пойдет дальше. Не думая обо мне и не вспоминая меня, как он не вспоминает забитую им скотину.

«Брат, брат! — готов был вырваться крик из моего горла, которое уже обожгло прикосновение стального клинка. — Это улыбаюсь не я! Это улыбается страх, засевший в моем сердце! Это одиночество улыбается, отчаяние жизни, бессилие и темнота

впереди! Я такой же, как ты!.. Это и меня ведут там, с тобой! Это и на моей щеке отпечаток подковы казачьего сапога! Я такая жертва, как и ты, брат».

Когда это было, господи, когда?.. Сколько нам было лет, и мы ли это были?.. С асфальтовой Пицунды поднявшись в гору, мы оказались на извилистой улице абхазского села. «Скажите, где бы нам купить домашнего вина?» — спросил я старика, копавшего в огороде, где рядом с грядками, между деревьев блестели каменные могилы его родителей и где, когда придет и его срок, ляжет и он сам, оплакиваемый сыновьями и соседями. Старик выпрямился, подошел, открыл калитку и жестом позвал нас... Мы поднялись на веранду, и он, так же молча, показал на длинную скамейку, опоясывающую грубый деревянный стол. Потом ушел, оставив нас одних... Потом возвратился с большим кувшином и четырьмя стаканами. Ушел снова — принес сыр, помидоры, зелень... Сел с нами, разлил вино, первым поднял стакан. «Как тебя зовут?» — спросил он меня. Я ответил. «За тебя», — назвал он меня по имени. Потом мы пили за моего друга и за мою жену, за родителей, живых или уже ушедших из жизни, за детей, которые уже были, и тех, которые еще чувствовали проснувшееся в них дыхание... Пили за землю, за исковерканную асфальтом московскую землю и за влажную, покрытую травой и цветами землю, на которой живет он. За то, чтобы не было войны. Почему-то за Вьетнам (да, по-моему, именно в эти дни американцы первый раз бомбили Ханой). Еще раз за его здоровье и за здоровье каждого из нас, а потом за жизнь на земле и за счастье, за петушиный крик на рассвете, за дерево, ветви которого свешивались над нами, за его дом, за ночь, которая нас соединила. Черт знает за что только мы не пили, постигая еще неведомую нам науку тостов.

Сейчас я с трудом могу поверить, что это было: и Пицунда, и идущая вверх дорога, и этот дом, и тот старик. Вспомнив об этом, я сам себя с трудом убеждаю, что это была явь, а не сон, что это было со мной, с нами, а не с героями какой-нибудь забытой книжки, которую ты прочитал в юности.

Нет, не распахнет он больше калитку перед неизвестными. Да и я вряд ли переступлю порог незнакомого дома в кавказских предгорьях или азиатской пустыне, так как слишком велика вероятность получить пулю в висок или кинжал в сердце.

Вот уже то исчезает, то появляется в Москве, наводя страх на окраинные районы, конная банда тбилисского уголовника Тейму-

раза, называющего себя именем знаменитого грузинского актера Гоги Харабадзе. Редко, когда кончается добром встреча на вечерних улицах со смуглыми, с холодным отчаянием в глазах ребятами из отряда Давлата Бекназарова. И не дай Бог оказаться вечером в Измайловском парке казаку: подловит его Махмуд Гусейнов, предводитель неуловимой чеченской бригады, и кастрированного, с отрезанными ушами, воющего криком найдут потом казака в кустах возле метро «Кропоткинская», недалеко от главного штаба казачьего войска.

Месяца два назад прямо под бронированный «мерседес» нашего мэра, вообразившего себя новым генералом Ермоловым, кинули отрезанную голову знаменитого есаула Соколова-Соколенка. Но как бы ни расписывала его подвиги, как всегда с придыханием и витиевато, газета «Комсомольская Россия», сколько бы ни морочили голову школьникам, заставляя их заучивать его биографию, мне-то рассказывали, как насилывал он молодых девчонок в ингушских аулах, да и многие в Москве знают, что на самом-то деле фамилия его была Крысин и до того, как нацепить шпоры и залезть на коня, был он знаменитым люберецким рэкетиром, наводившим ужас на толкучку возле Рижского.

Но даже в оставшихся московских домах, где еще ставят пластинки Окуджавы, пьют коньяк, не допивая бутылку до доньшка, кормят, когда бы и каким бы ты ни заявился, бережно хранят комплекты «Знамени» и «Нового мира» и привычно смеются над очередными чудачествами наших властей, — даже там, в этом тихом городском мире, который, жив, живет, несмотря на революции, голод, стрельбу, аресты, изгнания, где ценятся слово и слова, где — и только там — можно сказать про мироздание, не опасаясь в ответ прочесть в глазах собеседника или холодное равнодушие, или пристальный взгляд врача на пациента. Так вот, даже там, в единственном, правда все уменьшающемся и уменьшающемся мире, когда начинаешь говорить об этих сумасшедших, втянувших Россию в очередную идиотскую войну, то тебя хотя и внимательно выслушают, но непременно вспомнят какую-нибудь очередную историю о том, как чеченцы перестреляли весь пост ГАИ на Каширке, или о том, как на Черемушкинском рынке какие-то не то узбеки, не то кулябские таджики забили ногами конкурента — астраханского дядьку, привезшего грузовик арбузов.

И если это здесь — на одиноких островках московской жизни, где свет старинной настольной лампы — единственный свет в

доме, падает по вечерам на тонкие, наполненные внутренним благородством лица и где только еще и можешь выхватить из сумерек малогабаритной квартиры и насладиться чьим-то лучистым взглядом, то что уж говорить о толпе, соединенной единым вождением чужой боли и чужого страдания?

Как жадно блестели глаза толпы там, у Центрального рынка! С каким животным предвкушением легкой добычи провожали этих бедолаг старики, мужчины, дети, старухи, женщины, девушки, девчонки и даже младенцы, по пояс высунувшиеся из колясок и пищащие им вслед что-то злое и противное...

И помню радостный фальцет этого всезнающего старичка с лицом мелкого стукачишки, который аж завизжал, когда из дверей рынка последними вывели трех якутов, похожих, как близнецы, своими лунообразными лицами:

«А тех, которые по национальности якуты, эвенки, чукчи, нанайцы, алеуты, ирокезы — так тех в Домодедово — и самолетами, самолетами. Чтобы не воняли здесь!».

Воздух вновь взорвался безумным воплем этой идиотской сирены, на ходу, картинно взмахнув фуражкой с приплюснутым верхом, в открытый «уазик» вскочил улыбающийся казачий полковник, и вслед за ним лошадиной колонной по четверо покидала Цветной бульвар казачья сотня особого назначения, предоставив своим вечно поддатым и неряшливым пешим собратьям заталкивать в автобусы на Самотеке (да, теперь я их обнаружил — эти обыкновенные городские автобусы, выстроившиеся в линейку под виадуком, и даже различил надписи на их ветровых стеклах: «Казанский», «Курский», «Домодедово», «Внуково») оставшихся — или, что я, правда, совсем не видел, — сопротивляющихся людей в кепках, козырьками закрывающих лица, цветастых халатах, шаяля, ниспадающих до земли. Словом, всех их.

Но не успел бульвар освободиться от гневных, весело несущихся к родному запаху конюшни и к щекочущему ноздри сену, как толпа ринулась к распахнутым дверям рынка, и я не успел увернуться от неожиданно острого локтя женщины, той самой. Она мчалась вперед, туда, готовая, казалось, взмыть над толпой и, как пушечный снаряд, пробить стекло второго этажа. Потирая ушибленный бок и проклиная себя за идиотскую непредусмотрительность (разве я уже не видел, что такое толпа в ее волнообразном движении? В ее железном единстве ненависти или радости? Что, в принципе, одно и то же, с тем только отличием, что в радо-

стной толпе могут отдавить ногу, в гневной — и заехать в глаз) — так вот, повторяю, потирая ушибленный бок, я медленно — не так, как делал это совсем еще недавно, в легком полете легкого для жизни тела, — перешагнул через бульварную решетку и еще увидел спину моего знакомого, чеховского облика интеллигента, оба кармана пиджака которого симметрично оттопыривались, и как он замер от обжигающего затылок взгляда.

Я нагнулся, будто поправляя развязавшийся шнурок, потом, из-под руки, осторожно повернул голову — и тут же увидел его. Он стоял по ту сторону бульварной ограды, небрежно положив на нее руку, и смотрел на меня взглядом, полным расчетливой холодной ненависти.

Я мог поклясться, что никогда в жизни раньше не видел ни этих широко оттопыренных ушей, ни этого тяжелого, с ямочкой, подбородка, ни низкого с залысинами лба, ни этих рук, наконец, покрытых густой черной шерстью! Точно так же (а это проверено уже не раз) и во мне невозможно было узнать меня таким, каким я был раньше: и дело даже не в этой безобразной бороде, так изменившей мое лицо! Нет, и все остальное было не мое, и случайно натываясь в зеркале на собственное отражение, я мельком видел кого-то, какого-то, некоего типа, даже тенью не напоминающего тень, которая когда-то принадлежала именно моему телу.

Но тем не менее этот остановивший меня взгляд был направлен не просто на человека, не понравившегося другому человеку формой своего носа, конфигурацией черепа, разрезом глаз, очками, шляпой, джинсами, зонтиком. Нет, эта обжигающая ненависть предназначалась мне, и только мне.

Помню, я почувствовал, как мгновенно испарина покрыла мои ладони и предательски потекло под мышками... Я с трудом заставил себя подняться и сделал первые несколько шагов. Остановился, глубоко вздохнул и, преодолевая в себе желание обернуться еще раз, зашагал по бульвару в сторону Трубной. Сначала медленно, еле переступая ногами, потом все быстрее и быстрее. Мимо, как из окна поезда, понеслись деревья, кусты, дети, собаки, машины, красные огни светофоров, витрины с бутафорскими окороками, пешие казаки, лапающие проститутку возле «Будапешта», громада Стройбанка на Пушкинской. Большой, Малый, «Метрополь», Колонный зал, мелкое копошение возле дверей в Музыкальный театр, глухой забор, станция метро, булочная, еще одна, подземный переход, какой-то серый длинно-нелепый дом, возле

которого я наконец-то остановился, не представляя, где я, зачем и что это за дом, и что меня принесло к нему.

Но где-то в глубине трепещущего сознания и этот дом, и арка, ведущая во двор, и скамейка во дворе, опоясанном глухой кирпичной стеной, — все это уже давно существовало, и, казалось, стоит мне приложить какое-то совсем легкое, как весенний ветерок, усилие, и я тут же все вспомню: и что это за дом, и почему я оказался возле него. Но я, уже стоя на пороге этого открытия и покрываясь краской от предчувствия того, что сейчас вытворит моя память, засунул руку в задний карман штанов, чтобы вытащить оттуда то, что поможет сейчас перевести дух и не вспоминать то, что вспоминать не следовало.

А вытащил я, как вы, наверное, догадались, плоскую металлическую фляжку, подаренную мне однажды моим другом Ларсом, когда мы точно такой же ночью шатались по ночному Копенгагену, ведя неторопливую беседу — между глотками из этой самой фляжки — о сопоставимости XX века с временем средневековья и о закономерных кругах в истории человечества. То есть черт знает о чем...

Во фляге, естественно, была водка.

И если первые глотки давались мне с трудом, так как я еще не мог унять незатихающую во мне дрожь и мне даже показалось, что стук моих зубов о края фляжки был настолько громким, что непременно будет услышан или какой-нибудь «пенсией» из добровольных помощников районной комендатуры или бдительным пацаном из отряда «Казачий орленок»...

Но кругом было тихо, пустынно, одиноко, и редкие окна, несмотря на еще не совсем поздний час, светили мне оттуда, пусть призрачной, но теплотой.

Пропела какая-то птица. Хотя не исключено, что за пение я принял бессонный крик вороны с Миусского парка.

Но тем не менее жизнь снова светлела.

А что, в принципе, произошло? — помню, задал я сам себе спасительно легкий вопрос. Ну, уставился какой-то идиот с не очень симпатичным лицом. Но и лица, в конце концов, не выбирают, да, может быть, и не на меня он уставился — и это все моя мнительность, выросшая неизвестно из чего? Может быть, эта бьющая из его глаз ненависть вообще была обращена и не на меня и на кого-то еще, а, напротив, на самого себя? Ведь что, не бывает так? Бывает, да еще как часто, когда ради того чтобы заглу-

шить неприятное тебе воспоминание, ты готов возненавидеть весь окружающий тебя мир, включая дома, осень, дождь, стуканье машинки за стеной, мычанье коров, лай собак, телефонный звонок на рассвете и, естественно, людей.

Так я утешал сам себя, глотая — уже медленно, задумчиво — теплую водку, зная и пытаясь не допустить в себя это знание, что ненависть в его глазах была обращена не к кому-то еще и уж, конечно же, не к самому себе, а только к одному человеку, подносящему сейчас флягу к губам в каменном мешке двора, воспоминание о котором, так же, как и о доме с гаснущими окнами, мешают восприятию мироздания именно как цельного здания мира, не разбитого на клетушки стран, городов, прошлого и настоящего.

Представление о мироздании тогда точно мелькнуло в моем сознании, а это означало, что забыть и что-то случившееся в нем, о чем мучительно пытаюсь вспомнить, уже откинувшись на продавленном кресле и положив голову на подоконник, за которым все еще пустынная ночная мгла, без рассветного проблеска на горизонте, — что все случилось (если случилось, конечно) куда позже, чем то мое сидение на скамейке.

Да, я даже вспомнил — опять обращаясь к этому нелепому своему страху, парализовавшему меня на Цветном бульваре, — как однажды года два назад: то есть уже давно, так же давно для меня сейчас, как освещенный луной остров, на который мы однажды отправились в детстве тайком от старших и как напугавший нас тогда в камышах шум (все, все это уже осталось в другом времени, и то, что было тридцать лет назад, и то, что два года назад), — случилось со мной одно происшествие, чем-то похожее на последнее. По крайней мере, тогда я впервые увидел человека, который смотрел на меня с ненавистью, которую и не собирался скрывать.

Была одна из бесчисленных для Москвы демонстраций, которые в 90-м и в 91-м придавали городу незабываемую карнавальность и вселяли надежду, может быть, не всегда обоснованную, что город, который отведен судьбой для жительства, является самым живым и динамичным среди других огромных мировых мегаполисов, уже уставших от удушливого благополучия и тишины, которая если и нарушалась, то событиями по сравнению с московскими куда менее масштабными: как театр с актерами нормального роста и театр, состоящий из лилипутов.

По крайней мере, не было у меня знакомых среди иностранных журналистов, которые бы не хотели в то время работать в Москве

или попасть сюда хотя бы на денек, пусть даже как тот малый, который однажды приземлился прямо у ворот Кремля, вынуждая гаишника, на изумленных глазах которого все это произошло, не только вспомнить весь запас непечатных слов, естественно, мало им употребляемых в повседневной жизни, но даже стукнуть крылатого посланца мира гаишной палкой, чтобы, как забредшую курицу, вернуть каким-нибудь соседям, на другой, контролируемый не им, а каким-нибудь другим гаишником участок.

Так вот, к той демонстрации.

Хотя Тверская возле Пушкинской и была перекрыта омонцовцами, хотя в районе Минского шоссе кто-то уже видел танки, хотя я и сам лично нечаянно подсмотрел у солдатика, когда он растегнул шинель, чтобы достать пачку «Дымка», вороненый ствол акэма, — но никто всерьез не думал, что омонцовцы начнут махать своими длинными дубинками, а танкам кто-то прикажет пальнуть по митингу на Маяковской. И потому атмосфера на самой Тверской — по ту сторону омонцовцев — скорее напоминала доброе старое первомайское гуляние. Народ прохаживался туда-сюда — от омонцовцев до митинга и от митинга до омонцовцев, искал знакомых, ругал тогдашнего президента, хвалил президента будущего, глазел на телевизионщиков, бегающих туда-сюда со своими камерами и заставляя особо нетерпеливых бросаться за ними в предвкушении каких-нибудь событий, и, наконец, цеплялся с разговорами и за автографами ко всяко мало-мальски известному из телевизора лицу.

Я сам тоже, естественно, встретив много знакомых, шел от омонцовцев к митингу, то есть по направлению к Маяковке, когда был атакован свирепого вида растрепанной теткой. «Это ты, ты во всем виноват! — кричала она, плюясь и заводя себя в крике, как истинная городская сумасшедшая. — Это ты со своими дружками заморочил всем голову!.. Ты, ты! Ты посмотри, что ты натворил! Я бы всю рожу твою поганую расцарапала, так я тебя ненавижу!..»

Я плохо понимал смысл того, что она кричала, но в глазах ее я читал такую ненависть, с какой, повторяю, еще не встречался в жизни. Ту тетку тут же оттеснили от меня сбежавшиеся на ее крик прохожие (вернее, не прохожие — какие же прохожие на подобных действиях! — те, кто вышел на улицу, чтобы защитить то, что мы все называли в то время демократией), совершенно незнакомые мне люди, лучась глазами, стали объяснять мне, что тетка эта наверняка сумасшедшая, а то и хуже — засланная из Кремля

провокаторша типа Каплан, кто-то восторженно закричал, что фашизм не пройдет, кому-то я даже дал автограф и кому-то записал свой номер телефона (надеясь в глубине души, что бумажку с телефоном тут же унесет ветер), чтобы обсудить вместе преимущество четырехпартийной системы над двухпартийной, но потом кто-то крикнул: «Гдлян! Гдлян!» — и толпа ринулась туда, как точно так же в ГУМе кидалась на крик: «Кроссовки! Кроссовки!».

Скорее всего — повернись события не так, как они повернулись, — этот эпизод навсегда бы исчез где-нибудь в самых темных закоулках памяти. Но здесь, на этой скамейке, доканчивая флягу — судя по редким булькам в ней, — я тут же все вспомнил, что еще раз доказывает, что память — это не тот инструмент, который слепо подчиняется воле человека, а напротив, сам человек является послушным инструментом памяти, который она использует, как ей заблагорассудится, что приближает память к тому непознанному летающему объекту, путешествующему из века в век, который я называю мирозданием.

Это, кстати, совсем не означало, что именно к этому мгновению вечера я уже выпал из города, исчез, улетел, ускакал, наконец, как мой любимый гнедой, чтобы очнуться лишь среди ночи в одежде, но с расшнурованными и снятыми ботинками. Нет, напротив, этот вечер еще для меня продолжался, как вполне реальные и осознанные действия, которые я совершал. И хотя некоторые, но вполне незначительные подробности его исчезли, то, значит, исчезли они по той единственной причине, что не представляли никакого интереса ни для кого, включая и меня самого.

Я хорошо помню, как, положив флягу обратно в задний карман, встал со скамейки, почему-то отряхнул брюки и не потому, что скамейка была грязной, а, видимо, вспомнив свою бывшую привязанность к аккуратности, прошел через арку, разделяющую двор и улицу, почему-то оглянулся назад — и не так, мельком, а долго и пристально, будто прощаясь с этим двором навеки.

А потом пошел, просто пошел — перейдя трамвайные пути, свернув в узкий переулок, заставленный троллейбусами, минуя сквер, тихий и сумрачный в этот час, и оказавшись, наконец, на Тверской, ближе к Маяковской, чем к Белорусской.

Как всегда, что-то мелькало передо мной, какие-то блики света и даже люди, которые казались мне знакомыми, хотя, скорее всего, это мне только казалось, так как, увидев парня с радиостанции «Свобода» недалеко от ресторана «София», как все-

гда с очередью у дверей, я знал, что этого не может быть, так как всех, кто работал на «Свободе», успели вывести в вечер накануне, когда все произошло.

Помню толпу у Дома кино, в котором — судя по огромной афише — проходила премьера фильма Говорухина «Россия, которую я, наконец, полюбил», и, судя по числу «мерседесов» с бронированными стеклами, «вольв» сопровождения и десятков двух конных казаков — все в погонах не ниже есаульских, на премьеру пришло всякое высокое начальство. Так оно и оказалось, по крайней мере, я успел заметить моржеобразную фигуру мэра, поднимавшего на руки пацана в казачьей фуражке.

Вдруг, не помню когда, на какой улице, меня пронзил до костей зимний ветер, невысказанный, естественно, в эту августовскую жару.

Возможно, этот холод испускали сами улицы, уже ставшие привычно пустынными с редкими островками валютных ресторанов и тех, закрытых, называемых теперь «клубами» и «собраниями», допуск в которые был резко ограничен; возможно, холод шел от самих прохожих, которые шли торопливо, сгорбившись, стараясь не смотреть по сторонам, опасаясь, естественно, наткнуться на пристально изучающий взгляд казачьего патруля. А возможно, неестественную зимность городу придавали сами гнедые, испускающие пар при дыхании — понятно, не потому что было холодно, а, скорее всего, из-за заложенного в них природой ума, который не позволял им признать естественным собственное присутствие на городском асфальте.

Но, скорее всего, этот холод меня пронизывал изнутри. И хотя я знал, что это состояние уже не излечимо, но все равно меня манил какой-нибудь огонь, свет в окошке, нежное прикосновение женских рук, понимающая улыбка друга.

Поравнявшись с Центральным телеграфом, я уже решил зайти, встать в очередь к кабине междугородного телефона, набрать ее воронежский номер, который, как специально, вспыхнул в памяти, но на ступенях я остановился: а что я ей скажу? о чем? и что я ей отвечу на вопрос, который она мне неминуемо задаст по поводу продвижения ее очереди на разговор с Варшавой, хотя и почувствовавшая мою сегодняшнюю беспомощность, но еще надеющаяся на чудо.

Конечно, можно было бы пересечь улицу и через минуту оказаться в доме друга, такого же бедолаги, как и я сегодня, вышиб-

ленного с радио месяца три назад и теперь безуспешно таскающегося по городу в поисках работы, сидеть, ударяясь в воспоминания, так, что вдруг комок застрянет в горле, материться и, как о совершенно несбыточном, — мечтать о самогонном аппарате.

Но я уже там был позавчера и вчера, и в пятницу...

Да, я все-таки остановился в нерешительности, раздумывая, пересечь ли улицу Горького, но потом с излишней торопливостью повернул в противоположную сторону, темным двором композиторского дома вышел на улицу Неждановой.

Возле церкви — вы помните ее, конечно, — неистово бил полклоны казачий майор. Рядом придерживал двух гнедых молодой казак с погонями без просветов. В темноте и привычной пустоте улицы мои шаги раздались, наверное, слишком гулко, потому что чуткие лошадиные уши услышали их еще издалека, еще во дворе, и гнедые тревожно заржали. «Стоять!» — услышал я злой окрик молодого казака, то ли лошадям, то ли — и это скорее всего — мне. И я привычно остановился и стоял, пока молодой казак, одной рукой придерживая поводья, другой делал мне предостерегающий знак.

Я стоял, а майор — с маленьким туловищем, коротконогий, весь какой-то округленный, кланялся церковным дверям, что-то бормоча себе под нос. Голос его то уходил вверх, то падал вниз, и, прислушавшись, я понял, что бормочет он что-то рифмованное. Явственно послышалось слово «олень», потом что-то неразборчивое и слово «сирень», «власть» — «сласть», «родина» — «смородина»...

Наконец, он откланялся, обернулся — и я с удивлением узнал Женьку Бубликова, пьяницу и забулдыгу, который еще в дни моей юности печатал на первой полосе газеты «датские» стихи — то к майским, то к ноябрьским, то к женскому, то артиллеристам, которые он создавал с какой-то невероятной скоростью, между первой и второй рюмками, потому что уже после третьей он обычно начинал жалостливо петь про «он упал возле ног молодого коня», а после четвертой — заваливался спать на ободранном редакционном диванчике.

Судя по его нетвердой походке он уже был между третьей и четвертой... Я уже было шагнул по направлению к нему, так как малым, как его помню, он был беззлобным (да и, если честно, когда еще представится случай выпить с казачьим майором), но молодой казак сделал мне предостерегающий знак и потом обхватил на глазах обмякшее туловище своего майора (нет, все-таки, после

четвертой!), приподнял над землей и бережно положил Женьку на лошадиный круп, как когда-то кто-нибудь из нас, тогда еще молодых журналистов, укладывал его на редакционный диван.

Да, это я помню — и помню, как потом замелькали какие-то маленькие переулки, дворы, подъезды, что было темным-темно, а потом свет разлился над улицей, и я понял, что почему-то свернул на Новый Арбат, хотя, возможно, его уже как-нибудь переименовали.

Не доходя до кинотеатра «Август», который своей неуклюжей громадой портит и без того уродливый вид бывшего Калининского, который еще во времена моего детства остряки прозвали «вставной челюстью Москвы», я вдруг увидел хиппи.

«Хиппи! На самом деле хиппи! Если на улицах появляются хиппи, как первые цветы на оттаявшем от снега замусоренном газоне, то, значит, жизнь еще не остановилась! Кто-то еще вырастает с сердцем, которое бьется не в такт опостылевшим позывным информационной программы «Наше время»! Кто-то еще верит в цветы, любовь, бескорыстие, верность!» — помню что-то такое юношески красивое промелькнуло в моем, уже изрядно замутненном сознании, когда сначала я заметил их двоих: их веревки, брелочки, дырки на штанах, патлы, холщовые мешочки за плечами — и только по выпуклостям на груди у одного (то есть одной) различие по полам.

Да, повторяю, само возобновление их существования в центре Москвы настолько поразило меня, что уже только потом я обратил внимание на их какие-то странные, неестественные движения: они и не стояли, и не сидели, и не шагали — они летали.

Да, летали, как низкопарящие голуби, то касаясь земли, то отрываясь от нее, то прикасаясь носами к асфальту, то, напротив, высоко задирая головы к небу.

Вначале я объяснил странность их передвижений особенностями своего собственного состояния и даже, как делаю обычно в подобных случаях, сильно, до боли в висках, встряхнул головой. Но потом я заметил не только уже начинавшую лиловеть ссадину на щеке у него и измазанный в асфальтовой пыли ее локоть, но и тех, кто заставлял их почувствовать состояние птицы, пронесшейся над асфальтом: шестеро или семеро рослых парней — все, как один, коротко стриженные — и, по крайней мере, двое, стоявшие от меня ближе, со значками, которые изображали вице-президента на белом коне, швыряли невесомые хиппьи тела,

то есть делали то, что мой армейский сержант Ваня Глыбов образно называл «сооружу тебе, бля, пятый угол».

Я вдруг понял, что это моих беззащитных детей заставляют летать над остывающим к ночи грязным арбатским асфальтом. Это их, только увидевших свет, поворачивают лицом в тьму. Это над ними, как над бессловесными и беспомощными тварями в виварии, устраивают жестокие эксперименты, чтобы заставить забыть, даже той, дальней, упрятанной памятью, что Мироздание не строится — оно ткется! — из слов любви, из солнечных лучей на рассвете, из улыбки, обращенной к тебе, из надежды, не исчезающей во времени. В общем, черт знает о чем я тогда подумал.

И — рванулся...

Вернее, шатнулся и, шатнувшись, пытался поймать хотя бы один сочувствующий и переживающий взгляд, чтобы, по крайней мере, нас стало двое. Но редкие прохожие шли, не останавливались, а кто и останавливался, то смотрел на происходящее взглядом тупым и бессловесным, как смотрят даже любимые домашние животные: кошки, собаки или хомяки — на семейную драму, если, конечно, она не сопровождается мордобоем.

И вдруг, сквозь привычный шум Нового Арбата: визг тормозов, цокот лошадей, свистки гаишников, плавную мелодию «Амурских волн», доносящуюся из «Метелицы», — я услышал то, что ни с чем не мог перепутать — слова, выкрикиваемые на иностранном языке.

— I am... american... citizen... I am... american... citizen... -сверху, с высоты низкого голубиного полета, звучал юношеский голос.

— Please... coll... to the America... ambassador... — снизу, с открытого пылью асфальта, доносился женский голос.

— Это не наши... Это — американцы... — бросился я к молодому есаулу, который с ленивым любопытством много чего повидавшего человека смотрел на порхающие тела иноземных хиппи. Но есаул с высоты своего гнедого только бросил на меня небрежный взгляд.

— Они, — для наглядности протянул я палец туда, в темноту — не наши! — указал я пальцем на самого себя, разговаривая с ним так, как, наверное, говорят с тихопомешанными. — Международный скандал!.. Посла просят!..

— По-осла? — лениво протянул есаул. — Да посол еще нам деньги заплатит за то, что наши парни их говно воспитывают... Там, что ли, такие нужны? Да никому они не нужны. Только воздух портят...

И я вдруг с неизвестно откуда взявшимися начальственными интонациями в голосе (да, да, да, да! в моем голосе даже появился звук металла! Честно, металла!) заорал так, что даже в глазах гнедого мелькнуло озорное любопытство:

— Ты что, соображаешь? Да они за одного американца готовы войну объявить! Ты что, хочешь, чтобы они в наше Черное море — наше! подумай своей тупой башкой! — ввели весь шестой американский флот!? А ты представляешь, где окажешься сам после этого, дурья твоя голова? — сказал я уже тише и сам не знаю почему — так уж получилось — перейдя на шепот: — На Казанском вокзале, проституток из сортиров гонять...

На простоватом, естественно, чуть опухшем лице есаула, проступали все его немудреные мысли: недоверие, страх, горячее желание полоснуть по моему лицу нагайкой или — изобразить на своем лице заискивающую, виноватую улыбку.

Но, видно, привычка русского человека подчиняться начальственному окрику, вошедшая в кровь еще со времен опричников и почтмейстеров, оказалась сильнее (а может быть, он принял меня за странного инспектора из главного казачьего штаба?), что, громко гаркнув: «А ну, не балуй там!» — есаул двинул своего гнедого на тротуар...

Помню, потом, свернув от «Августа» (бывш. «Октября») на узкую улицу Писемского, я долго не мог унять дрожь в коленях и, зайдя в телефонную будку, стоял, уткнувшись головой в холодную коробку телефона.

Мне вдруг показалось, что мое ухо прикикло к какому-то странному миру, полному разноязычных голосов, почему-то только женских. Голоса наплывали на меня сквозь карнавальный шум какого-то праздника и сквозь ураган, ломающий вековые деревья, сквозь вековые деревья, сквозь прозрачную тишину ночи в пустыне и ласковый шум прибоя. Вдруг кто-то прошептал мое имя, но звук имени превратился в крик совы, потом я явственно различил чей-то ласковый голос: «При-хо-о-ди...», но и это слово становилось пароходным гудком, исчезающим за дальним речным поворотом.

Я вышел, глубоко втянул в себя воздух, в котором даже сейчас, когда до полуночи оставался всего лишь час, еще не пропали тяжелые бензиновые пары.

Господи, какую чушь я нес ему! Какое посольство, какие американцы, какой шестой флот!

Когда все случилось, некоторые рванули к зданию американского посольства на улице Чайковского, их там вежливо встретили и ровно через десять минут так же вежливо передали в руки подоспевшего казачьего патруля. Точно так же выдавали в посольствах Англии, Франции, Италии, Бельгии, Голландии и Люксембурга; в посольствах — канадском, индонезийском, аргентинском и бразильском, шведы, финны и немцы, парагвайцы и уругвайцы, естественно, китайцы и вечно зеленые ливийские джамахирийцы.

Только лишь мужественные литовцы осмеливались принимать у себя беглецов, рискуя на улице нарваться на кастет подозрительно пьяного хулигана с военной выправкой и пышным чубом. Потому-то напротив дверей их посольства стояли не только милиция и пешие казаки, но и постоянно дежурил конный казачий пост, а в последнее время — и два бэтэра, с пулеметами, нацеленными прямо на кабинет посла.

Я вспомнил, как, пройдя несколько шагов по улице Писемского, услышал глухое ржанье и, убыстря шаг, прошел мимо казаков, подозрительно уставившихся мне вслед, осторожно обошел бэтэр, из открытого люка которого явственно слышалось тяжелое сопение и женские стоны, и, уже миновав здание посольства, на ходу обернулся: там на втором этаже горел свет...

Не проходило дня, чтобы газеты не публиковали фотографии беглецов, убитых при переходе границы. Еженедельно цитировались заявления разных *foreign ministries*, в которых в спокойных, но твердых выражениях разъяснялось, что российские беглецы не могут получить статус беженца, поскольку (и эта фраза ежедневно тиражировалась газетами и телевидением) «в России не усматривается нарушение прав человека». И даже внеочередное присвоение звания генерал-полковника — прямо с полковника, вы когда-нибудь такое видели? — начальнику главной казачьей пограничной стражи указывало на бесполезность попыток перейти границу: отсюда — туда.

Но что бы ни нес по телевизору этот новоиспеченный казачий генерал — бывший не то секретарь тамбовского обкома по идеологии, не то начальник политотдела авиакорпуса: запугивая то какими-то роботами «Джультарс», в секунду отрывающими ступню у злодея (хотя очень подозреваю, что это обыкновенный волчий капкан), то радарными, приводящими нарушителя не только к мгновенному облысению, но еще и клеймящими голый череп почему-то словом «козел», то, наконец, специально для этих целей

выведенной в закрытом городе Арзамас-2 пилой-рыбой, рыскающей в нейтральных водах в поисках надувного матраса отечественного производства (финал, надеюсь, понятен), — но все равно молва ежедневно разносила по Москве все новые и новые истории удачных побегов, хотя бывало очень трудно различить правду от вымысла.

Так, допустим, я не очень-то поверил истории инженера с Тульского спиртозавода, по-моему, его фамилия была Филонов, который вывез себя в Финляндию в цистерне со спиртом. Не потому, естественно, я сомневаюсь в возможности существования человека в спирте, нет. Скорее всего, он просто пожертвовал полцистерны тем же пограничным казакам и, возможно, их лошадям, что те не только сами довели его до заветной дырки в колючке, но еще успели выпить и на посошок. Хотя, с другой стороны, нисколько не сомневаюсь в возможности перелететь в Польшу на бензопиле, как это случилось с одним малым из Брянска (просто всем, надеюсь, известен случай, как точно так же «сделал ноги» из лагеря один сталинский зек, после чего, кстати, изобретателю отечественной бензопилы впаяли десять лет без права переписки).

Но как бы там ни было, иногда в сумрачной ночной тишине, сидя вот так же перед подоконником и, честно, не очень желая, чтобы скорее наступало утро, я даже и не пытаюсь примерить к себе самому ни один из этих вариантов, хотя, возможно, путешествие в бочке со спиртом (царь Гвидон нашелся!) не очень бы повредило моему самочувствию.

Как-то недавно, встретившись с моим другом из литовского посольства... О, эта была целая история! Как при детской игре в шпионы, мы долго ждали дня, когда пойдет — знаете ли — такой бесконечный ливень, когда ты ходишь по Москве, будто от одной стены к другой. И когда наконец-то этот ливень настал, я, добежав до телефона-автомата, — и даже не до ближайшего, а через два квартала! — набрал его номер и, как мы уславливались ранее, спросил: «Вы купите Полное собрание сочинений товарища Сталина?», — на что мой друг — так мы тоже условились — произнес длинное русское ругательство, тщательно переведенное им на литовский язык, в котором единственным понятным словом была цифра «5», произнесенная им ни к селу ни к городу между одной идиомой и другой.

И вот тогда-то, встретившись ровно в пять у булочной возле Новослободской, а потом дворами перейдя на площадь Маяков-

ского (представляете, в каком виде мы появились в квартире одной его знакомой? Нас не то что выжимать — нас можно было пить!), мы сидели, обсыхая, возле газовой плиты и говорили, не забывая о том, что кто-то нас услышит, тем более телефон у его знакомой был выключен за неуплату еще полгода назад, а высиживать сутками в районной комендатуре, чтобы выклянчить справку, что ты не будешь пользоваться телефоном в антигосударственных целях — ей не захотелось. Кстати, замечательная девчонка. Она как-то сказала: «Сижу дома, никому не открываю, телефона нет. Пошли они все к черту со своими казахами. Мне и одного хватило», — хотя ей не раз пытались объяснить, чем «казаки» отличаются от «казахов», в том числе и мы, но делать это было совершенно бесполезно, так как ее муж, не то первый, не то третий, действительно был казахом, самым настоящим, сыном не то премьера, не то внуком директора комиссионного в центре Алма-Аты.

Да, и вот так сидя возле четырех зажженных конфорок и испуская легкий пар, в который превращался этот долгожданный нами московский ливень, он, когда в очередной раз я ответил: «Да ну их!» — на его очередное предложение воспользоваться окном на границе (обычно литовские контрабандисты используют его для провоза в Россию финского пива, шведских колготок и норвежских утюгов), вдруг спросил меня: «А от чего ты не уезжаешь?» — то ли специально, то ли случайно, из-за незнакомых ему тонкостей русского языка разделив «от» и «чего»...

А правда, задумываюсь я время от времени, от чего я не уезжаю? Что же здесь осталось такого, в этом сломанном и разрушенном городе, в бездомье и одиночестве жизни — что мешает нацепить кабаньи копыта и под покровом темноты убраться к чертям собачьим из страны, которая отобрала настоящее и лишила будущего?

Я не могу ответить себе на этот вопрос, потому что знаю, каким бы ни был этот ответ — он все равно будет неправильным. Так как правда запрятана там, куда ты никогда не осмелишься спуститься, страшась мгновенно сгореть, как сгорают мотыльки, наткнувшись на висящую на веранде лампочку без абажура.

Хотя, естественно, иногда я подхожу к самому краю, и даже не подхожу, а подползаю, как в юности подползал к краю пропасти на Кара-Даге, медленно, цепляясь рукой за продолговатые камни, страшась высоты и страстно желая почувствовать ее величие. Но перед тем как заглянуть вниз, я крепко, до боли в вис-

ках, замуриваю глаза, и тогда передо мной вспыхивает город, вернее, центральная его часть с зеленым кольцом, с асфальтовым кольцом, с кривыми переулками и тупиками, с прудом, окруженным деревьями, с какой-то одинокой скамейкой, с домом, который насквозь пересечен извилистыми подворотнями, с лестницей, спускающейся к реке, с самой рекой, на которой, медленно раскачиваясь, притягивает своими зовущими иллюминаторами плавучий ресторан.

И в такие мгновения, возможно, я ближе всего подхожу к ответу на это «от чего».

От «чего» — это от касания к вещественным признакам (призракам? — тихо, не шути!) мироздания: к скамейке, к лестнице, к дереву на Чистопрудном, к дверному звонку, к тамбуру электрички, уходящей с Киевского, к ручке двери парикмахерской на Лесной... Возможно, имея я в запасе столько же лет, сколько уже было, я бы и сказал сам себе: а чем, черт возьми, переход границы на кабаньих копытах в обмен на поставку для оставляемой тобой родины колготок и утюгов хуже, чем, допустим, новое существование на этой парижской горе, где точно так же можно зафиксировать — будто приложив палец к подушечке с черной полицейской краской — новое прошлое, переходящее в настоящее? Но я понимаю, что для этого необходима совсем малость — еще одна жизнь. Фрагменты города, одушевленные тобой, не могут стать живыми в течение мгновенья — они могут, как восковые фигуры, только лишь иметь очертания живого: для жизни необходимо время!

Потому-то, наверное, так много и подолгу, особенно, когда сумерки начинают уже обволакивать город, я хожу там, где что-то когда-то было, где бульвары, скамейки, лестницы, подъезды, кнопки дверных звонков имеют свою душу, и потому ставшими чем-то вроде родственников человеку, то есть мне.

Хожу, хожу, хожу — много, как, наверное, никогда ранее... Хотя что еще остается делать сегодня, когда если я и нужен кому-то — то казаку, которому что-то не понравится в моем лице, походе, цвете волос или брошенном на него нечаянным взгляде.

Да, ну что же там такое было с казаком этой ночью — и что-то важное, не простое, что никак не всплывает в сознании?..

Я помню, как, миновав литовское посольство, оказался на улице Воровского, узким переулком перешел на улицу Герцена, и снова переулок — и снова улица... Еще остановился там, наблюдая, как из стеклянных дверей радиокомитета в полном своем со-

ставе выходил ансамбль песни и пляски российской армии, заполнив в ожидании автобусов всю улицу, и толстомордый барабанщик, поймав устремленный на него мой взгляд, покрутил пальцем у виска.

Естественно, вышел на Патриаршьи. Там было пустынно, безлюдно и лишь на одной скамейке лежало живое существо — собака неопределенной породы, которая при моем появлении подняла голову, мельком взглянула на меня и без интереса отвернулась.

Потом пошли переулки, улицы, переходы — подземные и такие, перед которыми даже ночью я останавливался, терпеливо дожидаясь зеленого света на светофоре на пустынной, без машин, улице. Смертельно хотелось, как понимаете, выпить, и, как это случалось у меня постоянно в последнее время, я последними словами ругал себя за то, что опять смертельно хочется выпить, но еще больше — за то, что так стремительно опорожнил фляжку в том дворе, окруженном глухой, кирпичной стеной.

И, наверное, потому, оказавшись на Кутузовском — там, где кафе «Хрустальное», в котором когда-то собирались юные ленновцы, а потом ушлый итальянец Фима Кац открыл валютную пиццерию, — я подумал, а почему бы не зайти к Васечке, тем более что в его окне горел свет.

Васечка (я не знаю никакого другого человека на всех пяти континентах, где мне удалось побывать, чтобы человек, представляясь, называл себя ласкательным именем) — это особая история. Много лет назад — хотя что значит много, когда всего лишь год назад я еще свободно мог пройти через шереметьевскую таможню — мне позвонил малый (потом-то я узнал, где он раздобыл номер моего домашнего телефона) и сказал, что ему очень нравится то, что я делаю. В те годы мы все (имею в виду нашу команду, которая сегодня не то что рассыпана — расшвырена по миру) были знамениты, удачливы и легки на людей, которые прибывали к нам. Так прибился и он, просиживая вечерами с нами, переводя свой ласковый взгляд с одного лица на другое. Я уже настолько привык к его присутствию в нашей жизни, что часто, возвращаясь вечером домой, удивлялся, когда не обнаруживал его.

Да, мы все, наверно, радовались, что к нам прибился малый, чем-то напоминающий нас в юности. И он сам так часто повторял нам всем — и каждому в отдельности, — насколько он благодарен судьбе, что она свела его с нами, что каждый как мог старался ему помочь.

Сейчас даже не вспомню, когда впервые в его присутствии стало охватывать чувство тревоги. По крайней мере, первыми, отметившими, что что-то не то в этом парне, были мои друзья. Слишком уж он льстил каждому из нас, слишком преданно заглядывал в глаза, слишком быстро — и не скрывая этого — хотел использовать каждого для достижения каких-то своих неведомых нам целей. Помню, как один мой друг, сам удивляясь собственному открытию, рассказал, как Васечка в течение одного вечера (я уже позабыл, по какому поводу мы тогда собрались, — но помню, что была какая-то огромная компания) перебывал поляком, евреем, финном и украинцем (возможно, и сенегальцем, он точно не помнит). «Нет, — говорил мне мой друг. — По сравнению с этим Васечкой бляды из «Националя» — непорочные девы. Слышу, как он сидит перед Ленькой Коганом и говорит, что лучшая нация — это евреи, и в нем самом половина еврейской крови. Проходит минут двадцать — слышу, как он Веньке Оболенскому рассказывает, что его дедушка был польским дворянином и что если бы не евреи, то развитие России пошло бы совершенно по другому пути. Мне уже это стало интересно. Вижу, пристроился он к Ханно — тот, правда, уже совсем был датым, и начинает ему объяснять, что так как его бабушка была финкой, то он с детства любит финнов и был бы счастлив, если бы Ханно пригласил его в Хельсинки...»

Тогда, правда, мы не придали особенного значения этому эпизоду и даже, скорее всего, списали это на свойственное в юности желание понравиться всем и каждому. Но дальше пошли истории куда более серьезные.

Жена (да, я был тогда женат и даже временами счастлив) однажды застала его копающимся в моих бумагах, что ее, естественно, удивило. Помню, она сказала мне: «Ты знаешь, мне кажется, этого Васечку надо из дома гнать...». Я начал с ней горячо спорить и даже, кажется, убедил, что копание в бумагах было делом совершенно случайным и, может быть, он вовсе и не копался, а это ей, в вечной подозрительности, показалось, что будто он копается в них, да и тем более какой смысл было ему искать что-то в моих бумагах, когда и так, повторяю, он торчал у нас дома, часто оставаясь ночевать?

Но потом все чаще и чаще его поступки вызывали не столько у меня, но скорее у моих друзей (я-то разглядел его куда позже) настолько сильное чувство неприятия, что однажды, когда мы сидели с ним вдвоем, — а он еще продолжал бывать у нас в доме, несмот-

ря на то, что жена уже молча открывала ему дверь и так же молча уходила в другую комнату, — я спросил его, что, возможно, за ним скрывается какая-то тайна, которая заставляет его совершать странные поступки, а какие именно, я и сам не мог объяснить. «Что ты, — сказал он горячо и посмотрел преданным взглядом, — я хочу, чтобы ты знал, как я тебе благодарен за то, что ты свел меня со своими друзьями...». Дальше случилась одна загадочная история. Разговор, о котором никто не мог знать, кроме тех, кто при нем присутствовал (а тогда он казался очень важным, так как речь шла об одной политической акции, сейчас я понимаю, совершенно бесполезной), стал на следующее же утро известен спикеру парламента, и разразился грандиозный скандал. «Послушай, — сказал мне мой друг, — не нравится мне этот Васечка. У него кошачья походка, а в глазах такое, что кажется, что он только что спер бутылку в универсаме». «Да ладно, — помню, я начал с ним спорить. — Не похож он на стукача. Что, мы их с тобой не знаем?» Доказать мы, естественно, ничего не могли, да и не хотели ничего доказывать, но тем не менее не так, как раньше, открывали перед ним двери. Он еще пытался звонить, приходить, но все мои друзья, с которыми он успел познакомиться, лишь вежливо бросали: «Извини, занят»...

Мы долго не виделись и случайно столкнулись в Париже нос к носу.

Он изменился, то есть выглядел не таким жалким, как раньше, удивил меня тем, что тут же, пригласив в кафе (а столкнулись мы с ним в Латинском квартале, знаете, там, где есть такое маленькое кафе со столиками на улице возле антикварной лавки), сказал, что платит он, что, согласитесь, странно для российского человека за границей. Он горячо, с какой-то даже слезной поволокой в глазах, начал жаловаться на свое одиночество и говорить, как он жалеет, что пришлось расстаться с нами и что прежде всего винит в этом только себя самого («все мой эгоизм, мой идиотский эгоизм...») — твердил он мне), и потом, помню, сказал: «Только не верь, если кто-нибудь тебе что-то скажет про меня... Я никогда не предавал никого». Тогда я не понял, о чем он, и, напротив, старался убедить его, что ничего не произошло и мой дом, и дома моих друзей всегда открыты для него, и помню, как он смотрел на меня повлажневшими глазами...

Потом мы не виделись довольно долго, хотя я получил от него несколько писем из Парижа (а он как-то устроился на какие-то курсы при Сорбонне), в которых жаловался на скуку жизни, оди-

ночество, непонимание окружающих и писал, как ему хочется вернуться домой.

Последний раз мы встретились в Москве. Да, это был август, тот самый... Тот самый день, 22-го. Я пришел домой очень поздно и, выйдя из лифта, наткнулся на жалобно сжатую фигуру Васечки, примостившуюся на лестничной ступени. «Васечка? Откуда ты взялся? Что с тобой?» — я помню, присел возле него на корточки, потому что его трясло от рыданий.

По-моему, он уже сильно выпил (хотя, как помню, уж что-что, а пьянства за ним не наблюдалось), но это был не тот пьяный плач, когда вдруг кажется, что вся жизнь твоя разрушена и даже в дальней дали не мелькнет спасительный парус. Нет, это был плач раздавленного горем человека. Что я только не перенес в эту ночь! Дважды он пытался залезть на подоконник и выброситься с моего четвертого этажа! Когда мне уже казалось, что он уснул, он вдруг вскакивал и начинал носиться по комнате! Никогда раньше я не видел, чтобы в здоровом мужике было столько слез!

В общем, в ту ночь он рассказал мне про себя все, и, помню, я еще сам потом долго не мог уснуть, размышляя, что же может вытворить жизнь с человеком. И честно скажу, ничего кроме жалости в тот момент я к нему не испытывал, тогда еще, естественно, не предполагая — даже в самых смелых фантазиях, что пройдет какой-то год, и я сам, бездомный и безработный, в мятых брюках и чудовищных армейских ботинках, в уродующей лицо бороде, буду шататься по городу, мечтая хоть об одном человеке, который мог бы ласково провести ладонью по затылку, а еще больше мечтая о глотке старого доброго портвейна.

Да, так вот, обнаружив себя возле дома, где жил Васечка, я подумал, а почему бы не подняться к нему, так как хотя бы из чувства благодарности за ту ночь, сможет он налить чего-нибудь старшему и чуть подбитому жизнью товарищу?

Вспомнил, что, кажется, его квартира была на шестом этаже, справа от лифта. Остановился возле двери, прислушался, и мне показалось за дверью чье-то напряженное дыхание, но, возможно, это было мое собственное дыхание. Нажал кнопку звонка.

Дверь открылась удивительно быстро, как будто он ждал, что позвонят в дверь.

Секунду он смотрел на меня напряженно, потом удивленно спросил: «Это ты?».

Он изменился за то время, пока мы не виделись, но в отличие от меня, задетого временем так, что, казалось, уже никому, а себе и подавно, не узнать в этом помятом типе меня, каким он был совсем недавно, время будто вычистило его, он стал румян, свеж и загорел настолько, насколько сейчас можно лишь загореть где-нибудь в Сочи, даже долететь до которого никаких денег не хватит, по крайней мере — мне.

Он не огорчился моему приходу, отступил в сторону, дав мне возможность пройти, хотя и не обрадовался (да и чему, в принципе, радоваться? Кто я сейчас для него?). Я пробормотал что-то насчет того, что шел мимо, что не хотел тревожить его, но увидел свет в окне. «Понимаю... — сказал он и, чуть помявшись, добавил, будто выудив фразу из давно прочитанной книжки: — Какие дела между товарищами...»

Уютно светила лампа (черт, раньше у меня была точно такая же — удивился я), кресло стояло посредине комнаты (тоже точь-в-точь, как у меня!), гравюра: старинная улица в каком-то немецком городке — страшно напоминала ту, которая висела у меня на стене.

— Наступило твоё время, — почему-то сказал я.

— Я никогда не забуду, что ты для меня сделал, — очень серьезно произнес он, но тоже, будто вычитав фразу в юношеской книжке.

— Ну и отлично, — бросил я. — Надо поэтому чего-нибудь выпить...

— Ты думаешь? — он внимательно посмотрел на меня. — Может, не надо? Мне сказали, что ты стал много пить...

— Кто сказал? — искренне удивился я, так как вот уж не думал, что кому-нибудь интересно, что со мной происходит.

— Люди... — неопределенно ответил он. Я уже начал злиться на этот идиотский визит, который мне вздумалось совершить, но он торопливо сказал: — Нет, если ты хочешь... Я ничего... У меня есть... Я просто так... Я подумал, что тебе...

И распахнул дверцы бара.

— Ничего себе, — помню, даже присвистнул я от удивления, рассматривая давно невиданное бутылочное изобилие: виски Gohnie Walter, и Glenlivet, и Civas Royal и давно мною забытые Glenfiddich; коньяки Remy Martin, Hennessy, Martell, Courvoisier, а также армянский, азербайджанский, грузинский и, конечно же, «Белый аист»; джин Beefeater и джин Tanqueray; водки, каких только водок там не было, я уж не говорю о Gorbacheve и

Stolichnoy, бурбон Jack Daniels и замечательный раритетный портвейн «777».

Будто светлое будущее понеслось ко мне, будто сон обернулся явью, и я, замерев, словно бегун перед стартом, протянул вперед руку и, не глядя, вынул первую попавшуюся бутылку, которая, конечно же, оказалась сладким вином детства — портвейном «777»...

Васечка что-то говорил, даже, кажется, пытался произнести какой-то тост, потом о чем-то спрашивал, кажется, даже пытался дать мне денег, видимо, на такси, несколько раз звонил телефон, и я помню, как он, прикрыв ладонью трубку и оглядываясь на меня, что-то кому-то говорил, что-то такое было еще, я уже не помню, как и все остальное, потому что я уже уходил в путешествие, все дальше, дальше, дальше отдаляясь от берега.

Хотя нет, одно воспоминание все-таки сохранилось, как довольно яркая фотография. Да, это и была фотография — сначала одна, потом вторая.

Да, на книжной полке, я точно помню, стоял поясной портрет знаменитого головореза Соколова-Соколенка, и я даже помню сделанную корявым почерком надпись: «Васеньке, братану, на память об общей борьбе», но не успел я поднести ко рту стакан с непонятной иностранной жидкостью, как на этом же месте оказалась другая фотография: мы, еще на год моложе, на какой-то даче... Я, жена, друг, Васечка... И помню в этот момент взгляд Васечки, скользнувший на меня, потом на фотографию, потом снова на меня.

Ну, а что было дальше — не помню, да и не хочу вспоминать, потому что все главные события происходили уже не в этой комнате, куда черт знает как попал. Нет, в другом мире, который расположен даже не в тысячах километров от этой комнаты, или совсем другой комнаты, или другого дома и другого города, а на расстоянии в несколько световых лет — там, где сплетается мироздание и никогда не наступает ночь.

Когда у меня отобрали заграничный паспорт, единственно возможными для меня путешествиями стали те, в которые я отправляюсь, когда сознание уже полностью не восприимчиво к происходящему вокруг. Я жду эти моменты, как, наверное, в девятом классе ждал двадцатипятилетнюю девушку Марину, по профессии учительницу, которая обычно назначала мне свидания по пятницам, чтобы увести меня в угловую комнату на седьмом этаже дома на Колхозной площади, и настолько приучила меня к ре-

гулярности этих встреч накануне выходных, что даже сейчас, перечитывая иногда Робинзона Крузо и попадая на слово Пятница, меня охватывает безумное волнение и лицо покрывается стыдливым румянцем (что еще раз доказывает, что старик Павлов со своими собачьими инстинктами в чем-то был прав).

Да, я уже не помню, продолжал ли я сидеть в кресле у Васечки или уже шел по ночной улице (а по какой — уже не имело никакого значения), стоял ли, облокотившись на бульварную решетку или вдруг забрел в парк — это уже не имело никакого значения. Нет, по моему, я плыл по Рейну на маленьком парходике, играла музыка — возможно, что это даже была шарманка. Или нет — ехал в поезде из Лондона в Шефилд и задумчиво смотрел на проплывающий мимо странный пейзаж — скупой, но прекрасный в своей законченности. Или это я проезжал в машине по Вермонту, по лесной дороге, напоминающей леса и дорогу вблизи Москвы. Словом, я где-то был.

Обычно, выходя из этого состояния, я не помнил деталей, подробностей, но чувствовал, что они были — и мельчайшие подробности, как заржавелый телефонный автомат, обнаруженный мною однажды в лесу, километрах в двустах от Парижа, и люди, люди, издали машущие мне рукой.

Но сейчас, в этой уже предрассветной мгле, сидя перед окном, за которым было темно и скучно, что-то еще поразило меня в очередном путешествии, в которое я отправился. И это — поразившее меня — случилось наяву, и было это настолько значительным, что не только не исчезло в тумане той ночи, но и сейчас стремительно мучает меня, заставляя снова и снова, до боли в сердце, пытаться вспомнить, чтобы, вспомнив, освободиться от этого воспоминания и облегченно вздохнуть.

Да, все-таки, казак, конь, ночь... Но что-то еще.

И вдруг я вспомнил.

Он не ударил меня нагайкой и не заставил поднять вверх руки... Все равно я не вспомню его лица, но вдруг прорезались, зазвучали слова, которые были им сказаны. Он сказал, обращаясь ко мне с высоты своего гнедого:

«Валерий Дмитриевич, что же вы так изводите себя. Не мучьтесь! Идите в дом! Сядьте в кресло, выпейте горячего чая! Идите, идите же!».

Да, да, да, да! Именно в такой последовательности были сказаны эти слова! Именно с такой интонацией, от которой я уже давно отвык!

Меня даже подбросило от волнения, я встал, нервно зашагал по комнате, стараясь перевести дыхание от необычности открывшегося мне сейчас ночного воспоминания. Я был узнан! Я был назван по имени! На меня обратили внимание не просто как на прохожего, скорее всего, нетвердой походкой шагавшего по улице! Нет, я был идентифицирован среди миллионов моих собратьев! За мною было признано право на индивидуальность!

От одного этого последние остатки алкоголя испарились из головы, и я впервые за последнее время почувствовал себя человеком, чье существование — не случайная шутка природы, а чей-то продуманный и претворенный в жизнь замысел.

И именно в это мгновение зазвонил телефон.

На этот раз он звонил оттуда, откуда и должен был звонить, то есть из-под кипы неизвестно как оказавшихся в этой квартире «Крестьянок» и «Пограничников».

С откуда-то взявшейся энергией (хотя знаю, знаю, откуда она взялась) я начал расшвыривать эту покрытую желтой пылью кипу. Разлетались по комнате, кружа как голуби, черномордые быки и хороводы пейзажников, скуластые Джульбарсы и обманчиво улыбчивые лица отличников боевой и политической подготовки, гуси, генералы, поляны в лесу и разрезающие суровые воды Балтики быстходные катера.

Наконец из-под последнего журнала, с обложки которого отечески хмурился Леонид Ильич в полной парадной форме, показался белый остов телефона.

— Алло! Алло! — с волнением, жадно дыхнул я в трубку.

— Это, значит, вам Иван Васильевич звонит... Так что завтра, в одиннадцать...

Голос в трубке показался мне удивительно знакомым, хотя мог поклясться, что никогда раньше я его не слышал, а если и слышал, то наверняка голос принадлежал совершенно другому человеку, хотя, возможно, хорошо знакомого с владельцем именно этого голоса. Но куда удивительнее было другое! Человек говорил со мной так, будто разговор этот происходил в разгар дня, а не глубокой ночью, когда даже дежурные в отделениях милиции сурово прикрывают осоловелые от желания спать глаза. Нет, этот говорил четко, а если и чуть вяловато, то вовсе не потому, что ночь разморила его, — это была вяловатость дневная, когда уже главные утренние дела сделаны, а вечернее нетерпение перед концом работы еще не наступило.

Но все равно, естественно, я ничего не мог понять.

— Какой Иван Васильевич? Что в одиннадцать? Да и мне ли вы звоните? — спросил я, если уж совсем честно, с ужасом ожидая, что человек возьмет и скажет: «Да, конечно, не вам! Кому вы нужны-то?».

Но человек звонил именно мне:

— Да вам, Валерий Дмитриевич! Кому же еще-то могу звонить? Вам! — и, видимо, отвечая на вопрос кого-то, кто был с ним рядом в комнате, сказал: — Кумача! Как можно больше кумача! — и потом снова мне: — Значит, договорились? Тогда я больше не перезваниваю.

— Договорились, — поспешно подтвердил я. — Но все-таки скажите, что будет в одиннадцать?

— Естественно, панихида. А что же еще? — удивился этот странный Иван Васильевич.

— Теперь понял. Панихида. Угу. А не скажете, по кому?

— Естественно, по Ричарду XXXII. По кому же еще? — снова удивился он.

— Может быть, по Ричарду XXXI? — решил схитрить я, чтобы понять, наконец, что же значила вся эта чертовщина.

— Вы что, разве были знакомы с Ричардом XXXI? — после легкой паузы, в которой я почувствовал какое-то напряжение, спросил Иван Васильевич.

Я поспешил отказаться:

— Да нет, откуда... Если я и слышал, то о Ричарде Третьем, да и то это было давно, и я сейчас даже не помню, чем там у них дело кончилось...

— Ричард Третий? Нет, нет, это не наш. Это, может быть, из пэгэу, а может быть, вообще из дальних, — понес он вообще какую-то непонятную для меня абракадабру.

— А где панихида? Куда приходиться? — уже отказавшись что-то понять и решив просто слепо подчиниться судьбе, спросил я.

— Как куда? К нам. Куда же еще? К нам и приходите... — услышал в ответ.

— Да адрес-то какой?

— Как всегда... Как обычно... У нас же, знаете, свой дом культуры... Там мы его и отпанихидим...

— Да где все это будет, где? По какому адресу? Улица, номер дома? Где? — уже не скрывая нетерпения, пытал я своего странного собеседника.

— Как где? Рядом с сороковым гастрономом, следующая дверь... Дом культуры Министерства национальной безопасности... — услышал я то, о чем уже начал догадываться.

— Это на улице Дзержинского... Черт, сейчас же — улица Лубянка... Лубянка, Лубянка, — быстро поправил я сам себя, вдруг испугавшись, что у этого странного Ивана Васильевича вдруг вспыхнут какие-то странные чувства по отношению к названию улицы, где расположена его странная контора, и он в сердцах бросит трубку, решив, что с таким придурком и нет смысла иметь дело, то есть желать его присутствия на панихиде по человеку, видимо, ему близко, раз он в такую пору набрал номер моего телефона.

Но он неожиданно сказал:

— Нет, теперь мы работаем на улице Крючкова.

— Уже переименовали? — кажется, слишком унылым тоном спросил я. — Когда? Я и не знал...

— Василий Иванович, когда пришел указ о переименовании? — уточнил он у кого-то, видимо, находящегося с ним в одной комнате. И потом мне: — Да только что... Указ пришел полчаса назад. Откуда же вам знать?

И тут же без паузы:

— Так, значит, завтра, в одиннадцать... Но только не опаздывайте...

Уже исчез его голос в темноте жизни, а я все сидел с телефонной трубкой в руках, которая издавала тоскливые короткие гудки, и не мог поверить, был ли явью или сном и сам этот разговор, случившийся только что, и этот неведомый мне Ричард XXXII — черт знает, кто это? Может быть, действительно англичанин? Может быть, действительно из королевской семьи?

Естественно, будь даже он английский король, я не стал бы охать и ахать: как же, мол, так! Вы сошли с ума! английский король — и наша гэбуха! Да хоть император! Был же, рассказывают, случай, что где-то в центре Африки правил себе император, человек, говорят, довольно темный, не брезговавший и человечиною. Он жил себе в хижине, но довольно приличной для тех масштабов, и мало где был, так как не верил в существование самолетов, а добраться в Москву на слоне — как-то не пришло ему в голову, хотя, возможно, и существование Москвы вызывало у него сомнения. Но дело не в этом! Однажды он, представьте себе, умер. Естественно, шум-тарарам, плач неутешных жен, кого-то на радостях казнили, кого-то выпустили из ямы, в которой он вымачивался в

соусе. Толпы людей, митинг и так далее. И вдруг прямо возле хижины приземляется военный вертолет с тогда еще серпом и молотом, оттуда выходят человек семь в штатском, старший из них, чем-то похожий лицом на актера Вячеслава Тихонова, идет к трибуне (или что у них ее заменяет в подобных случаях) и скорбным голосом говорит: «Комитет государственной безопасности понес тяжелую, невозполнимую утрату. Ушел из жизни...» — и называет все его четырнадцать имен, а потом вручает безутешной вдове (вдовам? — надо уточнить) генерал-полковничий мундир с синими просветами и весь усеянный орденами, которые вручали императору секретными указами (одних орденов Дружбы народов у него было шесть штук!).

Ну, разразился колоссальный международный скандал. Наверное, помните, когда в Америке сняли директора ЦРУ? Так что уж там Ричард XXXII, на панихиду по которому меня так любезно пригласили?

Но, конечно, больше чем этот Ричард меня занимало другое — те странные обстоятельства уже догорающей во времени ночи, которые, я это чувствовал, должны, наконец, изменить мою жизнь: сначала казак по имени-отчеству, любезным тоном, потом этот звонок...

Вдруг вся моя беспросветная жизнь последнего времени промелькнула передо мной — пустые, тусклые вечера, пустой, тусклый город, существование в котором спасало только забытие, да странные фантазии, спасающие лишь на несколько рассветных минут, когда сквозь похмельную дрему мелькали такие обрывки жизни, которых уже никогда не будет.

Что может быть дальше в моем существовании, ранее наполненном такой чередой событий, что сам иногда думал, что я и не человек, а персонаж какой-то пьесы? Да ничего! Ничего, только очередной раз огреет нагайкой конный казак... Я был выброшен из жизни, и даже служба безопасности, скорее всего, уже перестала интересоваться мною, так какой смысл интересоваться человеком, чья шатающаяся фигура если и может кому принести вред, так это водителю самосвала, который нечаянно наедет на нее. Да и то дело, скорее всего, закроят, так как прекращение существования такого уже никчемного существа, как я, вряд ли нанесет вред двигающемуся вперед, к новым победам на вечном кавказском фронте, государству...

И вдруг — эта встреча, этот звонок...

В жизни, в которой прекратило существовать все, вдруг случилось нечто, заставившее вновь напряженно биться сердце, но не тем глухим тупым боем, когда в тебе возникает лишь одно желание — заставить его замолкнуть, чтобы не чувствовать ни себя, ни окружающий тебя мир, а теми легкими стремительными ударами, которые так чарующе действуют на тебя в юности в предвкушении давно обещанного свидания.

Конечно, мысль о какой-то ловушке тоже закрадывалась в сердце, но, с другой стороны, кто я такой сегодня, чтобы из-за меня плести всякие хитроумные комбинации?

Я уснул — прямо здесь, на полу, у телефона, примостившись на кипе журналов. Больше того! Я даже видел сон, чего со мной не было уже черт знает сколько времени, правда, утром тут же забыв его! Но самое главное — а это уже совсем удивительно, когда я проснулся (а уже яркий солнечный свет августовского утра сладко бил в лицо), то все тяжелые ночные воспоминания вылетели из головы, и, напротив, в душе разливался покой, давно не чувствуемый мной, а мысли были чисты и прозрачны, будто это не я еще вчера ходил по ночной Москве в поисках стакана портвейна.

В ванной я посмотрел на себя в зеркало и опять же — в первый раз за последнее время — действительно посмотрел, а не, как обычно, плеснув в лицо холодной водой, мельком бросил взгляд на какого-то незнакомого типа с пустыми глазницами.

Все, стоп! Еще разольется в душе сладостный покой, снова станет упругой и уверенной походка, еще не вечер жизни, еще не вечер, хотя и не утро, и даже не день, но и не вечер тоже...

Первым делом, хотя это оказалось и нелегким делом, я нашел ножницы, правда, тупые и ржавые. Клок за клоком опала на грязный кафель борода, пока, наконец, я почувствовал, что бритва может прикоснуться к коже... Теперь бритва. Но это оказалось куда меньшей проблемой, чем ножницы, так как я знал, где оставалась от моей еще прежней жизни замечательная бритва, еще даже не вынутая из целлофана. Дважды я выдраил ею лицо, пока оно, наконец, не приняло осмысленного выражения...

Потом я долго стоял под душем, меняя поочередно обжигающе горячую воду на обжигающе холодную... Мне казалось, что именно в это мгновение я почувствовал себя почти счастливым, да-да, счастливым, почти, естественно. Я уже спокойно, не торопясь надевал белоснежную рубашку (господи, когда в последний раз она прикасалась к моему телу), искал подходящий случаю галстук — да, он

что-то сказал про панихиду, остался ли у меня темный галстук — да, остался! — наконец, бережно вытащил свой замечательный костюм, купленный однажды на окраине Рима — какой бы я был идиот, поддавшись однажды естественному чувству конца жизни, если бы продал его! Расческа, зеркало, туфли, крем, щетка...

Да, я знал, что иду куда-то в неизвестность, но это была уже совсем иная неизвестность — не та, в которой я существовал весь последний год, то есть не бесконечная бездна, в которой если и виднелся огонь, то холодный свет предстоящей смерти. Нет, на этот огонь уже можно лететь, даже если он и сожжет тебя, но сожжет из-за твоего добровольного решения, а не потому, что они распорядились твоей жизнью. Нет...

Признаюсь, конечно, что рука автоматически потянулась к холодильнику, где со вчерашнего дня оставалась бутылка «Жигулевского». Но стоя перед его открытой дверцей и уже чувствуя прикосновение бутылки к руке, я резко хлопнул дверцей.

Уже бегом спускаясь по лестнице, я услышал, как за какой-то дверью радостно заливался лаем щенок, и его голос показался мне в тот момент хорошей приметой.

Да, это был август, утро.

Легкой, юношески-пружинистой походкой, в сверкающей белозубой рубашке, в сияющих блеском башмаках, в костюме, от которого веяло теплым римским солнцем, шел человек. Сначала он шел по узкому кривому переулку (кого и встретил там — так это двух котов, лениво, как гуси, переходивших дорогу, да девушку с задумчиво-счастливым лицом, которая шла посередине улицы), потом остановился на перекрестке между Покровкой и Чернышевского, дожидаясь зеленого огня светофора, но не дождавшись — пересек улицу на красный, обогнул приземистое здание магазина «Рыба», прошел трамвайными путями и, оказавшись на бульваре, улыбнулся уставившейся на него женщине с проступившими от волнения красными пятнами на лице, которая, он чувствовал, еще долго смотрела ему вслед, мучительно соображая, где и когда она видела этого человека.

Естественно, этим человеком был я, хотя женщина, возможно, смотрела, будто бы мучаясь узнаванием знакомого ей когда-то лица, и не на меня, а поверх меня, дальше: сквозь деревья, скамейки, призраки давно сгнивших в пруду лебедей — на видневшуюся вдали очередь возле «Гастронома» на углу Мясницкой, мучительно раздумывая, стоит ли ей бросаться вперед, к неизве-

данному, или, напротив, повернуть назад, к «Рыбе» на Покровке, куда, по ее абсолютно проверенным сведениям, должны были завести мороженую треску.

Да, это был я, и это на меня падали, мгновенно тая, снежинки.

Что касается меня лично, то, впервые попав в снежную бурю в середине июня, я нисколько не удивился, объяснив этот снег особенностями собственного состояния, и потому не воспринимал его за снег, падающий в настоящем времени, а скорее за тот, которым я однажды наслаждался в тридцати милях от Осло. Но снег шел с такой упрямой регулярностью — а обычно явление снега происходило в неимоверно жаркий день при абсолютно безоблачном небе, что в конце концов я попытался самостоятельно найти объяснение этому невиданному природному явлению и, не найдя, в отчаянии махнул рукой. Но однажды, зачем-то включив радио, обнаружил, что объяснение-то уже давно найдено — настолько, оказывается, простое, что только такой, как я, не мог до него достучаться. Естественно, виноватыми оказались эвенки, которые, взорвав плотину у Химкинского водохранилища, заставили воду, лишенную своего нормального движения, подниматься вверх и, превращаясь в снежинки, падать впоследствии на удивленные лица прохожих. В общем, полный бред.

Но — за исключением снега — город изменился мало, а может быть, не изменился совсем. Чирикали воробьи, звонили колокола в болгарской церкви на Телеграфном, двое ругались в подворотне, мучительно кашлял старик на скамейке, громко дышала очередь, застенчиво плакал ребенок...

Правда, город утренний нисколько не напоминал город вечерний, и я с удивлением отмечал, что изменений в нем оказалось намного меньше, чем представлялось мне еще вчера, когда казалось, что город навалился на тебя, смял, уничтожил твое существование настолько, что лишь спасительные фантазии могут еще продлить — непонятно, правда, для чего — твое одинокое существование на земле.

И утренние люди, судя по их лицам, положению рук при движении, конфигурации тел на бульварных скамейках, в принципе, радовались жизни куда больше, чем я предполагал. А если и попадались среди них угрюмые, с пустыми глазницами, с бессильно опущенными плечами и походкой, лишенной надежды, то, решил я, разве раньше, до всего, такого не было? Разве в других странах и других обществах так уж безоблачна жизнь и никогда не спадает с

лиц безоблачная улыбка, а слезы, если и заволокут глаза, то только лишь при прощании с горячо любимым человеком? Что же тогда так плакала женщина в кукольном шведском городке, уткнувшись в мое плечо — уже утром, когда мы расставались? Но и плакала она совсем не потому, что мы расставались, чтобы, скорее всего, больше никогда не увидеться! Нет! От одиночества жизни, заполнявшего ее сердце, от невозможности полета, от железной решетки, перегородившей ее существование, и черт еще знает от чего...

В общем, такая вот ерунда мелькнула вдруг в моей голове, кстати, ставшей удивительно ясной, будто это не со мной приключилась вся эта чертовщина, сломавшая меня почти что на целый год...

Да, именно об этом размышлял я, оказавшись на самой середине Чистопрудного бульвара за час двадцать минут до срока (убедился, взглянув на часы, подаренные мне пьяным шведским специалистом по компьютеризации ткацких станков, те самые), назначенного мне странным незнакомцем, чей странный предрасветный звонок, предчувствовал я, еще перевернет мою жизнь.

Что там идти — от места, на котором я оказался, до места, где мне предназначено было быть! До Грибоедова — и по Мясницкой (бывшая ул. Кирова), пройти ее до конца — и по темному узкому переулку прямо к серым громадам Лубянки, изо всех многочисленных зданий которой только одно-единственное не вызывало ненужных воспоминаний у одних и холода, подступавшего к сердцу, у других — это, конечно же, известный на всю Москву 40-й гастроном. Даже человек, не причастный к тайнам Лубянской площади, то есть человек обыкновенный — и то, хотя бы раз побывав здесь, начинает пребывать в полной уверенности, что «о, это гастроном, всем гастрономам гастроном!» И в этом, наверное, и заключается великая способность человека к спасительному самообману — полагать, что молоко, купленное здесь, кажется гуще, сметана — жирнее, а колбаса — без привычного для нас привкуса прессованной бумаги. Хотя, смею вас уверить, что это полная ерунда и чушь собачья.

А правда-то в другом. Правда в том, что под 40-м находится точно такой же Гастроном, но уже с большой буквы, куда ведут туннели и из старого здания, и из нового здания, и даже из дома в двух кварталах, на котором висит вывеска «Астрономическая лаборатория» (ха-ха!). И те счастливики, которым судьба настолько благоволила, что ввела их в этот священный орден — что

из людей обыкновенных превратила в людей необыкновенных — уже десятилетие за десятилетием: при Дзержинском, Менжинском, Ягоде, Ежове, Берии, Меркулове, Абакумове, Огольцове, Игнатъеве, Круглове, Серове, Шелепине, Семичастном, Андропове, Федорчуке, Чебрикове, Крючкове, Бакатине, Баранникове, Галушко, Степашине (и сегодня, естественно, тоже) — пройдя подземным коридором, выложенным розовым карельским мрамором, насладившись чудесным пением птиц, живущих в зимнем саду (да-да, там, под землей!), замерев от подступающей к горлу вечности у клетки, по которой, нахохлившись от воспоминаний, бродит черный ворон лет ста пятидесяти (по преданию, еще молодым вороненком подобрал его граф Алексей Христофорович Бенкендорф в глухой аллее Летнего сада) — наконец оказывались в ярко освещенном, будто под лучами нежного майского солнца, огромном торговом зале.

Есть ли смысл его описывать? Ведь только кисть Айвазовского способна запечатлеть то обилие рыб, барахтающихся в безбрежном бассейне, и, возможно, лишь Иван Сергеевич Тургенев смог бы поименно назвать ту дичь, которая пялит на тебя глаза из-за прозрачных витрин. Но вы сами можете представить, как там и что там, — ведь недаром же человек, в отличие от растений или животных, наделен высокими мечтами и спасительными фантазиями! Только продукты сюда доставляются даже не из Швейцарии. Нет! Говорят, еще при Дзержинском загребла будто бы ЧК одного сумасшедшего, который рассказывал всем направо и налево, что он изобрел (только не смейтесь!) машину времени, способную перемещаться по векам и эпохам, как мы сами, от Патриарших до Чистопрудных; как хотели его сначала просто шлепнуть, чтобы не дурил народу голову вредными враками; как нашелся какой-то фантазер в тогдашнем хозяйственном управлении ЧК, который убедил Петерса, а тот Дзержинского, повременить расстреливать, а сначала испытать; как дано было секретное задание молодому чекисту с ласковой фамилией Кулебаба сопроводить этого сумасшедшего в июнь 1904 года и выданы были ему для этого пять тысяч царских денег, револьвер системы наган и письмо — на случай, если придется там задержаться, — адресованное Ленину (вы можете найти его в 17-м томе сочинений); как никто не верил, что он вернется; как все были просто обескуражены, когда вдруг в самый разгар коллегии ВЧК погас свет (паника и все прочее, можете себе представить), но когда свет вспых-

нул вновь, то перед пораженной публикой (а уж кого-кого, а эту публику ничем нельзя было поразить, вспомните хотя бы аскетическое лицо Петерса) предстал сумасшедший изобретатель, а под мышкой у него — светящийся пьяной улыбкой Кулебаба: фрак, бабочка, лаковые туфли, тоска в глазах, а в руках у него — осетр в натуральную величину, еще один продукт, название которого вам ничего не скажет (что-то такое из мяса молодого ягненка), и три бутылки «Клико»...

Да, вспомнил наконец-то фамилию изобретателя — Розенкранц.

Вот так и было положено начало Гастронома с большой буквы, и уже потом, поколение за поколением, входили сюда те, кому под угрозой — немедленной по приговору, но долгой по исполнению — казни, было запрещено даже во сне рассказывать о том, откуда вдруг появились на столах продукты, само присутствие которых в погребах (сначала), в холодильниках (потом) обдавало их матерей и любимых теплым ветром ушедшего детства и предвкушением счастья, которое еще коснется их правнуков...

Нелепость представившейся вдруг ситуации развеселила меня настолько, что я засмеялся. И так громко, что даже серый голубь (как две капли воды похожий на других, таких же городских бродяг), примостившийся по соседству со мной и разомлевший от пронзительно светлого утра, испуганно вспорхнул со скамейки, окинув меня удивленным взглядом.

Голубь кружил между деревьями, бульварными решетками, трамвайными путями, над стекляшкой ресторана, двери которого еще хранили следы пуль, вонзившихся в них в те самые дни, а я вдруг поймал себя на том, что с интересом слежу за голубиным полетом. Как он то взмывает над бывшим театром «Современник», то опускается на крышу заколоченного лотерейного киоска, то низко пролетает над разбитым асфальтом, на который падают, мгновенно тая, снежинки. Но самое удивительное было в другом! Я вдруг почувствовал, что и голубь, видимо, обнаружив мой интерес к нему, тоже выделяет меня из существ мне подобных! И даже из глубины неба, куда он взмывал, наскучившись унылым земным существованием, я ощущал его ласковый и доверчивый взгляд, обращенный на меня...

Год, год! Простишь ли ты меня когда-нибудь, что я променял целый год жизни на построение призрачного мироздания, которое затмило мне все то, без чего жизнь человека есть только

лишь тусклый проблеск света между первым и последним вздохом, — неожиданно обратился я к тому, чье существование я не то что подвергал сомнению — просто никогда не задумывался над тем, есть он или нет, даже тогда, когда казалось, только лишь в нем одном оставалось искать утешение.

Год, год, в котором самым ярким воспоминанием что и осталось, так это та странная неделя, проведенная в заточении. Когда меня арестовали... Да нет, это даже был и не арест, а черт знает что! Я и представить себе не мог, что тот сумасшедший, который, как обычно весной, пришел в редакцию пожаловаться на то, что ему в зуб вставили передатчик, который непрерывно транслирует израильское радио, вдруг посмотрит на меня каким-то осмысленным взором, печально вздохнет и вытащит из кармана мятый клочок бумаги, в котором было написано «ордер на арест». И даже не сказать, что я не был готов к этому — по крайней мере целую неделю до прихода этого псевдосумасшедшего я чувствовал, что это неминуемо произойдет, но когда он сказал мне: «Ну, поехали», — я все-таки не мог поверить, что это всерьез. Помню, даже, долго рассматривал бланк, подпись, печать, а он терпеливо ждал, примостившись на краешке подоконника. Потом мы ехали — бульвар, Садовое, Кутузовский, Можайка...

Меня вез старый «москвич», и, главное, я понимал, что мне ничего не стоит выскочить возле светофора, тем более что кроме меня и моего стражника в машине больше никого не было. Даже когда мы остановились у булочной на Калининском, и он спросил: «Может, тоже хлеба купите?» — и когда я ответил: «Нет», то он, оставив меня одного, понуро опустив голову, ушел, у меня и мысли не было вскочить, открыть дверь, раствориться в городе. Нет, я уже был готов к тому, чтобы однажды, спустя почти год, очнувшись на продавленном диване, услышать телефонный звонок и, вдруг, неожиданно для самого себя, почувствовать, что жизнь еще присутствует в том пространстве, в котором существует мое покачивающееся тело.

Помню, помню — до мельчайших подробностей, хотя вон уже сколько лет прошло! целый год! — и тот престарелый «москвич», который вез меня тогда (даже что-то наподобие обиды мелькнуло тогда: «Что, поновее машины, что ли, не нашлось для меня?», — что было уж совсем глупо в том моем тогдашнем состоянии), и гримасы, как от зубной боли, на лице моего заботливого стражника, и саму дорогу, которая, как казалось мне тогда (о человеческая глупость!), вела в неизвестность.

Нет, нет, это была не тюрьма и не каземат. Даже сам не понимаю, что это было: забор, ворота, будка, почему-то железнодорожный вагон, стоящий посреди поля, само поле, по которому лениво прогуливалась худющая корова, и какая-то разливающаяся вокруг смертельная тоска.

Место, куда меня поместили, напоминало провинциальную российскую гостиницу (даже пальма при входе — и та присутствовала!). Мой стражник, вздыхая и повторяя ежеминутно какую-то таинственную фразу (а, вспомнил какую: «Знала ли бы Мария-Антуанетта?» — вот что он все время повторял), проводил меня в конец темного и длинного коридора, отворил дверь, и я оказался в комнате, отличающейся от обычных гостиничных, которых я столько перевидал за свои странствия по месту жизни, только решетками на окне да ставнями, уныло хлопающими при порыве ветра.

Дверь защелкнулась, и я остался один.

Помню, помню, как я метался в течение первых трех дней, когда что и видел я сквозь окно — так это бесконечную вереницу полуразвалившихся «москвичей», которые въезжали, въезжали и въезжали в странное пространство, на котором мне суждено было поселиться.

Иногда мелькали знакомые лица, отмеченные печатью удивления и растерянности, точно такой же, как, наверное, было отмечено и мое собственное лицо, когда я только-только переступил порог этого странного заведения. Иногда мне казалось, что в коридоре я слышал страшно знакомые голоса (с кем, скажите, я мог еще перепутать пронзительный бас бабушки российской демократии: «Я требую, наконец, чтобы меня немедленно расстреляли!»). Но уже на третий или пятый день я перестал смотреть в окно и прислушиваться к шумам и шорохам в коридоре. Больше того! Я ощутил в себе спасительное безразличие к происходящему как внутри себя самого, так и в изменившемся в одночасье мире.

Никогда не знавший, что такое одиночество, и ранее страшась этого состояния, я вдруг осознал, насколько прекрасно существовать в отсутствие соблазна бесконечного общения, которое в конце концов приносило больше разочарований, чем покоя и счастья.

Я вдруг с ужасом обнаружил, что не только дни, недели, месяцы, но даже целые годы пролетали совершенно бесследно, не оставив в памяти не то что следа, но даже воспоминания об этом следе.

Да, чтобы не забыть. Дважды меня вызывали на допрос.

Первый раз допрашивающий (а я мог поклясться, что это был тот же самый человек, который вез меня сюда на отжившем век «москвиче») спросил, морщась — да, да, точно так же! — как от зубной боли, верю ли я в Бога. А второй раз, не родственник ли я Родзянко...

И все. Все.

Я оказался в мире, в котором больше не существовал.

Дни тянулись, похожие один на другой, оборачиваясь одним бесконечным днем, и даже ночи не приносили ни спасительного покоя, ни успокаивающих снов.

Я лежал на кровати, уткнувшись глазами в потолок с серыми подтеками от когда-то обрушившихся ливней на этот старинный дом, и не только не стараясь понять происходящее, но даже уже отделив себя самого — будто предчувствуя будущее — от того человека, каким я виделся (скорее окружающим, чем себе самому) раньше.

И потому-то, когда спустя неделю тот же «москвич» с тем же самым мучающимся зубами понурым мужичком выплюнул меня в уже незнакомый город между Самотекой и Колхозной, я несколько не удивился, когда, позвонив по телефону рабочему, то есть по своему прямому телефону, я услышал от совершенно незнакомо-го голоса, что «такой-то» (то есть именно я) здесь не работает и никогда не работал, а позвонив по телефону домашнему, услышал голос знакомый, сообщивший мне, что я ошибся номером.

Ну, а что было дальше, вы уже знаете...

«Знаете, знаете, знаете... Знаете, а не говорите! Знаете, а думаете, что нет! Знаете и уверены, что именно вашим знанием переполнен мир! Но только вдруг однажды, проснувшись на рассвете в по случаю купленных на толкучке башмаках бывшего американского производства, в вас вдруг проснется чувство — да, да, чувство! — неуверенности в полноценности знаний, добытых вами путем своего собственного жизненного опыта, оказывающегося в конце концов таким же мимолетным, как первое желание подростка прикоснуться к сияющим во снах набухшим грудям тридцатилетней соседки по лестничной площадке в «хрущобе». О, Господи, о чем я?»

О чем это я?

Я не почувствовал, как задремал здесь, на Чистопрудной, на скамейке, задремал на секунду, показавшуюся мне чередой но-

чей, но, посмотрев на часы, вдруг с ужасом обнаружил, что время уже перевалило за одиннадцать.

Двенадцатый час!.. Уже двенадцатый!..

О, как я бежал!

Насупленный Грибоедов; через бульвар, чуть не столкнувшись с похмельным пешим казаком (о, какое счастье, что он в это время пялился на похмельную утреннюю проститутку!); по Мясницкой — или как сейчас ее переименовали, черт ее знает; слева — Почтамт, справа — чайный домик, слева — стекляшка, из которой в дальние и уплывающие из памяти дни моей юности, как голубей, гоняли хиппи; справа — старинный особняк, и я даже помню, что когда-то я зашагивал туда, но зачем, к кому, почему — хоть убей, не помню (а сейчас и не зайдешь, так как кому придет в голову зайти по собственной воле в штаб казачьей безопасности?); слева — бывший магазин «Хрусталь», переименованный очередным похмельным указом в супермаркет «Вологодское масло»...

О, как я бежал, как бежал!..

Мелькали дома, подъезды, витрины, флаги, штандарты, потные казачьи лица, женщины с колясками, просто женщины... Вслед мне свистели мальчишки, голуби парили надо мной так низко, что я чувствовал их теплый размах крыльев, лаяли собаки и, естественно, озорно ржали мои любимцы — великорослые гнедые...

«Какой идиот, какой идиот, какой!.. — задыхаясь от стремительности движения людей и предметов, мелькающих по сторонам, бормотал я на бегу. — Мне подарили шанс, единственный шанс вырваться из того мрака, в котором я барахтался все последнее время, все глубже и глубже погружаясь в бездну, из которой был лишь один путь — в спасительное, но окончательное небытие».

И вдруг — этот рассветный звонок, на который я должен был тут же мчаться, мчаться, не думая ни о чем и не вспоминая никого, не погружаясь в сон и не теша себя несбыточными иллюзиями.

Меня позвали!.. Меня отыскивали в этом потерянном мире!.. Меня снова сделали существом одушевленным, то есть достойным того, чтобы чья-то другая душа прикоснулась к нему!..

Так, налево, в узкий переулок между серыми громадинами Лубянки, еще раз налево... Ну, быстро, быстро... Гастроном... Тот самый... Теперь направо... Еще чуть вперед!..

Краем глаза успел заметить новенькую табличку на стене: «улица Крючкова», людей, выходящих из дверей Дома культуры (того самого), оцепление, охраняющее вход, и — с разбега влетел в каменную спину казака.

Над моей головой взлетела нагайка, и я уже по привычке сжался, чтобы облегчить телу принять удар железного наконечника, как услышал прямо над ухом:

«Отставить!.. Пропустить!..»

Казак нехотя посторонился, и я оказался в толпе, которая расступилась на моем пути, образуя коридор, ведущий к широко распахнутым дверям Дома культуры Министерства национальной безопасности.

Я медленно шел под звуки траурной музыки, доносящейся откуда-то из глубины темного пространства, чувствуя, что каждый мой шаг наконец-то приведет к разгадке этого странного звонка, так перевернувшего мою жизнь.

Я не смотрел по сторонам и не видел тех, сквозь кого я шел, но чувствовал направленные на себя сотни глаз.

И вдруг нехорошее предчувствие обожгло меня и заставило даже замереть на секунду: «А не меня ли они собираются хоронить?». Правда, я успокоился тут же. И даже не потому, что само подобное предположение было, по крайней мере, смешно: воротить такой сыр-бор из-за какого-то типа, который и побрился впервые за год всего лишь пять часов назад? Нет! Обрывки разговоров, которые доносились до меня, безусловно, свидетельствовали о том, что покойник-то уже есть.

Так, я услышал:

— Нет, подумать только, две навывлет, а одна застряла...

Или еще:

— Мне обещали посмертно «Знак Отечества» второй степени, а ему — ба-бах! — и тут же первую!

Или совсем уже какую-то несуразицу:

— Во дает! Не успели убить, а уже майор... А здесь пашешь-пашешь, а все в капитанах...

Нет, так могли говорить только лишь о живом покойнике, то есть присутствующем там, где ему и надлежит быть в подобный момент всеобщей скорби — в гробу, в окружении венков и родственников.

И потому я мгновенно успокоился и, переступая порог, уже ничуть не волновался, кроме разве что о том, чтобы никто не мог

прочитать на моем лице те нелепые чувства, только-только переполнявшие меня.

Не успел я перешагнуть порог зала, обрамленного по подобному случаю в черные, естественно, тона, как тут же ко мне подлетел маленький лысый человечек с носом, похожим на клюв хищной птицы.

— Ну как же так, голубчик... Как же так! Как же... Ведь мы же договаривались! В одиннадцать, ровно в одиннадцать... А сейчас уже сколько? Одиннадцать сорок одна! Ну, как же так, голубчик! — зашептал он громкой скороговоркой, и потом громко, кому-то в сторону: — Быстро повязку! Быстро!

Чьи-то услужливые руки прищипили мне красную повязку с черной тесьмой, бережно подхватили меня, вынесли сквозь толпу, и я оказался у изголовья того, чья смерть, вернее, как я уже понял — гибель, неожиданно вывела меня из того мрака, которым жизнь окружила мое потерявшее смысл существование. И только за это я должен быть благодарен неведомому мне человеку со средневековым именем Ричард XXXII.

Я стоял, склонив голову, и чувствовал, как влажнеют, влажнеют, влажнеют мои глаза.

Что, неведомый мне спаситель Ричард? Как там тебе? Чувствуешь ли ты, как еще бьется сердце в людях, радующихся жизни или усталых от соприкосновения с ней? В благородных мечтателях и холодных злодеях? В завистниках, бессребрениках, патологических идиотах — по призванию или по должности — и в мудрецах, чья мудрость заключена не в словах произнесенных, а в лучащихся светом глазах? В мужчинах, женщинах, стариках, младенцах? В рыбах и птицах, в собаках, кошках, курах, утках, гусях и в моих любимцах, высокорослых гнедых?

Что ты там видишь, Ричард? Кто ждет там тебя?

Столкнувшись однажды в пельменной на Неглинке с таким же бедолагой, как я, и, естественно, поделившись друг с другом портвейном, а потом и еще одним, мы начали делиться мыслями, такими же одинокими, как и мы сами. И вот после третьей бутылки (да, а была еще третья, а если честно, и еще две после третьей) я услышал изреченную им истину. А может быть, и не услышал, а только прочитал эти слова, как глухонемой, по движениям его губ: «А я, между прочим, изобрел теорию смерти», — сказал он.

— Ну?.. — спросил я, покачиваясь — или пошатываясь? — думая, естественно, в тот момент о преимуществах бытия камня над существованием человека.

Но он продолжал, находясь, конечно же, не здесь, в этой воюющей пельменной, а в мире, собой придуманном, и потому меня не замечающий и не видящий:

— Когда приходит к человеку последнее его дыхание, то что должен сделать человек? Что? — увидел он меня.

— Что-то... Ну что... Ну, умереть, — ответил я с равнодушием случайного попутчика в купе поезда Москва — Камышин.

— Человек должен улыбнуться! — воскликнул он так громко, что сидящий под нашим столиком кот в ожидании остатков нашего пиршества испуганно отскочил в сторону. — Да, улыбнуться от счастья прожитой жизни! О, черт! Как было интересно! Как интересно! Спасибо тебе за это! Но!.. — поднял он вверх палец.

— Но? — спросил я уже совершенно осознанно.

— Но, и в этом самое главное. Для того, чтобы умереть с улыбкой, надо жить так, чтобы перед смертью ты имел право улыбнуться...

И он залпом выпил стакан портвейна. И я тоже. И он. И я. И он. Но он — еще. А я — пошел.

Я пошел, пошел, следуя уже известному вам маршруту по известному вам городу, но вдруг, я помню, эта теория случайного знакомого по пельменной еще долго преследовала меня вплоть до самого рассвета. «Хорошо, — думал я. — А если авиакатастрофа? Успеешь ли ты улыбнуться в легком падении на земную поверхность? А если тебя будут вешать? Или растворять в соляной кислоте в ванной, покрытой ржавыми потеками?»

Я представлял, помню, все мыслимые и немыслимые варианты смертей (так как последнее дыхание, улыбка и все прочее предполагают все-таки присутствие одра), и вдруг я даже замер, хотя и продолжал двигаться по тротуару: а откуда ты взял, что эта великая улыбка тебя достойна? Откуда? Кто тебе сказал? Кто...

И вспомнив все это, и уже чувствуя не влажность в глазах, а самые настоящие слезы, текущие по щекам (о, Господи, когда это было в последний раз в моей жизни!), я, наконец-то, заставил себя поднять глаза, чтобы увидеть лицо ХХХII, спасшего меня от иезидов в жизни.

Я поднял глаза, но лучше бы я этого не делал.

В гробу, у изголовья которого я стоял в одиноком торжественном карауле, лежал человек, с которым последний раз мы виделись прошедшей ночью в том моем путешествии по городу, человек, в доме у которого я неожиданно увидел фотографию Соколова-Соколенка, человека, к которому все мои друзья, раскиданные ныне по белу свету, а потом и я сам относились, как к экспонату в этом мире чудес — то есть, как вы уже, наверное, догадались, лежал тот, кто сам себя ласково называл «Васечка».

Я успел заметить мундир с майорскими погонами в синих шевронах, ордена на мундире, марлевую ленту, опоясывающую лоб, цветы, конечно, — и больше ничего.

От растерянности у меня высохли слезы.

— Так... Все, все... — услышал я знакомую громкую скороговорку. — Все замечательно, все просто замечательно... От себя лично и от всего личного состава сердечно благодарим вас за то, что вы нашли время, ну, и так далее... Сами понимаете...

Я почувствовал, как чьи-то руки обхватили меня, свели вниз, с возвышения, как кто-то освободил меня от чернокрасной повязки, как кто-то — но уже не нежно и приветливо, а грубо — подталкивал меня к дверям.

— Да, да... Я понимаю, поминки и все прочее... Но там руководство, мэр, послание Президента... Вам лучше не надо, лучше не надо... — гремел мне в ухо скороговорочный шепот, и уже возле самых дверей я только лишь успел обернуться, чтобы окончательно убедиться в том, что я увидел, стоя у изголовья гроба: да, он улыбался...

И я снова оказался на улице Крючкова (бывш. Лубянка, бывш. Дзержинского, бывш. Лубянка).

На улице было пустынно. Пустынно было налево — туда, где эта вечно переименованная улица переходит в счастливую от переименований Сретенку. Пустынно было направо, там, где когда-то был «Детский мир», а потом ЛогоВАЗ. Пустынно было прямо, на вечно шевелящемся Кузнецком мосту. Пустынно было на всем пространстве, которое только мог охватить глаз.

Употребляю слово «пустынно» не в качестве некоей литературной игрушки, которая должна помочь найти определение состоянию души после столь резких потрясений, выпавших мне в эту ночь и утро.

Нет, я не шучу!..

Среди бела дня, в полдень, в центре Москвы не было никого! Не было людей, машин, хлопанья дверей, гаишников, троллейбусов с их питающими проводами (проводов, впрочем, тоже), казаков, лошадей, включая моих любимых, огней светофоров... Даже вместо вывески «Министерство национальной безопасности. Прием круглосуточно» — серело пустое пространство.

Единственным знакомым существом оставался лишь памятник Воровскому, пригнувшемуся во дворике здания, когда-то принадлежащего Наркомату иностранных дел...

Я удивленно уставился в небо, надеясь на то, что хотя бы снежинки, так поразившие меня утром, вернут меня в существующее пространство. Но небо было по-августовски жаркое и блеклое.

И вдруг от этой неожиданно свалившейся пустоты города душа — я это ощутил чуть ли не физиологически — начала оттаивать, как снеговик на мартовском солнышке.

А может быть, все, все... Все это кончилось, прошло, и мои любимые гнедые давно уже вдыхают сладкий запах сена в своих конюшнях, а самые оголтелые казаки нашли себе истинно мужскую работу — в цирке. Да, да... Все кончилось, прошло... Это был сон, просто сон, в который я был погружен... И вот удивятся ребята в редакции, когда я расскажу им про то, что мне снилось. «Где ты пропадал? В какой стране? Да может ли быть такая страна? Может ли оставаться такая страна на земле? Тебе никто не поверит, если ты даже напишешь об этом гениально!» — скажут мне, и потом мы спустимся в бар на первом этаже и, заставив стол сухой «Лидией» (той самой, которую я пил только раз в жизни, в юности, в маленьком погребке на юге Молдавии), будем радоваться течению жизни, несущему нас в мир светлый, чистый и радостный... А потом нам, естественно, не захочется расставаться, и мы рванем ко мне домой, так как он географически ближе всего, и кто-нибудь приедет еще, а потом еще и еще, и так до самой ночи, и жена скажет: «Нет-нет... В сентябре — только на Кавказ. Звонил Гурам, звонил Тенгиз, звонил Азамат... Море теплое и чистое, фруктов, как никогда... И вообще, как хорошо нам вместе...»

О, Господи.

Мне захотелось взлететь от такого счастья...

И я — взлетел.

— Тебе что, козел, жить надоело? — выскочил из «жигуленка» перепуганный мужик, помогая мне подняться с грязного асфальта. — Ты что под мои колеса лезешь? Не мог другие найти?

Мир снова оглушил меня разговорами, сливавшимися в один голос толпы, звуками сирен, скрипом тормозов, казачьим матом и ржанием лошадей.

— Да нет... Нечаянно... Задумался... Не надоело... Кажется, не надоело... — торопливо бормотал я, отряхивая пиджак.

И быстро, почти бегом рванул на Кузнецкий...

Пришел я в себя только лишь на Страстной площади.

Надо же, какие фантазии, какая глупость лезет в голову... Дурак, идиот, кретин! — крыл я себя последними словами. — Стоило тебя поманить пальцем — и все, поплыл... Костюмчик надел, галстук... Бороду сбрил... Пиво в холодильнике оставил... Гордый... Кретин!..

И вдруг, вспомнив улыбку на застывшем лице человека, называвшего себя «Васечкой», я подумал вот о чем: а может быть, улыбка при последнем человеческом дыхании является не наградой за нормальность земного существования? Может быть, наоборот или — почти наоборот? Может быть, это свидетельство счастья избавления от земного существования, когда само продолжение жизни является для тебя мукой, по сравнению с которой смерть — цветущий сад, наполненный соловьиным пением? А?

Интересно, интересно...

Хорошо бы найти того малого, так складно излагавшего свою теорию в пельменной на Неглинке. Да, надо найти, надо обязательно найти, решил я.

И в этот-то момент почувствовал, что я — не один.

Вообще-то я их чувствую (да и раньше, в той жизни, чувствовал — опыт-то какой!) всегда, какое бы обличие они ни принимали: деревенской тетки с узлом, рокера на мотоцикле, алкаша с бутылкой портвейна за пазухой, профессорского типа старикана, девчухи «мисс-бюст», серого типа без лица...

И то, что я заметил их сегодня слишком поздно, можно было объяснить только лишь одним: я давно уже успел отвыкнуть от того, что для кого-то в этом мире я представляю хоть какой-нибудь интерес.

Но сейчас, остановившись от пришедшей мне на ум новой теории улыбки при последнем человеческом вздохе, я обнаружил, что вместе со мной задумались, по крайней мере, четверо. Вон тот, который делает вид, что завязывает шнурок. Вон та, которая делает вид, что не может дозвониться по телефону-автомату. Тот на белом «жигуленке», у которого внезапно заглох мотор в пяти

метрах от меня. И та, с подозрительно молчащей детской коляской...

Скорее всего, они начали вести меня еще от Чистых прудов. А может быть, позже, после панихиды...

Ну ладно... Гулять — так гулять. Хотите гулять вместе — пожалуйста, с превеликим удовольствием...

Мальчишеский азарт вдруг проснулся во мне, что само по себе, конечно же, свидетельствовало, что больной отнюдь не безнадёжен.

Степенным прогулочным шагом я пересек Сретенский бульвар, так же степенно свернул у двухэтажного особняка (в котором, по преданию, Сухово-Кобылин замочил свою пассию) в темный угрюмый двор, а здесь уже быстро, бегом вверх по лестнице... Нет, нормально... Работаете грамотно: на улице Чехова, куда я вышел, ждал меня не только белый «жигуленок», но и барышня с коляской — молодец, шустрая...

Ладно, хорошо. Поехали дальше. А вот такой вариант... По «трубе» я пересек Пушкинскую площадь, здесь, на Тверской, — направо, под арку... Кривой переулок, школа, узкий проход между домами, подъезд... А знаете ли вы, что в этом доме сохранился незаколоченный черный ход? Молодцы, знаете — даже обрадовался я, обнаружив в телефонной будке того самого мужичка...

Так, что же вам придумать еще такого интересного?..

Запутать в арбатских переулках? Поплутать возле зоопарка? Потеряться в гастрономе? Заставить побегать по метро? Сесть на троллейбус «Б» и до одурения крутиться по Садовому?..

Вот так, резвяся и играя, мы провели чуть меньше пяти часов.

На Зубовской их терпение лопнуло (но и мое, честно, тоже, тем более, хоть убейте, я не мог представить, куда бы и к кому я мог бы зайти, чтобы ребятам можно было бы написать хоть строчку в отчете).

Нет, возле меня притормозили не легкомысленные «жигули», а вполне серьезная черная «волга».

— Погуляли и хватит? — приоткрыл дверцу малый в кожаной, не по августовской погоде, куртке.

— К вам? — зевнув, спросил я.

— К нам, к нам... — малый приоткрыл заднюю дверцу. — Давай, ходок, теперь поездим... — и с хрустом расправил плечи.

Я давно пришел к убеждению, что мир — это окружность, в которой нет точек «А» и «Б», а есть только одна «А», в которой ты

неминуемо окажешься. Так, прощаясь, казалось бы, навсегда, с соседом по самолетному рейсу из Майами в Сент-Луис, совсем не удивительно, что спустя три года ты повстречаешься с ним в лондонском музее кино. Или с грустью расставаясь с уютным Ставангером и понимая, что никогда, никогда не окажешься ты здесь, на берегу норвежских фиордов, — вдруг спустя год ты снова окажешься в той же гостинице, обдуваемой морскими ветрами. Не говорю уже о Тамбове...

Вот так и я совсем не удивился, очутившись вновь там же, откуда почти что и начал свой маршрут, то есть на Лубянке. Правда, в другом здании, напротив того, где в своей последней роли — Ричарда XXXII — предстал человек, называвший себя «Васечкой».

Меня долго вели по одному коридору, длинному, как жизнь черепахи, по второму, короткому, сродни человеческой жизни, поднимали одним лифтом под небеса, другим опускали в бездну, пока, наконец, не ввели в крошечную аккуратную комнату, в которой было все: стол, стул, диван, лампочка под матовым плафоном — все, кроме окон, хотя бы одного-единственного.

Но, может быть, это было и к лучшему, подумал я, когда дверь за моим стражем захлопнулась, скрипнул засов с той стороны, и я остался один.

Испытывал ли я какие-либо чувства в этот момент, те чувства, которые делают страстной человеческую натуру: страх, ненависть или, вдруг допустим, гордыню?

Да абсолютно нет!

Хуже того, что со мной уже произошло, произойти не могло! Больше того! Я готов был бы в этой комнатенке провести остаток своей жизни, даже несмотря на отсутствие в ней окон. Правда, вряд ли кому придет в голову держать меня здесь всю жизнь: в конце концов меня привезли не в зоопарк, да и я сам хотя и млекопитающее, но все-таки с человеческими признаками.

Правда, одно обстоятельство меня искренне интересовало.

На кой я понадобился столь серьезной организации? Ну, понимаю, год назад, когда я ого-го! Ну, а сейчас-то, сейчас... Где может быть мое место? В ментовской, в рыгальной, в тошнеловке! Сколько угодно мест для таких, как я сегодня, но уж никак не здесь...

Но вдруг одна догадка мелькнула в голове. Ага! Да, вот, на-верное, почему... Вот, зачем...

И чем дольше я думал, тем больше эта смутная догадка перерастала в уверенность. И потому — когда спустя три часа за мной пришли, потом вели, вели, вели по бесконечным коридорам, потом открыли дубовую дверь, потом оставили в обширном кабинете наедине с человеком, который даже не отвернулся от окна при моем появлении (что само по себе говорит о пробелах в его воспитании), — так вот, повторяю, потому первыми моими словами были:

— Если вы думаете, что убил его именно я, то вы взяли неверный след. Уверяю вас, неверный...

— Это вы о чем?

Он резко обернулся, и я чуть не ойкнул от удивления. Да мы же виделись! Виделись! Всего лишь день назад... Лицо типичного российского интеллигента... Бородка... Что-то чеховское...

— Простите... — растерянно выдавил я из себя.

— Да, да, да... Цветной бульвар, Центральный рынок, сирена, яблоки... Горькая сцена, очень горькая... А вы наблюдательны... Учитывая ваше состояние... Да, очень наблюдательны... Просто, можно сказать, профессиональная наблюдательность...

— Да кончайте вы... — смущенно пробормотал я.

— И вам не откажешь в логическом построении. Хотя что здесь странного? Учитывая ваш опыт... Ой-ой... — глубоко вздохнул он. — Жалко, страшно жалко, по-человечески жалко майора Акимушкина. Хороший был человек наш Василий. Настоящий Ричард XXXII...

— Вы серьезно, что ли? Не убивал я его! Сдался он мне! — искренне возмутился я.

— Кстати... Да вы садитесь, садитесь... Чувствуйте себя как дома... Курите, если хочется... Я-то бросил. Уже семь лет назад. Пока держусь... — вдруг улыбнулся он мягкой, стеснительной улыбкой. — И, когда мы уселись по разные стороны стола, продолжил: — Так вот... Кстати, когда вы ушли от майора Акимушкина?

— Ну, в четыре, в три, в два, в час... Я не помню, я был пьяный... Я жил, простите, в другом мире...

— Нет... Вы ушли в ноль часов двадцать семь минут. А майор Акимушкин был убит двумя выстрелами в упор около полуночи.

— Ну вы даете! — я аж подпрыгнул.

— Да... А на пистолете системы «Беррета» ясно просматриваются отпечатки ваших пальцев. А это, согласитесь, улика. И улика довольно серьезная.

— Ну, поехали, поехали... Пальцы на «Беррете», кровь на рукаве... — я безнадежно махнул рукой.

— Ладно, ладно... Не обижайтесь... Хотя не скрою — и такой вариант разрабатывался. Сами знаете, что такое в наше время — и отпечатки пальцев... Да и кровь на рукаве... Но потом мы от этого варианта отказались. Как от бесперспективного... Кстати, по той же причине с сегодняшнего дня мы сняли вас с красной кнопки.

— С чего? — не понял я.

— Ваш телефон больше не прослушивается. Из-за полной бесперспективности абонента. Вы нам — не интересны...

Он сказал то, что я сам давно чувствовал, знал, был в этом уверен, но одно дело, когда говоришь это сам себе, жалея себя, естественно, при этом и себе сочувствуя. Совсем же другое — услышать те же самые слова от человека постороннего, сказанные без всякой жалости и без всякого сочувствия.

— Тогда зачем же все это? Вот это все, все! — я чувствовал, что еще чуть-чуть — и не выдержу, сорвусь на крик, швырну в него стулом.

— Вы о том, что с вами происходило в течение суток? Да не берите в голову. Обыкновенная профилактика. Сейчас мы убедились — вы живете правильно.

— Да я не об этом! Не о том!.. Зачем все это, это... Что вы сделали, что вы делаете, — я бессильно опустил голову на стол.

— А, вы об этом... Как же вам это объяснить... — он и в самом деле, кажется, задумался. — Да, вот так... Шахматы — игра вредная и небезопасная... Людей надо заставить полюбить играть только в шашки...

— Или в домино, — зло бросил я.

— Или в домино, — спокойно согласился он. Потом он позволил, распорядившись, чтобы меня проводили до выхода.

И уже у порога я вспомнил о том, что давно и мучительно хотел выяснить.

— Да, кстати, о домино... Этот ваш магазин... В подвалах...

— Вы о машине времени, что ли? Да есть, есть... Работает... Но что-то в последнее время стала барахлить. Сейчас мы заказываем новую...

— Где? — ошалело посмотрел я на него.

— Естественно, в Южной Корее... Ну, счастливой и спокойной вам жизни, — и уже протягивая мне руку, воскликнул: — О, я дурак, чуть не забыл...

Он быстро пересек кабинет, подошел к массивному сейфу.

Стоя на пороге, растерянный и, как вы сами понимаете, несколько обескураженный случившимся со мной происшествием, я наблюдал, как он долго возился с клавишами цифрового сейфа, как потом обернулся, почувствовав мой взгляд, бросив: «Это новомодная техника, сами понимаете», — как потом наконец-то справился с замком, широко распахнул дверцу и отошел в сторону:

— Вот... Это оно...

Да, вы уже догадались. В совершенно пустом сейфе лежало, конечно же, огромное яблоко, покрытое, как вы помните, ярким юношеским румянцем.

— Возьмите... Долг платежом красен... — он подошел ко мне и нежно, как птенца, вложил мне его в ладонь.

В первом часу ночи я уже был дома.

Я свалился на диван, позабыв, естественно, снять тяжелые, купленные по случаю, американские башмаки. Но на этот раз совсем не потому, что спасительное алкогольное забытие увело меня туда, где мир не мыслит, а значит, он существует.

Нет, напротив, я был непривычно трезв и, прислушиваясь к новому для себя состоянию, пытался отыскать в том, оставшемся за окном, окружающем мире мелодии, которые позовут меня туда, туда, в тот край и лес, в то поле и на те горы, окунут в море, высушат на солнце... Я жадно прислушивался и иногда мне казалось, что я слышу эти звуки, они медленно пробираются ко мне, как путники сквозь густой туман...

Я не знал, будет ли тревога в этих мелодиях или — напротив — покой и нежность. Я был даже готов к какофонии звуков. Главное, чтобы мир не молчал...

Резкий звонок в дверь раздался около двух часов ночи.

Ну вот и все...

Интересно, они стреляют в лицо или поворачивают к себе затылком? И сколько это длится — секунду, минуту? И правда ли, что за эту секунду перед человеком проходит вся его жизнь? И успею ли я улыбнуться? И смогу ли я улыбнуться? И готов ли я с улыбкой встретить это последнее мгновение? И вправе ли я?

Звонок звонил, настойчиво, резко...

Я в последний раз окинул взглядом комнату, которая стала мне нечаянным приютом на целый год человеческой жизни. Пятна на обоях, пятно на потолке... Новый год, елка...

Ну что ж, пока...

Я резко рванул дверь.

На пороге стояла она — женщина, чье имя для нашего поведения не имеет никакого значения.

— Я до-зво-ни-лась до Варшавы! — бросилась она ко мне на шею. — Кшистоф полгода назад уехал в Америку.

Она уткнулась в мое плечо, я чувствовал ее дыхание, я гладил ее лицо, вытирая, как сыну когда-то, слезы, текущие из ее глаз.

— Ничего, ничего, — шептал я ей. — Ничего...

Бостон, август 1993 г.

Перedelкино, январь 1997 г.

**Литературно-художественное издание**

**ЩЕКОЧИХИН Юрий Петрович**

**РАБЫ ГБ**

**XX ВЕК. РЕЛИГИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА**

Подписано к печати 00.06.2018.

Формат 60х90/16

Печать офсетная Усл. печ. л. 25,0.

Тираж 500 экз.

Издатель ИП Матушкина И.И. E-mail:ira-publisher@mail.ru

Отпечатано в типографии

Заказ №